



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

2 (415)

2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Сергей Шестаков. Отражения	3
Илья Будницкий. «Уезжающие остаются...» и др.	31
Владимир Алейников. «Покуда я сам не узнаю, куда...» и др.	153
Евгений Сильман. «по дороге домой...» и др.	189
Никита Сафонов. «Снег» и др.	192
Михаил Окунь. «На пятую годовщину отъезда в Германию» и др. ...	207

ПРОЗА

Вадим Ярмолинец. Подрезка. Жизнь после жизни. Рассказы	8
Михаил Богатов. [Ko]миссия. [staats]роман	49
Валерий Володин. «Легче легкого пуха» и др. рассказы	158
Даниил Бендицкий. Шорох плоти. Рассказ	198

ДЕБЮТ

Сергей Бондаренко. «Альтернативная почтовая служба» и др. рассказы	35
Вадим Керамов. «Все холоднее в полумраке...» и др. стихи	45
Полина Стрелкова. Роза. Стихи	47

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Как я коллег Слаповским рассмешил	209
--	-----

ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ

Разговоры с Андреем Пермяковым (Леонид Костюков, Евгений Степанов)	211
---	-----

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Голубович. «Традиция трэвелога нова в России...».....	225
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алексей Александров. Дыханье воды	231
Сергей Слепухин. Лунная неурядица	232
Роман Арбитман. Право силы и сила права	234
Олег Рогов. Закрытая страница	236
Сергей Трунев. «Жанр патографии живуч...»	237
Олег Рогов. Индикатор для общества	239
Сергей Трунев. Нескучная биография	240

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. «Нефть», «Катень» и «Шультеc»	241
---	-----

Сергей ШЕСТАКОВ

отражения

1

человек всматривается в окно,
за окном темно, начинается дождь,
человек думает: что за блажь, всё равно не придешь, почему же дрожь,
почему же дрожь, отболело, и всё равно
почему же дрожь, отболело, и всё равно
человек думает: что за блажь, всё равно не придешь, почему же дрожь...
за окном темно, начинается дождь,
человек всматривается в окно...

2

напиши на открытке, на чеке из булочной, напиши
хотя бы слово, одно какое-нибудь, например, «привет»,
пока не отняли карандаши, не отключили свет
последний, белый, пока мерцает еще в глуши
последний, белый пока мерцает еще в глуши,
пока не отняли карандаши, не отключили свет,
хотя бы слово одно, какое-нибудь, например, «привет»,
напиши на открытке, на чеке из булочной напиши...

3

снег засыпает улицы все, засыпает снег, засыпает сам
все тротуары, поребрики, всех обещаний хлам и прощаний хлам,
только и есть на свете, что тайный снег
снов этих синих, зелёных и карих всех
снов этих, синих, зелёных и карих, всех,
только и есть на свете, что тайный снег,
все тротуары, поребрики, всех обещаний хлам и прощаний хлам
снег засыпает, улицы все засыпает снег, засыпает сам...

18 коротких стихотворений о любви

1

она произносит: лес, – и он превращается в лес
с травой по колено, с деревьями до небес,

Сергей ШЕСТАКОВ родился в 1962 году, живёт в Москве. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Заместитель главного редактора журнала «Новый берег». Публикации в журналах «Знамя», «Нева» и др. Книга стихотворений «Непрямая речь» (М.: Водолей, 2007).

и входит она в свечение зелёных крон,
и лес обступает её с четырёх сторон,
она произносит: свет, – и он превращается в свет,
и нет никого на свете, и слова нет,
и облако белой глиной сворачивается в клубок
пока еле слышно она произносит: бог...

2

поздняя осень в венах шуршит, она
время сжимает, не разожмёшь без той,
что не спросясь входила в разрывах сна,
свет приводила солнечный на постой,
где вы теперь, весенние хохолки,
воды дрожат и ёжатся в родниках,
сердце глодают огненные хорьки,
красные листья не упадут никак...

3

смерть начинается в понедельник,
сладко потягивается, маленькая, саами,
у неё весёлый нрав, молодое тело,
хей, молодое тело, полосы от бретелек,
дёргает за плечо, смотри, где был ягель, теперь секвойя,
глядит по волосам, ластится неумело,
вглядывается журавлиными глазами,
летающими сквозь тебя, говорит: не сегодня...

4

господи, сделай так, чтобы она не снилась,
не брала за руку, не проводила пальцем по коже,
обрати меня в четвероокий, в четверорукий стилус,
только освободи, только не приводи ее больше, боже,
солнце остановилось где-то меж двух америк,
зябко расколотому надвое небосводу,
рыбы в рыбьей тоске выбрасываются на берег,
человек в человеческой медленно погружается в воду...

5

пока она произносит в трубку: не помню, уже давно,
человек на том конце провода становится декабрём, и, почувяв стужу,
его соседка в квартире слева захлопывает окно,
распускает волосы, приглушает свет, безмятежно мужу
говорит: какая ранняя в этом году зима...
пока не сойдут снега, они будут любить друг друга,
изредка вслушиваясь, как за стеною в квартире справа бормочет тьма,
или в очередь воет вьюга...

6

Олегу Левитану

нет никакого неба да и земли,
явь обрывается, свет забивается в щели,
губы остыли, звуки в себя ушли,
в порах пространства мы обитаем еле,
речь отщептала, отщепетал словарь,
время утешит медленная трехтонка,
только два тела вспыхивают, как встарь,
певчими половинками для дифтонга...

7

левая половинка лица от матери, правая от отца,
по линии, где они сходятся, разламываются сердца,
стою, держу своего осколки над головой
и думаю: ну и влип, японский городовой,
а ты берёшь их, склеиваешь, склоняешься надо мной
и шепчешь: вернётся светом, что было тьмой,
и вновь загремят на стыках скорые поезда,
и правая половинка станет твоей тогда...

8

спрашиваю: ты дух? – отвечает: дождь,
спрашиваю: ты дождь? – отвечает: камень, –
в белом саду, обещает, меня найдешь
у голубятни синей за облаками,
видишь, с семи холмов над равниной свет,
там и сойдемся мы на последней тризне...
что остается от жизни? – ответа нет,
что остается от смерти? – спроси у жизни...

9

Павлу Жагуну

припухлые губы, солёные сны, ледоход,
почти безнадежна зимы одичалой гримаса,
в бидоне молочника солнце, он думает – масло,
и нежный салат на углу зеленщик раздаёт,
как будто не с нами всё это, как будто не здесь,
где воздух венозен и щурятся вербы желтками,
белёсая мгла оседает, как мутная взвесь,
и пусто, и ясно, что это не здесь и не с нами...

10

это дерево называют гингго билоба,
каждый лист на нем перепонкой дрожит резной,
я смотрю на тебя всем телом, куда там в оба,
как, быть может, смотрел еще в мезозой
птерозавром, увальнем теплокровным,
выкликаю в птичьей своей тоске
эту песнь под тем же зеленым кровом
на понятном каждому языке...

11

ломкий весенний свет и прозрачный лес,
словно кувшин с разводами по краям,
словно от всех подарков, от всех чудес
дивных толика нынче дана и нам,
в небе прогалы, и половодьем снов
ночь омывает землю, пока взахлёб
губы, сияя, шептываются без слов
в плечи, предплечья, локти, ладони, лоб...

12

приходит с деревянным яблоком, протягивает ладонь,
шепчет: не бойся, ешь, оно уже хлеб...
лицо темноокое озеро балатон,
степная кожа, дикие пушты губ,
не боюсь, отвечаю, видишь, ведь я не слеп,
видишь, сердце моё скроено по тебе точь-в-точь,
ты мой приют, дуная хмельная глубь,
долгая нынче будет в карпатах ночь...

13

почки набухшие, мыльные пузыри,
охра и кобальт, сурик да киноварь,
сколько беспримесной радости у зари,
словно внутри уютного слова «встарь»,
в синие очи распахнута тишина,
снег одряхлел, но ещё не сошёл с лугов,
солнечным двоякодышащим у окна
сладко во сне посапывает любовь...

14

прошлое умирает исподтишка,
все мамелюки его, жалейки, дурные вести,
и неважно, чья легла на плечо рука,
лишь бы чья-то была, лишь бы только вместе,

то черёмуховым, то яблоневым крылом
над цветами белыми повилики
машет, машет в воздухе заводном
зверь летучий, дивный, двояколикый...

15

она рисует белого льва и сирень на дверце,
ладони ее подобны ливням, слова сетям,
а он человек с отвесной осенью в сердце,
и в каждом его зрачке молодой сентябрь,
он смотрит в неё как в воду и входит в неё как в воду,
она вдыхает его как воздух, и он обращается в воздух,
и руки их прозревают, и реки пересыхают, и тают льды,
и сон их белые оберегают львы...

16

сюда забредавшая осень казалась кромешной,
и не было сил отвести цепенеющий взор
от маленькой вестницы, зеркало взявшей с насмешкой,
чтоб гостью среди запустенья увидеть в упор,
заколку долой, и, как бабочки, пряди забьются,
и времени медленный мёд отблестит, загустев,
пока зачарованный вол улыбается с блюда
и с детской картинки поёт апельсиновый лев.

17

эти гласные и согласные, лина, такой изюм,
что встаёшь, отведав на ночь иных фонем,
с немотою в теле, блуждающей, как дум-дум,
и уже не помнишь, откуда ты и зачем,
и не знаешь больше, который язык родной,
и стоишь, и смотришь на волчью крылату сыть,
убирая из азбуки буквы по одной,
чтоб когда они кончатся, лина, заговорить...

18

кто берёт белила, кто грифель, кто школьный мел,
бренчит на гитаре, матом орёт благим,
звёзды достает с неба левой, потом правой рукой,
переставляет горы, путь указывает кораблю,
я прочиркал бы это в рифму, если б умел,
я бы это верлибром или дольником там каким,
прозой протяжной, такой вот проозой или другой,
но я не умею, просто шепчу: люблю...

Рассказы
Подрезка

Скажу вам так: ему невероятно повезло, что она спрыгнула с его балкона в 9 вечера. Он предложил ей поехать к нему, потому что жена была в командировке. Та согласилась. Я бы хотел видеть, что бы он объяснял своей Тане, если бы все это произошло посреди ночи! Часика так в два-три. Как она оказалась у них в квартире в это время? Что они делали? Пили чай? А-а, чай! Ну конечно!

А так все разлеглось просто, как по полочкам. Смотрите. Они оба играли в настольный теннис. Для него, в его 50, теннис был физкультурой и способом отвлечься от однообразия семейного счастья и работы судебного переводчика. А вот она в свои 25 якобы еще на что-то рассчитывала. В смысле спортивных достижений. Но тут, как назло, на их клубный турнир подъехали две совершенно непредвиденные китайки из Пенсильвании. У обеих рейтинг был за 2200, и они с треском поломали ее давнишний план войти в сотню лучших теннисисток Америки. Теперь добавьте сюда не проходящую неустроенность с работой и личной жизнью, о чем знали все в клубе, депрессию, и вот результат. И хотя кое-кто и мог бы внести большую ясность в ситуацию, но эти предпочли промолчать. Из мужской солидарности, так сказать. Если ее уже не вернуть, то зачем множить число пострадавших?

Прибывшему на место происшествия детективу это похотливое животное рассказало:

– Она была очень удручена поражением. Я предложил подвезти ее домой. Она живет на Брайтон-Бич. У нее машины нет. В клубе все подвозят друг друга после тренировок или турниров.

Детектив кивнула.

– По дороге она сказала, что ее тошнит и ей нужно в туалет. Мы как раз проезжали мимо моего дома. Я живу тут рядом. Я предложил ей зайти. Она согласилась. Когда я заваривал для нее чай на кухне, на улице кто-то закричал. Я вышел на балкон и увидел ее внизу. Она лежала там. Прямо под балконом. (Сплющенная, в центре кровавой кляксы.) Это было настолько невероятно, что я еще прошел по квартире, надеясь найти ее в одной из комнат.

– У вас были интимные отношения? – спросила детектив.

– Нет.

– Вы давно знали ее?

– Она появилась в нашем клубе около года назад.

– У нее были какие-то проблемы в личной жизни?

Он пожал плечами.

– Она не очень любила рассказывать о себе.

Что спасло негодяя с квартирой на 24-м этаже, так это вскрытие, не показавшее, что между ними была интимная близость. Секс. Отношения. Плюс – жилец соседнего дома, видевший роковой прыжок, подтвердил, что, кроме нее, на балконе никого не было. Что и позволило несчастной жене этого ласкового и нежного кобля принять всю эту липу на веру. Что, впрочем, не остановило ее от того, чтобы начать покупать воскресный выпуск «Нью-Йорк таймс» с увесистой секцией «Недвижимость». Кто захочет жить в доме, на котором стоит такая печать?

А теперь послушайте меня: и секс был, и были отношения. Была любовь. Не хотите слышать в данном конкретном случае слово «любовь», скажите – похоть. Действительно, что еще может

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ родился в 1958 году в Одессе. Работал в одесских газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации прозы: «Волга», «Октябрь», «Парус», «Столица», «Время и мы», «22», «Слово/Word», «Крещатик» и др. Автор трех книг прозы и очерков.

питать молодящийся 50-летний козел к женщине, которая вдвое младше него? Похоть, и только похоть, это непреодолимое, никуда не уходящее, изматывающее желание совокупляться, а не слушать вздохи с сопроводительным текстом об усталости, проблемах на работе, больших зубах, артрите и совершенно безобидной сонливости, вызванной, вероятно, переменной погодой. Не этот ли букет недомоганий питает своими фармакологическими ароматами тягу стареющего мужчины к свежей крови, нежной коже, губам, к этой подростковой неумимости, граничащей с полной бесчувственностью, к спорту ради спорта?

Между прочим, один раз его Таня тоже заметила, что не возражала бы прожить всю жизнь молодой, в смысле внешности, а в один прекрасный день просто не проснуться. А кто бы возражал, если только не считать всех этих медиков, фармацевтов, народных целителей, колдунов, диетологов, косметологов и обслуживающую их армаду специалистов по маркетингу и пиару, которые внезапно остались бы без копейки дохода вплоть до самого ухода из жизни с хорошо сохранившейся внешностью?

Но я отвлекся.

Нет, слово «любовь» хоть отчасти, а все же применимо к данным обстоятельствам, ибо его чувство к ней было рождено самой что ни на есть искренней жалостью, желанием укрыть нежную бедолагу в своих объятиях от напастей жизни, а главное – от таких же, как он сам, козлиц, норовящих использовать ее молодое тело по прямому половому назначению. И вот это – любовь. Что отличало его от них? Он был романтичен, они – циничны. Но это не имеет ровным счетом никакого значения, потому что конечный результат один и тот же – все уходит, а она остается, опустошенная и одинокая, у обгорелых обломков очередной надежды.

Она была откуда-то из-под Днепропетровска. Поселок городского типа – Хреново-Коленово. Назовем ее Олей. Его – Митей. Жену, как уже было сказано, звали Татьяной. Имена участников этих наполненных драматизмом событий, ясное дело, вымышлены. Какая, в конце концов, разница? Место и время действия – Нью-Йорк, 2007 год. Но начать надо из более отдаленной эпохи.

В конце 90-х прошлого века ее мамаша нашла по интернету какого-то отставного морского пехотинца, и тот забрал ее с дочерью то ли в Оклахому, то ли в Небраску. То же Хреново-Коленово, только на фоне полного товарного достатка и общей чистоты. Просторный дом, гигантский телевизор, гараж на две машины и бассейн с голубой водой, у которого можно прожить жизнь, так и не услышав человеческой речи, если не считать голоса Бритни Спирс или Кристины Агилеры по радио. Не слышали? Бритни – упитанная деваха со Среднего Запада с икрастыми ногами, крепким бюстом и склонностью выпить. Кристина – кривоногая глиста со Статен-Айланда, изображающая из себя мазафаканую суол-сысту из Ист Нью-Йорка. Но это так, между прочим.

До отъезда у Оленьки была простая русская фамилия Варламова, а после выхода мамы замуж за американца – Линкольн. Иван Тараканов уведомляет интересующуюся общественность о смене имени на Арнольд.

Детство, выпавшее на начало независимых 90-х, когда одни торговали природными ресурсами, а другие – последними штанами, осталось за спиной как страшный сон. Я видел потрескавшуюся черно-белую фотокарточку в ее альбоме. Съездившаяся от страха перед грандиозной индифферентностью окружающей среды девочка прижимает к себе негнущуюся куклу – единственное существо, не проявляющее к ней агрессивности. Сиротская кофточка с выглядывающим из-под нее круглым белым воротничком, клетчатая юбочка, грубые чулки в рубчик, сандалики с одинаковыми носками, где левый, где правый – хрен поймешь, испуганные глаза.

– Представь себе, мне было тогда лет семь-восемь, – рассказывала Оля, когда он подвозил ее на Брайтон-Бич, где она снимала квартиру. – Я приходила домой из школы, а мама лежала на диване лицом к стене и не шевелилась. Я говорила ей: мама, я хочу кушать. А она отвечала: пошла в жопу, жрать нечего!

Можно считать, что все началось с этого рассказа. С совершенно естественного порыва взрослого мужчины взять на руки незащищенного ребенка, закрыть дверь теплого дома и сказать, что

зимы, недоедания, плохой одежды и грязной ругани больше не будет. Но ребенку уже 25 лет, он окреп физически и приобрел черты привлекательной молодой женщины. Более того, пока жизнь несла эту молодую женщину на встречу с заботливым дядей, она успела кое-что повидать. И неспособность что-либо изменить в ее биографии, отмыть или подчистить несколько пятнышек, пока они еще не стали доминировать в портрете, еще больше усугубляет чувство жалости к ней.

Да, но нужна ли ей эта жалость? Жила же она как-то и без нее! Сперва на родине, потом в этой своей Неблахоме с бассейном и, наконец, здесь, в Бруклине.

Говоря языком настольного тенниса, она была защитницей. На нее нападали, она отбивалась. У нее была очень стабильная подрезка, и она могла играть так подолгу, выжидая момент для завершающего удара. У нее была очень гибкая кисть и очень тяжелая ракетка «Гергели». Принять такой удар, обычно направленный в центр стола, было сложно. Но справа она просто отбрасывала мяч, что было удобно партнеру для отработки топса. Это и сблизило ее с Митей. Она набрасывала, он отрабатывал топс. Когда у него не получалось, он говорил: «Яп-понский бог!», а она собирала пухлые губки в недовольную трубочку и поднимала ниточки выщипанных бровей, словно говоря: «Ладно, схожу за шариком еще раз, такая уж моя доля». Ему редко удавалось выиграть у нее. Но он был начисто лишен спортивного азарта. Ему нравилась пластика игры, в которой он видел своего рода изощренный танец. Как любил говорить один большой тренер иммиграции – Б. А. Табаровский: «Играют в настольный теннис руками, а выигрывают ногами». Он тоже кого-то цитировал, но для нас это неважно. Главное, что двигаться надо было действительно много и быстро, переходя из одной позиции в другую, что позволяло ему не набирать вес. Еще одна забота стареющего мужчины.

– А где был твой папаша? – спросил он.

В машине, катившей по ночной Оушен-парквей, повисла пауза.

– Он умер.

– Отчего?

– От передозировки героина.

Они проехали авеню O, P, Q, R, S, T, Quenteen Road, Kings Highway и остановились на красный свет на авеню U, где из его возобновившихся вопросов и ее убийственно прямолинейных ответов возникла картина совершенно беспросветной провинциальной жизни: садистские издевательства одурманенного наркотиками отца над преданной ему по-собачьи матерью; дядя, осужденный за убийство любовника жены; похороны деда и бабки после инфарктов, до которых их довели, предварительно обобрав, дети-наркоманы; чудовищная нищета.

Единственным светлым лучом в этом темном полотне были посещения секции настольного тенниса, куда мать отвела Оленьку, чтобы только не видеть глаз вечно голодного ребенка, не слышать вопросов, постоянно напоминавших ей о ее материнской несостоятельности.

Легче всего списать все на социальные условия, но можно сказать, что за безразличием к дочери стояла слишком большая любовь к мужу. Он был содержанием ее жизни, а Оленька – так – побочным эффектом. Она подзалетела. Он – водитель-дальнобойщик – гулял, как последняя собака. Она решила, что ответственность за ребенка удержит его дома. Ага, сейчас! Пусть еще скажет спасибо, что он тушил окурки только об нее, а не о новорожденную.

Оленька была слабой девочкой, отсюда и отсутствие сильного наката справа, тем более топса. Тренер, понимая ее семейное положение, посылно заботился о ней. Мог, например, позвать к себе в кабинет после тренировки и дать сдобную булку со стаканом молока. Также оберегал от агрессивных старших детей и вообще уделял чуть больше внимания, чем другим, видя в этом свой долг педагога, просто нормального мужика и честного коммуниста вплоть до 1991 года, когда его партию распустили за ненадобностью. Благодаря этой опеке в ее характер раз и навсегда вошла тяга к мужчинам, годившимся ей в отцы. Молодые могли обидеть и посмеяться, но не защитить и не накормить. Сила и забота стали ассоциироваться у нее с возрастом, что было, конечно, ошибкой. Трезвая расчетливость свойственна зрелости в той же мере, в какой доверчивость и бескорыстие свойственны молодости.

После того разговора в машине Митя попрощался с ней довольно сухо. Ему надо было переварить услышанное. Оля выросла в среде с сильным уголовным влиянием, что не могло не сказаться на ее характере. Наследственная гнильца в крови должна была неизбежно проявиться не в одном, так в другом. Яйцо от курицы недалеко падает. Это с одной стороны. С другой стороны, она была необычайно привлекательна. Когда она появлялась в зале и, стуча каблуками, направлялась в раздевалку со своей большой спортивной сумкой на плече, его охватывала слабость. И он был не один, провожавший ее беспокойным взглядом.

Как это по преимуществу случается, женская привлекательность нанесла сокрушительное поражение мужскому здравомыслию. Митя отодвинул все негативное на самый дальний план своего сознания, откуда оно не могло бросать тень на ее упругие ягодицы и ноги с четко обрисованными икрами и очень изящными лодыжками. Грудь у нее была крохотная, но замечательной формы – два упругих полушария четко читались под тканью футболки с эмблемой Butterfly. Бабочка. В игре она, бывало, подпрыгивала за высоко отскочившим от стола шариком, разбрасывая в прыжке ноги и руки, как бабочка. В этот момент из спортсменки она превращалась в актрису. Она и хотела стать актрисой, даже посещала какую-то студию. А к чему еще могла стремиться приехавшая в Америку девочка из ПГТ Хреново-Коленово, если не к карьере голливудской звезды? Кому, как не рожденному и выросшему в самых нелицеприятных обстоятельствах, хочется взлететь на самый верх, где на него будут обращены юпитеры, объективы и взоры всех тех, кто пьет шампанское и ездит в красных ламборгини по раздолбанной брусчатке Митпэкинг дистрикта?

Приехав в Нью-Йорк, она поселилась на Брайтоне, записалась на какие-то краткосрочные курсы актерского мастерства, несколько раз снялась в рекламных роликах на местном русском телеканале и время от времени пела в русских ресторанах, где ее обычно оттеснили на второй план более голосистые или более нахальные дарования. Иногда она получала работу манекенщицы, но из-за невысокого роста – 5,3 – ее карьера в этой сфере развивалась тоже не очень стремительно. Большею частью она курила у телевизора в своей отдраенной до блеска квартирке, ожидая звонка, который должен был изменить ее жизнь.

Иногда она на неделю-другую исчезала из клуба. О ее возвращении возвещал энергичный стук каблуков. Она шла мимо столов, великолепные ягодицы двигались влево-вправо, разбрасывая в стороны полы платья. Вы бы видели ее платье! Мое любимое – приталенное, в красную клетку. Ансамбль включал темно-красные туфли на высоченных каблуках от Стивена Мэддена, белые носочки с красной отделочкой и две короткие косички с бантами. Эдакая послушная девочка из немецкого художественно-порнографического кинофильма, игрушка в руках группы извращенцев из числа бывших лагерных надсмотрщиков. Упомянувшаяся выше большая черная сумка, тоже с эмблемой Butterfly, наполнена инструментарием ее ремесла: ручные и механические дылды, кнуты, кляпы, кожаные маски и гестаповская фуражка с черепом и костями на околыше. За неимением другой постоянной аудитории, она стяжала славу у коллектива потных физкультурников, усердно отдававших друг другу расхлябанные пионерские салюты у синих стиговских столов.

Яркая демонстрация женских достоинств в мужском коллективе дала вполне предсказуемый результат. Ее любовником стал самый состоятельный из этой труппы полуспортсменов – гастроэнтеролог Паша Матлин. У Паши была налаженная практика, жена, двое детей, выплаченный особняк на Манхэттен-Бич и своя яхта, где по выходным он принимал всех, кто хотел его по любви, а если не было тех, кто хотел по любви, так он вызывал тех, кто хотел за деньги.

Один раз я, интереса ради, открыл местный телефонный справочник, насчитав в нем 80 страниц рекламы эскорт-сервисов. 80 страниц!

«Изысканные азиатские, латиноамериканские, скандинавские и русские леди охотно проведут вечер с джентльменом. Возможно бронирование мест в первоклассных гостиницах и ресторанах, заказ лимузина и билетов на бродвейские шоу». А потом, ясное дело, сосать, сосать и еще раз сосать! Причем, как правило, безо всяких там первоклассных гостиниц, ресторанов и бродвейских шоу. Цены ясны, задачи определены, за работу, милая леди! И скажи еще спасибо, проститутка, что тебя вызвали на красивую яхту, а не в мотель с тараканами под подушкой! Плюс

не забудь при случае поставить свечку своему этническому богу за то, что ты обслуживала лицензированного врача, а не нелегала из Гондураса с такой болячкой, по сравнению с которой и последняя стадия сифилиса покажется насморком!

О ее связи с гастроэнтерологом Митя догадался, заметив, как привычно она ставит свою сумку на заднее сиденье его лексуса. Какое ему было до этого дело? Что его, женатого человека, могло связывать с ней, кроме тренировок да нескольких разговоров, которые никого и ни к чему не обязывали? Он спросил, она ответила. Она попросила, он подвез. Спасибо. Не за что. Вот и все. Ну и еще красивая жопа, ноги и каблук. Только кого этим удивишь в восьмимиллионном плавильном котле под названием Нью-Йорк? Интересующийся может спуститься в сабвей и через час выйти оттуда с женщиной своей мечты. Если она, конечно, не станет возражать.

Можно только удивляться, что, располагая таким колоссальным выбором, мужчина полностью отказывается от поиска и хватается за ту, которая чаще всего появляется в поле его зрения. Но можно и не удивляться. Время такое. Романтику рыцарских времен с выездом за ворота замка в красивых доспехах для спасения несчастной красавицы из лап дракона сменило тупое хождение в офис с восьмичасовым сидением перед компьютером. Такое расписание и самого завязатого рыцаря превратит в инертную домашнюю скотину. Поэтому, как выглядит мельтешащая перед глазами наживка, не имеет значения. Главное мельтешить подольше, чтобы на нее обратили внимание и успели возбудиться. Дальше вся надежда на природу – воспламененное дурной плотью сознание легко дорисует недостающее.

И кто-то еще жалуется, что у нас такое количество разводов и несчастливых браков! За сексуальным насыщением следует неизбежное отрезвление и вопрос: «Мама моя родная, как же это меня так угораздило?»

У злорадных украинских девок на этот случай припасена народная мудрость: «Бачылы очи, що купували!» В том-то и дело – нэ бачылы!

Лет за 25 до описываемых нами событий тот же самый Митя великолепно описал этот оптически-эротический феномен с помощью другой, расхожей в его родной Одессе фразы:

«Так трахаться хочу, – сообщил он группе товарищей у пивного ларька на пляже «Аркадия», который просто-таки кишел юными девами, – что на глаза не вижу!»

Перевод для интеллигентного читателя: похоть ослепляет.

В отношениях Оли с гастроэнтерологом Митю вывела из себя банальность ситуации – эффектную молодую женщину купил самый состоятельный из них. Он отказывался видеть в их связи что-либо основанное на чувстве, отказывался признать, что богатые, так сказать, тоже плачут. И если раньше он действительно жалел ее в связи с обстоятельствами ее детства, то теперь ему казалось, что он жалеет ее в связи с неспособностью найти достойного мужчину, который бы увидел в ней человека, а не сексуальную игрушку. На самом деле он просто ревновал ее. Вождедел до такой степени, что видел во сне. Сколько раз он совокуплялся с ней мысленно в сладкой утренней дреме – не сосчитать.

Так прошло месяца два. За это время яд мнимой жалости окончательно заполнил его сердечно-сосудистую систему, исподволь подготовив к новому этапу отношений с ней. От этого этапа его отделял только случай, и он не заставил себя ждать.

Как-то он зашел в книжный магазин на Брайтоне и столкнулся с ней. Сначала он не узнал ее. Никакой косметики. Широкие брюки и блузка из черного трикотажа. Черные замшевые тапочки. Светло-соломенные волосы туго затянуты в узел на затылке. Чудесные карие глаза. Четко очерченный античный носик работы украинского скульптора. Заметив его, она неожиданно шагнула к нему и обняла его. Он с удовольствием прижал ее к себе. Талия у нее была совершенно миниатюрная.

– Что ты тут делаешь?! (де-еалаешь?!)

– Да так, пива зашел выпить.

Она, кажется, не поняла, что он сказал.

– Хочешь посмотреть какие-нибудь книжки? Мне совершенно нечего читать!

Они походили среди стеллажей. Она купила «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, а он – «Возможность острова» Уэльбека. Интересный выбор, согласитесь! В нем так точно отразились неприкаянное одиночество ее молодости и его последний порыв к активной сексуальной жизни!

Но порыв – одно, а реальные возможности – совершенно другое! Завязывая отношения с молодой женщиной, зрелый мужчина больше полагается на небольшой арсенал тех достоинств, которые смогут компенсировать нехватку энергии. Первое достоинство в списке, конечно же, наличие свободных денег. Рестораны, дизайнерская одежда и ювелирные изделия прекрасно действуют на тупоголовых дочерей медиков, юристов и международных бизнесменов. Для этих дебелых коров расходы на них – единственное понятное им проявление сексуальности. За карат такая высосет из тебя спинной мозг. При толике интеллекта у дамы и ограниченном бюджете кавалера хорошо работают тщательно отрепетированные истории из собственной жизни или жизни приятелей. Молодая любовница – свежий и потому благодарный слушатель, которому можно пере-сказать все то, что у домашних вызывает только кривые усмешки, закатывание глаз и реплики типа «Опять 25!» Да, но 25 раз рассказанная история, с подправленным сюжетом и интонационно отработанной ударной концовкой, в 26-й делает тебя интересным мужчиной, великолепным рассказчиком, артистом!

Иракий Андроников рассказывает, а потом трахает! В отличие от безмянного юноши, который трахает два-три-четыре раза, сцелив зубы и не вымолвив ни единого доброго слова.

Они вышли из магазина, каждый со своей желтой пластиковой сумочкой. Был очень теплый майский день. Он предложил ей пойти на пляж, до которого было рукой подать. Она согласилась. Ей явно нечем было заняться. Ему ужасно понравилось то, как она безо всяких колебаний уселась на песок, нимало не заботясь о сохранности своего костюма. Это было так непохоже на его жену, которая относилась к вещам с патологической бережностью, независимо от их стоимости. Крохотная зацепка могла испортить ей (и соответственно ему) настроение на весь вечер.

Волна тихо шлепала о берег. Невдалеке на легкой ряби появлялись солнечные блики, еще дальше они множились, множились и под конец сливались из отдельных сполохов в слепящее поле, я извиняюсь, расплавленного серебра.

– Ну, давай, рассказывай что-нибудь, – сказала она.

– А что ты хочешь? – для порядка поинтересовался он.

У него было на выбор штук пять историй, но вопрос предполагал последующую демонстрацию дара блестящего импровизатора.

– Что-то повеселее.

– Так, значит, повеселее, – он внутренне рассмеялся, поскольку историю, которую намеревался рассказать ей, услышал от ее же любовника, только добавил к ней анекдотическую концовку.

– Ну, слушай. У меня есть один приятель. Назовем его Мишей. Врач. Часто задерживается на работе, главным образом потому, что домой не торопится. Жена тоже не сильно по нему скучает, но для порядка попиливает. Не столько даже попиливает, сколько напоминает, как она к нему относится. Пользуется она для этого всего двумя репликами. Если он приходит до 12 часов ночи, то она ему говорит: «Пьяница!» А если после 12, тогда так: «Блядун!» Он, знаешь, заходит, в гостиную, а она ему с дивана: «Блядун!»

Один раз он подвезжает к дому где-то так без трех минут 12 и думает: дай проведу эксперимент. Выкурил сигаретку, заходит. На часах две минуты первого. Она, естественно: «Блядун!» А он ей: «Соня, ну подумай своей головой, ну сейчас только две минуты первого, ну что я мог успеть за две минуты? Ну, ты же меня знаешь! Что я могу сделать за такой короткий период времени?» Она выслушивает его, потом с омерзением: «Импотент!»

Вместо смеха раздалось ритмичное жужжанье ее мобильного. Она достала его из сумки чер-ный голыш и приложила к уху. Послушав, сказала:

– I'm sorry, I can't talk right now. I'll call you later, OK?

Спрятав телефон в сумку, она улыбнулась немного рассеянно, словно извинялась за то, что ее отвлекли.

– Хочешь, пойдем в «Татьяну», выпьем по бокальчику белого? – спросил он.

Они находились прямо напротив ресторана. Она покачала головой.

– Я сейчас не пью.

– Сейчас? А почему?

– Принимаю таблетки.

– От чего?

– От депрессии.

– Дела-а... А отчего у тебя депрессия?

Последовавшее объяснение неожиданно порадовало его. Депрессия была вызвана тем, что конь, на которого она поставила весь запас своей эмоциональной энергии, не просто не добежал до места, которое она обозначила в качестве финиша, но сбросил ее на полдороге и еще лягнул под зад, да так, что она, как говорится, летела дальше, чем видела.

Конь был гастроэнтерологом Пашей Матлиным. Как говорят наши англоязычные соотечественники, он купил молодую женщину за песню. За песню о старой мегере-жене, которую не выносил на дух и давно мечтал бросить. Эта вечнозеленая мелодия джаза произвела требуемый эффект: умозрительно Оля тут же заняла место отправленной в отставку мегеры и отдала свое молодое тело в полное распоряжение врача, который незамедлительно поставил его в позу «мама моет палубу» – они встречались на его белоснежной яхте. Но продолжалось это мытье недолго, поскольку Паша не привык к однообразию. Однообразия у него и дома было хоть отбавляй! Короче, как говорят моряки, поматросил он ее и бросил.

Было ли ей хорошо с ним, перед тем как они расстались? Я имею в виду не только в те моменты, когда она видела себя в большом доме на Манхэттен-Биче с видом на океан и всеми вытекающими из Паши последствиями. Нет, я имею в виду другое – как она чувствовала себя не в мечтах, а в их реальных отношениях? В постели, например? С пожилым пузатым мужиком, я имею в виду, красящим редеющие волосы в красивый каштановый цвет?

Скажите мне, если я ошибаюсь, но мне кажется, что в любых, самых циничных связях есть момент неподдельной близости, родства и обещания стабильности. Вот она отдыхает на мягкой постели, а он – в ванной комнате, откуда до нее долетает шум воды. Вот он выходит, обтираясь полотенцем, и уступает ей ванную. Опираясь на его руку, она поднимается. Эти минуты ее жизни имеют прошлое и будущее, просто она еще не знает, что отпущенное на него время уже начало стремительно сокращаться. И если сегодня он еще вернется к ней в постель и поцелует в плечо или положит свою тяжелую от железных зубов голову на ее нежную грудь, то еще десяток встреч – и ее обожжет, как ударом хлыста, фраза с порога ванной: «Ну что, по домам?»

Откуда у девочки депрессия? Отсюда! Берешь трех таких гастроэнтерологов, а четвертым уже должен быть психотерапевт. А еще лучше – психиатр с правом выписки рецептов на сильнодействующие препараты. В наши дни торжества фармакологии над аферистами, выдававшими себя за психоаналитиков, самое большое доверие вызывает «Прозак» и аналогичные средства, единственным побочным эффектом которых может быть склонность к суициду. Ну и еще эта легкая рассеянность, чувство отстраненности от жизни, вызванное тем, что человек помещен за прозрачный барьер химикатов, предохраняющих от душевной вовлеченности в отношения с окружающими его циничными хищниками и поэтами-романтиками.

Это был еще один ключевой момент в ее отношениях с Митей. Прекрасно понимая природу ее связи с гастроэнтерологом, этот самодетельный спасатель решил окружить ее теплым человеческим (в смысле своим) вниманием, показать ей другой тип отношений. Гуманных.

Работа судебного переводчика оставляла ему бездну свободного времени, поэтому он легко выкроил целый день и предложил ей съездить в Метрополитен, где за семь лет жизни в Нью-Йорке она не была ни разу. Ее кавалеры предпочитали водить ее по стриптиз-клубам, мотелям и яхтам. Прямым ходом он провел ее мимо греческих черепков и игрушечных скульптурок в Египетский зал. Сложенный из огромных блоков храм Дандур стоял, облитый рассеянным светом, в центре гигантского стеклянного парника. Шеренга черных собакоголовых воинов охраняла

подход к нему. Павильон произвел на нее сильное впечатление. И он тут же умело закрепил успех бокалом шампанского и чашечкой эспрессо. Потом он показал ей свою любимую (единственно любимую) работу Ренуара из коллекции братьев Кларк – девушку в сине-красном платье и несколько работ Вийяра, которые она, кажется, не поняла. Потом он провел ее к работам Бальтуса, двусмысленность которых она оценила моментально. Он еще показал ей несколько любимых полотен Пикассо и Мунка, но заметил, что она устала и картины на стенах слились для нее в бессмысленный поток цветowych пятен. Он отвез ее в «Сэтте» на Седьмой и 21-й, где, заняв столик на тротуаре, они выпили бутылку шабли, отлично сопроводившую сизар-салат с пармезанским сыром и приготовленных на гриле гребешков. На обратном пути в Бруклин они попали в вечерний трафик, но он наслаждался каждой секундой неторопливой, газ-тормоз, газ-тормоз, поездки, присутствием рядом молодой, очень привлекательной женщины, явно получившей удовольствие от культпохода к обеду и вином, которое разморило ее на тихом майском солнце, сделало мягкой, податливой, невероятно женственной.

С замирающим сердцем он замечал, как бросают на него и его спутницу взгляды из проезжающих мимо машин, как дополняет и украшает их его серебристый бимер 325i, который, положив руку на сердце, он хрен бы купил без зарплаты своей Татьяны. К слову сказать, в данный конкретный момент та ехала домой в вагоне подземки, сосредоточенно заполняя цифрами сетку sudoku и даже не догадываясь, как содержательно проводит время ее муж. Ах, Татьяна, если бы не твоя успешная карьера архитектора, чем бы сооблазнял молодых девушек твой Митя? Я имею в виду какой автомашиной? Я готов составить список: «Мазда-3», «Тойота-Королла», «Хонда-Сивик» и «Нисан – какой кошмар – Сэнтра». С белоголубым значком «БМВ» он смог бы купить на свои трудовые только велосипед. Тоже, надо сказать, непозволительная роскошь при таком широком ассортименте прекрасных велосипедов по 150-200 баксов!

Когда они подъехали к ее дому, она, положив свою руку на его, так просто предложила зайти к ней, что он не устоял. Никто бы не устоял. И она отблагодарила его совершенно искренне тем единственным, чем могла отблагодарить.

В полумраке комнаты она сняла с себя майку и бросила ее на кресло. Потом растегнула его рубашку и, сняв ее, прильнула к нему своей замечательной грудью. Постояв так, словно свываясь с ощущением возникшей между ними близости, она подняла голову и поцеловала его в губы.

Когда-то давно, когда он отвозил ее домой, разговор зашел об интимных отношениях.

– Никакой секс, – заметил он, – не сближает так, как прикосновение губ.

– Ты мне говоришь! – вздохнула она.

Он достал из заднего кармана джинсов заготовленный пакетик «Дурекс», но она тут же отобрала его и отбросила в темноту.

– Даже не думай об этом!

Погрузившись в нее, он испытал настолько полное ощущение единения с ней, как будто она приняла его каждым изгибом своего тела, своих мягких белых бедер, плеч, рук.

По этому случаю вспоминается одна американская мудрость: ничто не занимает так мало времени, как половой акт, и не имеет таких продолжительных и тяжелых последствий! Если вы скажете мне, что в свои 50 он не понимал, что делает, то вы будете обманывать себя так же, как обманывал себя этот страус. Один раз она лежала (на смятых простынях), а он, легко касаясь ее совершенно шелковых плеч своими седеющими усами, посетовал:

– Дорогая моя, я отношусь к самому хреновому типу любовников. Мне нужно быть дома ровно в одиннадцать. В противном случае меня просто поставят к стенке и расстреляют.

– Останься, – спокойно ответила она. – Я спасу твою жизнь.

Но до этого не дошло.

Этому гуманисту не хватило цинизма, который, может быть, и не уберег бы ее от очередного курса лечения, зато сохранил жизнь. Он продолжал выкраивать для их встреч целые дни или подменять ими вечерние тренировки, а по ночам до изнеможения мечтал о том, чтобы как-то, хрен его даже знает как, сделать Олю и Татьяну подругами и любовницами, от которых бы у него

не было никаких тайн, и он мог бы до конца дней наслаждаться их общим хозяйством на троих. Или, по крайней мере, до тех пор, пока не встретил бы очередную пассию. И пусть бы эта встреча снова не принесла никому огорчений! Пусть бы им всем снова было хорошо, и пусть бы они жили теперь вчетвером, если только у этого любвеобильного бабуина хватило бы здоровья на окучивание своего цветника!

О силе Митиных ночных фантазий можно судить по вопросу, который он, наконец, решился задать Татьяне. Не помню под каким соусом, но он поставил перед отправкой в постель порнофильм «Бразильские змеи», где довольно морщеватая, в связи с выслугой лет, команда культуристов терзала группу молоденьких девушек по одной и той же схеме: оральные секс, банальный секс и анальный секс с финальным разбрызгиванием спермы возле широко раскрытого рта.

Да, так вот, в процессе просмотра очередной сцены, когда нежные лепестки вагины одной из героинь, широко раздвинувшей ноги, были открыты взгляду зрителя (главный герой в это время трудился над другим нежным местом), Митя спросил Татьяну – могла бы она поцеловать такие лепестки?

Он замер в ожидании ответа, но Татьяна не торопилась, поскольку в это время напряженный сюжет сделал новый поворот. В кадре появилась еще одна девушка, которая, словно торопясь ответить на вопрос из аудитории, стала делать именно то, о чем только что Митя спросил Татьяну. Худенькая шатенка с короткой стрижкой отдалась своему занятию с таким энтузиазмом, что только самый бесчувственный зритель не смог бы отметить мастерства режиссера, актеров, оператора и всей остальной труппы, включая поставщика кокаина, без которого, говорят, такие съемки не обходятся.

Отложив книжку с задачами sudoku, Татьяна не без интереса наблюдала за происходящим. У нее были замечательные седые волосы, с которыми великолепно сочеталась красная оправа очков от Алана Микли.

– Слушай, – она пожала плечами. – Ты хочешь, чтобы я сменила профиль? Боюсь, что я немного опоздала!

Он представил статью в «Нью-Йорк Пост» под заголовком «Два по 50 и еще 25 в одной постели. Менаж-а-труа по-русски». И сопровождающие историю снимки: двое пожилых людей, направляющиеся к остановке сабвея, у входа в который их подстерег фоторепортер, и отдельно – Оля, пойманная им же часом позже, когда она вышла из дому (из их дому), чтобы совершить утреннюю пробежку по парку. Светло-серые рейтузы, голубой тэнк-топ, кеды, узкие солнцезащитные очки, туго стянутые на затылке волосы.

Попытка воплощения в жизнь его ночных фантазий с треском провалилась. При этом мы еще не разбирали вопроса, как его Татьяна могла бы оценить внешность Оли. Немаловажный фактор в установлении интимных отношений. Я вам скажу как: «Мандавошка с порочным лицом». Она была абсолютно безжалостна к потенциальным соперницам.

Очень скоро после того, как Оля стала его любовницей, он обратил внимание, как изменилось ее поведение. Возможно, именно благодаря ее артистическому дарованию, которое пока не дало ощутимых результатов ни в какой другой сфере, кроме сферы их отношений, она вела себя так, как это было приятно ему. После пятничных тренировок с подюжины игроков оставались в клубе допоздна, чтобы распить бутылку коньяка, и в этих застольях часто звучали шутки, от которых Митю коробило. Если еще недавно Оля громко смеялась над скабрзностями, то сейчас едва кривила уголок губ, давая понять, насколько едины они в оценке пошлости, насколько отстранены от остальных в своем тайном, как им казалось, союзе.

Ерунда, конечно. Все всё знали, но деликатно не показывали виду. Гастроэнтеролог, который, с одной стороны, был рад тому, что Митя избавил его от никчемной обузы, не мог не испытывать естественных уколов ревности, подпитываемой видом и голосом мегеры, по-прежнему встречавшей его после тренировок и каботажных заплывов со следами помады на трусах.

– Блядун явился! – негромко, но вполне отчетливо говорила она, едва он открывал дверь их особняка на Манхэттен-Бич.

Блядун стоял у двери со спортивной сумкой, а мегера полулежала на белом кожаном кресле, бледная, бесформенная, с несмываемой печатью боли и раздражения на поношенном лице. Что, скажите мне, могло помешать ему вообще не открывать дверь этого дома? А так, постоять на крыльце, покручивая на пальце брелок с лексусовским логотипом, а потом вернуться к машине и поехать на Брайтон. Думаете, она не приняла бы его?

Посмотрите на нее: вот она сидит с тонкой сигареткой «Капри» у открытого кухонного окна. За ним – кирпичный колодец, с мрачного дна которого виден темно-синий квадрат неба, перечеркнутый в нескольких местах электрическими проводами. В желтых окнах напротив соседи доживают свой день.

- Юля, ты хлеб купила?
- Ой, Толя, забыла!
- Хоть домой не приходи, блин!

Думаете, увидев на своем пороге Пашу, явно сделавшего в эту ночь свой выбор, она не пропустила бы его? Думаете, она бы начала вспоминать обиды или прикидывать, кто ей милей – он со своими красивыми каштановыми волосами, или Митя со своим замечательным музеем? Я вам даю гарантию, что в этот момент для нее не имело бы решительно никакого значения, кто именно возник перед ней: Паша, Митя, Вася, Петя, Коля... Выбравший ее получает все!

Впрочем, может быть, я идеализирую ее. И потом, Паша все равно никуда не поехал. Его сдержал тот самый дом, который, с одной стороны, не знал семейного счастья, а с другой, был выплачен и стоил хороших два с половиной лимона, которые на дороге не валяются. Эта мысль заслонила другую – о том, что эти два с половиной лимона унести на тот свет нельзя. Что туда отправляются налегке, а если и есть какая-то разница в весе при транспортировке, так она определяется только весом гроба.

Если бы в основе Митиногo стремления к Оле лежал только сексуальный интерес, то их роман уже начал бы остывать. Но его отношение к ней питалось еще одним чувством – мучительной ревностью, порожденной незнанием того, что происходит в ее жизни, когда он уходит из нее.

Он знал, что иногда она пела в ресторанах. Но она шла на работу после 10 вечера, когда он уезжал от нее домой. Пойти, послушать, как она поет, посмотреть, как выглядит на сцене, он не мог, а она и не приглашала его. Это была ее другая жизнь, не имевшая никакого касательства к их отношениям. У нее было удивительное свойство – она точно и лаконично отвечала на любой вопрос, но никогда не рассказывала о себе просто так, из желания поделиться своей историей, как это бывает у людей близких или стремящихся установить близость. Эта прямолинейность заставляла его избегать вопросов, которые могли открыть ее в таком ракурсе, в каком он видеть ее не хотел. И все же, он раз не сдержался, выдавив из себя заготовленный текст, замаскированный под невинное наблюдение:

– Иногда, когда я смотрю, как ты идешь по залу с сумкой, такой, знаешь, широкой походкой, я думаю, что так ходят по подиуму в стриптиз-клубах.

- Я два года работала в стриптиз-клубе, – спокойно ответила она.
- Когда?
- Когда приехала в Нью-Йорк.
- А зачем?
- Зачем? Ну, где-то мне надо было работать!
- А почему ушла?

Внутри все сжалось от ожидания ответа, что, мол, не ушла.

– Почему? Ну, потому, что на подиуме ты ничего не зарабатываешь. Деньги делаются в Champaign Room или в соседнем мотеле.

Этот разговор наповал убил его желание выяснять другие подробности ее жизни. Как, например, такую: на каком этапе трудовой биографии экзотической танцовщицы она приняла решение не ходить в отдельные, так сказать, кабинеты? Что заставило ее принять такое решение? Какой опыт? Но интерес продолжал мучить его и этим продлевал тягу к ней.

Из-за встреч они стали реже ходить на тренировки, но соотношение их сил оставалось прежним. Если ему и удавалось выиграть у нее одну-две партии из десяти, то лишь тогда, когда она теряла интерес к игре. Один раз наблюдавший за их игрой ювелир Миша Кац, который в юности был то ли чемпионом Гомеля, то ли чемпионом всей Белоруссии, сказал ему:

– Митя, ты не можешь играть в теннис, рассчитывая только на технику, которой у тебя к тому же нет. Противника надо обманывать. Ты ей подрезаешь все время одинаково. Возьми и пару раз просто отбрось ей шарик, как если бы ты подрезал, а на третий раз запили его посильней. Если она этого не заметит, то шарик у нее полетит в сетку, а если заметит, то она его поднимет. Тогда ты ударишь.

Митя подал с легкой нижней подрезкой, и она вернула ему шарик в дальний левый угол. С такой же легкой подрезкой он вернул ей шарик, и она отбросила его в дальний правый, по своей схеме гоняя противника по краям стола. Когда шарик вернулся к нему в очередной раз, он коротким, но очень резким кистевым движением запил его. Она, ожидая этого, подбросила мяч так высоко, что он вылетел за стол. Все трое засмеялись.

– Вот это была настоящая подрезка! – сказал Миша, довольно потирая седую бородку. – Твои ходы должны быть неожиданными, а она тебя читает как открытую книгу. Хочешь выиграть, придумай что-то!

Миша говорил с дефектом: хофешь выигвать, пвидумай фто-то.

Он так и не придумал, потому что она была внимательным и осторожным игроком, редко повторявшим свои ошибки.

Когда Оля сказала Мите, что у нее появился молодой ухажер, он подумал, что она просто пытается оказать на него давление. Мол, спрос на меня есть, так что ты реши: или туда или сюда, а то газ выходит.

– Кто же этот счастливчик? – поинтересовался он.

– Мальчик из нашего дома. Пригласил в кино.

– А ты?

– Я спросила, сколько ему лет. Он сказал 21. Тогда я ему сказала, что он еще маленький. А сегодня утром я открыла дверь и обнаружила на ручке сумку, в которой лежал плюшевый мишка.

– Молодые любовники – самые благодарные, – сказал он, тут же подло подумав, что не прочь передать принятую от гастроэнтеролога эстафету.

И совсем не потому, что устал от нее. Нет, он просто начал бояться. У него возникло ощущение, что он так долго и успешно обманывает Татьяну, что уже просто пора на чем-то проколоться, и он непременно проколется, потому что правда выскакивает наружу всегда, и всегда неожиданно. Как прыщ. Например, их увидит вместе кто-то из их с Татьяной знакомых. Или же он назовет случайно Татьяну Олей, или же Оля случайно позвонит ему, а Татьяна возьмет трубку. Или же Татьяна найдет в его машине ее светлые волосы и спросит, откуда они. Не будучи умелым вралем, он покраснеет и начнет лепетать что-то невразумительное, что вызовет новые вопросы и в конечном итоге скандальное признание с тяжелыми последствиями. Он, между тем, не хотел терять ее. Она была его единственным родственником, родственной душой.

Что интересно, этот, потомственный, я извиняюсь, интеллигент не говорил себе, что боязнь разоблачения является главной причиной его желания смотать удочки. Нет, он начал мучиться осознанием собственной вины за то, что его изначально такой благородный план привел его совсем не туда, куда он собирался попасть. Бог мой, до чего я ненавижу этих постоянно вздыхающих моральных уродов!

Короче говоря, этот комплекс соображений вывел его на третий этап их отношений. Финальный. Он начал готовить ее к неизбежной разлуке. Мягко. Чтобы развязка, при всей своей болезненности, была окрашена в романтические тона.

– Послушай, – сказал он ей как-то. – Если бы я не любил свою жену, если бы моя жена была какой-нибудь сволочью, я давно был бы с тобой. Но она – единственный человек, который по-настоящему любит меня. Ты не поверишь, но я абсолютно уверен в том, что если бы ее спросили: отдала бы она за меня жизнь – вероятно, она отдала бы. Если я оставлю ее, она просто умрет от

горя. Не смейся (она совершенно не смеялась, напротив, она все напряглась, переваривая новый текст)... И не потому, что я такое сокровище, просто она такой человек. Патологически преданный. Мы прожили вместе 25 лет, и я не видел от нее ничего, кроме добра. Так что, теперь я должен бросить ее только потому, что она выглядит не так хорошо, как в молодости? Кем я буду тогда?

Наступила тишина. Он стал ждать ее реакции, но Оля неподвижно лежала в темноте, словно предоставляя ему возможность развивать тему. Ему, однако, нечего было добавить к сказанному, а главное, не было никакого желания расставаться с этим чудесным телом, и тогда он повернул ее, очень легкую, совсем миниатюрную, на спину и, раздвинув белоснежные бедра, с головой (образно говоря) погрузился в занятие, выдающимся мастером которого его, не сговариваясь, признали как старая жена, так и молодая любовница.

Последний раз они встретились, когда Татьяна была в командировке в Лондоне. Турнир кончился рано, и он предложил Оле поужинать в греческом ресторане в Бей-Ридже. Она отказалась от вина, и он не стал выяснять почему, остерегаясь услышать, что она снова принимает антидепрессанты. Скажет, принимает, получится, что из-за него. Он почти не сомневался в том, что она начала новый курс, по снова возникшей у нее рассеянности. Она как бы становилась замедленнее, но ее ровное и теплое отношение к нему оставалось прежним. Что, естественно, не позволяло ему бросить ее в таком болезненном состоянии.

И поэтому после ужина он пригласил ее к себе. У меня такое впечатление, что он хотел показать ей дом, который их отношения грозили разрушить. Это приглашение можно было бы интерпретировать как просьбу войти в его положение, а потом выйти из него и жить дальше самой. Но этот визит произвел совершенно другой эффект.

Переступив порог его квартиры, Оля впала в состояние, с точным описанием которого мог бы, вероятно, справиться только профессиональный психиатр. Это была квартира ее мечты (и плод многолетних трудов ее официальной соперницы): ковры, диваны, картины, светильники, цветы, грандиозный вид из окон. Каждая деталь интерьера была подогнана по размеру, по цвету, по фактуре, как мазки на картине большого художника. В таком доме хотелось жить, готовить вкусные обеды, принимать гостей, растить детей, встречать любимого мужа, просыпаться с ним в залитой солнцем спальне, прижиматься к нему в мягкой постели, когда за окнами шумит дождь. И вот она оказалась в этой мечте. Фантазия стала явью, до того отчетливой, что до нее можно было дотронуться, не остерегаясь того, что кончики пальцев пройдут сквозь изображение. Но где-то в самом дальнем закутке сознания скверный голосок тихонько подзуживал, подсказывал, что эта явь не ее, что ее настоящая явь другая. Дальше я пасую. Могу только предположить, что мечта, действительность и современная фармакология внезапно сложились в гибельную комбинацию, от которой Оленьку, как говорится, переключило. И в этом состоянии совершенно отчаянного счастья ее посетила мысль о том, что у нее есть только один способ не возвращаться из новой яви в старую, с окном, выходящим в мрачный колодец двора с перечеркнутым проводами клочком неба наверху.

Все эти галлюцинаторные цветы расцвели в ее несчастной голове с такой скоростью, что Митя даже не успел заметить в ее поведении никаких перемен. Они стояли посреди гостиной, и Митя обнял ее нежно, а она совершенно неожиданно, чего давно не случалось, подняла голову и, закинув руки ему за шею, поцеловала в губы так сладко, так горячо, что у него дыхание перехватило. Он ушел на кухню, чтобы приготовить ей чай, слегка покачиваясь.

Оля, между тем, обошла комнаты просторной квартиры, касаясь руками мебели, картин, обшивки кресел. Сбросив туфли, она легла на диван, потом посидела в кресле. Оглянувшись, нет ли его рядом, легла на ковер, прижавшись щекой к мягкому ворсу. Поднялась. Весело шлепая босыми ногами по паркету, а потом по мраморному полу кухни, подбежала к Мите и, обняв его сзади, крепко-крепко прижалась к нему.

– Эй, ты чего? – спросил он, но она, не ответив, убежала в комнату.

Легкий ветерок шевелил занавес. Отбросив его, она вышла на балкон. Сочные звезды сияли в черном бархате неба, увеличиваясь и уменьшаясь, как живые.

Она легко перемахнула через перила и, стоя на краю балкона, крепко зажмурилась, словно стремясь, чтобы картина перед глазами навсегда осталась в ее сознании. Потом снова открыла глаза и увидела, как в комнату вошел Митя с подносом, на котором стояли белый пузатый чайник и чашки. Она снова зажмурилась и отпустила перила. Ее затылок обдало теплым ветерком, и в полете она услышала, как кто-то испуганно закричал, а кто-то другой подхватил этот крик. Несколько голосов слились в завитой в косичку звук – а-а-а-а-о-о-о-о... – а может быть, это были совсем не чьи-то испуганные крики, а это ангелы приветствовали ее вылет своими чудесными голосами и даже простирали навстречу ей свои мягкие, как лебяжий пух, крылья.

Паша Матлин, разливая коньяк по пластиковым стаканчикам, говорил ему:

– Митя, тут никакой твоей вины нет. Я тебе говорю как брату. Ты понимаешь, что я имею в виду? Как сводному брату, Митя. Это было пред-о-пре-де-ле-но. Человек как начинает, так и кончает. Она так начала. Никого нет, мама хрен его знает где, батя наркоман. Работала стриптизершей, потом в эскорт-сервисе. Я сам видел у нее дома журнал, знаешь, чтобы телок вызывать. Типа каталога с телефонными номерами. Так там была ее фотография. По бокам две такие курвины де блядины, а она в уголке притулилась. Типа скромная. Я ей говорю, Олька, ты что! Ты же всех женихов распугаешь! Выкинь его! Ты его не видел, нет? Наверное, послушала-таки совета и выкинула. Она хорошая баба была, но не сложилось у нее, и все. Ну пошла бы она секретарем ко мне в офис работать, я ей предлагал, или там на медсестру учиться, а она певицей решила стать. Елки-моталки! Ну какая ты певица?! И знаешь, я же искренне ей помочь хотел, но как я ей помогу? Я же за нее петь не могу, верно? И взять ее за руку и отвезти в колледж, чтобы она какую-то полезную специальность выучила, я тоже не могу! Потому что ее, видите ли, на эстраду тянет! Но ты же прикинь, дурья башка, раз тебя не берут, значит тебе чего-то не хватает! Ну, эффектная баба, никто не спорит, но если там вокальных данных – ноль целых хрен десятых, то что тут сделаешь? Попробует тут – выгонят, попробует там – снова выгонят. А деньги кончаются, она включает телефон и принимает вызовы. Я сам слышал, ей при мне звонили: мол как там насчет мейк лав? А она: сейчас не могу, перезвоню позже. И не спрыгнула бы она с твоего балкона, так кинулась бы в воду с моего парохода. А не с моего, так другой бы нашла. Ты понимаешь меня?

– Отчего же, я понимаю, – кивнул Митя. – А я еще думал, чего это она так презервативы не любит, а теперь понимаю. Надоели.

Была пятница. В клубной подсобке, где происходил этот разговор, находились, помимо Мити и Паши, ювелир Миша Кац, бывший лучший защитник США из Костромы Сева Голубь и бывший тренер сборной Грузии Альберт Сабвеидзе. Письменный стол, застеленный двумя полосами бумажных полотенец, украшали пластиковые тарелки с нарезанными огурцами и помидорами, две открытые консервные банки с сайрой, банка домашнего винегрета, кусок брынзы и буханка темного хлеба. Бутылка «Хеннеси» пряталась, даже непонятно от кого, под ногами у Паши Матлина, который заведовал разливом

– Слушай, Паша, я не согласен, что ты так о ней пренебрежительно, а-а, мол, певица, никаких данных, то-се, эскорт-сервис, – сказал Сабвеидзе. – Ты посмотри, все эти писатели, художники, артисты – они же начинают в полном дерьме. Это ты, скажем, пошел в институт и стал доктором, Митя вот – пошел в университет, стал переводчиком. Третий пошел на курсы, стал механиком. А на артистов вначале смотрят ну просто как на полных придурков. Серьезно! Я недавно смотрел передачу про Розэн Барр, знаешь, толстая такая с мерзким голосом, так она просто уличной проституткой была. В машины подсаживалась и за 20 баксов кому попало давала. Или возьми эту черную, как ее, ну... Вупи Голдберг, вот! То же самое – была проституткой! Мамой клянусь, сам в газете читал! А сейчас – уважаемые люди, миллионеры, награды вручают, и хоть бы кто вспомнил! У творческих людей все иначе. Не помню, кто сказал про них: через тернии к звездам.

– В смысле – через одно место к славе! Кха-ха-ха! Альбертик, это – Америка. Тут не нужен ни блат, ни членство в партии, ничего. Если ты из себя хоть что-то представляешь, то работу всегда найдешь. Не в «Распутине», так в какой-то шашлычной. Но ее же вообще никто не хочет! В кор-

дебалете скакать еще берут, а петь – спасибо, не надо. А почему? Потому что голоса у нее нет, хотя жопа – сказочная. Так ее поставишь к лесу передом, а перед глазами чисто картина Репина «Приплыли». Такие просто две булочки. Блин, какая она все-таки дура! Как она загубила себя, балда малолетняя! А так вот помню, берешь ее за талию, а талия у нее, ну осиная, блин, осиная! Ах!

Миша махнул рукой и потер кулаком левый глаз.

– Не расстраивайся, старичок, – сказал Митя, ставя пустой стаканчик на стол. – Найдем мы тебе новую бабу. Знаешь, сколько их сюда приезжает, артисток, певиц разных, медсестер.

– Это правда, – вздохнул доктор и почесал волосатую грудь, украшенную цепью с золотой теннисной ракеточкой. – Новую мы найдем, а той уже не будет. И вот это плохо. Потому что могли бы и новую найти, и той пользоваться. И чтобы все были здоровы и счастливы. Хэ-хэ!

– Я такое первый раз вижу! – вступил Миша Кац. – Полный город молодых телок, так надо было вторгнуться именно в эту! Хорошо еще, что до дуэли не дошло. В старые времена точно кого-то убили бы. А в наши дни даже морду никому не набили. Полная деградация!

– А чего морду бить? – пожал плечами Паша. – Сердцу не прикажешь. Какие тут могут быть претензии?

– Одному месту своему вы не прикажете, а не сердцу, вот что я скажу! Тоже мне сердечные нашлись! Не клуб, а кардиологическое отделение психиатрической больницы.

– Кхе-хе-хе-хе!

– И что?! Сделали агроисер-дело из ничего! Кто бы вообще плюнул в ее сторону, если бы вы здесь не устроили это социалистическое соревнование? И она тоже смотрит: это же если за меня такие два орла бьются, значит, что-то я из себя так представляю! А что она из себя представляет? Представляла, пусть земля ей будет пухом. Я хотел бы на нее посмотреть лет через десять. Что бы там от нее осталось? Ни хрена бы не осталось! Ни от кого не остается, и от нее бы не осталось!

– Зато пожила на пределе страстей, – философски заметил Паша и, достав из-под стола бутылку, снова наполнил стаканчики. – Тоже не всем выпадает.

– Знаешь, сколько тут таких, которые на пределе страстей живут? – взял слово Сева. – Они сюда приезжают по туристической визе с четко поставленной задачей – найти какого-то миллионера и трахнуть, причем так, чтобы он все бросил и женился на ней. Я, когда не знал еще, что она с Пашкой встречается, домой ее подвозил. Разговорились. То-се, пятое-десятое, как дела на личном фронте? Она говорит: да вот сняла одного докторишку богатенького. Ну, я не стал выяснять какого – слушай, тут полный город докторов, верно? Сняла - и молодец. А если бы выяснил, так я бы ей еще по морде надавал. И не потому, что Паша мой товарищ, а потому что сухой быть не надо! Ну ладно бы ты ему по любви дала, а тут же – сняла богатенького докторишку! А сама ты кто? Трутень! Нет образования, иди вон официанткой работай! Да миллион других работ, но зачем же ей работать, если можно снять докторишку и потом всю жизнь его доить?!

– Правильно, – согласился Митя. – О мертвых или ничего, или ничего хорошего!

– Это неправильно, – сокрушенно покачал головой Сабвеидзе. – Это неправильно. То, что у нее вид слегка развратный такой был, это – одно. Тут никто не спорит. Хотя это все исправить можно было. Но перед тем, как ее кое-кто пользоваться начал, про ее вид речь не шла. А теперь – трутень! Хоть бы мертвую пожалели.

– А-а, слушайте, мертвая не мертвая, – махнул рукой Миша Кац. – Сева прав: она – трутень. Редкостный трутень! Если ты хочешь стать звездой эстрады, так делай что-то в этом направлении. Снимай тогда каких-то музыкантов или продюсеров, подмахивай кому-то из своего профсоюза. Но если ты, извини меня, снимаешь докторов в бруклинском клубе настольного тенниса, то на какую эстраду ты попадешь?

– Миша, я в эстраде ничего не смыслю, – продолжил Сева. – Но я тебе так скажу: я бы ее больше уважал, если бы она просто в эскорте работала, а не прикидывалась тут тихой овечкой.

– А она, вместо того чтобы в эскорте работать, три раза в неделю в теннисный клуб ходила. Таки стерва!

– Митя, ты меня извини, но ты напрасно иронизируешь. Она могла легко две штуки в неде-

лю делать. Легко. Я знаю пару хороших девок (паду хороших девок), они имеют своих десять-пятнадцать постоянных клиентов, принимают по два человека в день и живут припеваючи. И, главное, никого не просят пожелать их, потому что у них было тяжелое детство и поэтому они не могут пробиться в шоу-бизнес.

– Слушай, каждая женщина, она как цветок, который вокруг себя клей выпускает, – заметил Сабвеидзе. – Знаешь, клей такой, для ловли мух, или каких там насекомых они едят. Одни на умные разговоры ловят, другие на несчастное детство, кто на что клюет. И не надо стервой для этого быть. У меня одна знакомая в Тбилиси была. Красивая девка из очень хорошей семьи, с образованием, но хромая. Одна нога чуть короче. И вот она так одного парня приговорила, что он решил: если он на ней не женится, так она просто пропадет. Свадьба была совершенно роскошная. Ее родители сделали, конечно. Лет пять прожили, ребенка родила, все как положено, потом развелись, правда.

– А я тебе так скажу, Альбертик, их жалеть нельзя, потому что, как ты правильно заметил, они на эту жалость тебя ловят. Ты ее пожалел, а она тебя – раз, и захмутила! А потом корми банду адвокатов, чтобы при разделе имущества они выбили из нее хоть твои старые подштанники.

– Эх-кха-ха-ха-кха!

– Правильно я говорю, Паша?

– Да, что-то в этом есть. Но я только хочу заметить, что вы, пацаны, от главного отвлеклись.

Паша снова извлек из-под стола бутылку.

– Митя, мы понимаем твои чувства, – сказал Миша, кладя ему руку на плечо. – Но, как твои товарищи, мы хотим, чтобы ты смотрел на эту ситуацию адекватно. Ты меня понимаешь?

Митя кивнул.

– Ты не кивай, как китайский болванчик, а ты скажи, что ты думаешь по этому поводу. Говори с нами.

– Значит, я думаю следующее, – Митя принял стаканчик и, заглянув внутрь, продолжил:

– Не так давно. Этим летом. Я отвозил ее домой. Был дождь. Помните? Неделю лило как из ведра.

– Митя, про состояние природы сейчас речь не идет.

– Слушай, не перебивай человека, а?

– Нет, почему же? Дождь это очень важная деталь. Меланхол-ик! – ческое состояние души и тела. Вот. И она, значит, говорит: так уже хочется солнца. Так уже, говори-ик!, хочется поехать на пляж. Всей нашей компанией, с Севкой, с Пашкой, с Мишаней. Поплавать вместе, позагорать, перекусить на свежем воздухе. Вот. И, значит, получается, что ее может быть, и-ик!-и вызывали по телефону минет, например, или-ик!-еще что-то такое делать, оттого она и в губы не очень люби-ик!-ила, но как-то так выходит, что, кроме нас, у нее и ни-ик!-кого и не было. Ни-ик!-кого!

– Выпей водички или задержи дыхание и досчитай до тридцати, – посоветовал Сева.

– Зачем ему водчика, давай уже коньяк допьем, а-кха-ха-ха?!

Паша очень точно распределил остатки коньяка по стаканчикам и собрал в аккуратную кучку разбросанные по тарелке дольки помидор.

– Ладно, – сказал Миша, поднимая стакан. – Пусть ей земля пухом будет, никто ей зла не желал.

– А желал только трахнуть, кха-ха-ха! Ладно, за землю пухом!

– Не забудь смахнуть мох за ухом.

Выпив, Миша с Пашей стали собирать со стола остатки еды.

– Митя!

– А?

– Ты как, нормалек? – Паша уже стоял у дверей с черным пластиковым пакетом мусора. Даже не стоял, а как-то боком ехал в сторону, оставаясь при этом на том же месте. – Вести машину сможешь?

– Машину – запросто. – А парход – нет.

– Пароход я беру на себя.

Митя сам не заметил, как переместился в кабину своего бимера и, подъехав к двери подземного гаража (клуб располагался в подвальном помещении), нажал на кнопку прибора, который его мама называла ремонт-контролем. Металлическая дверь дрогнула и, с лязгом складываясь в гармошку, стала открывать выезд на улицу. Мимо несся поток грузовиков, такси, автобусов, мотоциклов и развозчиков пиццы на разболтанных велосипедах. Он забыл очки на столе в подсобке, но возвращаться за ними не стал. Где-то тут в движущемся перед ним потоке тьмы и света должна была быть его подруга. Как он снова хотел ее! Просто до боли в животе хотел. До горячих слез. Белые ее бедра в черных чулках так реалистично возникли перед глазами, что он даже поводит руками перед собой, чтобы прикоснуться к ним. Нет, померещилось! Какая жалость, какая ужасная жалость! Но его успокоила мысль, что если он сейчас заявится к ней, в каком бы состоянии он ни был, она примет его. Он никогда не спрашивал, но предполагал, что ей было хорошо с ним.

Митя надавил на газ и поехал на очередное свидание, даже не задумываясь о том, какой шум оно может произвести. Какие тут уже секреты?

А я, его альтер эго, его жалкая, трусливая душа, недремлющая, так сказать, совесть, я осталась, чтобы еще раз повторить, что этот тупоголовый страус, этот полный идиот с непрекращающимся зудом в одном месте, виноват во всем сам, и винить ему в случившемся абсолютно некого, в том числе водителя фургона с гигантской красно-желто-голубой надписью Wonder Bread, под колеса которого он влетел.

Август 2007 года

Жизнь после жизни

Мой любимый рассказ у Дая (это, естественно, псевдоним) о том, как всякий раз, когда он хотел изменить жене, с ним происходило что-то непредвиденное, препятствовавшее измене. Среди дюжины описанных им случаев нет особенно эффектных или анекдотических. Рассказывая о неспособности своего любвеобильного персонажа уклониться от фатальной неизбежности очередного провала, Дай, казалось, не стремился развеселить читателя. Он просто документировал события, имевшие место в его собственной жизни, чтобы продлить память о них. Литература была для него своего рода морской раковинкой, прикладываясь к которой он слушал приятный ему звук.

Из списка этих непредвиденных случаев я выберу три, почему – вы узнаете позже.

Один раз, выходя из автобуса, он поскользнулся на мокром тротуаре и подвернул ногу. Из-за этого он не смог пойти в спортивный клуб. Вечером того же дня к клубу подъехала синяя «Хонда-Аккорд», за рулем которой сидела молодая женщина по имени Лена. У нее были прекрасные черные волосы, замечательные карие глаза, чувственные губы и удивительной красоты руки. В нее можно было влюбиться за одни эти руки. В его случае именно так и произошло. Он встретился с ней в офисе у своего дантиста, где она работала медсестрой. В свои 33 года она еще не сомневалась, что найдет приятного ей спутника жизни, но тревожная мысль о том, что поиск немного затягивается, стала время от времени навеваться к ней. Она приехала специально, чтобы задать Даю прямой вопрос: каким он видит развитие их отношений? Она могла задать этот вопрос и по телефону, но подумала, что при личной встрече ее внешность поможет ему принять решение. Добрых два часа она просидела в машине, представляя, как он выйдет на улицу – подтянутый, со спортивной сумкой через плечо – и она просигналит ему. Но он в тот вечер лежал на диване перед телевизором с бутылкой каберне и тарелкой сыра, винограда и сухофруктов, которую ему соорудила не очень любимая в тот момент, но все равно очень заботливая жена Ольга.

Видя, как он мается дома, невопад отвечает на ее вопросы и очень нервно реагирует на телефонные звонки, Ольга, как говорится, вычислила его. Измотанный двойной жизнью, он сдался

без боя. Она тогда предложила ему сделать выбор и не обманывать ни себя, ни ее. Он попал в тупик: Лена была младше его на 13 лет. Он легко представлял себя самого лет через десять, уже сильно сдавшего, с потекшими щеками и крепко плешеватого, и ее – все еще очень привлекательную полногрудую брюнетку. Это был бы, что называется, неравный брак. Поэтому он хотел, чтобы последнее слово осталось за ней.

В тот вечер, когда жена поставила ему ультиматум, бушевала гроза. Дождь хлестал как из ведра. Молния то и дело с оглушительным грохотом раскалывала небо на мелкие куски. Порывы ветра повалили много деревьев и оборвали линии электропередач на огромном пространстве Восточного побережья, от Бостона до Норфолка. Гроза выглядела достойной декорацией к семейной драме. Ольга подала ему телефон и вышла из комнаты. Но из-за непогоды его попытка связаться с Леной оказалась неудачной. Она жила в Коннектикуте, он – в Бруклине. Мобильная связь не работала. Поскольку Ольга ждала ответа, ему ничего не оставалось, как проститься с Леной, оставив запись на ее автоответчике.

Через года два после этой истории Дай попал в автомобильную аварию из-за другой своей пассии – ресторанной певицы Светы. Светика. Та только что отпела свое и вышла на улицу. Было около полуночи. Он ждал ее у ресторана не один. Он знал, что у нее есть другие ухажеры, но ему это было абсолютно безразлично. Он просто хотел ее, очень молодую и невероятно аппетитную, как голодный хочет кусок мяса. Увидев сразу двух кавалеров, Светик мудро решила не отдавать предпочтения ни одному из них, что позволяло сохранить обоих. Изобразив высшую степень раздражения, 25-летняя бестия решительно направилась в сторону желтой вывески кар-сервиса. Стук каблучков, разлетающиеся в стороны полы черного платья, развевающиеся на ночном ветерке соломенные волосы заставили его сердце сжаться от боли. Не она, а сама жизнь уходила от него! Дай завел мотор и медленно поехал за ней. Соперник двинулся следом в своей машине, ожидая, чем кончится их диалог. Диалог был таким: «Света, остановись, сядь ко мне, мы должны поговорить!» Она: «Да идите вы оба к черту!» Кончилось тем, что он проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину, пересекавшую перекресток. С места происшествия его увезла скорая, а Светика увез домой тот, другой.

Еще один случай – с официанткой Юлей. Он познакомился с ней в турецком ресторане в Бей-Ридже, куда они зашли с Ольгой поужинать. Дай имел обыкновение заводить разговоры с незнакомыми людьми, проявляя к их историям чисто профессиональный интерес. Он работал репортером в иммигрантской газете, поэтому на любое знакомство смотрел как на материал для новой статьи. Юлия родилась в Якутии. Ее родители работали горными инженерами на алмазных приисках. До 15 лет она жила в краю, единственной достопримечательностью которого является северное сияние. В начале 90-х она увидела по телевизору передачу о Иерусалиме. Город с сияющими на солнце куполами церквей и мечетей очаровал ее. Она выучила иврит по словарю и, когда вышедшие на пенсию родители перебрались на Украину, устроилась переводчицей в летний лагерь Сохнута. Работники лагеря были уверены, что она еврейка. Ее премировали поездкой на историческую родину. В Иерусалиме она вышла замуж за тренера сборной страны по лакроссу и уехала с ним в США. По ее словам, причиной их развода стали его постоянные измены, поэтому в Израиль он вернулся без нее. В Америке Юлия окончила финансовый колледж, мечтая стать менеджером хедж-фонда. Работа официантки позволяла выживать.

Все это она рассказывала Ольге и Даю, когда не была занята с другими посетителями. После ужина, когда они направлялись к машине, Ольга заметила:

– Ну ты просто из кожи лез, чтобы ей понравиться!

– Обязательно напишу о ней, – сказал он. – Всего добивается сама, и при этом красавица. К ней еще очередь женихов выстроится.

– Ага! Сам только в эту очередь не попади!

Дай приехал в ресторан на следующий день утром, когда басбои только готовили столы к ланчу. Юлия приготовила кофе, и он проболтал с ней добрых два часа, сфотографировав перед уходом. Она была так хороша, так изящна была ее рука с тонкой кистью и длинными музыкальными

пальцами на стойке бара (в детстве она училась игре на фортепиано), что он использовал имидж для скринсейвера на своем рабочем компьютере.

Очерк назывался: «Есть женщины из русских селений». Редактору тоже понравилось: иврит стал для предприимчивой девочки из Якутии пропуском в Америку. Помимо этой целеустремленности, Дая необычайно привлекала в Юле ее легкая и крепкая фигурка и веселый нрав. У нее были тяжелые темно-каштановые волосы, карие глаза и заразительный смех. Ей было 29 лет. Ему – 49.

Ольга, прочитав очерк, поинтересовалась, не намерен ли он подарить героине экземпляр газеты со своим автографом.

– Еще чего! – ответил он.

– Ну, будем надеяться, – вздохнула она.

И, однако, на следующий день после публикации очерка, он, не дождавшись звонка с обычной в таком случае благодарностью, полетел в Бей-Ридж. Владелица ресторана сообщила ему, что он разминулся с Юлей буквально на пять минут. Она уволила ее, заподозрив, что та хочет соблазнить ее мужа, работавшего в ресторане поваром.

Это была еще одна не реализовавшаяся связь Дая, платонический роман, зарубленный на корню, но послуживший исходным материалом для очередного рассказа.

Все рассказы Дая о его несчастных любовях были написаны по одной и той же схеме: герой-рассказчик встречает молодую женщину, как правило, из нижних слоев общества и влюбляется в нее. Она отвечает взаимностью. Ему нужно сделать выбор между молодой любовницей и стареющей женой. Это сложный шаг, поскольку жена на редкость порядочна и неподдельно любит его, в то время как связь с молодой женщиной чревата осложнениями.

Дай скромно упускал из этой сюжетной формулы немаловажный компонент, который мог бы пролить дополнительный свет на причину его колебаний.

На родине Дай был журналистом. Иммигрировав, он сразу нашел работу в крупнейшей иммигрантской газете США. Это обеспечило его куском хлеба, но лишило возможности роста. В единственном ежедневном русскоязычном издании Америки расти было некуда. Его коллеги держались за свои места мертвой хваткой, и если покидали их, так только, как говорится, вперед ногами. Ольга же поступила в американскую архитектурную фирму обычной чертежницей и, будучи прилежной и толковой работницей, доросла за 15 лет до позиции вице-президента. Ее успех обеспечил им очень комфортабельную жизнь: квартира в престижном Парк-Слоупе, летний дом в Катскильских горах, бимер последней модели, ежегодные поездки в Европу летом и на Карибские острова зимой. Тема нравственного долга перед стареющей женщиной при введении в рассказ дополнительных финансовых обстоятельств звучит чуть-чуть фальшиво.

Нет, он не был меркантилен, просто трезво смотрел на жизнь. Его не пугала бедность. Он просто понимал, что в Америке бедность – порок, особенно в глазах молодых женщин.

Но я отвлекся от сюжетной формулы. В жизни все романы Дая прерывались либо подвернутой ногой, либо грозой, нарушившей мобильную связь, автомобильной аварией или увольнением с работы. Но поскольку эти и другие случаи сами по себе не могли придать рассказу даже мало-мальского драматизма, автор достигал его другим путем: в его первой повести герой топился в ночном озере; в последней – умирал от рака горла; в одном из ранних «готических» рассказов гиб под лавиной; в одном из последних – засыхал от тоски в полном одиночестве и забвении. Наибольшего КПД Дай достиг в рассказе, где герой устроил себе автокатастрофу вскоре после того, как героиня спрыгнула с 24-го этажа. Как говорится, одним махом двух побивахом. Этот мартиролог очень оживил персонаж, которого автор превратил в трехдюймового карлика и отправил не на кладбище, а на постоянное место жительства под диван.

Я догадываюсь, почему все романы Дая цвели пышным эротическим цветом на бумаге, хотя в действительности никогда не выходили за рамки платонических отношений. В созданном им художественном пространстве он мог пережить страсть во сто крат более сильную, чем в реальной жизни. На бумаге он любил, как сказал поэт, «на разрыв аорты», совершенно безоглядно, на-

смерть. В жизни он был слишком наблюдателен и критичен, чтобы долго сохранять преданность очередному идеалу. В тесном общении он начинал обращать внимание на мелкие детали, которые из мелкого скоро превращались в доминирующие: интонация, активная лексика, пальцы ног, едва заметная отчетность под глазами, рубенсовские переливы теней на бедрах, вялый живот... И это не говоря о вещах совсем приземленных. Скажем, в отличие от него самого, его персонаж мог повести подругу в самый замечательный ресторан, не заботясь о том, как потом объяснить жене исчезновение из семейного бюджета двух-трех сотен долларов. Его герой мог проводить с любимой сколько угодно времени и бывать где угодно, не остерегаясь вызвать подозрения жены или столкнуться с общими знакомыми в самый неподходящий момент. В постели, нагретой, извините за двусмысленность, его умелым языком, двойник Дая творил чудеса, а в действительности мужская сила уже понемногу оставляла его, что неизбежно сказалось бы на отношениях с молодыми женщинами, зайти они так же далеко, как в его прозе. Короче говоря, его творческий полет был абсолютно свободен. В реальности он жил у жены под микроскопом. Ольга была свойственна та чуткость, которую порождает многолетнее и доскональное знание близкого человека.

Это, однако, не объясняет череды странных происшествий, останавливавших Дая от измены.

Попробуем разобраться.

В иммиграции, с ее неизбежными на первых порах стрессами и неопределенностью, Ольга приняла православие, крестившись в старом синодальном храме на Парк-авеню. Она окунулась в религию с головой, как в крестильную купель. Ежевоскресно посещала Свято-Троицкий храм в Астории и каждое утро начинала с «Отче наш», за которым следовала ее самодельная молитва: «Святая угодница Ольга, молю тебя о спасении и сохранении моей семьи».

Голливуд приучил нас к мысли, что черная магия с приворотными зельями и «иглоукальванием» восковых фигурок – такое же верное средство для устройства любовных дел, как аспирин для лечения простуды. Лишенная всяких визуальных эффектов простая христианская молитва воспринимается как пережиток прошлого. Неинтересная сказка. Но я не вижу ничего, кроме этого пережитка, на что можно было бы списать любовные неудачи Дая. Вы, конечно, скажете, что все это простые совпадения, но сколько раз может совпадать? Пусть два раза. Пусть три. Даже пять. Но когда совпадает десять раз подряд, впору спросить: а может это не совпадение, а? Не твоих ли заботливых рук это дело, святая Ольга? Я вам не рассказал историю о том, как он сел в вагон электрички, двери которой не открылись на той остановке, где его ждала одна экскурсовод из музея Метрополитен. Я еще не рассказал, как его остановили по подозрению в попытке организации террористического акта на глазах у одной виолончелистки, из-за которой он две недели забывал побриться. Я вам еще много чего не рассказал!

Но я снова отвлекся, а между тем хотел перейти к другой теме. Говорят, что каждому воздается по вере его, и поскольку мы уже перешли в сферу паранормального, то думаю, что никого не шокирую еще одним предположением: в реальной жизни Дай получил то, о чем вольно или невольно просил через носителей своего литературного альтер эго, отказывая им не только в счастье в личной жизни, но и в самой жизни. За этим стоял простой литературный трюк – покойников читатель жалеет больше, чем неудачников. А жалость к персонажу неосознанно трансформируется в любовь к его создателю. Компрандо?

Так вот, о полученном даре Дай узнал через внезапно наваливающиеся на него многодневные головные боли, порой доводившие его до рвоты. Поскольку обычные эдвил или тайленол не помогали, он был вынужден обратиться к врачу. Диагноз: опухоль в левом полушарии. Ему рекомендовали немедленно лечь на операцию. В больнице, где он прошел специализированное обследование, Дай узнал, что медицинская страховка не покроеет всех расходов, поэтому придется взять значительное долговое обязательство. Ольга должна подписать его тоже. При этом прогноз нельзя было назвать оптимистичным – вероятность возвращения опухоли в течение двух лет составляла 85%. Он отказался оперироваться. Причин две: он не хотел отдавать за операцию, не сулящую выздоровления, все собранное, по сути, Ольгой. С учетом того, что операций могло быть

несколько, на старости лет ей грозила банальная нищета. И потом, он не хотел жить со вскрытым черепом, дренажными трубками, бинтами со следами крови и гноя, помраченным болеутоляющими средствами сознанием. Он спросил, сколько протянет без операции. Может быть, полгода, ответили ему. Может быть больше. Может быть, меньше.

Ему тогда было 55. Мужчина в расцвете сил на пороге старости. Он подумал, что никаких новых впечатлений жизнь ему уже не принесет, после чего и отколол номер, который можно назвать его последним и самым значительным произведением.

Из списка тех женщин, которые ему когда-либо нравились, он выбрал трех, о которых было рассказано выше. Он выбирал с запасом, даже не ожидая, что откликнутся все трое. Если определяющим для женщины в ее отношении к мужчине является искренность и сила его чувства, то в сложившейся ситуации Даю просто не было равных. Он любил их буквально – как в последний раз. И он изложил это в письмах к ним, каждое из которых было, что называется, криком души. На этот крик откликнулись все трое, и он вернулся в их жизнь, забрался наконец в их постели, заявив каждой, что она должна стать матерью его ребенка. Должна! На женщину такие слова действуют, как шоколадное мороженое с клубникой и веточкой мяты, присыпанное ванильной пудрой. Готовность обзавестись ребенком подтверждает серьезность намерений.

Это была чистая правда – он хотел ребенка. Детей. В высказываниях нескольких его персонажей встречается пожелание «распространить себя в народах», стремление увидеть собственные черты в детях от любовницы-негрityнки, китайки, индианки, тайландки, шведки. Звучит, конечно, странновато, если только не знать, что своего единственного сына от скоротечного первого брака, заключенного и расторгнутого в очень ранней молодости, Даю оставил вскоре после его рождения. Из-за этого существенная часть его жизни оказалось незаполненной заботами о растущем ребенке. С возрастом этот вакуум стал тревожить его, как незаживающая рана. Он вызвал потом сына в США, но тот приехал взрослым и незнакомым ему человеком со своими интересами и планами. Поблагодарив папу за заботу, он поселился в далекой Калифорнии, исправно отправляя ему поздравительные открытки на дни рождения и большие праздники.

Первой на его предложение завести ребенка клюнула официантка Юлия. Он это предвидел. Дело в том, что вскоре после отъезда в Израиль ее родители умерли. Мать ушла из жизни через год после отца. Не исключено, что недалеко от алмазных приисков, где они трудились, располагались урановые рудники. Юлия рассказывала ему, что ее ощущение полного сиротства становилось совершенно невыносимым, когда, идя по улицам Иерусалима, она могла остановиться у открытого окна дома, где за субботним столом сидело четыре поколения одной семьи.

Светик приняла его второй, но все равно с распростертыми объятиями, поскольку в это время сидела без работы, денег и любовников, постоянно ожидая появления домовладельца с просьбой очистить помещение. Даю, обеспечивший ей несколько месяцев редкой для нее стабильности, стал подарком судьбы.

Лена открыла ему дверь нерешительно, со вздохом, предполагавшим, что в ее положении выбирать не приходится. Но он был так нежен, а потом так страстен, а потом снова так нежен, что она простила ему и грозу, и испорченный телефон, и суровые слова прощанья на автоответчике, и несколько лет очередных проб и ошибок, о которых даже вспоминать было тошно. И расслабившись в его объятиях, она первой пропустила, куда следовало, коварного писательского сперматозоида.

Как этому половому гангстеру удавалось в его состоянии поддерживать отношения сразу с тремя женщинами – не знаю. Думаю, что его выручали творческая фантазия и виагра. Так ли иначе, но он справился с поставленной задачей блестяще. Он любил. Его, кажется, тоже любили. Он был счастлив, особенно если не забывал принять вовремя таблетки от головной боли, которые отлично действовали в комбинации с марихуаной. Потерю веса и бледность его любовницы списывали на слишком активную сексуальную жизнь, которая длилась ровно три месяца. Потом он либо просто устал, либо же ощутил, что пора сматывать удочки, иначе его разоблачат.

Забыл сказать, что из дому он ушел, чтобы только не видеть разбитую горем Ольгу, которая

упорно добивалась, чтобы он сдался врачам, а главное – вязала его по рукам и ногам в то время, когда он решил исполнить свою песню смертельно раненного в голову лебеда.

Сообщив всем троим, что едет в Россию, где якобы готовилась к выпуску его книга, он уехал в город Портленд, что в штате Орегон, напоминая ему своими обсаженными платанами улицами родную Одессу. Еще через месяц он сдался в хоспис, где неслышно переместился из наркотического полубытья в полное забытие и далее по цепочке, конец которой скрыт от наших земных взглядов. Он оплатил похороны заранее, выбрав самый недорогой гроб из пристойных. От картонного за 400 баксов он отказался, вероятно, в последний раз в жизни рассмеявшись – от мысли, что не хотел бы нарушать норм приличий.

Каждому, повторяю, воздается по вере его или, если хотите, по устремлениям, поэтому официантка Юля родила двойню – мальчика и девочку. Певица Света родила мальчика. Лена – девочку.

Это можно считать чудом, поскольку все три могли легко прервать беременность. Возможно, этого не случилось, потому что из своей последней портлендской квартиры он отправил им письма, в которых объяснял, что произошло, и прощался с ними, признаваясь, что получательница письма была его самой главной в жизни любовью. Текущая любовь – всегда самая главная. Письма были совершенно душераздирающими. По ироничному замечанию Ольги, тоже получившей свое письмо, Дай был мастером конца. Он действительно умел вкладывать в финал своих текстов такой мощный заряд эмоций, что, перечитывая некоторые из них не в первый и даже не во второй раз, я испытывал жжение в уголках глаз.

За два десятка лет работы в газете у Дая собрался приличный пенсионный фонд. В отправленных им письмах он уведомлял получательниц, что средства из него будут поделены на равные части между всеми наследниками, каковыми следует считать его детей и их матерей. Деж фонд, произведенный нанятым Даем юристом, привел к тому, что четыре женщины встретились. Не сомневаюсь, что это полностью соответствовало его плану. По меньшей мере, в двух его рассказах возникает тема стремления персонажа познакомить жену с любовницей в надежде на то, что у них возникнет «тройственный союз», в котором не останутся обиженных и обделенных его драгоценным вниманием. Средства распределял адвокат Б. П., в прошлом году скончавшийся в Нью-Джерси в возрасте 87 лет. Меня интересовало, получил ли он инструкцию собрать наследников вместе от Дая, или же это была его инициатива. Но когда я нашел Б. П. в надежде получить ответ на свой вопрос, он уже ничего не соображал и совершенно не мог понять, чего я от него добиваюсь.

– Послушайте, все деньги из фонда поступили наследникам, согласно воле покойного, – повторял он как заведенный.

На старикане были бежевые брюки, бархатный пиджак оливкового цвета, белая рубашка в тонкую бордовую полоску и ядовито-зеленый галстук-бабочка. Более несовместимую комбинацию цветов я не встречал за всю жизнь.

Первой реакцией четырех женщин был шок. Потом осознание того, что ни у одной из них нет оснований предъявлять друг к другу какие бы то ни было претензии. Ни одна из них ни у кого ничего не украла, ни одна из них никого не обманула. Дети каждой были его детьми и соответственно братьями и сестрами. Деньги были поделены поровну и без остатка.

За первыми осторожными телефонными звонками последовали первые встречи, вздохи, жалобы, объяснения, слезы и затем объятия. Боже, какой идиотизм! Несчастный человек! Это надо было только такое придумать! Бедный, бедный, бедный, бедный Дай!

Но какие бы слова ни были произнесены вслух, проект Дая стал реальностью. Это было еще одно его произведение, которое могло жить без автора.

Каждая женщина подошла к новому союзу по-своему, но все моментально оценили готовность Ольги принять их детей как своих... ну, скажем так, внуков. На чем основывалась ее привязанность к ним? Дай, конечно, бросил ее. Простить это было невозможно. Но только вначале. Потому что, оплакав свою обиду, она не могла не согласиться с тем, что он начисто избавил ее

от всех тех изматывающих забот, которые неизбежно легли бы на нее, начни он лечение. Теперь, когда его уже не было, она не могла не согласиться с тем, что лечение лишь оттянуло бы его кончину, но оставило бы ее без гроша за душой. Сейчас она могла выйти на раннюю пенсию с достаточным капиталом, чтобы не думать о куске хлеба. И еще – они оба хотели детей, да Бог не дал, а это, как ни крути, были его дети. В них она могла продолжать любить его, ими могла заполнить пустоту, неизбежно возникшую с его уходом. Не без удивления она отметила родственность своего чувства к ним: те же пробивающиеся через посторонние влияния родные черты, те же глаза, форма носа, скептическая ухмылочка.

Ольга прекрасно понимала, что молодым женщинам, самая старшая из которых была на 15 лет моложе ее, а самая младшая – на 25, нужно было устраивать жизнь, поэтому внуки жили у нее чаще, чем у родных мамаш. Больше всего свободы требовалось Светику, которая часто переезжала с места на место и в конечном итоге улетела в Лос-Анджелес, откуда больше не вернулась. Лена, выучившаяся на операционную медсестру, вышла замуж, когда ее Аннушке было три года, и скоро родила еще одну девочку – Аллочку. Увы, ее муж, имевший бизнес на Урале, нашел более молодую женщину по месту работы, и его брак с Леной распался. Она, однако, вышла замуж снова – за бруклинского библиотекаря Борю Сайлентова, от которого родила третью девочку – Жанночку. Жаль, что Дай не дожил до этого. По его собственному признанию, его так тянуло к маленьким дочерям соседей и друзей, что он остерегался, что те заподозрят в нем педофила!

Ближе всех к Ольге по характеру оказалась бывшая официантка Юля, которая с двумя детьми и всеокрушающим стремлением к устройству карьеры так и не смогла найти спутника жизни. Но карьере сделала, войдя в руководство большого взаимного фонда и получив соответствующую зарплату.

Микросцена:

– Взяти? – спрашивает Ольга, впуская в прихожую Юлю, вернувшуюся с рабочего интервью. На той темно-серый костюм «Тахари» – жакет и узкая юбка, черные стилеты от «Джимми Чу», сумка «Гермес».

– А куда же они денутся от такой пробивной бабы?!

Они хлопают в воздухе правыми ладошками. Юля смеется, глаза ее сияют.

– Я открываю шампанское, – говорит Ольга и шлепает на кухню.

Сложив свои капиталы, Ольга и Юля приобрели трехэтажный таунхаус с чудесным английским садиком на Четвертой стрит и Восьмой авеню в Парк-Слоупе, где и живут по сей день. Ольге в этом году будет 72. Она начинает свой день с занятия йогой в саду, потом идет на кухню. Дом наполняется ароматом свежесваренного кофе. Это сигнал, заменяющий трезвон будильника.

Обратите внимание – все женщины Дая были простого происхождения: чертежница, медсестра, ресторанный певица, официантка. В одном из своих рассказов он объяснил, что его любовь всегда начиналась с жалости, с «желания спрятать нежную бедолагу в своих объятиях от напастей жизни, а главное, от таких же, как он сам, козлиц, норовящих использовать молодое женское тело по прямому половому назначению».

Но как посмотрит на твои объятия менеджер хедж-фонда с миллионной зарплатой? Отсюда интерес к стоящим на нижних ступенях социальной лестницы, для которых он мог быть опорой даже при своих скромных доходах. Но он явно умел отличить тех, у кого был потенциал к росту. Все они достигали самостоятельности благодаря целеустремленности, трудолюбию и, не в последнюю очередь, моральной поддержке, которую им оказывал их любовник. Светик была исключением. Ее отчаянная молодость, видно, была ее главным, пусть даже единственным, достоинством. Потребовать от нее большего он не мог. Или просто не успел. А жалко.

Дом Ольги и Юли, всегда наполненный детскими голосами, стал своего рода центром семейного притяжения, в поле которого скоро возникла еще одна планетная система – старший сын Дая со своей женой и детьми. Обычная история – возраст отправил его на поиски корней и связей, заставив пожалеть, что он пропустил возможность узнать отца ближе. Но в этом ощущении потери он с удивлением обнаружил силу, прочно связавшую его с новообретенными родственни-

ками. Как необычна была их судьба! Как много их оказалось! Как замечательно было то, что он не стал одиноким семенем, занесенным ветром судьбы в чужую землю!

Сидя за большим столом, где звенели посудой и шумели пятеро детей Дая с двумя своими сводными сестрами, двумя внуками, одной женой, двумя любовницами и невесткой, Юля вспоминала, как 19-летней девочкой стояла у открытого окна еврейского дома в далеком Иерусалиме, всем своим естеством стремясь сидеть за таким же столом со своей семьей. Я вам говорю: каждому воздается по его устремлениям! Кто-то там наверху прекрасно знает о наших самых тайных желаниях!

За этим столом не было лишь Светика. Мои поиски имели печальный результат. Последним местом ее жительства в Лос-Анджелесе была квартира, которую она делила с порнозвездой со сценическим псевдонимом Эсси Эбисс. Ее настоящее имя было Ванда Преснякова. Соседство, вероятно, и объясняет наличие в крови Светика кокаина, о чем говорится в заключении патологоанатома. Бедолага вышла из дому, как говорится, не в себе и угодила под грузовик. Хочется надеяться, что она не участвовала в том же кинопроизводстве, что и ее сожительница. Я внимательнейшим образом пересмотрел не менее полусотни полнометражных фильмов с участием пани Эсси Пресняковой, с легким трепетом ожидая ежеминутного появления на экране объекта моих поисков. К счастью, этого не произошло. Назовите меня старомодным, но мне не льстит слава сына порноактрисы. Я очень плохо помню мать и предпочитаю видеть ее такой, какой ее изобразил Дай – очень молодой, взбалмошной, наивной, мечтающей о высокой сцене, цветах, аплодисментах и всем в таком же духе.

Не знаю, что мне досталось от нее, но от отца я получил ту же тягу к литературе. Я работаю в газете, правда англоязычной, но, как и он, не очень стремлюсь к социальному продвижению. Возможно, если бы моей матерью была Юля, я бы уже бился за пост главного редактора. Как и для отца, литература служит мне своего рода игрушкой, мозаикой, из цветных деталей которой я могу складывать новые и новые узоры. Я думаю, что именно это обилие прожитых в прозе вариантов собственной биографии и позволило отцу так легко подвести черту в 55. К этому возрасту он пережил столько, сколько другим не удается пережить и к ста.

За склонностью к этой игре, я думаю, стоит такое свойство натуры, как влюбчивость. Как следует из прозы Дая, уместившейся в три не очень упитанных тома, он, может быть даже неосознанно, стремился к этому состоянию, используя его как питательную среду для новых литературных проектов. Его жизнь и его проза двигались по параллельным каналам. Проводив в последний путь очередного героя или героиню, Дай жил дальше. Но при этом он находился в постоянном ожидании того момента, когда жизнь расставит обстоятельства так, что он сможет дать своей типовой истории новый поворот. Когда это произошло, он просто совместил пространство литературы и жизни, выключив компьютер и став из рассказчика действующим лицом.

Занятно, что его последнее сочинение, хоть и не снижало ему посмертной литературной славы, произвело небольшой демографический взрыв (за вычетом всего двух покойников), что не может не радовать автора, который, я думаю, посмеивается сейчас где-то над всеми нами, в своей новой постлитературной ипостаси.

Август 2007 г.

Илья БУДНИЦКИЙ

* * *

Уезжающие остаются
в том осеннем, истаявшем дне,
что круги и разводы на блюде,
после яблочка, или в окне
от дыхания, зимняя стужа,
никого от черты не вернуть,
вспоминание дальше и уже,
расплывается, если мигнуть,
там ещё не морозно, не зябко,
только поручней холод и грязь,
только пальцев гусиная лапка,
что прощаясь, в оконце толклась,
накануне прогулка по лесу,
шелести, полоса, шелести,
отработали старую пьесу,
неизвестные дни впереди,
позади и зима и разлука,
встречи – там, только там, позади,
я – стрела облетевшего лука,
не истаивай до... погоди.

* * *

Полями клевера дорога полукольцом,
Узка, накатана, полога, не чабрецом
С душицей выстелена – клонит стволы полынь,
И воздух в горечи погони, куда ни кинь –
Следы психической атаки, цветы цветов,
То крестоцветия, то маки, то синь мостов
И частых пятен иван-чая, черноголов,
Куст можжевельника встречаю, чей цвет лилов,
Перестоявшей земляники медовый вкус,
Мелькают дни мои, как блики, сквозь время мчусь
От поворота к повороту, полукольцом,
Ату его, ещё длинноту, пыльцой, венцом.

Родился в 1960 году в Среднеуральске, закончил Уральский Политехнический институт в Екатеринбурге в 1983 году. Публиковался в журнале «Новый Берег», сетевых изданиях «Вечерний Гондольер», «Сетевая Словесность», «Точка Зрения», в литературном проекте «Мистерия Бесконечности». Автор трех книг: «Сотворение», «Дыхание дней» и «Прекрасная Елена».

* * *

За перекатами речки и за стоячей водой
В поле стрекочут кузнечики, в низкой траве козодой
Голос подал неуверенно, с этого края обрыв,
Корни открыты у дерева, листьями посеребрив
Тени у мелкого омута, всюду снующих мальков,
Пляшет излучиной золото, связана сеть пустяков –

Торная тропка по просеке, ливень на полсапога,
Тля и жуки-долгоносики, ягоды из пирога,
Поле, поросшее клевером, кочки, ивановый чай,
Юг, обернувшийся Севером, берег, обрыв невзначай.

* * *

Мелеет свеченье под лиственным, качающимся кораблём,
Под парусом лета неистовым, теряющим свой водоём,
Покуда планета уносится, на звёздных ветрах горяча,
Берёза моя, дароносица, плащаницей бьёт, лопоча,
Пристрастно её трепетание, летящие плети листвы,
Картина, где плачет литания, белёная соль синевы,
Прожилки темнеющих сумерек, мелодия белого дна,
Не вышнего вешнего шума рек, болотного полотна,
Движения сквозь изначальное, рассеянное в деревьях,
Улиссское, дальнее-дальнее, берёзами на островах.

* * *

Бьётся между пальцев камертон,
звуки затихают, затихают...
у холмов зелёных Оберон
с Дикою Охотой отдыхает,
что ему вращение небес,
кровь травы, безумие оленя,
на костях возрос волшебный лес,
брагу проливая на колени,
сядь к нему, красавица, прильни,
мне нужна для отдыха минута,
чтоб исчезнуть в сумрачной тени,
или холм раскроется наутро,
а поляна в вековых древах,
земляника та же и не та же,
камертон запутался в словах,
глуше, неразборчивее, глаже
льёт свою печальную печать,
далеки прекрасные уроки,
стоило ли музыке смолчать,
и возникнуть алым на востоке.

* * *

Тени намного первопрестольней,
Пахнут провалом, карстом и штольной.
Дикой малиной, зыбью песочной,
Чаянной встречей, пеной молочной,
Росчерком форточки перед грозой,
Чересполосицей между осой
И махаоном, плавно, рывками,
Тени у стен не нуждаются в яме,
В поле деревьями сшиты ложбины,
Чем отличается тьма от чужбины? –
Неузнаваемо поле во мраке,
Неразличимы пути до Итаки.

* * *

I

Элизиум теней! – ты вырос из зерна,
Сошедшего на скудные равнины,
Теория мертва, поэтому верна,
А любящие слепы и невинны.

Пороку невдомёк обуглить уголёк,
Что спрятано, прискучит убиваться,
Творец от одиночества далёк,
Огромное беззвучие овец

Растает, почернев, для памяти есть хлеб,
Для зонтика есть место на балконе,
Галерка допьяна неверием полна,
И трупна растворяется в озоне.

Лети в один конец, подброшенный птенец,
И занавес расклёвывай до пятен,
В Элизиуме сон, суглинок истощён,
Залог просрочен или невозвратен,

Песок невозвратим, стеклянный тает дым,
Ах, яблонька, ах, дерево сухое,
Всё гуще слепота, от ветра до моста,
От берега до вечного покоя.

II

Элизиум, вешалка века, пустынная в пальцах пыльца,
Недеепособна опека, и надо идти до конца
Я вижу – примята мокрица, кувшинками светят пруды,
Не ласточка – серая птица срезает крылом до воды,

Сокрытая толщею ила не статуя спит – василиск,
В себя обращённая сила, уставший от римского Приск.
Я сам себе тоже ифрита напомнил, припомнив дела –
Построена жизнь и разбита, и кажется, что отцвела.
Колонны, фонтаны, аркады – всё тянет на выпренный стиль,
Зачем непогоде не рады? – Без пороха мокнет фитиль.
Стриги, шелкопрядовый кокон, тяни шелковичную жизнь,
За смальтой ни света, ни окон, Элизиум – сам отвяжись.

Сергей БОНДАРЕНКО

Рассказы

Альтернативная почтовая служба

1. Почтальон, посылка, почтовый перевод, телеграмма, открытка, марка.
2. Разве можем мы бездействовать, если можем что-то сделать?
3. Альтернативная почтовая служба обязуется доставить посылку, время значения не имеет.
4. Посылка будет доставлена в любом случае.
5. Доставкой занимаются почтальоны. Они же ответственны за передачу основной контактной информации, заполняют открытку, снабжают марками, связываются и встречаются с перлюстраторами.
6. Как бы то ни было, посылаемый должен быть спасён.

Почтальон

1. Почтальонами являются люди старше 18 лет, любого социального статуса, в том числе «посылаемые» в прошлом.
2. О задании почтальона знают только он сам и человек, его отправивший. В некоторых случаях необходимо известить перлюстратора. После пересылки почтальон приостанавливает все контакты с пересылаемым, но координаты спасённого остаются в базе данных.
3. Каждый почтальон ежегодно 1 сентября получает сумму, равную 3% от самого большого пожертвования перлюстратора. Он может отказаться от неё по своему желанию, или отправить в фонд дальнейших пересылок.
4. Почтальон может уйти из Альтернативной Почтовой Службы, предварительно известив об этом ...-, в любое время, за исключением выполнения пересылки.
5. Вышедший в отставку почтальон вступает в ряды «полиции кармы».

Посылка

1. Посылкой может стать человек в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащий призыву на «военную службу» (здесь и далее «рабство»), получивший повестку из военкомата. Такой человек, согласно уставу Альтернативной Почтовой Службы, находится под угрозой государственного насилия, и организация обязуется предотвратить возможное преступление.
2. Альтернативная Почтовая Служба обязуется отправить посылку по месту назначения, где тому не будет угрожать рабство.

Сергей БОНДАРЕНКО родился в 1984 году в городе Каспийр. Публиковался в студенческом самиздате. С 2004 года является членом кружка «Стукнутые», насчитывающего восемь членов – продолжателей творчества Алена Кенингсберга в музыке, кино и литературе. Живет в Москве.

3. Для осуществления пересылки должны быть выполнены следующие условия:
- необходимо лично объяснить своему почтальону, письменно или устно, в любой доступной форме, причину, по которой стоит избежать рабства
 - посылаемый должен обещать бороться за свою свободу
 - посылаемый не должен быть зарегистрирован в ЖЖ, «одноклассниках», «вконтакте» etc., либо удалить свой аккаунт, если тот был открыт ранее
 - посылаемый должен прослушать второй студийный альбом joy division за час до начала пересылки

Пересылка

1. Пересылка является актом доброй воли, действующим согласно моральным и нравственным принципам. Формальный вопрос законности второстепенен. Холокост тоже был оформлен законодательно.

2. Различают несколько видов пересылки: почтовый перевод, телеграмма, открытка (с маркой/без марки).

3. Почтовый перевод осуществляет обмен посылками. Обмен возможен как между городами, так и внутри одного города. Посылаемые обеспечиваются необходимыми документами, после чего заселяются в квартиры друг друга. После завершения всех формальностей, перевод считается завершённым.

4. Открытка отправляется в том случае, если почтовый перевод невозможен. При помощи перлюстратора снимается отдельная квартира, оформляемая на третье лицо. Посылаемый проживает в этой квартире столько, сколько необходимо. В отдельных случаях перлюстратор надевает его марками на проживание.

5. Телеграммой посылаемый отправляется в случае, если он уже объявлен в розыск. Вместе с почтальоном он перемещается от одного пересыльного к другому, пока ему готовят необходимые документы. По завершении телеграфирования может быть осуществлён почтовый перевод или отправлена открытка.

Перлюстратор

1. Перлюстратор снабжает Альтернативную Почтовую Службу марками. Мотивировка значения не имеет.

2. Альтернативная Почтовая Служба признаёт опасность контактов с перлюстраторами.

3. В скором времени количество перлюстраторов будет ограничено. Тогда марок хватит на всех.

Почтовое отделение/соединение

1. Почтовое отделение/соединение создано для вербовки и обучения почтальонов. Второй задачей почтового отделения/соединения является легальная регистрация пересылаемых в качестве студентов официально зарегистрированного ВУЗа. («Почтовое отделение/соединение» – «Институт пропаганды образования»), что часто является необходимым условием при пересылке.

2. В работе Почтового отделения/соединения участвуют почтальоны, перлюстраторы, филателисты и волонтеры.

3. Филателисты работают за марки и не осведомлены о действительных задачах организации. Волонтеры работают для того, чтобы в будущем стать почтальонами.

Вопросы, не оговоренные в документе, подлежат свободной трактовке. День за днём мы осознаём наши собственные ошибки, и потому никто не вправе директивно приказывать участникам

Альтернативной Почтовой Службы точно следовать установленным правилам. Мы отрицаем рабскую соподчинённость. Субординация заменена разделением обязанностей.

Из дневников бывших почтальонов

Никто не может заставить тебя не быть рабом. Никто не может призывать тебя насильственным путём выбраться из рабства.

Каждый делает, что может.

Сатьяграха.

Все, кого можно спасти, должны быть спасены.

Альтернативная Почтовая Служба не может отстраивать чужие жизни, но может не дать их сломать.

Рассказывают, что основатель Альтернативной Почтовой Службы был убеждённым милитаристом.

Почтальоны спасают не только жизни пересылаемых, но и свои собственные.

Мы отправимся на небеса, опираясь на руки тех, кому помогли.

Деревья, которые не отбрасывают тени

Весь мир сделался печален оттого, что некогда печаль изведал сценический персонаж.

О. Уайльд. «Упадок искусства лжи»

В ответ на вопрос, чем я занимался сегодня, я протянул ему тонкий желтоватый листок с карандашной надписью. Он прочёл про себя:

«мой племянник, слегка простудившись, решил пропустить несколько учебных дней в университете, сел на ночной поезд и приехал ко мне в Рассудково, вследствие чего я проникся к нему известным уважением, ведь он мог выдумать себе любое развлечение, от тёплого молока до горячего глинтвейна, но всё же остановился на плохо отапливаемом вагоне и мрачной лесной дороге до нашего с ним маленького дома на самом краю местного дачного кооператива».

– и ничего получше ты не придумал? Думаешь, это хорошее начало?

Я не нашёлся, что бы ответить. Он повторил свой вопрос, слегка повысив голос. Я сделал вид, что не обиделся. Он принялся деловито сворачивать самокрутку.

После 15-минутного молчания он, наконец, сказал:

– что-то немного грустно, хэй, а почему бы тебе не рассказать мне о старых временах?

– о чём?

– про твои старые матчи, самые красивые голы – что хочешь. У тебя хорошо получается.

– что ж. Садись поближе. У меня голос сел.

Спустя три четверти часа после приезда моего племянника печка уже вовсю трещала сухими дубовыми дровами, чего полчаса назад и представить было нельзя – такой холодной и безжизненной она выглядела изнутри. От старых газет было мало огня. Влажные, много воды. Советские, наверное.

Вот уже вторую неделю я жил здесь один. Топить для самого себя было лень, и я, обыкновенно, накрывался двумя одеялами и видел во сне, как меня хоронят заживо.

– давай, пожалуйста, расскажи чего-нибудь.

Меня сложно назвать несравненным мастером историй. С другой стороны, тёмными весенними ночами мои рассказы ничем не хуже музыкальных программ «Маяка» или старых номеров «Нового мира». Всё равно здесь нет ничего, кроме этого. Долгие годы, по мере того как Вениамин рос, я шлифовал свои ночные повести, многие из которых были правдивыми – во многом потому, что я придумал их так давно, что и сам успел забыть об этом.

Но сейчас мне хотелось ещё подумать. Мне надоели длинные истории в духе дурной сентиментальности. Содержание последних пяти чемпионатов мира? Весь вечер мои мысли были далеко – и вот теперь не хотели возвращаться, и я собирался с ними.

Веня открыл печную дверцу, чтобы подкинуть ещё одно полено, и яркое пламя осветило его лицо, рассеянно-грустное, с заметно припухшими скулами и глубокими карими глазами. За последний месяц его манеры очень изменились, и без того тяжёлый взгляд стал напоминать Уолден, каким его описывает Генри Торо, но если раньше это выражение лица возникало только затем, чтобы вскоре исчезнуть, теперь оно застыло на его лице, как посмертная маска.

– Пожалуй, расскажу тебе о том, как я стал играть во взрослой команде. Только не перебивай, и ничему не удивляйся, я начну с самого начала.

...Мужской характер в нашей семье стал чем-то вроде фамильного проклятия. Вроде тех, о которых в английских готических романах рассказывают наследнику на 18-летие. Твой дед, старый бхикку, спокойный, как слон, умер от разрыва сердца. Мой брат выпрыгнул из окна, за месяц до твоего рождения – по какой-то невнятной причине. А вот мы с тобой живы, хоть и не каждый день этому радуемся. Но ведь так и должно быть, понимаешь?..

– печёного хлеба?

– ...Вот и я в твоём возрасте жил в разладе с самим собой, и почти каждый вечер встречал свою великую депрессию, сидя на подоконнике, я ведь тогда ещё не читал Вуди Аллена, уговаривал себя потерпеть ещё немного, когда тяжёлые мысли ложились на сердце и вставали вместе со мной по утрам, преследуя по пятам весь день. Сумрачное было время, что и говорить...

Итак, эта старая история случилась ещё в моей юности. Как ни прискорбно подобное сочетание...

Те годы принято называть «нулевыми», ужасно глупое и неудобное слово, но именно в отношении тех лет в нём есть немало справедливого.

Мы ещё не переехали из Переделкино, это был большой спальный район для всех, кто собирался уснуть вечным сном ещё при жизни. Земля изобилия с маленькими пакетиками кофе в дешёвых супермаркетах, фильмами в видеопрокатах, одноразовыми шприцами в тёмных углах подъездов на полпути между вечностью и вечным возвращением. Кризис перепроизводства пустоты, одним словом. Мы с парой друзей придумали себе общий псевдоним, я его сейчас не помню – но он был несмешной – лучше б мы кололись, честное слово, – я, как сейчас вспоминаю, спал тогда с антологией поэзии битников под подушкой и являл собой тип законченного лузера. Нескольким раз в неделю мы встречались и записывали удачные предложения друг за другом. Бумага была тетрадная, так что заклеивать дыры в окнах зимой было не слишком удобно. Во «Втором дыхании» разливали дешёвое пиво – примерно литр за страницу. Такой способ напоминал нам Хемингуэя и Хантера Томпсона, но всё, что мы могли предложить друг другу, было лишь смятение и взаимное недовольство.

Уже через полгода такого подвижничества нас поглотила обыденность, и мы поселились в ней, словно в брюхе гигантского Левиафана. Не так уж и плохо – по крайней мере, тепло и сухо.

В поисках чего-то настоящего или хотя бы стоящего мы сами незаметно становились чем-то вроде типовой застройки, с повсеместной модой на лоджии и стеклопакет. В общем, это была тоска похлеще куриного бульона на кубиках.

В то время я много думал о таких вещах, как «самовыражение», «индивидуальность», «вера», а мысли о них не способны рождать ничего, кроме сомнений. Несомненно, Кьеркегор был прав. Как я мог, проживая одну и ту же жизнь с остальными, претендовать на что-то большее, чем они? Вместо импровизации был хэппенинг, вместо путешествия – трип, личные дневники публиковали в жж, а из оригинальных идей устраивали флэш-моб.

Нам всё это не подходило. Может, мы искали чего-то более приземлённого, чем популярные блог-и; увы, нас некому было учить – последний великий писатель умер ещё в начале 90-х. Остальные совсем затосковали, замешали героин с тайдом, а меня ждало нечто более ужасное – я влюбился.

<...>

Она бросила меня абсолютно правоспособным – когда мне уже исполнился 21 год. Впрочем, две эти цифры можно было смело переставлять или суммировать. За те 3 года я не написал ни строчки и ничуть об этом не сожалел. В первый месяц без неё я перекрыл все предыдущие стахановские рекорды, без всякой помощи шахтёров с тачками. По-настоящему убогие произведения всегда рождаются искренним чувством, мой мальчик. Последующие полгода я провёл в одиночной камере собственной комнаты, где охрана разрешила мне разрисовывать книги, бросать окурки на пол и слушать громкую музыку ночи напролёт.

Наконец, ещё месяц-другой, я заставил себя выходить из дома чаще 3-х раз в неделю, нашёл работу (первая ступень грядущей карьеры – я на ней до сих пор), секцию, чтобы заниматься жёстким цигуном, что в перспективе спасало меня от размягчения мозгов, и научился, наконец, есть палочками. К тому времени старина Хант уже купил ферму.

Я был одинок и сентиментален, то есть фактически женат и циничен. Я не напивался в одиночестве и не писал мемуаров, просто убивал время, но оно всё время воскресало заново.

В тай-ци цюань есть что-то от поп-арта, как думаешь? К сожалению, человеку, не страдающему раздвоением личности, трудно воспринимать себя как форму искусства. В философском смысле толку в этом не больше, чем в гальванизации собственного трупа. Максимум, на что мы обычно способны – это любоваться на себя в зеркало, в остальном же мы идём у жизни на поводу, оставляя за ней право самой подражать искусству.

Так я и думал, пока как-то ночью не наткнулся в одном толстом научном сборнике на статью о теории театра жизни. Евреинов. Не знаю, где у него ударение.

Не буду пересказывать тебе идеи из его книг. Я знаю, ты читал. Меня интересовала главным образом «театротерапия» – разыгрывание сцен прошлого действующими лицами с целью разрешения моральных конфликтов, а также вытекающее из этого представление о вечной игре человеческой природы, для которой самые сильные чувства и переживания – не более чем глубинная тяга к притворству.

Не стал бы преувеличивать значение подобных совпадений – ведь, зачастую, когда мы повсюду ищем нечто, необходимое нам, мы можем отыскать его для себя в любом месте, даже придумав себе то место, если потребуется. И всё же мне захотелось попробовать себя на сцене всеобщего театра, и я ухватился за эту идею, как злой разбойник за паутинку в глубине буддистского ада.

Я вдруг представил себе своё сердце разодетым в пух и прах на подмостках жизни, в монотонном спектакле для зрителей и радиослушателей, пока оставшаяся часть меня корчится в судорогах в первом ряду.

Звучит сумасбродно, мой мальчик, но это правда. В тот момент я перестал верить в искренность своего сердца.

Видишь ли, разыграв с любимой наше расставание ещё раз, я думал уличить своё сердце, поймать его на лжи, вконец разоблачить и подать на ужин в печёном виде. Мне хотелось оградить душу от чувств, прямо как в той старой песне Joy Division...

– и ты разыграл с ней расставание?

– да. Пришлось второй раз повторять все те же шутки, и, оказалось, что многие из них не такие уж и смешные.

– кошмар.

– да, а она только временами позвякивала, как кассовый аппарат.

– ууу. Это всё очень несмешно.

– она сказала, что «хочет быть счастливой, как все».

– а разве «все» счастливы?

– может, пока не читали Евреинова.

В любом случае, это был конец, чудовищный и грустный, как все слова, заканчивающиеся на «ц».

– о чём ты думал тогда?

– о самоубийстве.

Но самоубийство не выход. Самоубийство – вход, а мне решительно не хотелось вставать с дивана. К тому же я никак не мог решить, во что одеться. Не терплю перемен, в том числе в одежде.

И вот однажды вечером ко мне зашёл сосед и попросил сыграть за их заводскую команду. Обычная подстава – меня выдали за слесаря второго разряда, поставили справа, хоть я и правша, что, конечно, усложнило мне смещения в центр – пришлось сыграть классического вингера – а ты знаешь, как я не люблю эту вековую традиционную британскую беготню – но мы выиграли, и меня оставили в команде. Представь себе, уже следующая игра была договорной.

Прямо как у нас завтра в национальном чемпионате.

Ты только представь этот подлинный театр мечты для любителей недоделанных аллегорий – игроки, разыгрывающие борьбу на поле! С драматизмом бьющие мимо и с пафосом отмечающие забитые голы – настоящий пример для подражания.

– ничего нелепее и представить нельзя.

– именно так я и подумал много лет назад. И это прибавило немного классицистического пафоса в ту старую пьесу абсурда.

Вот и вся моя исповедь, Шерлок. Делай с ней, что хочешь – только не рассказывай детям до 16-ти – теперь они вырастают быстрее – храни в своём сердце – и доставай только в дождливые дни, когда можно незаметно промокнуть от собственных слёз.

Их Университеты

Иногда по вечерам, когда мне хочется вспомнить молодость – я пускаю кресло-качалку вскачь, отчего вскоре начинает тошнить – и вот уже перед глазами проносится последний год моих занятий в университете.

Что за жизнь у меня была тогда? Кто по вечерам гулял с моей собакой? И с кем в таком случае гулял я? Сколько капель валокордина тогда было принято принимать на ночь?

Всё скрылось вместе с закатом солнца во вселенной моей памяти (а может это всё инсульт). Но то здание университета и все его заключённые до сих пор мозолят мне глаза, отчего временами приходится заклеивать их пластырем.

Я прохожу сквозь двойные стеклянные двери. Сегодня они с двумя «н», как оловянные или деревянные, – но всё же именно стеклянные. Логика подсказывает, что я посещал институт и в тёплое время года, но, судя по дрожи, которая бьёт моё тело – и по капелькам пота, напоминающим о зимнем отоплении больших аудиторий, – на улице холодно. Это значит, что мне должны дать мой номер, до того, как придёт время знакомиться с охранниками. Я не хочу ни того, ни другого, так что хватаю куртку под мышку и мелким грызуном проползаю между двух тюремщиков, тыча им в лицо корочку с фотографией синюшного трёхдневного трупа, в котором они безошибочно опознают меня.

Вестибюль – уже лучше – всем надо в лифт – поцеловать друг друга в щёку (я предусмотрительно не бреюсь), мне – посмотреть, кто из нашей монструозной средневековой корпорации

вчера прикупил ферму. Сегодня это снова какой-то историк. Но опять не тот, кто будет вести у меня первую пару. Что ж... Старательно избегая знакомых, протаптываюсь к лестнице. Там Мотя. Я ему рад. Привычно не здороваемся и теряем друг друга из виду.

За прутьями лестничной клетки колония леммингов напряжённо перемалывает последние новости. В отсутствие необходимости насиловать друг друга в армии, студенты предпочитают схожие развлечения ментального толка. В этом месяце у нас снова лав-металлическая группа и перспективы мимолётной однополой связи с преподавателем для быстрого получения зачёта. У меня в голове тараканы устраивают забег по мозговым извилинам, отчего я в рассеянности два раза прохожу мимо нужного этажа.

Уже в аудитории. Сегодня запомнить её нетрудно – у неё номер моей квартиры. Увы, на этом сходство не ограничивается. Внутри тоже какая-то толпа малознакомых людей, розетка сопливо свисает на проводах, повесив нос, в то время как я привычно занимаю стратегически выгодное положение лицом к выходу.

На лекторе мятая рубашка с поднятым воротником. Это как раз тот, недавно приглашённый, что раньше был в институте океанологии, на озёрном факультете, кафедре Лох-Несского чудовища. Снова говорит об «иллюзии возможности расслабиться», пока я мысленно перебираю в голове содержимое собственного желудка, и решаю, что оно достойно того, чтоб со всеми поделиться – при помощи немедленного сэппоку здесь же, не сходя с места.

Но чу! Он начинает!

«...в результате группового изнасилования источника коллективом авторов...» чистота... «...и тогда и сейчас – наши геополитические интересы...», «наконец, пункт третий нашей периодизации – после того как Андропову включили запасную почку, но до того, как Черненко отравился свежей рыбой...» и мы разрываем сети и плывём по водосточным трубам прямо в океан, прямо в открытую воду... а нам навстречу альбатросы Бодлера и матросы броненосца «Потёмкин»... «...ошибается тот, кто ничего не делает...» да, я тоже умею шутить с двойным отрицанием... медведи на лесозаготовках... Брежнев награждает Штирлица... подписка на «Вестник копрофагии»... я уже сплю... как я могу спать во сне? Мне снится, что я сплю? Раз так – лучше проснуться во сне – потому что если проснуться по-настоящему – потеряешь всё.

Исследователь морских глубин интеллигентно дожидается перерыва, чтобы обратиться ко мне.

– Ц-509! Настоятельно рекомендую вам лечиться от храпа и отучиться разговаривать во сне, если вы собираетесь специализироваться на нашей кафедре!

– О, само собой, прошу прощения, может быть вы мне что-нибудь порекомендуете?

– Вот вам моя методичка. Всего 15 рублей. Это издательская цена. Без неё вам ни за что не проснуться к зачёту.

– Разумеется. Она, вероятно, ещё долго не даст мне уснуть.

Полстипендии уходит на его брошюрку. Прикидываю, хватит ли времени и денег до первого этажа с едой. Это полезная инновация – девушки охотно сбегают за свежеиспечёнными пирожками с мертвечиной вверх/вниз, сжигая калории в холокостных печах своих тел. Сам я скорее по питьевым йогуртам, чем по пирожкам. Это ректор у нас каннибал. Нет, в конце концов лень. К тому же минут на пять я здесь совсем один. Иллюзия возможности расслабиться приобретает реальные очертания. Вероятно, даже такие, как я, временами имеют на это право. Всё-таки не каждый день встретишь человека, единственное хобби которого – выпиливание.

Голова уже отяжелела под растущей массой опилок, как он снова начинает говорить. О, скажите, почему я не мог убить его? В конце концов, муху мы убиваем только за то, что она жужжит. К тому же теперь в его голосе слышны довольные нотки – ещё бы – не каждый день, небось, продаёт свою методичку. Но у меня своя школа – пять минут – и я снова в состоянии, близком к переходу в иное состояние.

Меня будит тихое сопение соседа спереди – он явно хочет чем-то поделиться со мной. Смешно даже предполагать, что это что-то из лекции, хотя кто знает, этот парень мне незнаком, но сразу видно, что он интеллеktуал, грустное отражение моих извечных разочарований. Он смотрит прямо на мой кенгурятник. Кенгурятник оруэлловский – обозначает мою принадлежность к пограничникам буферной зоны между утопией и антиутопией.

– о, у тебя свитер... 1984...

– да, это год последнего чемпионата питерского «Зенита»...

Последние слова снимают скальп с его улыбки. Меня начинает мучить чувство вины, что я неверно отозвался на его пароль, но уж слишком долго я ждал шанса вот так вот отшить какого-нибудь незнакомого умника... Усните, стремленья... Пусть каждый сам топчет свои грёзы...

Всё ли это? Кто знает – сновидение цензурирует не хуже вечерних новостей на первом канале. Качалка перешла на галоп, и я пришпорил её так резко, как это только возможно в меховых тапках-зайцах. Уже ночь. Пойду спать, если пообещаете, что увижу сон.

О ней (Неотложка для девушки с обложки)

Я вовсе и не думал требовать от неё понимания. Речь шла о тотальной лояльности.

В эту особенную пору моей жизни, когда выбор между тёплыми отношениями и горячим ужином уже не кажется таким очевидным.

Теперь-то ясно, что свои лучшие годы я отдал писательству. Кажется, в самом начале речь шла о неких процентах, но всего ведь не упомянешь... В моём нынешнем возрасте любовь – это моральный императив в сослагательном наклонении.

Другими словами, я хочу сказать, что её категорическое «нет» на третьем свидании не должно вводить меня в заблуждение. Равно как и в замешательство. И в ступор. У меня большой опыт в написании романов воспитания, и для меня не секрет, что все препятствия лишь отдалают неизбежный финал на сотню-другую страниц.

Думаю, она человек настроения, и именно так следует трактовать её настойчивое стремление имитировать автоответчик, когда ей звоню я. Возможно, мне бы самому стоило сменить пластинку – а то у меня вечно на заднем фоне хрипит Махмуд Ахмед. В то же время её несговорчивость я нахожу прелестной – ни с одним моим предложением она не согласна. Что ж, по крайней мере, она не конформистка, хотя и не читала моих романов, как и все остальные.

* * *

По-моему, она смеётся надо мной.

Хорошо, ведь это значит, что я её веселю. А жизнь так грустна (и выгодно меня оттеняет).

Мы мало времени проводим вместе. Иногда я посреди ночи просыпаюсь от любви к ней. Впрочем, она ни разу у меня не ночевала. Если не считать того раза... но мы с ней его договорились не считать.

Не стоит представлять меня одиноким. Если суммировать то время, что я трачу на мысли о ней, с тем временем, что я думаю о себе, получится как раз световой июньский день где-нибудь в Москве.

Мне хочется взять её за руку, но я опасаясь встречного в челюсть.

Не знаю, чего именно она хочет. В последнее время возникает подозрение, что ничего. Что ж, это как раз то, что я могу ей дать. Тем не менее, не думаю, что наши отношения фикция; скорее нон-фикшн.

Может, всё дело в странном соотношении веры и надежды, которым мы и создаём действительность отношений, словно ламаисты.

Она всё больше смотрит сквозь меня – пару раз я оглядывался, но не видел ровно ничего интересного.

Вчера я набрался смелости и попросил её полюбить меня, а она сказала, что должна спросить разрешения у родителей. Мне казалось, они у меня в кармане, но их там не оказалось.

Незадолго до того мы с ними обедали у меня дома, а вскоре я узнал, что её мама с папой погибли 5 лет назад.

Но это ничего, ведь у тех, с кем я обедал, аппетит был плохой, и вообще я им, кажется, не очень понравился.

Больше мы с ней об этом не говорили, но по косвенным признакам мне кажется, что её родители всё же против нашей связи.

Она перестала мне улыбаться в sms-ках.

* * *

Я и вправду не хочу от неё понимания. Сам-то я понимаю немного – и то в ужасе.

И то, что она не видела моих книг, пожалуй, к лучшему. Разве что «Первая» была ничего, но она всё равно не взяла бы её в руки из-за мягкой обложки. Скучная история.

Когда всё счастливо разрешится, мы будем гулять вместе по утрам и вечерам, ездить за город и смотреть там телевизор.

«Прекрасно, – сказала она, – но я предпочитаю одиночество, город и радио».

Пушкин вместо масла

«Сыр – это труп молока»
Дж. Джойс

В прошлый раз рассказ начинался так: «пожилая женщина тихо вошла в комнату Грегора Замзы и включила фумигатор». Или это был конец?

«Если вам в одиночку приходится смотреть на свою работу много дней подряд, иногда полезно поменять угол зрения – в таком случае хорошо переложить подушку туда, где раньше были ноги – и лечь головой в другую сторону. Эффект превзойдёт ожидания.

Для рук есть следующее упражнение – полезно трогать ими других людей. Те, кто долго этого не делают – знают, что со временем на всё явное ложится тень неподлинности. Прикосновение призвано разрушить эту иллюзию – пускай даже и прямым правым в челюсть. В противном случае, в конце концов рискуешь обнаружить себя в городском парке загримированным под сумасшедшего.

На первый взгляд больше ничего и не нужно – голова и руки, чтобы за неё схватиться».

Во время написания того рассказа у меня ещё был роман. Работа шла медленно, потому что его тоже приходилось писать. Ещё походы в вуз без палаток и байдарок. Разные занятия порождали сумбур в голове, рассеивали внимание, отчего хотелось всё бросить, а потом подняться на крышу и превратить глагол в возвратный. В институте обсуждалась прикладная геополитика в форме заката солнца вручную, теория добровольного призвания татар на Русь – на лицах студентов (а значит и на моём лице) лежала серая тень пситтацизма, отчего так привлекательна становилась священная книга зороастризма – «Так говорил Заратустра».

И никто не следил за успеваемостью на стометровках.

Примерно тогда же я вёл дневник. Недавно он отыскался – по нему легко проследить, чем я в то время занимался. Большую часть времени я в него писал.

«В немывтое оконное стекло по вечерам одинаково плохо виден и окружающий мир, и собственное отражение».

Всё ещё обдумывая это, я закрыл тетрадку с рассказами, вложил её в тетрадку с романом, вперемешку с дневником. Пришёл Фома, мы стукнулись кулаками в знак приветствия и вышли на прогулку. Наша дебютная книга – «Как быть писателем и писать книги» – прославила нас. Беспокоиться теперь было не о чем.

– Иван, вы видите сны?

– вы знаете... да я просто не смотрю...

«Холодным осенним вечером Раскольников варит кашу из топора».

Вадим КЕРАМОВ

* * *

Все холоднее в полумраке
Повсюду лиственная течь
Дубы, одетые во фраки
Теряют дарственную речь

А в день шального снегопада
Пойдут ко дну мои места
Потом другой, как я когда-то
Начнет все с чистого листа

И первый шаг его понятен:
У легкомысленной весны
Выпрашивать чернильных пятен
И госпитальной белизны

* * *

Ночью хорошо, когда один
И фонарь, высокий господин
Льет густую синюю гуашь
На тебя, деревья и гараж

Ночью хорошо, когда звезда
Выпорхнет из своего гнезда
Загадать желанье – все одно
Сбудется, не сбудется оно

Ночью город, как младенец, тих
Вот и время нагулять мне стих
Золотые слитки на земле
Собирая на калым зиме

Побережье

Казалось, все открывает рот
Чайки, дети, волны, суда,
До облаков громыкает грот,
Пенится небо, бурлит вода

Вадим КЕРАМОВ родился в 1977 году в Махачкале, окончил Литературный институт им. Горького (семинар С. Н. Есина).
В настоящий момент живет и работает в Москве.

Сосредоточие всех стихий.
В тихую ночь, поутру
Казалось, время читать стихи
Над водой, со скалы, на ветру.

Но замолкаешь, начав едва:
Теми же звуками полн
Рот, повторяющий слова
Вечнозеленых волн.

Бегущий

Красив человек, бегущий от смерти, по дороге ведущей к смерти –
Лента финишная, наилегчайшая, велика на труд –
Все ближе мгновение, лишенное тверди,
И жарче трепет десятилетий,
Голос во мгле: это за мной идут.

Что явило меня, и куда простираются тени
От камней землеродных, и чем проверяется век?
Растущее знанием, быть может, я лучшее из растений,
Живущее верой, быть может, я лучшее из животных,
А все еще не человек.

Что меня вырвет из круга, как не круг больше круга.
Смерть – все та же история плена, за нее не дашь и пятак,
Не добавка, не выворотка, не беда, не подруга
А только имени перемена,
Но и это не так.

* * *

Уже не осень, еще не снег.
С землю смешан вороний смех.
И безнадежен в своей тоске
Автомобильный крик вдалеке.

Распалось облако-пароход,
И не кончается переход
К зиме, которой отдам листья
Уже не я, еще не ты.

Полина СТРЕЛКОВА

Роза

Она высыпала из ботинок
Пыль, песок и слёзы.
У неё в тетради много валентинок
И всё от самой себя Розы.

Она хотела прыгнуть с крыши, покрытой вьюнами
и одуванчиками
Она хотела глотать туман
Она хотела купить тысячу маечек
И разложить по шкафам.

Она хотела закрыть глаза и задуматься
стоит ли ей дальше жить.
Она любила ходить по тёмным улицам
И кровью ночь теревить.

Роза ела луну и пила росу
Убегала сама от себя.
У неё были прыщи на носу
И пощёчины от ребят.

Она умела летать и умела тонуть
И верила в конец света.
Она знала, что прошлое не вернуть,
И умирала в траве каждым летом.

Она не боялась сказать в глаза
Ветру и небу всю ложь
Она знала, что такое гроза
и кричала на кухонный нож.

Роза знала, что такое вода,
И в рай хотела лететь на такси.
Ведьмы танцуют танго у пруда.
Роза на шёлковой нитке висит.

Роза любила сидеть на сосне
И коршуном вверх улетать
Роза любила читать о весне
И о трауре черном мечтать.

Полина СТРЕЛКОВА, 13 лет. Родилась и живет в Нижнем Новгороде. Автор книги «Подсолнышко». Печаталась в журнале «Волга - XXI век» (№3-4, 2008), альманахе «Среда» (№6, 2005, Нижний Новгород).

Роза любила снять кожу
и танцевать своими костями.
Строить страшные рожи
И слёзы посылать маме.

Роза любила смотреть на луну
Цвета погибшей русалки
Роза любила загладить вину
Утюгом на берёзовой палке.

Роза верила, что не умрёт
И превращалась в улитку.
Роза от нас никогда не уйдёт.
мы не уйдём – будет пытка.

Роза любила вращать руль,
Быть капитаном корабля
Роза придёт будет июль,
Не придёт конец ноября.

Мы знаем: Роза не уйдёт никогда
И поселится в нашей душе
Роза пустит ростки в никуда
И будет жить в шалаше.

Мы забудем себя и забудем зарю
И не будем видеть грёзы.
У нас будет гроб по календарю,
Но с нами будет Роза.

Роза хотела бить в барабан
И молиться еловому листу
Роза хотела взять катамаран
И рекой заполнить пустоту.

Роза достанет рукой до луны
И песню споёт мёртвой лозе
Роза с дырками купит штаны
Думаем мы лишь о Розе.

Роза знала, как страшно быть солнцем
И хотела чтоб звали Розеттой.
Лучше жить в тюремных оконцах,
Ведь без неё жизни нету.

Роза поставит в огонь самовар
и превратится в кикимору.
От самовара идёт злобный пар
Роза нас покинула.

Михаил БОГАТОВ

[КО]МИССИЯ [staats]роман

г. (При)бытие

Перрон наполнился вновь прибывшими пассажирами. Люди поодиночке выходили из вагонов, сливались в ручеек на перроне, и к вокзалу уже приближался огромный поток толпы. Блосстителю порядка строго оценивали проходящих мимо них, умудряясь не поддаться течению этой реки, оставались на своих местах.

Журналист Пиар, будучи подхвачен толпою, сам составляя ее неотъемлемую часть, подумал о том, что так случается почти всегда – приезжаешь в новый город и вместо того, чтобы вдохнуть дуновение местного воздуха, видишь на новой земле все те же лица своих попутчиков, которые тебе уже порядком поднадоели за долгую дорогу. Это сразу же убивает чувство новизны и делает город будничным уже до того, как ты соприкоснешься с этими буднями сам. В конце концов, праздники возможны только дома, и никогда нельзя отдохнуть душою в чуждом тебе месте – ни в командировочном городе, ни на отпускном курорте. Другое дело – что считать своим домом...

Тем не менее, работа журналиста состояла как раз в схватывании той самой новизны, которую так упорно от него стремились спрятать идущие рядом. Пиар остановился и закурил, подмигнув проходящему мимо мальшу.

Затем он долго смотрел на трехэтажное здание вокзала, до входа в который ему оставалось идти в темпе этой толпы минут пять. Вокзал ничем не отличался от подобных ему вокзалов в подобных этому городу городах. Особенно со стороны перрона – все то же серое здание, все те же запыленные окна, все тот же козырек навеса над входом, под которым прозябают продавцы булочек и грузчики. Все то же.

Пиар вздохнул. Ему предстояло выявить особенности именно этого города так, чтобы те, кто в нем бывал лишь раз или проездом, читая статью Пиара и не зная, про какой город она написана, воскликнул, хлопнув себя ладонью по лбу: черт возьми! да это же город К.! я же в нем бывал в прошлом году! Или еще лучше: лет десять назад. Надо схватить то, что видно сразу, но чтобы, будучи схваченным, оно отражало самую суть города.

Так напутствовал Пиара его редактор перед каждой командировкой, а последних было предостаточно. Сам Пиар уже чувствовал себя в силу этого полноправным «выездным» корреспондентом, особенно с тех пор, как в их газете открыли рубрику «Наши города», где каждые две недели публиковали статью Пиара, зачастую отредактированную до неузнаваемости.

Пиару очень не нравилось название рубрики, отдающее пошлым патриотизмом, но с этим ничего нельзя было поделать: отныне эта рубрика «принадлежала» ему, а все остальное – главному редактору.

К. был девятым городом, который Пиару предстояло описать в «Наших городах», и, к слову сказать, ему уже порядком поднадоели эти тоскливые разъезды. Возникло даже желание где-то

Михаил БОГАТОВ родился в 1980 году. Кандидат философских наук. Публикации в журналах «Октябрь», «Волга – XXI век», «Credo New», газете «НГ ExLibris»). С 2006 года возглавляет литературный клуб «Дебют» в Саратове. Региональный куратор фестиваля актуальной поэзии «Дебют-Саратов». Главный редактор теоретического альманаха «Res Cogitans». Автор книг «Манифест онтологии» (М.: Скимен, 2007), «Искусство бытия» (М.: Скимен, 2008). Работает преподавателем в Саратовском государственном университете. Участник поэтических фестивалей «Биеннале поэтов» (Москва), «Стрелка» (Нижний Новгород), «Молодой литератор» (Нижний Новгород), «Дебют-Саратов».

подхалтурить; слава богу, этого не исключалось. Форма репортажей была определена как «свободная, в жанре эссе». Редактор доверил Пиару полностью этот вопрос, оставив за собою право такого же свободного редактирования.

В городах Пиару позволялось пробыть неделю, максимум – десять дней, но максимумов еще не бывало. Жить приходилось когда в гостиницах, когда у знакомых редактора – как правило, людей далеких не только от журналистики, но даже от элементарной образованности и грамотности. Пиару тогда приходилось слоняться по городу целыми днями и приходиться «домой» лишь поздно ночью: не из-за работы, но лишь из нежелания беседовать с «хозяевами». Если же он останавливался в гостинице, то он мог целые дни напролет читать местную газету в сквере возле гостиницы – и этого было достаточно, чтобы «почувствовать» город. Если уж ему доверили, то значит, что он «почувствует» независимо от того, делает он что-либо для этого или нет.

В городе К. у редактора были знакомые, и он дал Пиару их координаты, но посоветовал все же у них не останавливаться, поскольку, как выразился сам редактор, «они весьма странные». Пиар тут же для себя решил, что если его странный редактор кого-то называет странным, то это – вполне нормальный или, по крайней мере, элементарно образованный человек. Но гостиница больше прельщала Пиара.

Вообще, еще в поезде, по дороге в К., Пиар решил написать об особенностях этого города вот что: во-первых, там есть где останавливаться (а значит, сэкономить командировочные расходы), но редактор, вопреки здравому редакторскому смыслу, посылает журналиста в гостиницу (а значит, расходует лишние деньги); во-вторых, там живут нормальные люди – такие же, как вы и я, поскольку редактор назвал их «весьма странными»; в-третьих, самому автору этих строк все надоело и т.д.

Но это, конечно, шутка. Пиар блефовал: он всегда добросовестно подходил ко всякому делу и, как уже говорилось, даже при возможности обмана, он оставался непоколебимым и непреклонным. Его еще на факультете журналистики обучили кодексу журналиста и с тех пор, он неукоснительно последнему следовал: можно сомневаться во всем, кроме того, что ты – журналист. А звание последнего обязывает тебя и т. д. и т. п.

Нет, он не был совсем глуп, чтобы не видеть, что далеко не каждый его коллега чтит университетский кодекс, но все же был несколько туповат, поскольку следовал ему всегда и во всем. Иначе говоря, это был совсем обычный журналист и, как все журналисты, например, мечтал написать свою книгу, и, как обычно журналисту, ему ничего не приходило в голову, кроме своей биографии. Единственное, что его отличало от иных в этом пожелании, было название книги – Пиар его видел непременно на латинском языке. Сам он латынь знал плохо – лишь на уровне крылатых фраз, но название хотел именно латинское.

Как-то ему попалось выражение «эссе homo», и уже собрался именно так и обозначить свой бессмертный труд, когда в самый последний момент узнал, что книга с таким названием уже существует и написана она самым злобным философом и, ко всему прочему, еще и сумасшедшим – Ницше. Ведь там же, на факультете журналистики, Пиара научили тому, что Ницше – фашист, а значит, противник всех журналистов. И когда Пиар встречал ницшеанца в миру, то непременно писал в своем репортаже об усиливающейся опасности коричневой чумы.

Он вошел в переполненный вокзал и, даже не смотря по сторонам, вышел в город. Тут же он столкнулся предлагающим свои услуги таксистом. Никакого желания сопротивляться местному сервису Пиар в себе не обнаружил, а потому, сев в такси, попросил привезти его в гостиницу в центре, но недорогою.

Таксист услужливо и с пониманием кивнул, и машина тронулась. Как понял Пиар, этот парень был вообще неразговорчивым, что большою удачей журналист назвать не мог. Они ехали минут семь-восемь, когда машина вдруг остановилась у старинного пятиэтажного здания на довольно оживленном перекрестке.

– Приехали, – констатировал таксист. Пиар поблагодарил его, рассчитался и, подхватив на плечо свою черную походную сумку спортивного типа, поднялся по ступенькам ко входу в гостиницу. «Летопись Рима» значилось в ее названии.

У входа стоял швейцар. Это сразу же встревожило Пиара. Он решил, что таксист привез его в дорожную гостиницу, воспользовавшись неориентированностью Пиара в местном сервисе. «Наверное, он и денег содрал больше, чем полагалось по счетчику», – совсем уже огорчился Пиар, проходя в открытую швейцаром дверь. Журналист протянул ему монету, на что швейцар лишь невозмутимо кивнул. Все это начинало раздражать.

Холл гостиницы был просторнее обычного, что лишь упрочило мнение Пиара в дороговизне и уровне этого заведения. Конечно, тратил он не свои деньги, но именно в силу своей честности Пиар зачастую отказывал себе даже в том, в чем себе нельзя было отказывать вообще. Поэтому захотелось убежать отсюда, но все же добросовестность и привычка доводить все до конца задержали Пиара и заставили его направиться влево – направо же был, по-видимому, ресторан.

В холле было пустынно и как-то сумрачно. Пустые кресла вновь навели Пиара на мысль о качестве гостиницы – многолюдно всегда в трактирах и постоянных дворах, где именно журналист и чувствовал себя по-свойски. Раздражение росло.

За стойкой никого не было. Пиар заглянул за нее – там тоже никого. Он кашлянул. Никого. Он стал кашлять громче и сильнее, и уже совсем ничего вокруг не видел, когда сзади его похлопали по плечу. Пиар от неожиданности вздрогнул и обернулся.

– Может, вам воды?

Перед ним стоял маленький лысый человечек, почти коротышка. Его лысина блестела в полумраке гостиницы, что Пиара весьма позабавило. Судя по его одежде, он и был тот, кого так безуспешно Пиар искал.

– Нет, спасибо. Мне нужен номер.

Коротышка поднял на него глаза несколько удивленно и стал по-новому рассматривать Пиара, как будто что-то кардинальным образом изменилось во внешности журналиста после столь необычной для гостиницы просьбы.

– Вы долго еще будете на меня пялиться? – взорвался Пиар. – Мне нужен номер и ничего более. В конце концов, это гостиница или нет?

Коротышка встрепенулся и виновато забормотал:

– Да, да, конечно, простите, это «Летопись Рима», одна из лучших гостиниц города, да и при этом недорогих, конечно же, что это я... – с этими словами он забежал за стойку.

Там у него, очевидно, была подставка для ног, взгромоздясь на которую, он стал одного с Пиаром роста или даже выше. Тут же он сделал серьезное лицо. Эти превращения были настолько забавными, что Пиар невольно улыбнулся.

– Что угодно вам? – спросил коротышка.

– Комнату, – повторил Пиар, опираясь на стойку рукою, – номер.

– Вам номер на одного или нет?

Коротышка достал огромный журнал и стал торопливо его листать. Пиар обратил внимание на то, что все страницы были совершенно чисты; некоторые листы даже были еще не разрезаны после типографии.

Он отдался во власть своему раздражению. Пиар показательно, почти театрально, обернулся назад и удивленно произнес в пустоту холла:

– Да тут никого нет! – он повернулся обратно и сказал со сладкой миной, – тогда номер на одного.

Коротышка, будто не замечая этого вычурного комедиантства, тоже огляделся вокруг.

– Действительно, никого нет, – пробормотал он серьезно и растерянно, – значит на одного?

С этими словами он закрыл свой журнал и засунул его обратно, куда-то в недра огромной стойки.

– Да, – едва сдерживая раздражение, проговорил Пиар, – на одного.

– У нас есть один номер, где вам будет вольготно и удобно.

– Хорошо, – вздохнул Пиар, – сколько это стоит?

Пиару стало невыносимо при том, как произнес коротышка слово «нас» – невыносима была мысль, что здесь все такие, как этот местный житель.

– Сущие пустяки, – коротышка назвал действительно смешную сумму.

Пиар уже ничему не удивлялся, почувствовав себя среди каких-то «весьма странных людей» тоже немного странным. Ведь когда сталкиваешься с чем-то странным, то остается признать либо нормальность этого странного. Либо – ненормальность и себя, и всего вокруг.

Коротышка снял с панели один-единственный ключ и спустился со своего помоста, сразу же оказавшись ростом в половину Пиара.

– А как же документы? – спросил Пиар, надеясь этой просьбой внести какую-то ясность в положение дел.

– Какие документы? – как-то испуганно вздрогнул коротышка и впервые посмотрел Пиару прямо в глаза, – бумаги?

– Ну да! – удивился Пиар, – бумаги, документы, удостоверения личности, все равно как вы их здесь называете!..

Коротышка прервал Пиара, поднеся свой указательный палец к его губам, делая знак молчать:

– О какой личности вы говорите? Бумаги – это очень сложно и... спорно. К тому же... впрочем, ладно.

Пиар сразу же задумался над этими странными словами, но коротышка повторил свой жест.

– Не думайте. Это легко и не ненатурально.

На этих словах Пиар окончательно потерял надежду на нормальную поездку. Ему оставалось тешить себя надеждой, что это все – только невезение; он верил, что ему повезет, и он встретит нормального человека сразу же, выйдя на улицу, – прямо первый встречный и будет нормальным человеком. А пока хотелось отдохнуть с дороги, и пусть даже этот отдых будет аналогичен сульфазиновому сну в желтых стенах нормального города.

Номер был хорошим. Именно так и показалось Пиару, поскольку он никогда в жизни еще не останавливался в подобных местах. Именно размах комнат (их в номере было три), прелесть убранства и свежесть воздуха в сравнении с ценою за все это не позволило Пиару оставить мысль о сумасшествии коротышки.

Когда Пиару показали его номер, то, заметив на его лице невольное восхищение, коротышка как-то странно и весьма в своей манере, предупредил:

– Надеюсь, вы понимаете, что все это, – он развел руками по сторонам, – не настоящее?

Очевидно, от Пиара ожидали ответа – и он ответил.

– Как же так?

Коротышка обрадовался предоставленной возможности кому-то еще объяснить то, что так элементарно и что знает каждый, разве что неопытный чужеземец вроде Пиара еще не приобщен к этому сакральному знанию.

– Самым подлиннейшим и оригинальнейшим образом, – подмигнул собеседник Пиару. При этом у коротышки был такой сияющий вид, будто у ребенка, которому разрешили сделать недозволенное прямо на глазах у всех – например, разбить любимую мамину чашку.

В это время Пиар подошел к креслу и не без удовольствия опустился в него. Он специально поднес свой нос к подлокотнику и вдохнул воздух. Пахло кожей.

– Но, если это все не настоящее, то и это кресло обтянуто не кожей? – спросил Пиар, обрадовавшись возможности наконец-то вывести на чистую воду этого типа.

– Кресло обтянуто кожей, – вновь посерьезнел коротышка, – но настоящей.

– Искусственной? – удивился Пиар.

Такой добротной искусственной кожи он еще не видел ни разу.

– Нет. Просто настоящей кожей.

– Чем же отличается настоящая кожа от искусственной? – удивился Пиар.

Коротышка задумался, и Пиар решил, что наконец-то ему удалось загнать в тупик местного жителя. На самом же деле коротышка просто искал наглядный пример, поскольку, вероятно, считал Пиара настолько глупым, что научить последнего чему-нибудь можно было, лишь тыча ему в лицо даже не объект обучения, но само понимание его.

С минуту коротышка стоял в раздумье, а затем быстро пошел к письменному столу и снял чехол с непонятно зачем стоящей там старинной печатной машинки, поднес его Пиару и сунул журналисту в руки:

– Вот, смотрите.

Пиар посмотрел на чехол. Заменитель кожи, причем не лучшего качества. Он встречал такую материю довольно часто и очень удивился теперь, встретив ее среди этой роскоши. Хотя, и сама печатная машинка не очень-то вписывалась в эту обстановку.

– Ну и что? – произнес Пиар, – искусственная кожа.

Коротышка довольно закивал головою.

– Совершенно верно.

– Ну и что? – Пиара все это стало забавлять, поскольку он даже не мог представить себе, несмотря на все усилия, к чему же его ведут, – это (он показал на кресло) – хорошая искусственная кожа, это (он помахал чехлом перед самым носом коротышки) – плохая. В чем же проблема?

Коротышка отрицательно замотал головою:

– Нет. Это (он указал на кресло) – кожа. Но ненастоящая.

Пиар вознегодовал:

– Ну а это, что же это, по-вашему?! – он швырнул чехол от машинки себе под ноги.

– Это, – невозмутимым тоном ответил коротышка, бережно поднимая чехол и водружая его на место, – это искусственная кожа. Но ненастоящая.

С этими словами коротышка гордо замолчал. Пиар тоже молчал, уже предвкушая интересный репортаж о городе К. Через минуту-другую коротышка показал Пиару звонок для вызова прислуги, по которому постоялец может вызвать себе помощь для осуществления текущих потребностей – и удалился.

Несмотря на смертельную усталость, Пиар достал из своей сумки чистый лист бумаги, снял с печатной машинки тот самый чехол, вставил лист и начал печатать репортаж.

«Город К. можно назвать самым необычным городом уже по тому обстоятельству, что по приезде в него ваш покорный слуга...»

И тут произошло еще одно «странное обстоятельство». В комнату ворвался молодой человек, которого Пиар даже не успел разглядеть – бросилась в глаза лишь униформа служащего гостиницы – и, подбежав прямо к Пиару, нервно закричал:

– Простите меня, пожалуйста...

Пиар перестал печатать и поднял на него свои вымученные глаза. Это был молодой человек лет тридцати или даже меньше того, с высоким лбом и прямым огромным носом. На груди у него когда-то была эмблема с именем, которая теперь от времени значительно поистерлась или выстиралась, остались лишь очертания первой буквы – что-то вроде В.

Парень так ошеломленно смотрел на Пиара, что журналист решил, что случилось что-то невероятное – либо он, Пиар, совершил какое-то неискупаемое даже ценою всей своей жизни преступление местных законов, либо сейчас разразится землетрясение.

– Извините меня, – скороговоркой и без особого сожаления проговорил В., – но вам нельзя печатать на этой машинке.

Пиар облегченно вздохнул – землетрясения не будет – и устало поинтересовался:

– А кому можно на ней печатать?

Молодой человек вытянулся в струнку и отчеканил так, будто он отвечал на этот вопрос десятки раз на дню:

– Никому нельзя, приказ директора.

Пиар пожал плечами и продолжил печатать, тайком поглядывая на В. Тот постоял, облил Пиара красной своей юношеской возмущенности и побежал к выходу так же стремительно, как и появился здесь.

«...столкнулся со столь непривычными обывателю других городов событиями, что был вынужден прибегать к самым извилистым тропкам своей заурядной способности мыслить, чтобы хотя бы элементарно снять номер в гостинице, поскольку...»

На этих словах в номер вошел В. в сопровождении коротышки, едва поспешавшего за столь прытким молодым человеком. Пиар сделал вид, что внимательно перечитывает напечатанное, не обращая никакого внимания на их присутствие.

– Вот, посмотрите! – В. указал на журналиста, сидящего за печатной машинкой.

– И что же? – удивился коротышка, с опаской покосившись на невозмутимого Пиара, – человек, наверное, работает.

– Но он же печатает на машинке, а вы сами говорили мне... – растерялся В., краснея от стыда.

Пиар при этом от души высмеивал эту парочку, внешне оставаясь непроницаемым, будто камень.

– Пусть человек печатает. Ты должен понять, что ему можно, хотя никому нельзя, – наставлял парня коротышка, – неужели ты забыл о Том Самом, что мы тебе твердили?

Пиар не утерпел и бросил взгляд на В. Тот стоял, нахмутив лоб, а затем топнул ногой, воскликнув:

– Ах, черт! Вспомнил... – тут В. посерьезнел как ребенок, которому доверили жуткую тайну.

– Но неужели это (В. кивнул на Пиара) Он? Я-то думал, что Он будет Другим...

Коротышка полусшепотом прервал его:

– Других мы в этот номер не поселим. Теперь иди и помни о зове бытия, – тут же коротышка повысил голос, обращаясь непосредственно к Пиару. – Извините нас, пожалуйста, работайте дальше.

Пиар сидел молча, невозмутимо и с пониманием уставившись в лист белой бумаги. Он пропустил три интервала и начал печатать репортаж сначала:

«Случись кому-нибудь из вас оказаться в том месте, куда занесла работа вашего журналиста, тот поймет те трудности, с которыми...»

Пиар заметил, что дверь в его номер приоткрыта и в ее проеме таится с таким же приоткрытым ртом В., пристально рассматривая Пиара. Журналист встал и захлопнул дверь, чуть не зажав ею огромный нос молодого человека.

«...ему пришлось столкнуться по прибытии туда. Местные жители ведут себя весьма странно. Во-первых, в гостинице не требуют документов, хоть сколько-нибудь удостоверяющих вашу личность. Во-вторых, там ничего не пишут...»

Пиар задумался. Ему предстояло описать случай с ненастоящей кожей, и он обдумывал, как это сделать и стоит ли это делать вообще? За этим раздумьем он достал свою записную книжку, где тщательно отмечал все командировочные расходы, и внес туда свои затраты:

«машина – 10, номер – 40/сутки».

Действительно, если писать про ненастоящую кожу, то надо сначала убедиться, что коротышка так считает не один. А уж это-то наверняка не так. Пиару даже захотелось, чтобы так думали многие – чтобы вписать это как одну из особенностей, но журналист был уверен, что спроси он у любого местного жителя о ненастоящей коже, тот посчитает Пиара сумасшедшим. Это наверняка, но рискнуть стоит – иначе Пиар может потерять интереснейший репортаж, над которым будут хотать не только его коллеги, сотрудники газеты, но, пожалуй, и все читатели их издания, в особенности же – постоянные поклонники рубрики «Наши города», почитатели Пиарова таланта.

Итак, теперь надо познакомиться с кем-нибудь из местных жителей, чтобы окончательно убедиться в ненормальности коротышки, но перед этим необходимо поспать.

Пиар переоделся: сняв походную одежду, он набросил себе на плечи легкий шелковый халат, который ему кто-то (он уже не помнит, кто именно) подарил на день рождения бог знает сколько лет назад. Затем Пиар снял покрывало с огромной кровати в спальном комнате и, не без труда забравшись на это ложе, удобно улегся. Сон пришел очень скоро, и в нем не было сновидений.

2. Геген

Проснулся Пиар от какого-то шума, который, очевидно, возрастал постепенно и, лишь достигнув своего предела, разбудил журналиста. Он открыл глаза и постепенно восстанавливал в себе самого себя. Затем только он заметил, что в комнате как-то естественно темно. Пиар приподнялся на локте и увидел, что за окном сумерки, стремительно приближающие ночь.

Пиар вновь откинулся на подушку и сладко потянулся. Он чувствовал прилив сил – такой, какого давно уже не бывало. Это его даже напугало, и он стал разбираться – а почему, собственно, ему так хорошо? Ведь в этом не может быть ничего хорошего – в том, что так хорошо. И он уже совсем встревожился, но его озарило – ведь ему надо познакомиться с кем-нибудь из местных, чтобы...

Пиар возбужденно вскочил с кровати и, не рассчитав высоты своего положения, чуть не упал. Это его развеселило, но он тут же посерьезнел, поскольку за окном почти ночь и стоит ли осуществлять свою задумку прямо сейчас? Или подождать до завтрашнего утра?

Но, нет! Сегодня и именно сейчас! Он пошел в ванную комнату, принял едва теплый душ, оделся и выглянул в окно, предварительно погасив светильник возле кровати, включенный им сразу же по пробуждении.

Его, конечно же, привлекал тот самый, разбудивший его, шум. Пусть это и был только повод к запоздавшему пробуждению, но сам шум от этого не терял своей притягательности.

Площадь перед гостиницей, которую Пиар так толком и не разглядел по приезду, была полна народу. Конечно, в этой толпе уже не было той стихийности, которая присутствовала повсюду в вокзальном чаду, но, как и всегда в подобных крупных сборищах, полного порядка среди этих людей не наблюдалось – Пиару это было хорошо видно из окна четвертого этажа, где и располагался его номер.

Можно было предположить, что люди здесь гуляли, и так было каждый вечер. Это было вполне возможно, поскольку Пиар не был знаком с местными нравами, но все же весьма маловероятно, исходя хотя бы из того, что тут, на гостиничной площади, для гуляний не было создано никаких условий – ни одного кафе, ни одной мало-мальски пригодной для сидения лавочки, ничего. Все люди стояли, но, тем не менее, это стояние нельзя было назвать и митингом, поскольку внимание людей не было сосредоточено на чем-то одном, смотрели они в разные стороны, и трудно было выявить у этой аморфной массы единый центр.

Тут Пиару пришла в голову необычная мысль. Ему представилось, будто коротышка, владелец гостиницы, наконец-то признан сумасшедшим, а все эти люди, как в средние века, пришли выполнить указание Великой Инквизиции – схватить и растерзать психа. Но коротышка и В. держат оборону гостиницы; он же, Пиар, таким образом, – их заложник и последняя надежда на спасение. Конечно, это была абсурдная мысль, но уж очень это сборище там, внизу, говорило в пользу ее.

К тому же, а для репортажа Пиара это было очень важно, журналист решил побольше разузнать об истории города К. и, в частности, историю этой самой гостиницы.

Он опустил шторы и людской гул за окном, как ему показалось, стих; но неотложное дело не оставляло ему времени проверить абсурдную мысль о том, что толпа сразу разошлась после того, как он закрыл окно. В коридоре никого не было. Пиар быстро прошел вдоль дверей до лестницы, ощупывая во внутреннем кармане пиджака свой блокнот «для расходов».

В холле тоже никого не было, там царил полумрак, но справа раздавался какой-то шум. Пиар в нерешительности приостановился – с одной стороны, ему надо познакомиться с кем-нибудь обязательно вне стен этого заведения, а с другой – почему бы не заглянуть в ресторан, не посмотреть на посетителей?

Вторая мысль ему показалась свежее, а потому он свернул направо. И как только он повернул за угол и его взору открылась новая перспектива, он вновь остановился. Зал был огромным – в основном за счет высокого потолка, которого даже не было видно из-за тусклого освещения ноч-

ных ламп, стоящих на столиках. Последних было около двадцати; стояли они, главным образом, совсем беспорядочно.

Слева от входа, на треть бара, тянулась стойка с шестью стульями возле нее. За стойкой во всем черном стоял молодой человек, как две капли воды похожий на В. Но вовсе не это удивило Пиара.

Ресторан был полон. Все стулья возле бара были заняты равным образом, как и все столы в этом просторном зале – не было ни одного полностью свободного стола, что журналиста несказанно удивило, поскольку он даже не подозревал, что в этой гостинице может быть столько постояльцев.

Хотя, если учитывать низкий уровень цен местного сервиса, то такой наплыв людей легко объясним – и даже сумасшествие коротышки не было помехой для того, кто желает хорошо отдохнуть и мало за это заплатить.

Но все же, весьма возможно – и это Пиару показалось более оправданным – такое число посетителей объяснялось еще большим числом людей там, у входа. Если снаружи, на улице, нет никаких условий для отдыха (какие условия на площади, представляющей собою проезжую часть перекрестка?), то почему бы некоторым не посидеть здесь? Другое дело – зачем вообще им здесь толпиться, но решить этого Пиар пока не мог.

Журналист внимательно осмотрел зал. Все столики были стандартными, четырехместными; большинство из них было занято полностью, другие наполовину или более того, и лишь один столик занимал один человек – скромный такой старичок, лет под шестьдесят, который что-то кушал, испуганно озираясь вокруг. Рядом с ним стояла прислоненная к его стулу довольно массивная трость.

Пиар решил подойти к нему, хотя, вполне возможно, этот тип кого-то ждал, чем легко бы объяснилось его одиночество.

Но, решив, что он и так слишком много думает для журналиста, который давно все обдумал и теперь должен действовать, Пиар довольно смело подошел к старичку и спросил:

– У вас свободно?

Старичок от неожиданности вздрогнул, хотя Пиар и не должен был быть для него неожиданностью – с момента появления журналиста в зале старичок опасливо, но с интересом косился на него.

– Да, да. Здесь свободно, – пробормотал старик и стал непрестанно рассматривать Пиара.

Журналист привык к таким взглядам в силу своей работы, и потому спокойно сел и тут же поднял руку, подавая тем самым знак официанту. Старик смерил все эти действия Пиара оценивающим взглядом и, наконец, спросил:

– Вы не местный?

Скорее всего, это был даже не вопрос, а констатация факта, а потому Пиар просто согласно кивнул головой. К нему подошел тот самый молодой человек, которого Пиар заметил за стойкой бара. Теперь журналист мог вблизи подивиться схожести официанта-бармена с В., только этот, в отличие от В., был, наверное, более уравновешенным человеком. Так как у него униформа отсутствовала, то и не было той самой таблички с именем, на которой Пиар смог бы прочесть хотя бы заглавную букву имени.

Журналист заказал легкий ужин и, когда официант уже собирался отойти от столика, Пиар все же не выдержал и спросил:

– А у вас нет брата среди персонала гостиницы?

Официант молча кивнул своим огромным носом, что явно означало, что брат у него есть – и пошел исполнять заказ.

Все это время старичок, не отрываясь, смотрел на Пиара, недружелюбно поглядывая на официанта, и даже теперь, когда Пиар посмотрел на соседа по столику, то вновь уперся в его открытый, всматривающийся взгляд. Журналиста стало уже смущать то, что здесь такой неразговорчивый народ – ему-то самому все равно, да вот его работа требовала иного, а потому и охватывало его такое рабочее смущение.

Но молчание прервал старик, выждав паузу, во время которой Пиар, ожидавший исполнения заказа, уже успел себя почувствовать вполне по-дурацки; здесь же Пиар решил поесть и выйти из этого проклятого места, где каждый первый – сумасшедший, а второй молчит, и не понять – нормален он или нет. Никогда еще у Пиара не было такого раздражения от журналистского бездействия.

Эти мысли прервал старик, который, так и не отводя своего неморгающего холодного взгляда (который Пиар про себя уже назвал рыбьим), спросил или вновь констатировал факт:

– Вы состоите в партии Вербергенов?

К Пиару этот вопрос, высказанный подозрительным тоном, мало относился, но, тем не менее, это уже что-то. Журналист отрицательно покачал головой, как бы не соглашаясь с подобной констатацией.

– Значит, сочувствуете, – с сожалением произнес старик и словно потерял всякий интерес к собеседнику. Пиару пришлось заговорить, поскольку старик куда-то устался, будто журналист перестал для него существовать вообще.

– Нет, я не сочувствую Вербергенам.

Это вывело старика из транса – но это выразилось лишь тем, что он вновь устался на Пиара своим рыбьим взглядом.

Тут к их столику подошел уже другой официант, который был совсем обычного вида малым; официант подозрительно косился на Пиара и как-то слишком поспешно выставил с подноса на стол перед Пиаром заказ и поспешил скрыться.

– А кто, собственно, такие эти Вербергены? – спросил Пиар и тут же понял, что поступил весьма опрометчиво.

Старик, по-видимому, воспринял вопрос Пиара по-своему, не как вопрос, но тоже как констатацию факта – он, очевидно, вообще не воспринимал вопросов, – и потому как-то задумчиво произнес:

– Да, может быть, вы и правы. Кто они, по сути, такие? Кучка оборванцев, нашедшая сторонников и при их помощи пришедшая к власти? Вы совершенно правы, – в одной тональности произнес собеседник журналиста, – они никто, – тут глаза старика засветились и он придвинулся к Пиару через стол и произнес, – они в сущности своей никто.

Пиар тут же облегченно вздохнул – наконец-то разговор начался и уже совсем не страшно, что начался-то он не в выгодном для него свете. Хотя старик, наоборот, признал в словах Пиара особую пронизательность (это было слышно по интонации) и смелость, хотя он восхищался журналистом, и можно было бы ему подыграть, но Пиар, как честный журналист на своем посту, не имел права на такую халтуру, хотя подобная халтура и могла бы ввести журналиста в самую гущу событий в качестве их непосредственного и заинтересованного участника. Но, чтобы быть в гуще событий раз и навсегда, нужно, помимо удачи, еще иметь смелость. Честность и смелость вместе у Пиара не уживались, и в этом он ничем не отличался от обычных людей.

– Извините меня, – совсем не робко начал Пиар, – но я вообще не знаком ни с этим городом, ни с его нравами. Потому я не знаю никаких Вербергенов. И я буду весьма благодарен вам, если вы мне расскажете об этом.

Старик никак не отреагировал на слова Пиара; по крайней мере, журналист не заметил никаких изменений в этом рыбьем взгляде. Через некоторое время Пиар подумал уже, что все вернулось на круги своя – сумасшедшие и молчаливые, – и уже почти завершал свой ужин, собираясь уйти отсюда в ночь, все равно куда, лишь бы подальше отсюда, как старик произнес (когда Пиар уже почти забыл про него и точно бы забыл, если бы не овладевшая им журналистская досада за игнорирование своего обращения):

– Геген.

Пиар посмотрел на него с некоторым негодованием:

– Что вы сказали?

Старик, видимо, собирався вновь замолчать, но почему-то ответил (наверное, вопреки даже

самому себе, ибо на его лице отразилось какое-то легкое удивление, идущее изнутри и не вызванное никакими внешними обстоятельствами):

– Это мое имя. Меня зовут Геген.

Говорил он с паузами, будто каждое слово несло огромное значение. Пиару было уже наплевать, как этого старика зовут, – такой тип людей никогда не вызывал у журналиста доверия – скрытные, молчаливые, считающие, что владеют неким знанием, доступным только им. Пиара же, не славящегося никакими зловными чертами характера, все же подмывало сделать таким людям некую пакость, например, оставив их в полном одиночестве. Еще ему всегда было интересно – какими же были эти люди в детстве, но он не мог себе этого представить. Тогда, спрашивается, откуда они такие к старости берутся?

– Очень приятно. Меня зовут Пиар, – тут Пиар хотел было сказать, что он журналист, но осекся. Скорее всего, да, так будет лучше, если он не будет до поры до времени говорить о своей профессии. – Я писатель.

Тут произошло невероятное – старик оживился. Такой перемены от людей подобного склада Пиар не ожидал; он даже не мог предвидеть, что этот старик с рыбьим взглядом станет просто мужчиной зрелых лет с юношеским запалом в глазах. Но это было лишь мгновение, через которое огонь в глазах собеседника вновь обернулся рыбиной.

– Я вам не верю, – пробормотал еле слышно старик, почему-то оглядываясь по сторонам с некоторою опаскою.

Пиар обиделся. Нет, ему даже было нельзя обижаться, поскольку он не писатель, – но именно потому, что было нельзя, Пиар и обиделся. И тут он решил стоять до конца – пусть писателя он придумал спонтанно, но теперь, когда его писателю оказывали сопротивление, Пиар был готов стоять за него до конца. Как и все честные люди, он был готов отдать всего себя и умереть за свою честность, лишь бы не соврать. Но если уж ему приходилось лгать – а лгал он, как и всякий честный человек, только ради дела и по делу и никогда бы не солгал на вред себе или просто так, – так вот, если ему приходилось лгать, то за свою ложь он был готов стоять до конца: ведь только истый лжец не знал цену своей лжи и мог бы признать правоту другого сравнительно легко. Если же лжет честный человек, то он ни за что уже не отречется от этой своей лжи.

– Какое мне дело – верите вы мне или нет? – нарочито равнодушно пожал плечами Пиар и устался на бармена. За стойкой вновь стоял тот носатый, похожий на В., – Я знаю, что я писатель – и этого вполне достаточно.

Старик вновь помолодел и нагнулся поближе к Пиару:

– Не обижайтесь, Пиар, – он положил свою руку на руку журналиста, в которой тот держал вилку. Этим жестом он, наверное, хотел добиться расположения Пиара, и продолжил, – в наше нелегкое время нельзя более никому доверять. Особенно тем, кто говорит, что он – писатель.

Пиар тут же спросил:

– Почему же именно писателям нельзя доверять?

Старик тут же поправил Пиара:

– Не писателям, но тем, кто говорит, что он – писатель.

Пиар вновь подумал о сумасшествии местных жителей, затем вспомнил слова коротышки об искусственной и настоящей коже. Тут было то же самое – писатель и тот, кто говорит, что он писатель. Хотя, это еще объяснимо.

– А что особенного в писательстве? Эка невидаль, – вновь пожал плечами журналист, провоцируя старика. Было видно, что того так и распирает поставить точки над і.

– Ничего особенного, – пробормотал старик, – и тут вы опять совершенно правы. Порою непосвященные люди говорят очень правильно, но это, конечно, случайно, – тут он посмотрел на бармена, – в писателях нет ничего особенного. Особенное вокруг писателей. И особенно – это когда человек говорит, что он – писатель, а он – не писатель.

Будь Пиар хоть немного лживым, он бы сейчас получил укор совести и выложил Гегену, что он не писатель, но журналист; ведь Геген теперь говорит о таком поведении, какое демонстри-

ровал в данный момент Пиар. Но именно честность и принципиальность заставили журналиста идти до конца.

– Хорошо, – жестко и с иронией сказал Пиар, – а как вы отличите писателя от того, кто лишь говорит, что он писатель, а сам не таков? Где этот критерий?

Пиар решил, что он наконец-то подловил Гегена и уже злорадствовал над ним в ожидании – в самом скором будущем – разоблачения, и его даже стала тяготить скука его правоты. Но Геген ответил, и Пиар вновь почувствовал себя глупцом:

– Очень просто. Писатель – это тот, кто пишет. Человек же, который говорит, что он писатель, а сам не пишет, – это тот, кто не пишет, т. е. не писатель, что бы он там не говорил про себя.

Пиара взяло зло. Он достал из кармана свой блокнот «для расходов» и открыл его старику на последней записи, где значилось:

«машина – 10, номер – 40/сутки».

– Вот, я это писал. Что же, я писатель?

Геген бережно взял в руки блокнот и принялся изучать надпись. Продолжалось это минуты две. Затем он поднял глаза на Пиара и сказал:

– Во-первых, вы говорите сами, что вы писатель, а потому непонятно, почему вы у меня это спрашиваете. Во-вторых, если обратиться к этой надписи, то, если ее писали действительно вы, то вы – писатель. Но определить подлинность этой надписи сможет лишь особая Комиссия. Сейчас она уже не работает, – и Геген протянул Пиару блокнот обратно.

Пиара этот идиотизм и абсурд уже почти довели до предела. И хоть он не был писателем, ему стало за писателей обидно. Журналист не мог понять, что же тут происходит, и лишь поэтому решил немного подыграть Гегену.

– Хорошо, оставим в стороне мысль о подлинности этой надписи, – Пиар увидел, что Геген что-то хочет возразить, и тут же предупредил его возражение, – оставим, даже если это так важно. Предположим, пока чисто гипотетически, что это написал действительно я. Но неужели тогда я – писатель? Неужели вы ни во что не ставите писателей?

На этих словах Геген в ужасе отшатнулся от Пиара.

– Молодой человек, вы очень неосмотрительны в выражениях. Но все это – от незнания.

Геген вновь замолчал. Похоже, впасть в молчание было для него обычным делом, чего журналист никогда не допускал для себя в силу своей профессии.

Пиар уже отказался от бредовой идеи ожидать добровольного выхода старика из своего одиночества и спросил, нервно теребя в руке вилку:

– От незнания чего? От незнания ваших особых законов или... что еще?

Геген оживился сразу:

– Нет. Вы не знаете – просто. Не знаете. И все тут.

Пиара стала не на шутку раздражать эта манера говорить так, будто ты – истина в последней инстанции и твое слово – предельный закон всех законов. Именно такого не допускалось от человека, свободного от всяких мнений – а таковым и должен быть журналист, хороший журналист.

Пиар уже хотел что-то выразить вновь, но, на его удивление, Геген сам стал говорить:

– К тому же, это я по поводу вашего творчества (старик кивнул на записную книжку, которую Пиар оставил на столе), искренне ли вы писали то, что там написано? Ведь искренность – это необходимое условие письма. И еще, понимали ли вы и осмыслили в полной мере то, что вы пишете? Готовы ли вы взять эту ответственность за написанное и нести ее в жизнь?

Пиар теперь уже не удивлялся такому бреду, он лишь устало и с иронией произнес:

– Вы спрашиваете – искренне ли я писал это (он хлопнул ладонью по блокноту) и принимаю ли я ответственность за понимание этого (он повторил свой предыдущий жест). Так вот...

Геген прервал Пиара и с явным равнодушием произнес:

– Нет. Мне этого знать не надо. Это надо знать вам, чтобы быть полностью уверенным для себя – писатель вы или нет.

– Так вот, – не обращая внимания на пояснения старика, продолжил Пиар, – если вы когда-

нибудь писали хоть что-нибудь, то вы знаете, непременно должны были бы знать, что существуют такие темы, писание на которые не подразумевает ни искренности, ни осознанной ответственности, и вообще было бы лучше говорить о том, что вы требуете. Как вообще можно, – Пиар был уже явно раздраженным, – говорить об искренности написания дорожных расходов, об их понимании и ответственности за это их понимание?! Что же тут вообще понимать?! И как можно судить о писателях по искренности написания дорожных расходов?

Геген сидел молча; он, по-видимому, вновь погрузился в себя. Пиар продолжал:

– К чему устанавливать авторство этой надписи, если ее подлинность вообще ничего не скажет о моем таланте? Остерегаться плагиата? Да кому в голову придет подделывать дорожные расходы?

Геген ответил, потирая пальцами нос:

– Если вы писали искренне, то вы – автор. Если есть автор, то могут быть и его плагиаторы. Более того, они непременно будут. Так мы считаем, так оно и есть.

Пиара привлекло последнее замечание, а на бред о писателях он внимания решил не обращать.

– Кто это – вы? – спросил он, и ему вновь пришла в голову мысль о тотальном сумасшествии местных жителей, – кто вы такие?

Геген сделал многозначительное лицо и, выдержав не менее многозначительную паузу, произнес:

– Мы – это Бодены. Так думают Бодены.

Пиар обрадовался представившейся ему возможности сменить тему разговора на ту, в которой он мог бы почувствовать себя хотя и немного компетентным на местном уровне.

– А Бодены – это ваш род? – спросил Пиар, и в своем голосе он услышал некоторые нотки уважения к сидевшему напротив него старику – ведь у Гегена был свой род, а у него, у безродного журналиста, не было ничего за душой.

Геген жестко покачал головой:

– Ни в коем случае. Бодены – это партия.

Пиар решил применять уже полученные от Гегена сведения, чтобы, во-первых, поддержать разговор, а во-вторых, чтобы хоть в чем-нибудь мало-мальски разобраться:

– Такая же партия, как Вербергены?

И тут же Пиар пожалел о своем вопросе, поскольку старик скорчил такую недовольную мину, что, казалось, Геген сейчас плюнет прямо в лицо журналисту.

– Что вы мне о них говорите? Вербергены – это жалкие обормоты у власти. Бодены же – это аристократы, более того, это – аристократы духа. У Вербергенов тысячи плебеев, у нас же – несколько истинных аристократов. Посмотрите вокруг, – старик оживился и понизил тон, – вокруг одни Вербергены, эти жалкие плебеи. Нет, ни в коем случае не оглядывайтесь, – уже зашептал старик Пиару, хотя тот и не думал оглядываться, считая сейчас самым опасным именно Гегена, – это погубит нас обоих, – добавил таинственно или параноически старик.

Прекрасно, подумал Пиар, он уже считает, что я с ним заодно. Что может быть еще глупее? Пиару сейчас хотелось лишь одного – вырваться из этого странного места и броситься в объятия первого встречного – кем бы он ни был. Хотя, сейчас у журналиста закружилась мысль, что все эти писатели, Бодены, Вербергены, плебеи и аристократы – не просто параноидальный бред Гегена, этого мрачного старикашки. Но мысль эта была до невероятного тягостной, от нее просто чадило ужасом и исходило зловоние всемирной безысходности. Нет, пусть сейчас Пиар и говорит с Гегеном, пусть тот и считает журналиста своим, но – тут Пиар обернулся вопреки предупреждениям старика, – но вокруг столько людей! Пусть хоть один, но он точно будет нормальным. Пусть это и будет случайный постоялец этой гостиницы, который, подобно журналисту, оказался здесь волею судьбы и ни черта ни смыслил в местных шизофренических нравах, пусть так! Но это же – гостиница, и этот человек здесь непременно должен быть!

Это успокоило Пиара настолько, что он тут же решил посвятить этот вечер Гегену. Он даже весьма живо представил себе, как он идет с нормальным человеком по улице, рассказывает ему

все это и как они вместе смеются над этими бредовыми приключениями. Это заметно улучшило настроение Пиара.

Геген взял его за руку и, тревожно озираясь по сторонам, произнес:

– Здесь опасно говорить. Пойдемте отсюда.

Пиар сразу же согласился, он давно уже хотел на свежий воздух. Оставив деньги за ужин на столе, он поднялся из-за стола, решив задним умом затем внести эти расходы в тот самый блокнот, который он специально для этого и начал.

На улице уже было темно, и ничего не было видно. Пиар все же с удивлением озирался вокруг – на перекрестке перед гостиницей не было ни одного человека. Пиар хотел было спросить об этом у старика, но предпочел предоставить того своим рассуждениям, которые старик теперь вел вслух.

– Сейчас мы с вами пойдем туда, где воистину ценят труд писателя, где знают, что такое творчество, – бормотал с какой-то непонятной вопросительной интонацией старик, – у вас есть же свободное время?

Журналисту оставалось только согласно кивнуть головой.

– Вы пишете, – продолжал старик, – я это сразу понял, как только вы вошли в зал, я сказал себе: он пишет. О, если бы вы только знали, какой это редкий дар – писать! Но откуда же вам это знать, если вы пишете! Вы, наверное, полагаете, что это очень легко – писать! Но не судите по себе. Тем более писать так, как это делаете вы – искренне и с понимающим чувством ответственности. Для этого нужна недюжинная сила, и какая сила, черт побери!

Последнее ругательство старик произнес хоть и развязно, но уж очень не по-ругательному и было видно, что это чуждо ему.

Далее они шли молча, и Пиару это было весьма кстати – он смог, не отвлекаясь, рассмотреть город. Но для этого не надо было прилагать совершенно никаких усилий – город будто сам выставлял себя напоказ. И хотя было уже темно, но было... чисто. Пиар подметил чистоту города, поскольку редко когда в последнее время он ее встречал, и менее всего было так, чтобы чистота притягивала взор. Хорошо, чистота – это будет той самой особенностью, которую Пиар внесет в свою статью. Нет, под ногами был мусор, но и это был, если так можно было сказать, чистый мусор. Или же все дело было в аккуратности всего: построек, дорог, встречающихся редких прохожих. Хотя последние как-то не очень радовались встрече с Пиаром и Гегеном, и, в лучшем случае, проходили мимо равнодушно; в иных случаях даже как-то, как показалось Пиару, презрительно ухмылялись.

Уже когда они очутились на улице, Пиар заметил, что Геген не очень-то использует ту самую трость для ходьбы, скорее, он носил ее с собой для виду. Не то, чтобы он хромал; скорее всего, в этом отношении он был совершенно здоров. Но он помахивал своей довольно большой тростью, которую в темноте Пиар не мог рассмотреть подробнее. И журналист не обращал бы на эту трость никакого внимания, если бы не внимание других прохожих на нее. Все было так: как только появлялся в поле видимости очередной горожанин (а, стало быть, как только Пиар с Гегеном появлялись в поле его видимости), то он тотчас же пялился на трость старика, затем – на самого старика и, уже в конце, когда они равнялись с ним, достаивал взглядом и Пиара.

Сначала журналиста весьма удивило это обстоятельство – что же могут видеть в этой трости прохожие, идущие так далеко, если даже он, Пиар, шедший рядом, ничего не мог видеть в этой трости особенного; мог только предположить, что это красиво обработанный кусок деревяшки.

В это время они шли вправо от гостиницы, дорога вела вниз, очевидно, к реке. Пиар знал эту реку, ведь предыдущий город, в котором ему довелось побывать, был как раз городом, стоящим выше по течению этого К.

– Куда мы идем? – спросил Пиар, хотя ему, по большому счету, это было абсолютно все равно – он здесь ничего не знал. Скажи ему старик: мы идем в местечко Х, Пиар мог бы только многозначительно покачать головой и протянуть: «А-а-а! Местечко Х! Как же, знаю!» – и идти дальше. Но даже этого Геген не сказал, а молча и упорно передвигался на трех ногах вниз.

Архитектура домов Пиара не удивляла и нисколько не зачаровывала, это были типичные дома типичной архитектуры. Сначала журналист со стариком шли, вероятно, по одной из центральных улиц – там еще попадались встречные, на домах висело много вывесок, большинство которых отливало неоновым светом, но затем они, наверное, свернули на одну из немногочисленных улиц, где ни прохожих, ни витрин, ни вывесок уже не было – только дома с кое-где зажженными окнами, но все же, по большей части, просто отражающие черное небо и звезды на нем слепые глазницы черных окон.

Неожиданно старик заговорил вновь, отчего Пиар, не ожидавший этого и почти свыкнувшийся с добровольной немотой своего спутника, вздрогнул:

– Молодой человек, если вы говорите правду, а, вероятнее всего, так оно и есть, и вы прибыли в наш город впервые и совершенно не знакомы с местными нравами, то вам, можно сказать, очень повезло.

Старик замолчал, и вообще было непонятно: ожидает ли он от Пиара какой-либо реакции на эти слова или нет. Пиар раздумывал над тем – как же ему отреагировать, но старик сам продолжил свой монолог.

– Через два дня будет великий день. Великий день для всего города: счастливый праздник плеебеев и траурная – но заметьте, не безнадежная – дата для нас. (Старик вновь причислил Пиара к своим, что журналист без особого удовлетворения про себя отметил). Этот день называют Днем Преодоления. Предупреждаю вас сразу – это день Вербергенов, а посему вы понимаете, как я должен к нему относиться. Это день безумия, Пиар. Будто бы все бесы, если бы они только были наяву, выползают из своих щелей и вселяются в этих людей. Хотя, по сути, эти черти из людей никогда и не выходят – потому-то их и нет наяву.

Пиару хотелось подробнее узнать о сути праздника, поскольку о Дне Преодоления он не слышал никогда, а для этого надо было настроить старика на этот лад:

– А что празднуют эти... Вербергены? Какую дату?

Старик ответил, нисколько не задумавшись:

– Это, Пиар, праздник преодоления. Ты чувствуешь, как они назвали этот день – Преодоление! Не Победа, но Преодоление! Ты понимаешь?! Они преодолели, они якобы преодолели Самого! Но ты же понимаешь, что это – бред?

Пиар уже видел, что это – бред. И, хотя он не знал о чем речь, но понял он достаточно. Если себя называют аристократами такие, как Геген, то они заблуждаются. Конечно, он не знал ни одного Вербергена, но был уверен, что хуже они быть не могут. Не подобает аристократу, как старухе, поносить противников. Хоть Пиар мало что знал об аристократии, но даже того, что он знал, ему хватило, чтобы сказать, что Геген – не аристократ. А если аристократы – это, по словам того же Гегена, Бодены, то, либо Геген не Боден, либо все вообще вранье.

– Мы идем к Боденам, – сообщил уже спокойным тоном старик.

Пиара это немного обрадовало – наконец-то в этом всем бреде будет какая-то точка опоры. А то он, как Архимед, уже тонул в этом чужом мире. Если верны слова: скажи мне, кто твой друг, а я скажу – кто ты, то, конечно, особого желания идти к Боденам не было. С другой стороны, если этот город – это конфронтация Боденов и Вербергенов, то оказаться с одной стороны баррикад – это уже что-то. Но вопрос-то стоял иначе – а лучшая ли это сторона для самого Пиара? Выбора у него не было, его считали своим, хотя, за что – он так и не понял. К тому же, журналист не имел права ставить личные предпочтения выше интересов «объективного материала».

Они свернули с этой узкой улочки, по которой до сих пор шли, через проулок, на какой-то огромный и оживленный проспект, и, не задерживаясь на нем, вновь свернули в какую-то щель между двумя с головы до ног светящимися зданиями.

– Мы пришли, – констатировал Геген.

Пиар мысленно перекрестился.

3. Абgrund

За свою жизнь Пиар входил в подобные проулки тысячу раз, и там было одно и то же – более или менее обжитые дворы тех самых домов, проход меж которыми проулком и назывался. Весьма часто это были тупиковые дворы, не менее часто – проходные, но, в основном, пейзаж от их тупиковости или проходимости кардинальным образом не менялся. Конечно, тупиковые дворы были более захламлены всякой всячиной, вроде каких-то вынесенных вон старых дверей вкупе с дверными косяками или без них; также там оказывались (могли оказаться) старые автомобили, ставить которые в силу их возраста в гараж уже не имело смысла, а пользоваться ими прекратили сразу же после того, как этот смысл исчез; в тупиковых дворах всегда мирно бродили давно сдружившиеся за немалую совместную жизнь собаки и коты.

В проходных дворах чаще всего оказывалось пусто и неудобно; неизвестно отчего – возможно, даже оттого, что это были именно проходные дворы – их хотелось как можно быстрее проходить и идти до тех пор, пока не упрешься в тупик, либо пока не выйдешь на оживленную улицу.

Пиар прекрасно знал и уже чувствовал эти дворы, и теперь, когда они с Гегеном свернули в проулок, он был настроен на заранее виденное, на нечто, что даже не стоило само по себе никакого внимания. Такая нетребовательность была удобна для журналиста тем, что не позволяла ему сосредотачиваться на разных, одинаковых везде и всегда мелочах и не отводить взор от цели твоего визита – ведь для этого-то ты в этот двор и зашел, а коли так, то зашел ты именно для чего-то, но не ради двора. Ведь двор – это, по сути, лишь вместилище и путь к чему-то – и не более того. Если захочется пить воды, вряд ли станешь обращать внимание на то, во что эта вода налита, настолько, чтобы забыть о своей жажде. Чем сильнее жажда, тем меньше внимания; Пиару в этом смысле очень хотелось пить.

Именно так Пиар и был настроен – если его Геген ведет куда-то, то и надобно на этом сосредоточиться. Конечно, в виде исключения можно было предположить, что Геген ведет Пиара, чтобы показать ему какое-то замечательное место, но Пиар это исключал, достаточно было посмотреть на физиономию старика, на его торопливую, но важную походку, в конце концов, на его трость, чтобы понять, что если Геген и любит свой город и его замечательные места, то сейчас не это его заботит, и вовсе не ради этого увел он журналиста из этой сумасшедшей гостиницы. Пиар думал о странности происходящего и, как ему казалось, это его увлекло настолько, что ничто в мире не заставило бы его переключиться на себя и отвлечься от своих интересных мыслей.

Но это случилось. Когда они прошли достаточно длинный проулок, впрочем, не длиннее обычного, и вышли из этого нескрученного лабиринта, то взору Пиара открылось настолько невообразимое зрелище, что Пиар позабыл все на свете. Точнее, ничего необычного в открывшемся его взору не было, кроме того, что это было неожиданно в прямом смысле этого слова. Пиар не был готов – и не более того.

Перед ними был двор – так, по крайней мере, казалось сразу. Это был огромный двор; настолько огромный, что Пиар не видел того места, где он кончался – то ли в силу ночной темноты, то ли в силу естественной тьмы этого самого двора, то ли в силу неожиданности, а, может быть, и от всего вместе взятого. Но, тем не менее, было сразу видно, что это – не проходной двор, поскольку он был слишком уютным. Даже его огромность, вопреки здравому смыслу, придавала ему такой уют, что Пиар почувствовал себя находящимся у кого-то в квартире без ведома хозяина, отчего даже испытал некоторое чувство неловкости; последнее, впрочем, ничего особенного в его настроение не внесло. И только через миг он понял, почему этот уют бросался ему в глаза: повсюду были люди. Их было настолько много, что не сразу было понятно, что здесь вообще кто-то есть. Но все же сравнить этот двор с муравейником было нельзя. Если муравьев много, но у каждого свои обязанности, то эти люди вели себя хаотично. Точнее, они вообще себя не вели, а просто беспорядочно располагались. Пиару пришла в голову мысль, что на самом деле здесь каждый на своем месте, но просто место у каждого было не свое. Это было абсурдно, но именно так и можно было сказать, если только захотеть быть точным.

Взору Пиара представились две высокие стены, уходящие вперед, когда Пиар посмотрел наверх. По неопытности эти стены можно было принять за внутреннюю сторону тех самых домов, меж которыми и располагался проулок, но, приглядевшись пристальней, Пиар понял, что это далеко не так. Это вообще были не стены, а нечто, поделенное на квадратные ячейки, в которых жили люди. Это были одинаковые комнаты, но без одной стены – именно потому это походило на дом в разрезе, именно потому чувствовалось присутствие стольких людей – ведь в каждой такой ячейке на стене (а ячеек были сотни) находилось по два-три человека.

Кое-где горел свет, но это был свет ночных ламп – не более того. К этим ячейкам, а они простирались ввысь по стене этажей на десять, вели бесчисленные лестницы, по которым то и дело вниз и вверх карабкались люди.

Здесь, внизу, тоже было оживленно, горели костры. В общем, Пиар почувствовал себя в средневековье – именно таким темным, коммунальным и хаотичным оно ему и представлялось. Не было разве слышно лязга доспехов. Но и без этого шум был предостаточно, складывалось ощущение беспорядочного гвалта, прислушиваясь к которому, вдруг начинаешь отличать отдельные голоса. Если все же это не было средневековьем, то весьма напоминало фильмы Феллини.

Пиар очутился сразу в толпе, причем он не мог толком разглядеть ни одного лица, отчего очень боялся потерять своего спутника. Журналист схватил Гегена за руку, на что старик никак не отреагировал, лишь как-то внушительнее и настойчивее стал продираться сквозь людей, из которых, впрочем, никто не обратил ни малейшего внимания ни на старика, ни на его спутника.

Они шли вглубь этого двора довольно долго, Пиару пришла в голову мысль о целом нищем квартале, отделенном мэрией города подобным образом. Но, по мере слепого следования за стариком, эта мысль тоже отпала – люди вокруг, хоть Пиар по-прежнему не видел их лиц, были прилично одеты и не были нищими. Это не нищие, – вертелось в голове Пиара, – это не нищие, даже если бы это были они.

Они шли всего минут пять и прошли, наверное, совсем немного, поскольку часто останавливались, когда Геген думал – с какой стороны ему лучше обойти вставшую на их пути кучку людей, но и эта дорога показалась Пиару безумно долгой, и он уже составил себе мнение об этом дворе как о бесконечном. И так бы оно могло быть, если бы они неожиданно не остановились. Перед ними возвышалась третья, завершающая, стена с такими же ячейками; она замыкала двор, и дальше идти было некуда.

Геген свернул налево и Пиар потянулся за ним, искренне веря в то, что если он теперь потеряет из виду старика, то уже никогда не найдет пути обратно.

Геген завел его в ячейку, которая находилась тут же, на уровне земли, и Пиара очень обрадовало, что им не нужно будет лезть по одной из лестниц вверх. Ячейка эта была пустой – с улицы это было хорошо видно, наверное, даже лучше, чем изнутри.

По сути, это была комната и, по всей вероятности, кухня. Тут стоял стол, шесть стульев. Было еще что-то, но Пиар не мог этого разглядеть, ибо когда они вошли внутрь, то оказались почти в кромешной темноте – света снаружи не хватало даже на то, чтобы увидеть Гегена, руку которого Пиар отпустил, лишь они оказались в комнате. Стало темно и намного тише, хотя причину этой тишины найти было трудно – от улицы их сейчас ничего не отделяло.

Но тут загорелась спичка, осветившая Гегена, склонившегося над столом, – он зажег старую керосиновую лампу, упоминания о которой журналисту не встречалось уже лет двадцать. Стало немного светлее, но сумрак никуда не ушел, лишь чуть отступил – и затаился.

Геген сел за стол и подвинул стул Пиару.

– Садитесь, – сказал он.

Пиар сел. Теперь они сидели молча, слушая гул двора. Эта ситуация мало чем отличалась от их гостиничного сидения, что вызывало явное недовольство. Но и начинать разговор Пиар не желал, он применял сейчас один из своих приемов: если собеседник брал инициативу в свои руки – а Геген именно так и поступил, приведя его сюда, – то и надо эту самую инициативу за собеседником оставить. Ведь может быть так – Пиар часто в молодости совершал подобную ошибку – стоит

задать собеседнику хоть один свой вопрос, как разговор пойдет не в русле собеседника, а в русле Пиара; и, как правило, после таких бесед Пиар не узнавал ничего нового, но лишь выговаривался сам. Конечно, Геген не был похож на того, кого легко сбить с толку, и вряд ли он был любителем просто так поболтать – скорее наоборот, но рисковать не стоило.

Геген, однако, молчал недолго, и Пиар чувствовал, что это его молчание было уже иным и качественно отличным от молчания там, в гостиничном ресторане. Старик будто весь преобразился, и это было вполне объяснимо – теперь он находится у себя. И молчал он теперь не от опасения быть услышанным. И хоть это преображение трудно было бы описать и уловить его в темноте, но Пиар это чувствовал. С другой стороны, все могло быть совершенно иначе – не старик изменился, но сам Пиар, выйдя из привычной для него среды, в этом средневековье. Конечно, роскошь гостиницы и ненормальность ее обитателей трудно было назвать нормальной средой, но там все же сохранялась видимость, привычная для журналиста. Здесь же места для этой видимости вовсе не оставалось, да и вряд ли старика можно было назвать нормальным. Тем не менее, это был ненормальный в ненормальной ситуации, а это Пиара более располагало – ведь то, что безумные живут в безумном мире, было как-то естественно, нежели наоборот.

Все эти мысли пронеслись в голове Пиара, сам же он постоянно озирался вокруг, на что старик – наверное, привыкший к такой темноте – не мог не обратить внимания. Но заговорил Геген не об этом.

– Теперь мы в безопасности, – констатировал он.

Пиар, было, хотел спросить, – где же они находятся, но, представив, как ему Геген отвечает «Как где? Я же сказал – в безопасности!», решил этого вопроса не задавать и лишь улыбнулся.

– Сегодня людно, – продолжил Геген, – так здесь не всегда. Это перед Днем Преодоления.

Пиар подхватил тему:

– А вы, то есть Бодены, тоже празднуете этот День?

Старик, должно быть, нахмурился, по крайней мере, так изменилась тональность его голоса.

– Празднуете – это не то слово. Не бросайтесь словами.

Это звучало по-школьному назидательно, что Пиара, давно вышедшего из того счастливого возраста, когда его поучали, не могло не возмутить, и он с легким негодованием ответил:

– Я не бросаюсь словами. Просто я ничего не знаю и хочу узнать.

– Я это понимаю, – ответил тем же тоном старик, – но зачем же говорить то, что вы не знаете?

– Чтобы что-нибудь узнать! – все больше раздражался Пиар, начиная всерьез жалеть, что пришел сюда.

– Значит, вы говорите ерунду, и считаете возможным таким образом приобщиться к истине?

Странно, весьма странно, – было похоже, что старик действительно удивлен и озадачен.

Пиар немного подумал и произнес:

– А как же иначе? Как же я буду говорить истину, на пустом месте, с нуля, что ли?

Старик вздохнул:

– Будь по-вашему. Мы не празднуем этот праздник. Но это и не траур. Мы его, можно сказать, преодолеваем.

Пиара позабавил этот каламбур и он воскликнул, как бы закрепляя полученный урок:

– Значит, Вербергены придумали праздник Преодоления и празднуют его, а Бодены его вынуждены преодолевать?

Ответа не последовало, и Пиар решил, что Геген утвердительно кивнул, чего различить в темноте не представлялось возможным.

– А почему вы не придумаете себе свой праздник? Например, праздник Покаяния? Вы будете его праздновать, а Вербергены – каяться?

Старик, на удивление Пиара, воспринял эту шутку и иронию как деловое предложение и произнес:

– Надо подумать над этим. Но это – потом, а пока необходимо преодолеть этот День.

Только теперь Пиар осознал, насколько Геген тихо говорит. Его голос едва-едва выделялся из приглушенного ячейкой гула толпы. И, наоборот, он понял, насколько по-юношески звонко чеканит он каждое свое слово, в чем сказывалась практикой журналиста закрепленная привычка, – ведь часто надо было выкрикивать из толпы подобных тебе свой вопрос так, чтобы его услышали и выделили из десятков других, но, в то же время, не посчитали задающего этот вопрос каким-то крикуном и грубияном.

– И как же вы его будете преодолевать? – спросил Пиар, полагая, что этот вопрос не исключен из общего контекста этой странной беседы.

– Мы будем молчать, – ответил старик и Пиар сначала подумал, что собеседник пошутил, но шутить было явно не в его духе. Тогда Пиар решил вникнуть в смысл этих слов, что тоже было весьма непросто. Если все преодоление состояло в том, чтобы промолчать всего-навсего один день, то никакой особой сложности в этом не было, и, тогда было непонятно – почему этот старик так печалится о грядущем Дне Преодоления. Скорее всего, это было особое молчание – в это Пиар уже смог бы поверить, поскольку он почувствовал разницу между молчанием старика в гостинице и его молчанием здесь.

– Все будут молчать? – серьезно спросил Пиар.

– Нет, только Бодены, – вдумчиво ответил старик.

Беседа явно не клеилась, будто не хватало ей смыслового клея. Вновь возникла пауза, которая продолжалась довольно долго и переросла бы в сон Гегена, если бы в ночи не возник силуэт какого-то человека. Он вошел в их ячейку и замер.

Старик произнес:

– Ах, Александр! Ты зашел вовремя.

Человек, названный Александром, кивнул и так и остался стоять перед столом, за которым сидели молча журналист и старик. Пиара забавляло то, что все трое – включая его – молчат, и ему стало непонятно – если Александр пришел вовремя, то почему же они ничего не говорят? Неужели он зашел помолчать? Да, судя по всему, им вообще не составит труда промолчать день-другой, подумал Пиар, скорее день разговоров будет для них тягостнее дня молчания.

– Кто это? – весьма бестактно спросил Пиар, кивая в упор на стоящего перед ним человека. Теперь уже было наплевать на тактичность, время было не то.

– Это Александр, – сказал Геген и вновь замолчал.

Ну надо же, про себя возмутился Пиар местным правилам ведения диалога.

– Я сегодня ходил в гостиницу, – начал говорить Геген и, судя по всему, это он говорил не Пиару, ибо Пиар это и так знал.

Александр кивнул.

– Вербергены сегодня очень взволнованы, – продолжал старик, – и это не столько от Дня Преодоления, сколько от Прибытия.

Тут впервые заговорил Александр, его голос звучал громче голоса старика, но тише голоса Пиара.

– Прибыл? – спросил Александр.

– Судя по всему – да, – ответил старик, и повисло молчание, вновь прерванное Гегеном:

– Это писатель. Я его встретил в ресторане.

Пиара поразила бестактность слов старика. Мало того, что о нем, сидевшем в полуметре от них, говорят как о предмете мебелировки, вроде того: «это новый стул, я его купил на распродаже». И все поворачивалось так, будто не Пиар сам подсел к Гегену, но Геген – к Пиару. И, ко всему прочему, в этой фразе старика промелькнуло то же презрение к писателям, речь о котором они вели в гостинице.

– Вы пишете? – впервые обратился к Пиару Александр, на что Пиар обиженно вздохнул.

– Пишу.

Александра это, судя по всему, восхитило, и он как-то радостно вздохнул.

– Завтра будет Комиссия, – вновь сказал Геген, – и если Пиар захочет уверить нас в том, что

он настоящий писатель, то он должен будет предъявить ей свою работу, которую он мне сегодня показал в гостинице, чтобы Комиссия решила окончательно – не лжет ли он.

Все больше происходящее походило на какую-то немного жутковатую, но все же забавную игру, в которую Пиар играть не собирался по двум главным причинам. Во-первых, он не писатель. А во-вторых, если Комиссия будет определять его писательство по записи в блокноте «для дорожных расходов», то к черту такую Комиссию и такое писательство.

– Я не пойду ни в какую Комиссию, – раздраженно ответил Пиар, хотя никто его и не спрашивал.

– Не беспокойтесь, – с участием успокоил его Александр, – Комиссия сама придет к вам.

– Куда же она придет? – не веря своим ушам, съязвил журналист, ибо сам еще не знал, где будет завтра.

– К вам, – ответил Геген, и этот ответ уже ничем не удивил Пиара.

– Но я не знаю, где я буду находиться, – пробормотал Пиар, на что Геген возразил:

– Но где-то находиться вы будете, а Комиссии этого достаточно. Ей ведь только и нужны вы, а не то место, где вы находитесь.

– Бред какой-то, – пробормотал в некоторой растерянности журналист, и эта фраза повисла в воздухе, поскольку ее не удостоили ответом ни Геген, ни Александр.

– Вы где будете спать, – спросил старик, – здесь или у Александра?

– Идите ко мне! – подхватил с детским энтузиазмом Александр, – у меня третий ярус!

– Я буду спать у себя в номере, – со злостью в голосе отчеканил Пиар, скорее желавший уйти отсюда, и ему было совершенно все равно – на каком ярусе живет Александр.

– Но это невозможно! – отшатнулся Александр и даже выступил из их ячейки на улицу. Наверное, если бы они сидели где-нибудь в верхней ячейке, то Александр был упал вниз.

– Почему же? – повернул голову к Гегену Пиар, – вы меня не пустите?

Это был бредовый вопрос, но в обществе таких людей можно было ожидать чего угодно.

– Мы вас и не держим, – ответил Геген, – но там кругом Вербергены, а вам их надо остерегаться.

– Но они же не хуже вас? – с намерением нанести обиду спросил Пиар.

– Нет. Они – другие. Совсем другие, – задумчиво произнес Александр.

– Ну а тогда – какая разница, где мне находиться – среди вас или среди них? – спросил Пиар, и это ему действительно было интересно. – К тому же там спать лучше, хотя бы есть кровать, – и он с умилением вспомнил свой номер.

– У нас тоже есть лежанки, – с обидой в голосе произнес Александр.

– Ну, – поднимаясь с жесткой табуретки, сказал Пиар, – если разницы в принципе нет (он выделил ударением «в принципе») и весь выбор сводится к гостиничной кровати или вашей лежанке, то, извините меня, но я выбираю кровать.

– Почему же? – искренне удивился Александр, настолько искренне, что сомневаться в этом было нельзя. Пиар усмехнулся – он уже устал удивляться абсурду происходящего – и ответил:

– Вам этого не понять.

Тут вмешался Геген:

– Пусть идет. Сегодня ночью там еще не очень опасно. Но ты проводи его.

Александр совсем не обиделся на последнюю реплику Пиара и был, по-видимому, доволен порученным ему заданием.

– Вы идете прямо сейчас? – спросил Геген.

– Конечно! – воскликнул Пиар; ему не терпелось покинуть этих людей, это место – и хоть немного остаться одному. Ему даже не хотелось, чтобы Александр его провожал, но он знал точно, что один отсюда не выберется.

– Проводите меня хотя бы того самого проулка, который ведет сюда, – с энтузиазмом от своего ухода попросил Пиар. – Кстати, а как называется это место, где мы сейчас находимся?

– Абгрюнд, – сказал Геген, и Александр кивнул.

– Идите, – благословил их старик. – Проводи его до гостиницы и возвращайся. А вам, – он обратился к Пиару, – доброй ночи и до завтра.

– До завтра! – радостно произнес Пиар. Он был уверен как никогда, что ни завтра, ни когда-либо еще в этой жизни он не увидит этого старика вместе с этим средневековым Абгрюндом. Ведь там, за проулком, нормальная жизнь. Пусть там живут тоже ненормальные, но там хоть дома такие же, как везде, а здесь – тьма, люди и ячейки.

Старик потушил лампу и Александр, взяв Пиара за руку, повел его обратно.

И вновь Пиара поражал Абгрюнд своей внушительной величиной – ведь, по сути, это был всего-навсего двор, пусть и большой, но двор. Людей стало чуть меньше, а потому, несмотря на ночную тьму, проявились и прояснились некоторые детали. Например, то, что было у них под ногами – вымощено булыжником, причем булыжником не первой свежести, отчего часто Пиар спотыкался; скорее всего, от времени не все булыжники лежали на своих местах.

Александр вообще ни разу не споткнулся, из чего следовало, что он привык ходить по Абгрюнду постоянно. Пиару стало жаль парня.

– Сколько в Абгрюнде человек? – спросил Пиар, желая склонить Александра к дружеской беседе.

Тот шел впереди и, даже не обернувшись, просто пожал плечами:

– Никто точно не знает. Люди приходят или уходят. Как вы, например.

– Но ведь здесь же живут! Сколько человек здесь живет?

– Человек двести-триста.

– И это все – Бодены? – Пиар демонстрировал свою эрудицию, закрепляя свои знания.

– Нет, – отверг эрудицию Пиара Александр, – здесь далеко не все Бодены, здесь также много просто сочувствующих и любопытных...

– Вроде меня? – прервал его Пиар, которому нравилось, что с Александром у них получался какой-никакой разговор.

– Нет, – не задумываясь, продолжил Александр, – вы же писатель. К тому же, много Боденов вне Абгрюнда, и это – главный смысл их существования в частности и существования всего Абгрюнда в целом. Но это, – он запнулся, – это очень сложный вопрос, и это трудно объяснить.

Далее они шли молча, да и весь Абгрюнд будто бы затихал – то ли из-за наступающей ночи, то ли из-за чего-то еще, что было тоже трудно объяснимо. Хоть Александр и показал, что не желает продолжать эту тему, но Пиар на него не обижался. Ему был симпатичен этот человек, которого он даже толком и не видел – сначала его силуэт анфас, а теперь – лишь его спину.

Видимо, и сам Александр боялся обидеть Пиара, а может быть, и по совсем другой причине, но он заговорил первым.

– А что вы пишете?

Пиар вдохнул воздух полной грудью, споткнулся на очередной колдобине, отчего тут же потерял настрой на разговор, и просто произнес:

– Всякое пишу.

Александра такой ответ не удовлетворил:

– О чем говорил Геген? Что вы будете показывать Комиссии завтра?

– Во-первых, никакой Комиссии я ничего завтра показывать не буду, – Пиар ожидал возражения на свои слова, но Александр почему-то промолчал, – во-вторых, Геген говорил о, – тут Пиару стало стыдно, – о дорожных расходах.

Они уже подходили к выходу из Абгрюнда, Пиар это почувствовал.

– Понятно, – стараясь скрыть разочарование в голосе, произнес Александр. Но ему это трудно давалось в силу его природной искренности, – я-то думал, что вы пишете о чем-нибудь другом.

Пиару стало стыдно, хоть он и уверял себя, что стыдиться ему нечего – все это придумал не он, а Геген, выставивший журналиста на посмешище. С другой стороны, старик сам относится ко всему серьезно; к тому же, Пиар действительно написал то, о чем они говорили.

– Да я и пишу о другом. И, вообще, как можно говорить о человеке, записывающем дорожные

расходы, как о писателе? – поделился своим возмущением с Александром Пиар. Но Александр, как и Геген, этого возмущения не разделял, и просто сказал:

– Но вы-то написали дорожные расходы, значит вы...

– Знаю, знаю, – прервал его, немного раздражаясь, Пиар, – значит я писатель.

Александр согласно кивнул. Они свернули в проулок, но Пиара это уже не так радовало, как он думал ранее.

Стараясь отвлечься, он, как ни в чем не бывало, спросил у Александра, который уже отпустил его руку:

– А проулок относится к Абгрюнду или к Городу? Чье это?

Александр ни на миг не задумался:

– Город целиком принадлежит Абгрюнду, а Абгрюнд – самому себе.

Проулок кончался, когда Пиар решил, что все обитатели этого Абгрюнда давно свихнулись – если не от чего-то своего, то от мании величия точно.

И сердце заныло, захотелось просто-напросто видеть коротышку, В., печатную машинку. Черт с ним, что там настоящая и искусственная кожа называются ненастоящими.

По крайней мере, там его оставили в покое. И хоть ему нельзя было покоя – такова его работа, но теперь хотелось только закрыться в своем номере и никого не впускать до самого отъезда.

4. Александр

Завидев привычную для нормального человека архитектуру, Пиар значительно повеселел. Теперь, при свете фонарей и витрин, он смог как следует разглядеть своего спутника. Это был круглолицый розовощекий юноша лет двадцати от роду. Одет он был в обычную одежду, и лишь на груди у него висел какой-то маленький железный значок – что, впрочем, никак не встревожило журналиста. Цвет его одежды, как ни странно, был светлым, отчего от Александра, при свете уличных огней, шло какое-то едва уловимое свечение. Хотя, и это скорее всего, после Абгрюнда Пиару весь мир виделся в светло-розовых тонах. Несмотря на округлость лица, Александр был худощав и даже несколько утончен, потому Пиару было даже приятно идти с ним по улице – гораздо хуже было бы, если бы ему в спутники Геген предоставил кого-нибудь вроде гостиничного коротышки.

Хотелось говорить, но совсем не на тему Абгрюнда или писательства. Пиар все же считал важным, что у этих людей если и не совсем нормальные интересы, то хотя бы разнообразные.

– Ты живешь в этом городе? – спросил Пиар у спутника.

Александр немедленно ответил:

– Да, я живу здесь. Но, скорее всего, я поеду скоро путешествовать.

Пиара это совсем успокоило и, чтобы более не возвращаться к теме Абгрюнда, он спросил:

– А тебя отпустят из Абгрюнда? Вообще, у тебя есть родители?

– Нет. Родителей у меня нет, а в Абгрюнде никого не держат. Так часто бывает, что оттуда, наоборот, выгоняют. Но, в итоге, даже те, кого выгоняют, стремятся туда вернуться.

Пиару, конечно, было интересно – чем же может быть вызвано такое страстное желание вернуться из этого, нормального, мира в Абгрюнд, но он не стал об этом спрашивать, побоявшись вновь этой темы.

– А куда ты хочешь поехать? – спросил он у юноши.

– Это неважно, – в раздумьи ответил тот, – Геген говорит, что принципиально отличен от остальных мест только Абгрюнд, а сами остальные места похожи между собою.

Это уже показалось Пиару нормальным образом мысли; более того, он и сам так думал, а потому подтвердил это:

– Да, в этом Геген прав. Только ваш Абгрюнд отличается от всего остального.

– Ну вот, видите, – произнес Александр, – только почему вы говорите «ваш», разве вы – не с нами?

Пиару этот вопрос не понравился, и он кивнул головой только ради того, чтобы не обидеть Александра:

– С вами, с вами.

В конце концов, подумал он, пока я иду с одним из вас, я с вами. И тут же он продолжил ранее начатую тему:

– Значит, тебе все равно – куда ехать? Как же ты решишь – куда?

Юноша пожал плечами:

– Не знаю пока. Спрошу у кого-нибудь. Вот вы, к примеру, – он посмотрел на Пиара, – много путешествуете?

– Да, много, – наконец-то Пиар говорил легко, потому что ему более не приходилось врать и оправдывать себя в этом вранье. С другой стороны, это уже был совершенно бесполезный для его статьи разговор, но можно было и отдохнуть.

– Куда вы мне посоветуете ехать? – спросил Александр.

– А ты хочешь туда, где много людей, мало или нет совсем? – спросил Пиар. Сам он бывал в первых двух местах и лишь мечтал о третьем.

– Разве есть на свете такие места, где совсем нет людей? – искренне воскликнул Александр, да так, что несколько прохожих обернулись на него.

– Конечно, – с надеждой в голосе произнес Пиар, – таких мест все меньше, но они есть.

– А как же там жить? – растерялся Александр.

– Там необязательно жить. Ты же хочешь путешествовать? Вот и путешествуй. А если ты там будешь жить, то это уже перестанет быть местом без людей.

– И то верно, – рассмеялся Александр.

Это был первый нормальный смех, который Пиар услышал за все время пребывания в К., а потому он вновь почувствовал прилив симпатии к Александру.

– Кто такой Геген? – спросил Пиар.

– Это житель Абгрюнда, – по манере ответа Александра Пиар понял, что юноша все же не совсем свободен от местных предрассудков, но не обижался на него за это.

– Я думал, что он твой Учитель, – предположил Пиар.

Александр улыбнулся:

– Нет, что вы. В Абгрюнде нет Учителей. Я в жизни сам видел только одного Учителя, он был презижей. Но он оказался таким глупым и скучным, что я вообще не представляю – зачем эти Учителя нужны. Геген, правда, рассказывал, что Учителя нужны, чтобы учить, но я сомневаюсь, что тот Учитель, которого я видел сам, чему-нибудь смог бы меня научить.

Пиар посчитал это юношеским максимализмом, а потому промолчал.

Они шли другим путем, а именно – по оживленной улице, которую Геген, по-видимому, старался избегать в силу ему одному понятных причин. Александр же, наоборот, наверное, любил все яркое и многолюдное – как и сам Пиар.

Вокруг них мирно жил город – один из тысяч городов, ничем не отличающийся от других. Обычные люди не спеша прогуливались парами; кто-то, припозднившись, торопился домой; кто-то, наоборот, шел очень медленно и часто останавливался, беседуя с приятелем или с подругой. Из открытых ночных кафе лилась музыка, и Пиару очень захотелось посидеть в таком заведении за кружечкой пива и горячим, аппетитным ужином. Он предложил Александру зайти в кафе перекусить. Но тот сконфузился и сказал, что ему надо торопиться – его ждут в Абгрюнде. Одного упоминания этого места хватило для того, чтобы Пиар согласился со спутником, хотя про себя решил, что у парня, наверное, просто нет денег, а признаться в этом журналисту он не решался в силу того же юношеского максимализма, выраженного в отточенной гордости.

Пиар совсем разомлел при виде вечернего города и о сегодняшних своих злоключениях думал уже с иронией и улыбкой. Конечно, с ним шел свидетель из этого ненормального недалекого прошлого, но сам он, Александр, был вроде бы вполне нормальным. От этого все происходившее ранее стало казаться Пиару не очень удачным розыгрышем.

Журналист улыбался и раздаривал улыбки прохожим, пожелал одной молодой паре доброго вечера, ему не ответили, но он совсем не обиделся. Александр с интересом наблюдал за спутником и, возможно, восхищался им. Так считал Пиар.

А поэтому стало даже жаль, когда они неожиданно свернули, и за поворотом перед ними возникла гостиница. Александр остановился, показывая тем самым, что внутрь он не пойдет. Пиару же почему-то очень захотелось угостить юношу хорошим ужином, поболтать с ним о путешествии, поделиться своим опытом. В конце концов, Александр был вполне нормальным. Конечно, у него в голове было много бредовых идей, но пока это были лишь идеи, и они еще не успели окануть в черные мнения, которыми полнилась, к примеру, голова Гегена. Пиар пригласил юношу в гостиничный ресторан, но тот никак не соглашался туда идти.

Согласие было получено лишь после того, как Пиар пообещал показать Александру столик, за которым он познакомился с Гегеном, рассказать о писателях, и при том условии, что на это уйдет не более часа.

Журналист охотно принял все эти условия, и они вошли в гостиницу. Теперь швейцар был более приветлив, за что Пиар вновь протянул ему монету. Правда, этот служитель гостиницы с некоторой опаской взглянул на Александра, получив от последнего такой же взгляд. Но Пиар уже быстро сориентировался в холле и прошел направо, в ресторан, откуда уже раздавалась музыка и лился по-домашнему уютный свет.

В зале заметно поубавилось посетителей, что было весьма кстати – теперь появилась возможность выбирать столик. Пиар уже было хотел пройти вглубь зала, но Александр попросил его сесть ближе к выходу. По его словам, ему так будет удобнее. Уступчивость Пиара от вида обычного города не знала границ, и он с удовольствием согласился.

За стойкой вновь стоял двойник В., напоминая своим видом Пиару о дневных событиях, что было весьма некстати. Но даже это не расстроило Пиара; к тому же бармен, едва завидев журналиста, куда-то ушел, и к их столику подошел тот же, второй официант, который выполнял заказ ранее. Он услужливо предупредил, что ресторан через два часа закроется, на что Пиар радостно согласился, сообщив, что они со спутником зашли просто поужинать и это не займет более часа. Тут же он заказал им обоим хороший ужин и, надо сказать, цена за него значилась довольно низкая.

Все это время, пока Пиар общался с официантом, Александр нетерпеливо ерзал на стуле, чем привлек к себе пару любопытных взглядов.

И, наконец, заказ был тут же исполнен, и Пиар приступил к трапезе. Александр даже не посмотрел на поставленную перед ним еду, на что Пиар с набитым ртом сказал, что он, Александр, может есть не стесняясь, за все уплачено.

Юноша гордо ответил, что у него есть деньги, и что он ждет, пока Пиар расскажет ему о писателях, как он и обещал. Журналист успокоил его, сказав, что свое обещание он непременно выполнит, но лишь при условии, что Александр будет есть. Парень вздохнул и принялся за ужин.

Пиар спросил его, что именно интересует Александра в писателях.

– Они пишут, – растерянно проговорил Александр, – это я знаю. Но кому они пишут? Вербергенам или Боденам?

Этот вопрос сначала сконфузил Пиара, но журналист опомнился.

– Пишут, вероятно, ни для тех, ни для других. Кстати, объясни мне разницу между теми и другими. Кто такие Вербергены, помимо того, что это жалкая кучка оборванцев, пришедшая к власти?

Александр усмехнулся:

– Это вам так Геген сказал? – Пиар кивнул. – Это он преувеличивает. Я знаю многих Вербергенов, они нормальные люди, но они, конечно, заблуждаются. Больно легко у них все получается.

– Что легко? – не понял Пиар.

– Жить легко.

– И, что же, если они живут легко, то вы их за это осуждаете?

– Да, мы их за это осуждаем. Ведь на самом деле жить очень сложно. Они только в силу своего заблуждения этого не знают.

Пиар вновь почувствовал ненормальность происходящего.

– Но живут-то они легко – факт. Какая разница тогда – как жить на самом деле? Ведь факт говорит обо всем сам.

– Вы правы – факт говорит все сам за себя, но ваш вопрос неверно поставлен. Вы спрашиваете – какая разница, а так спрашивать нельзя, – с интонацией Гегена констатировал Александр.

– Что значит – нельзя спрашивать? – возмутилось журналистское нутро Пиара. Правда, он ожидал ответа вроде «нельзя – значит нельзя», но Александр ответил нормально:

– Не спрашивайте «какая разница?», но спрашивайте «в чем сходство?» – и все встанет на свои места.

Пиар этот ответ озадачил, и он лишь непроизвольно сказал:

– А какая разница?

И тут ему действительно стало ясно, что в этих словах Александра есть смысл. Пока, правда, этот смысл был в одном: если подумать – в чем сходство, иногда сразу станет ясно – какая разница. Но с этим журналист решил разобраться позже, наедине, а пока уходят драгоценные минуты общения с этим парнем, которого, скорее всего, Пиар больше никогда не увидит; если Александра можно было увидеть только в Абгрюнде или в обществе Гегена – ни того, ни другого Пиар не желал видеть. Хотя, может быть, все обстоит иначе.

– Вербергены ни во что не ставят творчество, – задумчиво продолжал Александр. Очевидно, он старался собрать воедино все, что он знал о Вербергенах. Журналист же при этих словах вспомнил сквозящее в словах Гегена презрение к писателям, и потому осторожно произнес:

– Я, конечно, точно не знаю, но мне показалось, что сам Геген не очень-то любит писателей. Это так?

Александр чуть не подавился и рассмеялся – теперь этот смех Пиару не понравился:

– Нет, Пиар, это не так. Геген, наоборот, как истый Боден, по-моему, слишком высоко ставит писателей, – и тут Александр спохватился. – Не обижайтесь, конечно. Я-то сам писателей не знаю. Вы – первый, кого я вижу живьем.

Не знаю, подумал Пиар, но, по-моему, все же Геген всех тут водит за нос.

– Они считают, что настоящего творчества не бывает... – продолжил Александр, стараясь закрыть неприятную тему о старике.

– Это они преувеличивают, – возразил Пиар. Конечно, он сейчас меньше всего думал о себе, но он представлял тех великих, приблизиться к кому он посчитал бы великой почестью. Это, можно сказать, было его тайное желание, поскольку журналист не должен ставить перед собою авторитетов, но писатели были такими авторитетами для Пиара, которые никак не влияли на его творчество – а будь иначе, он бы оказался в весьма неприятной ситуации, хотя выход из этого трудного выбора был бы предрешен заранее – ради журналистики он был готов отвернуться от всех писателей. Но сейчас была как раз обратная ситуация.

– Преувеличивают? – с блеском в глазах спросил Александр. – Я так и знал! Вы-то сам писатель, вам-то это лучше знать. Вот и мы считаем, что творчество – это предел всех пределов, выше него ничего быть не может! Это настолько высоко, что из нас никто не вправе даже называться писателем; более того, мы вообще ничего не пишем – настолько это было бы недостойно с нашей стороны, настолько велико творчество!

– Это тоже слишком, – в Пиаре заговорил журналист, и он на миг забыл, что для Александра он – писатель.

– Слишком? – растерялся Александр, и это была невообразимая для человека разочарованность. – Но... Как же... тогда?

Пиар понял, что совершил что-то страшное, но что – он понять не мог. Он пристально посмотрел на Александра, но тот сразу же взял себя в руки. Видно было, что в нем происходит борьба. С одной стороны, он не мог не верить Пиару, ведь Пиар – писатель, а авторитет писателя для

Боденов – непрекаем. Но, с другой стороны, то, что сказал Пиар, явно не сходилось с тем, что сами Бодены думали о писателях в пику Вербергенам. Поэтому Александр оказался в таком подвешенном состоянии – либо Пиар не писатель, либо Бодены неправы, – из которого надо было искать выход. И выход тут же нашлся, решение было отсрочено:

– Завтра будет Комиссия. Вас определяют.

Это выглядело как перевод темы, но Пиар понял, что юноша уповает на эту Комиссию – если Комиссия не признает в журналисте писателя, то Бодены останутся правыми. А то, что писателя в нем не признают, Пиар не сомневался ни на миг.

– Кто учредил эту Комиссию? – переводил тему Пиар, которому было стыдно за то, что он ввел юношу в столь неловкое положение. Александра, по-видимому, обрадовала эта возможность отвлечься, и он поспешно ответил:

– Это решение совместное – Боденов и Вербергенов. Ведь чтобы определить, чья партия права – необходимо расспросить писателя. А для начала писатель должен быть таковым признан. Вот Комиссия и определяет писателя. Затем смотрит на то, что он сам думает. А думает он, как правило, либо в пользу Вербергенов, либо в пользу Боденов...

Пиар прервал Александра:

– Значит, если меня признают писателем, то от моего мнения что-то будет зависеть? – Пиара уже переполняло чувство собственной значимости, ему даже захотелось, чтобы его признали писателем, но это, конечно, было абсурдом.

– В принципе, вы правы, – особого энтузиазма Александр уже не выказывал, – но, так как в городе уже давно сложилась твердая расстановка сил, то вряд ли вы что-то решите.

Пиар спустился на землю:

– А в городе есть свои писатели?

– Нет, в городе не пишут.

Тут Пиар вспомнил, что писатели – это те, кто пишет, а потому-то он и может быть признан Комиссией. Но тогда...

– Что, в городе вообще никто ничего не пишет?

– Нет, фактически нет, – ответил Александр, – хотя у Вербергенов есть пара писателей. Вы-то заметили витрины, вывески. Вот, например, название этой гостиницы...

– Летопись Рима? – выпалил Пиар.

– Да, название этой гостиницы – одна из последних работ писателя Вербергенов. Он работал над ней полгода.

– В смысле? – не понял Пиар. – Он изготовлял полгода вывеску? – спросил он, не припоминая в этой вывеске ничего особенного. Да, красивая вывеска, но не полгода же ее делать!

– Он писал полгода, – повторил Александр, – а изготовляли вывеску рабочие, на это ушло, наверное, около дня.

Что-то я совсем ничего не понимаю, подумал Пиар, как же можно писать полгода название из двух слов? Может...

– А название нужно было придумать? Был, наверное, какой-нибудь конкурс?

– Нет, – заканчивая с ужином, возразил Александр, – название придумал владелец гостиницы, сказал его писателю, а тот написал...

– Что это за ерунда? – воскликнул Пиар под недоверчивый взгляд юноши, – он, что, два слова писал полгода, этот ваш местный писатель?

Пиара просто распирало возмущение.

– А вы думаете, это легко – писать? – с тем же недоверием спросил юноша. – Хотя вы писатель, вам лучше это знать. Одно дело, чтобы придумать – что написать, а другое – написать. Ведь надо написать искреннее, с чувством ответственности, а для этого надо почувствовать фабулу, схватить смысл. Это непросто. Или вас удивляет, что это маленький текст – «Летопись Рима»? Но ведь и у вас-то, – с какой-то усмешкой на краешке губ спросил Александр, – у вас-то тоже не очень большой текст дорожных расходов.

– Да, – растерялся Пиар, – у меня совсем мало, но...

– Ну вот, видите, а Комиссия завтра по этому тексту будет определять вашу искренность и творческую способность. Вообще-то, – откинулся на спинку стула юноша, – я вам не очень завидую. Быть писателем – очень нелегко.

– Да уж, – только и произнес Пиар, у которого голова шла кругом. Теперь они сидели молча.

Посетителей вообще осталось мало. За исключением Пиара и Александра, пару столиков занимали молодые пары, и где-то в углу сидел в одиночестве, за бутылкой красного вина, явно нетрезвый мужчина лет сорока.

– А ты видел этих писателей? – почему-то спросил Пиар у Александра.

– Один раз, мельком, – отозвался тот, – мне их показывали в прошлом году на Дне Преодоления, но неизвестно – они это или нет. Вербергены их прячут. Я же говорю, что вы – первый писатель, которого я вижу.

– Ах, да, – спохватился Пиар и вновь замолчал, уставившись на стойку бара, за которой о чем-то шептались бармен, выполнявший заказ, с другим, похожим на В. Пиару даже показалось, что эти двое косятся в их сторону, но, скорее всего, это только показалось.

Тут в зал вошел коротышка. Почему-то Пиар был рад его увидеть. Коротышка подошел к барменам и что-то тихо сказал им; чтобы его услышать, им пришлось чуть ли не вдвое согнуться, отчего за стойкой бара высились только три головы.

Но тут же бармен, похожий на В., выпрямился и вышел из зала через служебный выход, располагавшийся почти тут же, за стойкой. Оставшиеся двое еще немного пошептались, и коротышка вышел из-за стойки, приветливо помахав Пиару рукой.

Журналисту стало неловко за то, что он вот так, в открытую, пялится на них. Он тут же посмотрел на Александра. Тот жалобно уставился в окно, за которым ничего не было видно.

– Мне пора, – произнес Александр просительно. Он только и ждал того момента, когда Пиар обратит на него внимание.

– Да, да, конечно, – заторопился Пиар, – иди, а то уже поздно.

Они встали из-за стола, и Пиар пошел проводить юношу до выхода под восторженный взгляд коротыши.

Швейцар уже сидел в холле, внутри. Дверь была заперта на засов, который тут же был отворен. Пиар вышел с Александром на крыльцо. Юноша попрощался, пожелав Пиару выстоять перед Комиссией – и скрылся в темноте, оставив быстро рассеивающуюся дымку своего светлого присутствия. Пиар повернулся ко входу. Было темно, лишь свет, падавший изнутри гостиницы (дверь осталась приотворенной), освещал ступеньки. Надписи с гостиничным названием видно не было, можно было лишь с трудом разобрать контуры букв «Л» и «Р». Пиар посмотрел на них и усмехнулся, произнеся вслух:

– Искренне и прочувствованно.

Затем он зашел внутрь, и швейцар без особого энтузиазма закрыл за ним дверь.

5. Бес(сон)ица

Пиар хотел пройти в ресторан, чтобы рассчитаться, но, с некоторым удивленным негодованием и почему-то к большому удовольствию швейцара, запирающего входную дверь вновь, увидел, что дверь ресторана уже закрыта. Как же, думал Пиар, когда мы выходили, там же были люди – куда же они подевались? Но он тут же решил, что посетители там, внутри, – их теперь будут выпускать, но никого уже не впускают. Он посмотрел сквозь тонированные стеклянные двери ресторана в надежде увидеть хотя бы свет или услышать музыку. Но там царили мрак и тишина.

Тут он услышал над собою голос В.:

– Ресторан уже закрылся. Вы что-нибудь там оставили?

– Нет, нет, – выпрямился Пиар, – я поужинал и не заплатил за ужин. Теперь хотел заплатить, но... – он развел руками и кивнул на мертвую дверь ресторана.

В. как-то надменно улыбнулся и произнес:

– Если я не ошибаюсь, вы – клиент гостиницы. Так что счет за ужин будет включен в ваш итоговый счет.

– Хорошо, спасибо, – сказал Пиар В., но того уже и след остыл.

Поднимаясь к себе в номер, Пиар повторял про себя слова В. «если я не ошибаюсь, вы – клиент гостиницы». Неужели В. не помнил Пиара или он так сказал лишь из-за своей надменности, свысока своего служебного положения? Ведь должны же служители гостиницы соблюдать дистанцию с постояльцами. Оправдав таким образом В., Пиар переключился на другое.

Едва зайдя к себе в номер, он, даже не переодеваясь, стремительно схватил свою сумку, достал оттуда чистый лист бумаги и карандаш и уселся за стол. Когда он включил лампу, то перед ним возникла печатная машинка со вставленным в нее листом.

«Во-вторых, там ничего не пишут...» – прочитал он свое последнее напечатанное предложение и усмехнулся. Он отодвинул машинку со своей начатой статьей и положил перед собою чистый лист бумаги.

Ему хотелось попытаться написать «Летопись Рима» так, как того требовали Геген и Александр – искренне и с чувством ответственности. Теперь это уже была не абсурдная мысль, хотя Пиар это и расценивал не более как игру. Ведь сам-то он ни на миг не сомневался в том, что ему это по плечу – всего-то дела: написать два слова! Совсем иное – написать это искренне. Конечно, Пиар писал всегда искренне, но эта искренность была неосознанной; она как бы выступала на бумаге одновременно с написанием, и на нее вообще не нужно было обращать никакого внимания – достаточно просто писать. Более того, эта искренность сама не требовала к себе внимания, и вообще было непонятно – как она могла привлечь к себе внимание местных жителей настолько, чтобы те разделились из-за нее в две партии и встали в жесткую конфронтацию.

Как бы то ни было, но местные нравы требовали осознания этой искренности, хотя ясно было как день, что, при таком требовании, она исчезала и теряла всякий смысл.

Потому-то у них и писателей нет. Не дают писать, как пишется, и все, думал Пиар, сидя перед чистым листом бумаги и теребя карандаш.

Но все же я напишу искренне, напишу так, как они того требуют. Ведь написал же местный писатель «Летопись Рима» искренне и сознательно. Хотя на это у него ушло полгода... Но я-то не такой никудышный писатель, а этот, наверное, их всех просто-напросто обдурил. Полгода прожигал задаток за «работу», а как деньги кончились, так написал – и все.

Тут же он вывел на бумаге «Летопись Рима» – и остановился, переведа дыхание. Сейчас он предпринял один обходной маневр – он отвлекся от мыслей о предстоящем написании и резко написал. Можно было сказать, что он не выполнил требований Гегена – ведь в тот момент, когда он писал, он не думал о написании. Но, Пиар себя оправдывал тем, что требование Гегена он вообще знал, а потому его, хоть и с натяжкой, но можно было назвать писателем даже и по строгим критериям Гегена.

Он в волнении встал. Теперь его интересовало только одно – стал ли он писателем «по местным меркам» или все же нет? Он стал ходить из одной комнаты в другую, два раза споткнулся на одном и том же месте и вновь сел за стол.

Теперь он был уверен на сто процентов, он написал не так, как того требовалось. Что же, повторим, подумал Пиар. Но он не мог писать более «Летопись Рима» на том же листе. Сначала он его перевернул чистой стороной, а затем вообще скомкал и зашвырнул в корзину для мусора, достав другой, совсем чистый. И тут он стал бездумно писать подряд: Летопись Рима, Летопись Рима, Летопись Рима, Летопись Рима...

Он писал, а сам задним умом следил за своими мыслями по поводу этого написания. Где-то в конце страницы он понял, что думает, таким образом, не о написании, а о том, что он об этом написании думает – а этого тоже не допускалось. И второй лист отправился в корзину.

Уже за третьим листом он решил писать так же – подряд, но на сей раз думать о чем-нибудь другом, в надежде на то, что среди совсем далеких мыслей он неожиданно для себя самого по-

думает о «Летописи Рима» и, так как он в это время будет это писать, – то в этот миг мысль иписание совпадут, что и можно будет назвать искренним написанием.

Исписав почти лист, Пиар осознал, что он думает о чем угодно – о редакторе, о следующей командировке, об Абгрюнде – но не о «Летописи Рима». Причиной этого он не без негодования посчитал то, что он-то все равно в глубине дал себе установку не думать о «Летописи Рима», а потому эта установка также глубоко исполняется и подобная мысль невозможна, а потому и не будет ни одного искреннего слова из тех десятков, написанных им только что.

Потом ему пришла в голову мысль: что бы он сейчас ни писал, и ни думал, над всем витает эта мысль – искренне написать «Летопись Рима», а потому и невозможно писать вообще.

Он отправил третий лист в корзину и вновь заходил по номеру. Вообще, это абсурд – требовать того, что возможно лишь тогда, когда этого не требуют.

– Черт возьми! Это невозможно! – вслух воскликнул Пиар и вновь заходил по комнатам. Но ведь Александр сказал ему, что местный писатель это сделал. А если он не обманул и действительно это сделал? Да тут не то что полгода, здесь и жизни мало! Это же просто невозможно!

Пиар в бессилии опустился за стол. Он достал четвертый лист и просто написал на нем «Летопись Рима». Затем он улыбнулся и решил, что пора лечь спать. Он включил ночную лампу возле кровати, выключил свет за столом и переоделся; улегся, выключив свет.

Он лежал долго, стараясь ни о чем не думать. Но к нему пробивалось желание познакомиться с этим гениальным местным писателем, заглянуть к нему в глаза и понять – как же ему это удалось? Пусть ему не хватило способности писать так же, но уж наверняка ему хватит ума, посмотрев в эти глаза, понять: как. И он наверняка поймет – искренен был этот писатель, когда писал «Летопись Рима» или же просто обманывал всех и, самое главное, самого себя.

Затем он, вероятно, задремал, поскольку он проснулся. Да, он ясно осознал, что он проснулся, совсем не понимая – спал ли он? Если можно проснуться, не засыпая, то это был тот самый случай.

По его номеру кто-то ходил. Причем шаги, которые Пиар отчетливо слышал, совсем не таились и ступали смело, как будто тот, кто ходил, был у себя дома. Мысль о том, что здесь вор, Пиар отбросил сразу, ибо он ни миг не забывал, что он в гостинице. Конечно, в гостиницах бывают воры и не менее, чем в других местах. И Пиар сам присутствовал при поимке одного такого вора три года назад. Но это была нормальная гостиница в нормальном городе, это был нормальный вор. И Пиар был бы рад, встретить он здесь такого вора – пусть он вор, но он нормальный. Но здесь это было просто невозможно. В конце концов, нормальный вор не топает посреди ночи в том месте, где он ворует, а значит – этот вор ненормальный. А значит, это вовсе и не вор.

Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове Пиара, возможно, это была всего одна мысль, но это все было мгновенно.

Журналист приподнялся на кровати, кровать предательски скрипнула. Пиар вовсе не боялся, ему было просто интересно. Журналисту нельзя бояться, интерес – это основной его инстинкт, пусть и не биологический, но он должен был побеждать основной инстинкт страха человека всегда. В этом смысле журналист не человек, часто говаривал их профессор, а, скорее, журналист лучше человека, только это все к слову, и не стоит забывать этой расистской чепухой голову; это факт – и что над этим думать? Профессор тут говорил всегда, что журналист должен скептически думать над всеми фактами, кроме того единственного и главного – что он журналист. Вы мне тут философию не разводите, повышал тон профессор, вы не Декарты какие-нибудь, а люди, делающие свое конкретное дело, и, самое главное (он вытягивал вверх свой кривой указательный палец), и самое главное, что ваше дело полезно для других, чего нельзя сказать о философии.

Пиар с явным удовольствием теперь вспомнил лекцию, это позволило ему отвлечься от данной ситуации, чтобы дать ей протекать по-своему – тоже инстинкт журналиста. Но шаги притихли, и кто-то кашлянул.

– Вы уже проснулись? – спросил хрипловатый голос. Он принадлежал мужчине, который, очевидно, и ходил по комнате.

– Да, – ответил Пиар, и его это стало веселить.
– Я вас жду тут уже около часа, – продолжил голос, и Пиар понял, что это правда.
– Что вам надо? – спросил Пиар, так и не видя еще того, с кем он разговаривает.
– Странно, – ответил голос, – вы спрашиваете, что мне надо и совсем не спрашиваете – кто я такой.

– Знаете, – Пиар сел поудобнее, кровать на этот раз промолчала, – ночь, прерванная вашим вторжением, нисколько не располагает к знакомству.

– Да, да, конечно, – откашлялся голос, – но вы-то писатель, а потому ваше первое обращение ко мне тоже многое говорит.

Теперь Пиар задумался. С ним разговаривал некто, знающий если не самого Пиара, но точно его местный социальный статус. Спрашивать – откуда собеседник знает это, было бы бессмысленно – он это знал. К тому же, он наверняка такой вопрос и ожидает. О писательстве Пиара знали только Геген и Александр...

– Вы из Абгрюнда? – спросил Пиар.

– Боже упаси! – ужаснулся голос, – я ваш коллега, тоже писатель. Я автор «Летописи Рима». А если вас интересует, откуда я о вас знаю, так это было несложно. В эту гостиницу редко кто заезжает. Вообще, и в этот город редко кто заезжает, но это к слову. Я сам живу в этой гостинице, в таком же номере, но этажом выше. Благо, мои гонорары мне это пока позволяют. Вот я вас сегодня видел в ресторане и, к тому же, бармен мне сказал, что вы пишите. Может, вы включите свет?

Откуда бармен-то это узнал? – изумился Пиар, включая свет. И как ему мысль включить свет не пришла в голову раньше?

Перед ним, в соседней комнате, стоял тот самый, нетрезвый ранее, мужчина из ресторана, который пил красное вино в гордом или вынужденном одиночестве.

– Хорошо, – поправил одеяло Пиар, – зачем вы ко мне пришли?

Сам он пытался понять – что же выражают глаза Писателя, но это было непросто – они ничего не выражали, а если и выражали, то как-то глубоко и совсем невыразительно.

– Да я зашел по совсем пустяковому делу, – совсем не смутился Писатель, – у меня кончилась бумага, а у вас-то она наверняка есть. Я сейчас работаю над новым произведением, пишу по ночам. Я, знаете ли, сова, – он сделал какой-то неопределенный жест рукой, – вот и думаю: спрошу-ка я у коллеги бумаги, – он улыбнулся, – вдохновение вещь редкая и внезапная, но, коли Муза посетила, то уж тут только поспевая писать. Хотя, что это я вам рассказываю!

– Да уж, – замямлил Пиар, вспоминая свои недавние попытки написать «летопись Рима». Он отметил, что этот Писатель совсем нормальный человек и ничем не отличается от других нормальных людей. Как это он тут сохранился? – подумал Пиар. – Скорее, лишь благодаря тому, что он писатель.

Собеседник стал вызывать у журналиста заметное уважение, кстати, против его собственного желания.

– Ну, так вот, нет ли у вас бумаги? – спросил Писатель и посмотрел на стол, где лежал четвертый лист Пиарова творчества.

– Да, да, конечно, – спохватился Пиар и буквально выпрыгнул из кровати – лишь бы отвлечь Писателя от стола. Он схватил свою сумку и вынул оттуда наугад стопку чистых листов, протянул их Писателю:

– Этого хватит? – спросил он поспешно.

– Конечно, благодарю вас, – улыбнулся с благодарностью Писатель, – еще раз извините, вам надо отдохнуть, ведь, насколько я понимаю, у вас завтра Комиссия, точнее, уже сегодня.

И он было собрался совсем покинуть Пиара, но тот остановил его, догнав, и схватив за локоть:

– Подождите! – Писатель остановился и по-дружески посмотрел на журналиста. – Подождите! Расскажите мне хоть вы, что эта Комиссия делает и вообще, к чему это.

Пиар не мог упустить возможности, когда нормальный человек может рассказать ему нормально об этих ненормальных обычаях.

– Конечно, – Писатель явно не торопился нагонять свое неожиданное ночное вдохновение, и был рад остаться в номере Пиара хоть на всю ночь до утра. Он подошел к столу и уселся прямо на него так, что подмял под себя четвертый лист Пиара, чему журналист был несказанно рад. Сам он взял стул и, подставив его к темному сейчас окну, сел. Освещением им служила лишь ночная лампа у кровати в соседней комнате, и так было очень уютно.

Писатель посмотрел на печатную машинку и на вставленный в нее лист:

– Я смотрю, вы уже работаете, – сказал он. – Вот завтра Комиссия и возьмет у вас что-нибудь из вашего творчества на экспертизу. Кстати, что вы им дадите?

Пиару показалось, исходя из вопроса Писателя, что он, Пиар, сможет предоставить Комиссии что угодно из написанного им, и потому он неопределенно ответил:

– Не знаю, я не решил еще.

– То есть как? – удивился Писатель, – вы уже должны знать к этому дню, что вы предъявите Комиссии. Вам должны были сообщить.

– Ах, если так, то – дорожные расходы, – вздохнул Пиар, на что Писатель подмигнул:

– Что, поймали вас в такое неловкое положение? Дорожные расходы?

Воистину, это нормальный человек, подумал Пиар. Он хоть понимает, что дорожные расходы – как творчество – это чушь. Это он еще мягко выразился, что «неловкое положение»; это же вообще бред.

– Да, – ответил Пиар, преисполненный самого глубокого дружеского расположения к Писателю, – это вы еще слабо сказали. Это же, между нами, вообще глупость – дорожные расходы как творчество! Да?

Писатель рассмеялся и сделал жест рукою, будто укоряя Пиара:

– Что между нами, то вы как раз могли бы и не скрывать ничего, ведь я – тоже писатель. Если вы балуетесь дорожными расходами, если это ваша страсть, так к чему скрывать это? Лучше уж завтра гордо встать перед Комиссией и сказать: да, я люблю писать дорожные расходы, черт вас всех подери! Я, вот, к примеру, люблю писать медицинские справки. Меня это вдохновляет. Скорее, и вдохновение – не то слово! Это просто чудесно! И я давно этого уже не скрываю. Конечно, я пишу на заказ всякую ерунду, порою это отнимает все силы, но когда садишься за любимое дело – всю усталость как рукою снимает! Вот сейчас я пишу справку больному диареей, да и к тому же с рецептом! Это же чудесно, я такого вдохновения не испытывал уже давно! – тут Писатель опомнился и заключил: – Так что гордитесь, что вы предстанете перед Комиссией с тем, что вы любите. Скажите: да, я писатель, и дорожные расходы – мое призвание! И они ни черта с вами не смогут поделаться, дадут заключение: писатель дорожных расходов. Звучит! Ладно, отдохайте, я пойду писать дальше – меня так и распирает! Вот сейчас перейду к рецепту! Ух! Да!

С непонятными криками он выбежал из номера, оставив открытой дверь. Пиар же сидел просто пораженный. Да этот Писатель еще ненормальнее всех остальных! Медицинские справки и рецепты! Вот ерунда-то! Да, он, наверное, действительно искренне писал «Летопись Рима», если уж он такой... не в себе!

Журналист вскочил и стал ходить по номеру. Мысли его путались, и все они были пустыми. Сказывалась ночь, и какая-то прямо-таки вселенская усталость овладела журналистом. Но он не мог спать, ему одна мысль о сне была отвратительна: а вдруг он уснет и его разбудит другой сумасшедший и общепризнанный писатель, который пишет, например, матерные слова на стенах, или, еще лучше, выпустивший книгу своих записок жене, вроде «Дорогая! Разбуди меня, когда сама встанешь, но не раньше!» Нет уж, лучше вовсе не спать и уехать из этого города как можно раньше! Если редактору нужна статья о городе К., то Пиар напишет ее в поезде; подобно творчеству местного Писателя, в этой статье он поставит диагноз всему городу, только вот рецепта там не будет – вряд ли здесь что-нибудь поможет, такого лекарства еще не изобретено и изобретено никогда не будет!

Надо сейчас же узнать расписание поездов! – сказал себе Пиар и, одна мысль о том, что, возможно, через час отсюда в нормальный мир уедет поезд, а он на него не попадет, испугала его до мозга костей. Ни секунды нельзя более медлить!

Пиар с остервенением стал дергать звонок для прислуги, на который ему указывал вчера утром коротышка. Никто не шел, хотя где-то там что-то зазвенело. Так услышал Пиар, так он хотел слышать, но вскоре понял, что это звенит у него в ушах, вернее – стучит его сердце. Тогда он в негодовании накинул на халат пиджак и прямо в тапочках выбежал в коридор через так и остававшуюся открытой до сего времени дверь. Тут же он обо что-то ударился плечом, да так сильно, что просто взвыл от боли, но не остановился, а, наоборот, с этим воем понесся вниз.

Он не знал, куда ему бежать, где сейчас искать людей. Он знал, что наверху – Писатель, но он ни за что на свете не хотел его сейчас ни видеть, ни слышать. Получалось, что оставались тогда ресторан, холл и гостиничная стойка, где Пиар заказывал себе этот проклятый номер в этом проклятом городе. Швейцара в холле не было, болело плечо, двери в ресторан были наглухо закрыты, чертовски болело плечо. Журналист уже гораздо медленнее побрел к стойке коротышки – Пиар задыхался – четыре этажа посреди ночи в таком темпе при его возрасте – дело несущественное. Слева тоже было темно, и Пиар, вытянув вперед руки, побрел к предполагаемому месту стойки.

Он шел немного дольше, чем ожидал – значит, утром он недооценил размеров этого зала – пока не уперся в стойку. Вообще, он много чего тут недооценил, зато теперь все стало ясно – пора отсюда бежать!

Пиар замер. Мертвая тишина в стуке сердца. Пиар выдохнул воздух, кашлянул. Ничего. Тут он произнес, сначала тихо, затем все громче и громче, срывающимся голосом:

– Эй! Есть кто-нибудь в этом чертовом сумасшедшем месте? Мне нужно узнать только расписание поездов – и ничего более!

Он считал, что его никто не услышит, а потому очень испугался, когда прямо перед ним, из-за стойки, возник силуэт человека, который тихо спросил:

– Вы почему не спите? Идите спать, сейчас уже слишком поздно.

По голосу Пиар узнал В.

– Извините меня, – умоляющим тоном попросил Пиар, – но мне нужно знать одно. Только одно – и я пойду спать. Скажите, когда будет следующий поезд отсюда, все равно куда, лишь бы отсюда?!

В. включил ручной фонарик, отчего Пиар вздрогнул, что отозвалось болью в правом плече.

– Что у вас за наряд? Идите спать! Что за срочность! – В. явно отыгрывался за унижение, которое он испытал перед Пиаром днем из-за коротышки. – Поезда начнут ходить через три дня, после Праздника Преодоления. Так что вы зря торопитесь, идите спать. У вас завтра сложный день. Хотя нет, – В. подошел к Пиару и взял его за локоть с левой стороны, – лучше я вас провожу, а то вы заблудитесь в темноте.

И он повел уже ничего не соображающего от отчаяния Пиара к лестнице. Журналист полностью на него положился и потому был приятно удивлен, оказавшись у себя в номере. В. завел его внутрь и, закрыв за собою дверь, удалился. Пиар побрел к кровати, возле которой по-прежнему горела лампа. Споткнувшись опять на том же месте, где он уже два раза спотыкался накануне вечером, он упал, но успел выставить перед собою правую руку, что вновь отдало в ушибленное плечо. К тому же он, по-видимому, ободрал ладонь.

Он поднялся, снял пиджак и рухнул в постель. Постепенно он отдышался, выключил лампу.

Что это со мною? Подумаешь, все психи, ну так что же я? – думал он. – Ну нет поезда, ну уеду потом!

К нему закралось сожаление по поводу того, что он натворил столько глупостей, самой большей из которых он считал то, что его видел В., что он так унизился перед ним – из короля утром он стал слугой сейчас. Вот черт!

Это были неприятные мысли, и Пиар стал стараться думать о чем-нибудь приятном, лишь бы окончательно успокоиться и заснуть. И почему-то он вспомнил Абгрюнд. Надо было остаться там, – с ностальгической тоскою вздохнул Пиар, – спал бы сейчас на лежанке третьего яруса, на свежем воздухе... И это было бы настолько хорошо, что... Тут вернулась мысль о только что произошедшем, и Пиар, стараясь себя неосознанно оправдать, сравнил эту гостиницу с тюрьмой.

Тут же вспомнились слова Гегена о том, что сегодня ночью в гостинице еще не очень опасно. Хотя они и сумасшедшие, – думал Пиар, – но у них тут свои правила, а потому надо по этим правилам играть, всего-то три денька! Это, конечно, не легко, но не такой уж я и дурак, думал он уже сквозь сон, а здесь действительно тюрьма. Нет, правда, захоти он сейчас уйти отсюда, его же не выпустят – некому даже выпускать. Конечно, это тоже хорошо – здесь себя можно чувствовать в безопасности – ведь впустить-то тоже никого не могут, но кого порадует безопасность собственной тюремной камеры? Ведь камера-то, сама, по сути, – опасна, ведь в ней с тобою вместе настоящие бандюги и убийцы. Вот этот Писатель, к примеру. Сидит пишет справки, а ведь...

Пиар заснул.

6. Люди

Пиар проснулся сам – никто его не разбудил, он уже выспался так, как ему даже снились какие-то легкие сны или снишки, как он их бы назвал, если бы его попросили охарактеризовать свои сновидения тут же, пока он даже не успел встать с кровати. Но вряд ли кому-нибудь это удалось: у Пиара было отличное настроение, и потому он тут же вскочил с кровати. И это тупой и далекой болью отдало в плечо, отчего Пиару нехотя пришлось вспомнить ночь. Он ее вспомнил даже с некоторым удовольствием, потому что то, что он решил на сон – жить по правилам города, – вселяло оптимистичность. И если бы ему закралась мысль о том, что ночью вообще ничего не случилось, и это был всего лишь сон, то Пиар бы гнал эту мысль прочь, продемонстрировав ей в доказательство свое гудящее откуда-то изнутри правое плечо.

Журналист подошел к окну и одновременно с этим понял, что совсем не хочет есть; наверное, сказывался вчерашний плотный и сытный ужин с Александром.

План действий на сегодня нарисовался сам, исходя из вчерашней установки жить согласно правилам местных жителей. В конце концов, за этим водоворотом местной писательской карьеры он совсем позабыл о цели своего визита сюда – о самом городе. Конечно, все это происходящее с ним до сих пор – не более как случайность, правда, им самим спровоцированная. Желая познакомиться с местным жителем, он сказал ему, что он – писатель. И совершенно случайно этим некто был Геген, ярый партиец Боденов.

Но ведь есть же в городе те люди, то большинство, которое, как это везде принято, живет себе спокойно и, по народным обычаям, плюет тихонько на портреты политиков, работает, плодит детей. Обычно с ними журналисты не работают, да и что с ними работать? Это же обычные люди, они есть везде и это давно всем стало известно. Колумб это подтвердил.

Их существование, правда, никогда себя в последние десятилетия ярко не проявляло, оно скрыто, но никто в нем даже и не думает усомниться. Гораздо интереснее для журналиста событие, еще лучше – Событие. А у людей нет событий: они рождаются, живут и умирают. Конечно, звезды тоже живут, но эти-то, звезды, кем интересуются журналисты, в этом смысле – не люди, они не довольствуются только тем, чтобы жить. Пиар сам думал: а какое же существование лучше для жизни: звездное и яркое или людское и скрытое? Если честно, отвечал себе искренне Пиар, то – второе, но предпочел бы первое. Наверное, для того, чтобы лучшее оставить другим. Такая вот христианская душа.

Теперь же, при столь неприятном стечении обстоятельств, придется обратить внимание на людей, подкрасться к ним, не заявляя о себе, узнать, услышать – что их заботит? И если их заботы будут сродни заботам других людей других городов, если только они думают не о Писателях, Комиссии, Абгрюнде, то тогда можно будет вздохнуть спокойно. Ну, а если нет (Пиар не мог себе этого «нет» представить), тогда все равно еще три дня – и прощай К.!

Вообще, Пиар думал, что Люди всегда и везде – одни и те же; просто их много и за счет этого они и кажутся разными, но это – лишь иллюзия, Люди везде одинаковы. И еще они, при всей своей одинаковости, всегда одного настроения. К примеру, если Пиар видел Людей, будучи в плохом настроении, то и Люди попадались какие-то хмурые и мрачные. В хорошем настроении он Людей

не видел; чаще всего Люди были равнодушными. Но, конечно, настроение Людей Пиар в силу своей честности никак не связывал со своим настроением.

Вообще-то о Людях он вспомнил ночью, когда Писатель говорил о медицинских справках, но вспомнил мелком, занимая тогда все мысли ненормальностью собеседника. Теперь же Пиар осознал, что если пишут справки, то есть и больницы, а вместе с больницами – и больные, которым эти справки предназначаются. Ведь люди болеют так же, как и журналисты, и Пиару самому приходилось болеть, он как-то ходил в больницу и видел там все тех же, только на сей раз больных, Людей. И ему самому приходилось целых две недели разыгрывать, что он не журналист, а человек, и будто болеет он точно так же, как и те, кто вокруг него.

Идти же в больницу теперь, чтобы застать там Людей, Пиар не хотел. Ему нужны не больные, но здоровые. Достаточно будет Городского Парка, затем завтрака, совмещенного с обедом, послеобеденного крепкого сна и книги на ночь, которую он заблаговременно захватил с собою из дома в поездку. Читать он не особо любил, но чтение на ночь в одиночестве при сложившихся условиях будет лучшим из всего, что только может быть.

На сей раз – ни с кем не знакомиться, ни слова с Людьями, надо превратиться в Большое Ухо и немного в Глаза, хоть последнее – необязательно и имеет значение только для того, чтобы Ухо видело, где слышать.

Таким предстал Пиару сегодняшний день, и он радостно потянулся, глядя сквозь опущенные шторы в окно – там было солнце. Потому теперь Пиар даже как-то легкомысленно оглядел свою комнату, с которой ему, по сегодняшнему плану, предстояло проститься часа на четыре: вечер был близко, день уже сейчас перевалил за полдень.

Он заметил, что корзина для мусора пуста – очевидно, мусор тихо вынесли, когда он спал. Но и на столе стояла лишь машинка со вставленной в нее «статьей», которую в пылу дороги Пиар собирался завершить если не в первый, то в начале второго дня своего пребывания в К. – т. е., сейчас статья была бы уже готова! Теперь такая поспешность журналиста лишь повеселила, он решил, что писать о К. стоит лишь после Дня Преодоления – как раз тогда, когда он отсюда будет уезжать.

Но куда подевался лист со стола, его четвертый лист ночных мук творчества по-местному? Прислуга не могла забрать его со стола, ибо это не было мусором. Оставалось одно – лист прихватил с собою Писатель. Пиара это сейчас развеселило еще больше – да и что можно было ожидать от любителя медицинских справок?

Наверное, собираясь, с иронией в душе думал Пиар, этот писака спер у меня со стола лист, желая узнать то, что я пишу. Каково же будет его удивление, когда он не увидит там ничего, кроме своего собственного «последнего шедевра»! Летопись Рима!

Насвистывая какую-то мелодию, Пиар вышел из гостиницы, и никого не встретил внизу – даже швейцара. Это было весьма кстати в свете его, Пиара, ночного поведения. К тому же, никого не хотелось видеть – ни из гостиницы, ни из вчерашнего дня. Со всем этим все ясно.

На улице была жара, более того – пекло. Журналист быстро перешел на теневую сторону улицы, на которую он свернул сразу же. Именно по этой улице они вчера шли вместе с Александром, и теперь журналист не случайно пошел по ней, сам еще не зная, куда надо идти, – ведь вчера вечером она показалась ему вполне даже нормальной.

Сейчас, в полуполуденной жаре, здесь было совсем мало людей. Скорее всего, это одна из центральных улиц К. Пиар это понял по характеру заведений и магазинов, находящихся здесь – все для увеселения и, правда, лишь один магазин для туристов. Но ничего из обыденности, ни намек на трудности Среднего Человека, обывателя этого города – все только для приезжих, праздных денди и нищих, обычно околачивающихся в этих местах в надежде спустить с шиком деньги, показать себя или немного подзаработать. Даже работники летних кафе лениво смотрели на проходящих мимо, и в этой ленности не было ничего Людского.

Журналисту же, в соответствии с его планом сегодняшнего дня, нужна была как раз обыденность. Но и сворачивать с этой улицы Пиар не желал в надежде на то, что он, в конце концов,

выйдет в эту непривычную для журналиста обыденность. Идти туда не хотелось, и будь Пиар в другом месте, он бы туда не пошел ни за что – но сейчас это было лучшее.

Улица, по которой шел Пиар, спускалась к реке – близость реки Пиар отметил еще тогда, когда шел с Гегеном в Абгрюнд.

Вот и теперь он спускался к реке, на которой должна была быть Набережная.

Тут только Пиар понял, что где-то среди тех домов, которые он сейчас оставлял позади – где-то среди них есть проулок, ведущий в Абгрюнд. И хоть журналисту было бы очень любопытно посмотреть на Абгрюнд при свете дня, он все же не решился бы на это по двум причинам. Это, во-первых, не входило в его планы, а, во-вторых, Пиар даже предположительно не знал, где же этот проулок находится. Последнее можно было бы спросить у таких же, шатающихся по жаре здесь, как и он, но вступать в разговоры тоже планом не предусмотрено. Можно только было идти вниз к реке и радоваться изяществу своего утреннего прозрения.

Пиар шел, радовался и заодно искал глазами указатель, который бы поведал ему о местонахождении Городского Парка, и тем самым избавил Пиара от стремительно приближающегося выхода на реку. Но, очевидно, в силу редкости письма, ни один из местных Писателей еще не завершил произведения, которое можно было бы назвать как «Указатель в Городской Парк».

Потому Пиар шел вниз по улице, на которой, кстати, становилось все больше людей – либо они шли с реки, либо тихонько, ближе к вечеру, покидали свои дома. Теперь было действительно чуть свежее, чем там, у гостиницы: то ли солнце снижалось, то ли река обвевала. Журналист представил себя плавающим в прохладной – особенно после такой жары – воде, и его ноги понесли быстрее вниз по улице, впрочем, против его сознательного желания.

И уже была очевидной неминуемость нарушения утреннего расписания, и, казалось бы, ничто уже не было в силах остановить это, как Пиар вдруг остановился перед Указателем. Это был первый Указатель, который Пиар встретил в этом городе. Точнее, это была целая группа Указателей со стрелками-направлениями, которая помещалась на столбе прямо посреди улицы.

Такого размещения столба с Указателями Пиар еще ни разу нигде не встречал. Обычно указатели либо вешались на поворотах и перекрестках, либо сбоку дороги с написанием расстояния, которое осталось преодолеть идущему по этому пути, чтобы прибыть в указанное место. А этот стоял посреди улицы, и рядом не было ни одного поворота или, тем более, перекрестка.

Пиар остановился перед Указателем в некотором недоумении. Перед ним было пять табличек. Направление, в котором шел Пиар, сопровождалось стрелкой и значилось как «Туда». Ниже была табличка со стрелкой в обратную сторону, сопровождаемая надписью «Обратно». Слева висела табличка со стрелкой, указующей вправо, и обозначенная как «Не Туда». Справа висела, но со стрелкою влево, – «Не Сюда». И лишь внизу висела табличка, показавшаяся Пиару нормальной. Она указывала влево (стало быть, не сюда справа и не туда слева), и на ней было написано «Абгрюнд». Было видно сразу, что верхние четыре таблички изготовлены одновременно: они все были одинаковыми по размеру железными пластинами, различающимися лишь написанными на них указаниями и стрелками-направлениями. Нижний же указатель был деревянным и грубым, привязанным к столбу проволокой.

Причем при всей нормальности указателя на Абгрюнд, слева (куда он указывал) не было видно того самого проулка, в Абгрюнд ведущего. Более того, его даже не могло быть впереди, поскольку высокие дома сменились на низкие еще минут десять назад, и совершенно очевидно, что Абгрюнд уже пройден. Таким образом, даже при нормальности нижнего указателя оставалась его абсурдность, не меньшая по сравнению с верхними, ибо он никуда не указывал.

Прямо тут, рядом с Указателем, была лавочка, на которую Пиар присел, стараясь разобраться для себя с этими надписями. Как бы то ни было – если он решил жить по местным правилам три дня, то эти указатели – хорошее свидетельство этих самых правил и еще лучшая проверка его, Пиара, на приспособляемость.

И хоть это не предполагалось планом сегодняшнего дня, тем не менее, это служило главной

идее всего существования здесь – согласиться с местными порядками; план же сегодняшнего дня был же всего лишь частью этой идеи, а потому, ради нее, мог быть и видоизменен.

Понимать в указателях было, в принципе, нечего. Проще всего – это «Абгрюнд». Конечно, странно, что он указывает на Абгрюнд после него, но вполне вероятно, что сам Абгрюнд и располагается слева, хотя и сзади. Также ничего особенного не представляли собою «Туда» и «Обратно». Пиар и так знал, что он идет туда, а не обратно, и, более того, он знал, что развернись он назад, он пойдет обратно, а не туда. Таким образом, эти указатели ничего сложного из себя не представляли, поскольку ничего и не указывали.

Другое дело два других указателя – один, размещенный слева и указывающий направо как «Не Туда», и, наоборот, другой, размещенный справа и указывающий налево – «Не Сюда».

Это показалось Пиару глупым, хотя не менее глупым было бы нормальное указание левого налево как «Туда», а правого – направо как «Сюда» Или наоборот. Но это было бы понятнее, это бы соотносилось с «Туда» и «Обратно».

Пиар, погруженный в особенности местного указующего мышления, не заметил, как к нему на лавку подсел совсем древний старичок, от которого уже веяло потусторонностью. Очевидно, он всегда сидел на этой лавке, и это сидение было одним из последних ритуалов его глубокой старости. Также Пиар понял с некоторым смущением, что он по незнанию занял место этого старика, потому что тот сел неприлично близко к Пиару – будто они друзья – и, тем не менее, не сводил с журналиста взгляда, в котором Пиар увидел себя предателем и изменником всего святого, что есть на земле.

Это был один из тех стариков, которые забыли в прошлом веке век своего рождения в силу того, что историки уже не одно десятилетие спорят о том: жило ли человечество в той темной эпохе или тогда на планете еще господствовали динозавры? А может, это был ледниковый период между динозаврами и человекообезьянами?

Сам же этот старик этих споров не слушал, а если бы и мог слышать, то вовсе не понял бы, о чем идет речь, поскольку живет с твердым убеждением, что динозавры – неперенные друзья и спутники его детства – до сих пор скрашивают детство современных ребят.

В общем, ничего особенного, кроме излишней подозрительности во взгляде, Пиар в старике не заметил. Но такая подозрительность присуща всем людям не нашей эры, а потому Пиару старик даже понравился.

В силу этого можно было даже еще раз нарушить сегодняшний план и заговорить со стариком: может быть, консервативность старика объяснит что-нибудь Пиару в отношении этого странного Указателя.

Пиар обратился к старику:

– Извините, вы не подскажете мне... – журналист посмотрел на старика, тот же, в свою очередь, все так же, не мигая, пялился на Пиара, и никакой реакции слова журналиста на старика не произвели. Пиар уже подумал, что старик молчит так же, как молчал Геген – из собственной важности, но тут старик очень вяло помахал рукою возле своего уха, и громко произнес:

– Если вы говорите мне, то говорите громче. Я плохо слышу.

Пиар прокричал ему в то самое ухо:

– Почему боковые указатели (он указал рукою на столб, старичок взором последовал в этом направлении) висят так странно?

Повисла пауза, за которую старик переварил слова Пиара и зачавкал беззубым ртом в ответ:

– Я тоже уже двадцать лет думаю над этим. Ведь их надо было поменять местами, потому что меня учили с детства, что «Не Сюда» находится справа, а «Не Туда» – слева. Но это какие-то новые веяния. Сам-то я обращался – пока мог ходить – туда (старик посмотрел наверх), чтобы перевесили. Но ответа нет. Отвечают только – так надо, и все.

– Спасибо! – прокричал деду в ухо Пиар, и тоскливо огляделся. Мимо проходящие равнодушно смотрели на Указатель, чуть заинтересованно – на Пиара со стариком.

Только один раз Указателем воспользовались. К нему подбежал мальчик лет десяти, за ним

едва поспедали его родители, им определенно было за сорок. Они шли со стороны гостиницы, откуда сюда и пришел Пиар; мальчик подбежал к Указателю, прочитал то, что там написано по слогам (Пиар сидел слишком близко, чтобы расслышать и это), и закричал, обращаясь к родителям:

– Сюда! Сюда!

Когда они подошли, мальчик едва дотянулся до таблички с надписью «Обратно», и гордо посмотрел на родителей. Те в замешательстве переглянулись, и жена сказала мужу:

– Я же тебе говорила, что нам обратно надо.

Муж сконфузился и, пристыжено посмотрев на Пиара, будто журналист был во всем виноват, произнес:

– Действительно, ошиблись. Ну, что ж...

И они, развернувшись, пошли назад, взяв ребенка за руки.

Пиар теперь сожалел, что впустую потратил все это время – около часа – он ведь так ничего и не понял, кроме того, что эти указатели – полная бессмыслица. И, тем не менее, он все же решил добраться до Парка, чтобы увидеть Людей. Он еще раз обратился к старику:

– Вы не подскажете, где здесь Городской Парк?

Старик вновь все переварил и отрицательно покачал головой:

– Парк не здесь, вам надо не сюда, а туда, – и старик кивнул головой в сторону надвигающейся внизу Набережной.

– Спасибо! – не пожалев голоса, проорал старику в ухо Пиар, и пошел дальше, в сторону, значащуюся на этом странном Указателе как «Туда».

Через минут десять он действительно вышел на Набережную. Вокруг ходили Люди, но Пиар старался не обращать на них внимания и более ни на йоту не отклоняться от своего утреннего плана.

Интересно, в какую же сторону идти? – подумал Пиар и посмотрел по сторонам. И влево, и вправо уходила мощенная бульжником Набережная; Люди шли и туда, и обратно. Дед сказал «не сюда», – подумал Пиар, – а «не сюда» указывает налево. Может быть, надо туда и идти? Но ведь сама-то табличка находится справа, может тогда и «не сюда» находится справа, и лишь указывает туда, где не не сюда, а не туда?

Пиар прошел прямо и вскоре уперся в барьер, за которым земля кончалась, и начиналась столь манящая вода. Слева от него стояла молодая пара, и Пиар невольно стал слушать, о чем они говорят.

И каким же было радостным изумление Пиара, когда он мельком услышал их диалог! Они говорили о совсем обычных вещах, о тех, которыми журналисты не интересуются, но с каким блаженством первооткрывателя внимал услышанному Пиар! Он спрашивал: когда они пойдут в магазин? Она отвечала: когда Он получит деньги. Он сказал, предвкушая восторг, что деньги Он сегодня получил (тут Она радостно его обняла), и надо идти в магазин завтра, иначе потом наступят праздники, и Они не успеют. У Нее настроение заметно улучшилось, и Она стала с энтузиазмом рассказывать, как они вчера с подружкой встретили Петра, а тот сказал, что завтра, т.е. уже сегодня, уезжает к жене, на что Он сказал, что слишком в этой поездке Петра сомневается и...

Пиар отошел от них, поскольку дальнейшее его нахождение там могло бы показаться подозрительным, слишком уж он прислушивался к их словам, да и, к тому же, все было ясно – у этих людей были обычные заботы, это были Люди.

Опьяненный своим успешным открытием, он заметил двух других людей пожилого возраста. Они обсуждали какую-то политическую склоку в Америке, в которой тамошнее правительство повело себя настолько глупо, что и т. д. Это тоже были Люди.

Пиар стал как безумный метаться от одних людей к другим, пару раз на него подозрительно смотрели и даже отстранились от него, один раз какой-то здоровяк, заметив, что Пиар подслушивает его разговор с другом, прогнал Пиара, пообещав в следующий раз порядком поколотить его.

И, тем не менее, Пиар был счастлив. Он узнал, что все эти люди – Люди, что Люди живут и здесь – те же самые Люди, что и везде; что у этих Людей – те же заботы: политика, заработки,

вечеринки, друзья, выпивка. Ни слова Пиар не услышал ни об Абгрюнде, ни о Вербергенах, ни о Боденах, ни даже о творчестве!

Теперь он был рад вдвойне – к его открытию присоединилась радость и оттого, что ему не пришлось идти в Парк. Дело можно было считать выполненным, и оставалось лишь вернуться в гостиницу, почтитать и лечь спать. Нет, еще поужинать. Хотя он так и не пообедал и не завтракал, но зато теперь можно будет совместить все. Да и есть-то не хотелось, поскольку волнение, охватившее журналиста, лишило его аппетита, заставив забыть о еде.

Но зато Пиаром овладела страшная усталость – здесь была и частичка голода, и жары, но, более всего, – его доказательство нормальности Людей в К. Это было настолько важно, что после этого даже было нечего делать – а потому теперь пришли усталость и желание покоя.

Потому он блаженно опустил на одну из лавок, стоящих по Набережной вдоль реки. Людей вокруг было предостаточно, а потому свободных лавок не было вообще. Пиар сел на ближайшую, занятую двумя беседующими меж собою солидными мужчинами. Журналист их с ходу оценил как чиновников.

Пиар облокотился на лавку, и, хотя он никого уже не хотел слышать, ему пришлось услышать разговор этих двоих. Он почти не ошибся – это были работники какого-то суда, они говорили о каком-то там Деле. Сначала Пиар вообще отвлекся на вид реки, но затем невольно услышал их, поскольку они, при приближении Пиара, совсем не стали говорить тише, но, наоборот, их речь стала четче и громче, хотя внешне на журналиста они внимания совсем не обратили – вероятно, в силу своей профессии. Ведь их профессия предполагала игнорирование окружающих и всех остальных вообще.

– ...и, в связи с этими вновь открывшимися обстоятельствами, мы должны хотя бы на день отложить Рассмотрение, – сказал один, толстый и красный, с блестящей лысиной.

– Значит, завтра, – задумчиво произнес другой, тоже крупный, но, на странность, бледный и лохматый.

– Да, – констатировал лысый и задумчиво посмотрел на реку.

– Кто бы мог подумать, – задумчиво произнес другой, – что придется рассматривать плагиат в такой грубой форме...

– Не то слово «грубой», – подхватил лысый, – но случай все же необычен. Ведь налицо и оригинальность, заметь (он поднял указательный палец вверх), вопиющая оригинальность! Еще ни разу никто не выступал сразу, с лету, так сказать, со своим сокровенным...

– Жаль, – также задумчиво прервал лохматый, – жаль парня. Ведь это же обнаженная душа, почти поэт! – он посмотрел на своего собеседника, – я имею в виду, если сравнивать с предыдущими случаями...

– Ну, если так, то – да, – восторженно воскликнул краснлицый, – хотя мне не жаль его. И ты его зря жалеешь. Его Дело велико, а поблажек в этом случае, как ты знаешь, делать нельзя. Комиссии придется рассматривать не просто писательство, а выбирать меж писательством и плагиатом, когда налицо и то, и другое.

Пиар вздрогнул и ошарашено посмотрел на этих двоих.

– Да, – меланхолично продолжил лохматый, – дорожные расходы и Летопись Рима – трудный выбор. Но завтра все решится.

Пиар в ужасе вскочил и помчался в гостиницу. Он даже боялся думать об услышанном. Мало того, что услышанное не входило в его планы, но оно еще и затрагивало его, именно Пиара, навязывая свои планы.

В агонии бездумия он быстро свернул на улицу, по которой он шел сюда. Проходя мимо Указателя, он увидел, что и с той стороны таблички были заполнены теми же надписями, только Абгрюнд теперь был снова слева, но Пиар на это уже не обращал внимания. Ему хотелось в гостиницу, закрыться там, спрятаться. Нечто похожее он испытывал этой ночью, но теперь было страшнее, потому что ночью пришли к нему в номер, зная, кто он, а здесь, где его никто не знает, опять то же самое. Даже еще хуже.

Всю дорогу до гостиницы его преследовало чувство, что он смог увидеть Людей, узнать, что они есть, что они живые, что они нормальные и все те же – но он лишь увидел их, будто под стеклянным колпаком, проникнуть под который он не мог, даже если бы и хотел этого – Люди не впускали его. А здесь, снаружи, были лишь Комиссия, Абгрюнд и, теперь, плагиат.

Комиссия... Завтра будет Комиссия... Эта чертова Комиссия будет! Это просто невыносимо!

Теперь он, Пиар, еще и плагиатор. Он не сомневался по поводу того, откуда Комиссии стало известно про Летопись Рима. Вероятно, Писатель похитил лист, увидел писанину Пиара и пожаловался на него этой Комиссии.

Пиар его понимал – ведь этот Писатель полгода писал Летопись Рима, а потому вынужден был ценить свой труд. Даже если он всех обманул, то эти-то, все, кого он обманул, считают иначе – а потому перед ними он как раз и должен держать свой статус оригинального автора.

Теперь Пиара вовсе не сместило то, что его будут обвинять в плагиате, поскольку он действительно плагиатор, он действительно вчера хотел повторить подвиг местного Писателя.

А коли так, то и обвинение в плагиате теперь настоящее, даже если и Комиссия недействительна. Но Комиссия, как теперь убедился Пиар, настоящая. И «Дело его велико».

На сей раз у двери стоял швейцар. Пиар просто ему кивнул и прошел внутрь. В холле он натолкнулся на В.

– Кстати, – обратился к нему Пиар, – кто убирал мою комнату?

– Служанка, ее зовут Мария, – как показалось Пиару, с усмешкой ответил В., – а что?

– Мне нужно посмотреть содержимое корзины для мусора. Где оно сейчас может быть?

В. еще больше улыбнулся, теперь он даже не скрывал иронии над Пиаром.

– То вы ночью в халате и пиджаке спрашиваете расписание поездов, то теперь ищите свой мусор. Может быть, вам вызвать доктора?

Пиар тоже улыбнулся.

– Нет, пожалуй. Ко мне уже ночью приходил один любитель медицинских справок. Этого вполне достаточно, – и Пиар побрел к лестнице.

– Кстати, – крикнул ему сзади В., – вас там ждет еще один ненормальный. Мы его не впускали, но он сказал, что у него срочное дело.

– Хорошо, – буркнул Пиар. Его план сегодняшнего дня летел ко всем чертям.

7. Плагиатор

В номере сидел Геген. Едва Пиар открыл дверь номера, которая была заперта на ключ, Геген вышел к нему из кабинета. Пиар устало кивнул ему и спросил:

– Кто запер дверь? – его теперь вместе давили страх, усталость, голод и желание отсюда уехать – одновременно.

– Я, – кивнул Геген, – иначе здесь слишком опасно.

Пиар на это ничего не сказал вообще, лишь спросил:

– Что вам надо?

Это было беспардонно, но теперь уже было на все наплевать. Этот вопрос, к тому же, он задал непроизвольно, но его тут же передернуло. Именно с этого вопроса он начинал ночью беседу с Писателем, последствием которой стала та усталость, которая теперь и вынудила его задать тот же вопрос Гегену.

– Я к вам по срочному делу.

Тут только журналист заметил, что Геген нетипично, не по-гегеновски, взбудоражен. От вчерашней степенности не осталось и следа. Геген непрестанно двигал руками и как-то настороженно ходил по комнате.

Пиар прошел в кабинет и в бессилии опустился за стол. Геген тут же оказался рядом и кивнул на машинку:

– Это ваша последняя работа?

Пиар проигнорировал этот вопрос и посмотрел на Гегена:

– Вы по какому поводу?

Геген тут же ответил:

– По вашему.

Журналист кивнул, поднялся и позвонил в звонок. На сей раз, в отличие от ночи, быстро явился В. и стал в дверях.

– Вы ужинали? – обратился Пиар к Гегену.

– Если честно, то еще нет, – откашлялся в смущении старик.

– Я тоже, – обернулся к В. Пиар, – два хороших ужина и бутылку красного вина.

– Какого из них? – спросил, почесав нос, В.

– Того самого, что вчера пил Писатель.

– Какой Писатель? – изумился В., будто впервые слышит это слово. Или он себя повел так же, выдай Пиар какой-нибудь из их общих секретов посторонним людям. Но у них секретов не было, и Пиар, вздохнув, произнес:

– Тот самый, что живет надо мною.

– Хорошо, – тут же кивнул В. и ушел.

– Я вас слушаю, – обратился к Гегену Пиар, – что случилось?

– Вас уже оповестили о перенесении Комиссии на завтра? – официально спросил Геген.

– Меня никто не оповещал, но я это уже знаю. Случайно услышал. И что теперь?

Геген вздохнул:

– Я именно это и имел в виду, когда спрашивал. А знаете ли вы...

Пиар прервал старика:

– Что значит, что вы это и имели в виду? Вы хотите сказать, что спрашивали: слышал ли я случайно о Комиссии или нет?

Геген кивнул.

– Но, – продолжал Пиар, – ведь это было случайно, и я мог этого вовсе и не слышать...

– Молодой человек, – прервал Пиара старик, – не питайте ложных иллюзий. У нас даже ребенок знает, что никакой разницы между случайностью и неслучайностью нет. Мы спрашиваем радикальнее – в чем их сходство? – и тогда четко понимаем, что четкой разницы между ними фактически нет. Совершенно неважно, случилось нечто с вами случайно или с необходимостью. Главное, что это случилось. Ведь нет никакой инстанции, кроме Факта, которая сообщила бы вам о случайности или необходимости. А Факт говорит таким образом, что места вопросу о случайности или необходимости просто не остается. Это, я полагаю, вам ясно?

– Да, – кивнул Пиар, – я сам вчера этому учил вашего Александра.

Он специально сказал «вашего», чтобы посмотреть на реакцию Гегена. Но тот на это никак не отреагировал: либо воспринял как должное, либо попросту не заметил. Хотя последнее маловероятно.

– Я не случайно заговорил о Факте. Вас по закону должны были оповестить о переносе Комиссии. И, в результате, вы оповещены. Совсем не важно, как вы об этом узнали – случайно или нет. То есть, совсем неважно, что вы по этому поводу думаете. А если так, то лучше вообще не забивать этими пустяками голову и думать о том, что для вас сейчас действительно важно.

Странные у них порядки, подумал Пиар. Почему-то он был даже рад, что старик здесь – ведь пребывание в одиночестве после услышанного о себе на Набережной было бы мукой. Можно было воспользоваться разговорчивостью Гегена и расспросить об Указателе. Но, сначала нужно было узнать – что же Геген хочет сообщить.

Во время возникшей паузы зашел В. с подносом в руках. Геген молчал, очевидно, он не желал говорить при В. Журналисту тоже не нравился этот наглый работник гостиницы, и он показал ему на стол в кабинете, предварительно отодвинув в сторону машинку, на что В. посмотрел с некоторым восхищением – ведь коротышка запрещал ему притрагиваться к этой машинке. Тут же Пиар вспомнил о ненастоящей коже, но решил выспросить Гегена позже, когда старик выговорит свое.

В., поставив поднос, удалился, предупредив, что в их гостинице не допускается гостям постояльцев оставаться на ночь. Пиар высокомерно проигнорировал это – журналисту хотелось, чтобы этот парень знал свое место. По крайней мере, смеяться над собою Пиар ему не позволит.

– Итак, – продолжил Геген, когда за В. закрылась дверь, – вы знаете, почему ваше Дело отсрочено?

– Да, знаю, – сказал Пиар и открыл дверь в коридор, за которой подслушивал В. Журналист погрозил ему кулаком и парень тут же, что-то насвистывая, как ни в чем не бывало, пошел по коридору в сторону лестницы, – что-то говорилось о плагиате.

– Да, – вздохнул Геген, – это усложняет Дело. Но я не буду вам читать лекцию о вреде плагиата. К тому же вы, наверное, этого не знаете, но вы сыграли кое-кому на руку. А этот кое-кто ценит плагиат.

– Объяснитесь, – сказал Пиар, который ни во что не играл. Он приступал к ужину и сделал жест Гегену последовать его примеру.

– Вербергены, насколько вы знаете, ни во что не ставят творчество. Александр вам это уже рассказал. Так вот, они до того не ценят творчество, что вообще отрицают Авторство как таковое. Они утверждают, что творчества фактически нет, есть лишь подделка под него, ненастоящее творчество. Потому они и держат Писателей, которые пишут то, что им скажут и никогда ничего своего.

– Я это уже заметил, – кивнул Пиар с набитым ртом, – потому мне этот Писатель не понравился.

– Но это вам не помешало, однако, заняться на досуге плагиатом его последней работы. Насколько мне известно, вы даже сделали это не один раз.

Значит, похитили не только четвертый лист, подумал Пиар, здесь действительно опасно находиться.

– Так кому это выгодно?

Геген, прожевав, ответил:

– Вербергенам. Они утверждают, что всякое проявление творчества – это заведомый плагиат, что авторов не существует. Теперь же, после того как Комиссии стало известно, что вы Плагиатор, вы автоматически попадаете в понимание писательства Вербергенами, вы выгодны для них как очередной аргумент против Боденов. Можно было бы считать, что Вербергены выиграли, если бы до этого вы не заявили о себе как об оригинальном авторе дорожных расходов. А это заявление говорит в пользу Боденов. В таком случае и Вербергены и Бодены могут в равной степени претендовать на вас. Или же, и такой вариант не исключается, – Геген многозначительно посмотрел на Пиара, – вы будете не нужны ни тем, ни другим.

– Как же так?! – воскликнул Пиар, – ведь я есть, зафиксирован факт моего писательства... Как же меня могут проигнорировать?

– Во-первых, вас не игнорируют, о чем свидетельствует ваше Дело в Комиссии. А во-вторых, вы очень невыгодный факт, потому что вас нельзя однозначно повернуть ни в ту, ни в другую сторону. Возьми вас Вербергены – вы писали оригинально – это же против них. Возьми вас Бодены, вы – плагиатор. Потому вас могут просто, после рассмотрения Комиссией, выгнать из города.

– Этого я бы очень хотел и сам, – буркнул Пиар.

– Сейчас это совершенно неважно, – оборвал его Геген, – сейчас вопрос пока в ином. Надо надеяться, что Комиссия вас не отвергнет. И, в надежде на это, вы должны определиться – Автор вы или Плагиатор, что вам ближе.

Пиар усмехнулся:

– А вам-то что с того? Вы Боден, и хотите повлиять на мое решение? Но это – мое решение, – Пиар гордо замолчал.

– Если вы хотите знать, – вздохнул Геген, – Бодены со мной давно не считаются. И даже если бы я хотел им помочь с вами, никак не смог бы повлиять ни на вас, ни на них. Более того, если я вас для них завербую, то они вас из одного принципа отвергнут. Зачем я сюда пришел, вам сейчас

понять будет трудно. Но вы скоро это поймете, понимание – дело времени. Сейчас же я пришел по собственному желанию, и это более чем смелый шаг. Вам этого не понять, но и этого знать пока достаточно.

Теперь Пиар чувствовал себя гораздо спокойнее. Ничего угрожающего старик ему не сообщил, зато значительно прояснил ситуацию. Набитый желудок теперь успокаивал голову, но спать не хотелось.

– Почему же они ничего не пишут, эти Вербергены, если они считают, что писать очень легко? Тогда ведь, наоборот, каждый Верберген, хотя бы на досуге, должен быть писателем?

Геген вышел из своего сумрачного состояния и ответил:

– Потому что писать они считают чем-то недостойным своего внимания. Зато они издают много книг.

– Да, но тем не менее они объединились в огромную партию. Неужели только для того, чтобы говорить о том, о чем они говорить считают недостойным...

Пиара прервал стук в дверь. Стучали довольно нагло, так, что это точно был не В. Пиар посмотрел на Гегена, но тот лишь кивнул на дверь. Журналист нехотя поднялся из-за стола и открыл дверь. На пороге стоял Писатель.

– Здравствуйте, – бросил он Пиару, и, не спрашивая позволения, прошел в номер. Заметив Гегена, он спросил у Пиара:

– А что делает здесь этот предатель?

Журналист закрыл дверь и вернулся на свое место. Старик от слов Писателя как-то помрачнел, отвел взгляд в окно, за которым тоже смеркалось.

– Почему это он предатель? – удивился Пиар

– Он ничего еще не рассказал о себе? Спросите у него, он расскажет. Он хоть и предатель, но честный. А если вы спрашиваете у меня – почему он предатель, то я отвечу так: потому же, почему вы – Плаггиатор. Просто так случилось, или так захотели сами. Это уже не важно.

Пиара этот выпад нисколько не смутил, он, наоборот, теперь чувствовал себя выше этого Писателя медицинских справок. Своим молчанием он показывал лишь то, что говорить не желает, и предоставляет тем самым Писателю возможность сказать все, что он сказать желает – и уйти восвояси.

– Я пришел сказать, – замялся вдруг Писатель, – вернее, поздравить вас с плагиатом, я читал, очень даже ничего. Теперь, если вас признают Плаггиатором, то возьмут работать к нам, и мы станем, наконец, реальными коллегами. Мне же теперь очень приятно, что вы начнете свою карьеру как скриптер моего труда. Ведь, выходит, если вы – Плаггиатор, то я – вдохновитель вашей работы...

– И что теперь? – сонливо прервал его Пиар.

– Ничего особенного. Кроме того, что теперь Комиссия ожидает и меня.

– Это почему же? – удивился Пиар.

Геген хотел было что-то сказать, но Писатель опередил его:

– Если вы знаете нравы Вербергенов, то Писатель для них – это тот, кто не оригинален, – Пиар согласно кивнул. – На таких именно условиях они мне и платят деньги. Теперь же, когда я стал вдохновителем, то мой Контракт под угрозой. Меня могут теперь заподозрить в оригинальности. Причем, заметьте, – Писатель поднял вверх указательный палец, – не по моей, а по вашей вине.

Пиар растерялся. За этим абсурдом, несерьезность которого до сих пор не стояла под вопросом, он вмешался теперь в судьбу совершенно чуждого ему человека. Пусть Писатель и не лучший из местных жителей, тем не менее Пиар испортил ему существование. Все это было случайно, но ход этой случайности дал впервые сам Пиар. К тому же, здесь всем было неважно – случайно это или нет, факт налицо. Как бы Пиар не раскаивался и не оправдывал себя, а Писателя ждет Комиссия.

– Непростая ситуация, – заключил Пиар, Геген как-то странно кашлянул.

– Да уж, – продолжил он.

Писатель взял бутылку вина, и, прочитав название, произнес:

– Мое любимое, – затем обратился к Пиару, – ничего страшного во всем этом нет. Мне, конечно, лестно, что меня копируют. Но теперь нам надо держаться координированных действий, сговориться.

– Да, мне все равно, – подтвердил Пиар, согласный на любые действия, лишь бы избавить Писателя от неприятностей, хотя сговора держать с этим типом не хотелось, – я после Дня Преодоления уеду.

Геген как-то странно вздрогнул при этих словах Пиара. Писатель засуетился с вином в руках:

– Вот это-то и плохо. Мне нужно, чтобы вам было как раз не все равно.

Пиар подтвердил и это:

– Я готов согласиться с вами. Что вы предлагаете?

Писатель облегченно вздохнул:

– Для начала предлагаю открыть вино, – и отдал эту бутылку Гегену, тот тут же схватил штопор. – Затем предлагаю вам настоять на оригинальности своего текста. Здесь вы, конечно, сыграете на руку Боденам, но что же с этим поделаться?

Пиар посмотрел на Гегена, тот уже вкрутил штопор и теперь пытался выдернуть пробку.

– С большим удовольствием, – ответил Пиар, – я ведь и сам-то, хоть писал ваш текст, но хотел написать оригинально, по-настоящему.

– Хоть это и не важно, – промолвил в задумчивости Писатель, – но я рад, что вы не пойдете против самого себя, чтобы угодить мне. Теперь остается лишь сделать так, чтобы ваши дорожные расходы были признаны основными для вас, первичными.

– Так оно и есть! – воскликнул Пиар и раздался щелчок – пробка была изъята из бутылки. – К тому же дорожные расходы я написал быстрее и раньше, чем вашу Летопись Рима.

– Ну, это для Комиссии не аргумент, – возразил Писатель, – ведь могло бы случиться так, что Летопись Рима вы задумали намного раньше, и уже много времени вынашивали этот сюжет, а свои дорожные расходы написали, так сказать, в качестве отписки. Например, для Комиссии, – прежде чем приступить к главной затее.

– Но, – прервал его Пиар (Геген разлил вино по двум бокалам и искал в баре третий), – ведь я, когда писал дорожные расходы, не знал еще о существовании Комиссии, а когда писал Летопись Рима – знал.

– Тем более! – воскликнул Писатель, – Это играет против вас. Написать дорожные расходы вы могли в надежде на существование Комиссии, о которой, разумеется, вы ничего не знали. Таким образом, написание Летописи Рима может быть признано вашей сокровенной мечтой!

– Но это же ерунда! – вскричал Пиар.

– И во-вторых, – как ни в чем не бывало, продолжал Писатель, – все, что пишет человек, зная о Комиссии, как раз считается и определяется как его собственное, как то, что ближе ему, поскольку подразумевается, что, человек, зная о Комиссии, пишет все для предоставления ей. Это же настолько элементарно, что даже дети у нас знают это еще задолго до школы.

– Что-то больно уж сложно, – пробормотал Пиар и тут же пригласил Писателя к их столу.

Далее они сидели молча и пили вино. Геген настороженно косился на Писателя, тот задумчиво вперил взор в печатную машинку.

– Странно, что вас поселили в этот номер, – произнес он и вновь возникла тишина.

– Ничего странного, – вдруг заговорил Геген, – Этот номер для Пиара – самое место.

Писатель с удивлением посмотрел на Пиара:

– Я не знаю, почему вы так считаете, – сказал Писатель, чеканя каждое слово. – Хотя у вас свои основания для этого, мне, впрочем, совсем неизвестные. Но я считаю, что вы не правы и заблуждаетесь наравне со всеми.

Геген поудобнее уселся, скрипнув стулом.

– Конечно, оппозиция – благородная позиция для всякого Писателя во все времена. Но теперь совсем другое время. Теперь вы, как писатель, заблуждаетесь более всего, даже более, чем любой из школьников, которые на ваших произведениях учатся читать по слогам.

Писатель обиженно пожал плечами и потупился, Геген для убедительности кашлянул.

Пиару предмет этого короткого диалога не был известен. С одной стороны, говорили-то о нем. Но тут же перешли на нечто общее. Не может же быть у всех о Пиаре какое-то мнение, которое Писатель не разделяет из страсти к оппозиции! Как вообще все могут сложить мнение о Пиаре? Ведь он сам, Пиар, ходил к Людям и слышал, что они говорили – ни слова о Пиаре вообще, за исключением тех двух из Комиссии, но и Геген подтвердил, что это не случайно. Потому, хоть Пиар и не пробился под колпак к Людям, но все же слышал, что под колпаком про него ничего не говорят. Потому он сейчас находился в полной безвестности. Но ему это нравилось. Он даже немного задремал, не переставая при этом слушать их общую тишину.

Может быть, именно поэтому он не заметил, как в его номере оказался коротышка. Он стоял напротив стола, за которым они втроем сидели, в кабинете. И Пиар еще раз подивился тому, насколько же он низок ростом, владелец этого заведения.

– Вас срочно вызывают, – обратился коротышка к Писателю, и в его голосе сквозило искреннее уважение, не лишенное, причем, некоторой раздраженности. Но именно эта раздраженность и подчеркивала уважение.

– Что ж, начинается, – вздохнул Писатель и поднялся со стула. – Где я вас смогу найти завтра? – обратился он к журналисту. Пиар очнулся окончательно и ответил:

– Здесь. Где же еще?

Коротышка странно посмотрел на Пиара, но ничего не сказал. Зато сказал Писатель:

– Я в этом сильно сомневаюсь. Очевидно, вы (он указал на Пиара) мало что знаете из происходящего здесь. И это (он снова указал на Пиара), между прочим, ваша вина (он обращался к Гегену).

– Вы найдете Пиара в Абгрюнде, – отозвался на укор Писателя старик.

Писатель поморщился:

– А может быть, в другом месте?

– Нет, в Абгрюнде, – отрезал старик, и коротышка с Писателем ушли, хлопнув дверью номера.

– Подождите, – встрепенулся Пиар; до его сознания доходило, что речь идет о его завтрашних планах, и все это без его ведома, – почему это в Абгрюнде? Я, возможно, захочу остаться здесь. Более того, я этого хочу, я сам взял этот номер. И пока меня не попросят его освободить официально, а меня об этом пока не просят, я не уйду отсюда.

– Вы ничего еще не знаете, – тихо проговорил Геген, – но вас не попросят отсюда. Более того, это гостинице даже выгодно, если вы здесь останетесь. Но я полагаю, вы не захотите этого сами после того, как я поведаю вам некоторые аспекты происходящего здесь.

– Ну, тогда, сделайте милость, – будто возразил Пиар, – но почему в этой гостинице я не могу остаться?

– Потому что, – старик вертел в руках вилку, – потому что это не совсем гостиница. Это совсем не гостиница в вашем понимании. Для вас, вероятно, гостиница – это место, где люди временно живут за деньги. Туристы, например?

– Да, а как же? – кивнул Пиар. – Разве не так?

Геген улыбнулся:

– У нас это совсем не так. У нас вообще нет приезжих, случайных людей.

– А как же люди, с которыми я приехал? Это же целая толпа!

– Да, это толпа, но среди них нет ни одного гостя города, который бы приехал празднично погостить, никого здесь не зная. Это либо сами жители города, вернувшиеся из поездки, либо приехавшие по делам и знакомым чужие. Но даже те останавливаются в домах местных жителей. Никто не ездит в эту гостиницу.

– А в другие? – Пиара забавляла эта история, смахивающая на сюжет фантастического романа а la Стивен Кинг.

– Здесь больше нет гостиниц. «Летопись Рима» – единственная, да и то не гостиница.

– А что же это?

– Трудно объяснить так сразу. Если гостиницей называть место для обитания случайных гостей города, то это – гостиница. Но все дело-то в том, что в нашем городе не бывает случайных людей. Не было уже лет тридцать. Пока не появились вы.

Пиар оказался в неудобном положении. Он приехал сюда не случайно, а по работе. Но для местных он – не журналист, а писатель. А потому он не мог даже заикнуться теперь о своей служебной командировке. Но, тем не менее, он прекрасно знал, что он здесь неслучайно. Другое дело – что он уже не мог об этом сказать. Но так-то оно было, он это знал – а потому речь старика была уже неточной. Но Пиару оставалось только слушать и делать вид, что он принимает все за чистую монету.

8. Судьба Гегена

– Гостиница для жителей города – неприступное место, проникнуть обычному человеку сюда можно не дальше ресторана, да и то – не всегда. Потому я очень рисковал, когда настоял на проникновении в ваш номер. Но меня пустили не случайно, в отличие, скажем, от этого Писателя. Он здесь находился до сегодняшнего дня благодаря лишь настоянию Вербергенов; на него смотрели сквозь пальцы; но теперь и это кончилось. Я так полагаю, ему теперь откажут в предоставлении номера и попросят вон.

– А меня? – спросил с тревогой Пиар, хотя и чувствовал себя рядом с Гегеном в безопасности.

– С вами разговор особый. Никто вас не сможет выгнать; более того, я уверен – стоит вам надолго покинуть гостиницу, как за вами пошлют и попросят вернуться обратно. Но даже и эта просьба не будет просьбой, но лишь прикрытым, ради приличия, приказом. Да и Писателя ни за что бы отсюда не выгнали, если бы не ваше появление. Только вы, оказавшись в нашем городе, смогли так повлиять на администрацию гостиницы. Но лишь вы ступили на нашу землю, судьба ваша была predeterminedena, равным образом как и судьба Писателя, и тысячи других. Почти всех, хотя и в различной степени. Но не меня. Меня вы никак не касаетесь, я в этом смысле уникален. Насколько вы помните, Писатель меня назвал предателем. Это, честно говоря, еще слишком мягко сказано, и я вообще удивляюсь, что он оставался в одной комнате со мною так долго. Я это могу объяснить только его интересом к вам, который перевешивает все остальное. Ведь от вас его судьба зависит полностью, хуже того – она предрешена. Нюанс с Комиссией для него – это все мелочи, поскольку здесь задействованы куда более основательные силы, нежели Комиссия. Ведь Комиссия, если посмотреть по существу, есть лишь договорная организация, связующая Вербергенов и Боденов. Хотя и могущественная организация, но, повторяю, договорная. А теперь речь идет не о Комиссии, не о том, с чем можно договориться, но о том, что Есть независимо от того: договорились мы об этом или нет; более того – знаем мы об этом или нет. Потому Писатель все давно знал, он знал все еще до вашего приезда, и теперь пришел просто еще раз поглазеть на вас, а ваш договор насчет Комиссии – просто повод. Теперь Писатель выпал из игры, потеряв свою и без того незначительную роль. Итак, он меня назвал предателем, и я хотел бы объяснить это. Вам я сразу говорю, что я предатель не только для них, но и для себя. Хотя то, в чем я предал их, я предательством не считаю. А они не считают предательством то, в чем я предал себя. В этом смысле мне достаточно легко существовать: когда меня называют предателем, я соглашаюсь в этом звании по своим, неведомым им причинам. Мне придется вам рассказать, поскольку мой рассказ напрямую затрагивает вас и все, с вами здесь происходящее.

Пиар, которому и так была интересна эта неожиданная откровенность Гегена, теперь даже немного напрягся, показывая всем своим видом, что теперь он превратился в то самое Большое Ухо.

– Не ждите от меня последовательности, я вас предупреждаю сразу. Надеюсь, вы понимаете, что я сам – последователен, и меня нельзя заподозрить в непоследовательности?

– Да, это несомненно, – Пиар вспомнил о степенности Гегена во время их первой встречи.

– Так вот. Я последователен; последовательность, можно сказать, это одна из немногих моих ценностей, которую я сохранил со времен моей молодости. Наверное, благодаря все той же последовательности. Но судьба моя оказалась, напротив, крайне непоследовательной. Хотя я тому особо не удивляюсь – вы поймете почему. Ничего, вроде бы, особенного в моей жизни не случилось, если бы я не приехал в свое время – точно так же, как и вы – в К. Но, в отличие от вас (если я вас правильно понял), я приехал сюда специально и с определенной целью. Цель моя была – написать Книгу. Я до этого, до приезда, много писал, но когда я услышал об отношении местных жителей к творчеству, я решил, что буду писать именно в К. К слову сказать, по местным меркам ни в коем случае к рассмотрению не допускают тех, кто сюда с подобной целью приехал. Мол, кто прибыл, чтобы прославиться, тому из принципа (а это закреплено законодательно) в этом будет отказано. Именно так можно было бы назвать мое желание – прославиться. Но это для них. Я же действительно хотел написать Книгу; по приезде в город у меня с собою было около тысячи исписанных листов с текстом. Я их вовсе не редактировал, писал начистую, и после написания к ним более не возвращался. Только по счастливой случайности Комиссия узнала обо мне раньше, чем я о ней; будь иначе, меня бы, как я только что сказал, вообще бы не допустили к рассмотрению и не стали бы определять. Но мне повезло, и я оказался перед Комиссией в качестве определяемого кандидата на писательство.

– Это очень похоже на то, что сейчас творится со мною, – немного расшевелился Пиар, ему стало действительно интересно.

– Да, но это вы так думаете. Если бы вы не сели печатать в своем номере в первый же день своего пребывания здесь, о чем сообщил Комиссии владелец гостиницы сразу же, тогда бы вы никогда не оказались в своем сегодняшнем положении. Если бы вы не печатали, что вы – писатель, то вам было бы отказано в номере. Теперь же все наоборот. Но, продолжая свой рассказ, хочется отметить свое первое пребывание перед Комиссией.

– Вы были там несколько раз? – удивился Пиар.

– Да, Комиссия была здесь пять раз, – кивнул Геген.

– Что значит – была здесь? – огляделся Пиар.

– Я жил здесь, в этом номере. Я отсюда даже не выходил, а безумно писал свою Книгу...

– О чем же? – вырвалось у Пиара.

– Это неважно, – отвел глаза Геген. – Итак, Комиссия пришла ко мне рано утром, разбудив меня. Я, знаете ли, писал по ночам, а утром отсыпался. Меня разбудили рано утром... Впрочем, не стоит эта бюрократическая процедура того, чтобы ее описывать подробно.

– Отчего же? – хотел возразить Пиар, но Геген категорично покачал головой:

– Не стоит, поверьте мне. Гораздо важнее тот Вердикт, который мне вынесли. Я предоставил им все это множество исписанных листов. Вердикт Комиссии гласил: «многословный писатель с туманным содержанием в тексте». Хочу сразу сказать, что «с туманным содержанием» я не был согласен категорически. Хотя мне не нравилось и «многословный», но с этим можно было смириться. Ведь я писал конкретно, а туманным содержание было признано потому, что Комиссия попросту вообще не притронулась к Книге, они только пролистали ее и не прочли из нее ни слова. Я был возмущен, ведь я возлагал на эту Комиссию все надежды. «Многословным» я был признан по той же причине. Они ушли, оставив мне бумагу Вердикта. Я ошалело вертел ее в руках, и меня даже не радовало, что меня признали писателем. Но меня успокоил тогда бывший владелец гостиницы; он сказал мне, что писателем-то я признан, а это – самое главное. А коли мне не нравится «туманное» в содержании, то теперь можно подать апелляцию в Комиссию. Правда, он сам не помнил ни одного случая, чтобы апелляция была выиграна. Вы, наверное, еще этого не знаете, но апеллировать решение Комиссии может лишь признанный этой Комиссией, определенный ею как «писатель». Это значит, что если вы не были признаны Комиссией сразу, то вы более никогда ею признаны не будете, вы лишаетесь права определения. По крайней мере, здесь.

– Подождите, – прервал старика Пиар, – выходит, что не соглашаться с решением Комиссии может лишь тот, с кем до этого согласилась сама Комиссия?

Геген кивнул:

– Если так угодно толковать мои слова, то – да.

– Но, – продолжил Пиар, – мало того, что это недемократично, так еще и абсурдно! Тебя признают писателем, и ты отныне можешь обжаловать это, то есть не согласиться с тем, что ты – писатель? Это же глупо!

Геген вздохнул:

– Это не настолько глупо, как вы думаете. Хотя вы схватили главную суть проблемы, которая мне тогда, в силу молодости, была недоступна. Меня, правда, отчасти запутал владелец гостиницы, сообщив мне, что я могу подать апелляцию. Он мне тогда не сказал главного, того, о чем сейчас догадались вы: можно подать апелляцию лишь по одному вопросу – запросить Комиссию, чтобы она сняла с вас звание писателя. Потому никто до меня подобной апелляции не выигрывал, это бесполезное дело. Видите ли, лишь отказавшись от писателя, я смог бы убрать «туманное» из содержания своей Книги. Но тогда я этого не знал; меня не могло остановить даже то обстоятельство, что апелляция ни разу никем не была выиграна, мне было все равно до этих мелких обстоятельств, я решил для себя твердо: я добьюсь и выиграю апелляцию. Таким образом, цель моя переменялась – отныне я работал не над Книгой (которая, кстати, так и осталась неоконченной; потому что она была не то, что многословна, но чересчур малословна; правда, я написал впоследствии ее окончание, но это совсем не то, ибо окончание оказалось без связи с самой Книгой; она состоит теперь из двух частей – начала без конца и конца без начала); я переключился на апелляцию и отныне занимался лишь этими бюрократическими процедурами. Оказалось все не таким уж и простым. Я был готов к любым трудностям, но в том-то и дело, что трудностей мне преодолевать не пришлось, а я погрузился в волокиту документальных потоков – тогда здесь еще писали документы. Это тоже весьма неинтересно и вам сейчас совершенно ни к чему. Если вы завтра не согласитесь с решением Комиссии, то я вас смогу посвятить во все эти тонкости, но настоятельно не рекомендую вам с Комиссией не соглашаться. Лучше просто уехать отсюда.

– А почему вы не уехали? – спросил Пиар.

– Видите ли, – ответил Геген, – когда я услышал впервые об этом городе, то я понял, что мне во что бы то ни стало надо жить здесь. Как я тогда решил, что в К. завышены рамки, предъявляемые писателю в частности и творчеству вообще. Это действительно так, но эти условия, показавшиеся мне тогда сверхчеловеческими, оказались просто нечеловеческими. Но разбираться с этими тонкостями мне здесь было некогда. Видите ли, этот город – это болото для творчества. Здесь увянут все творческие силы, по-настоящему творческие силы. Я ведь тогда еще наивно полагал, что писатель пишет для читателей, а читатели читают для себя и для писателя. Я тогда даже и не мог так думать, ибо вообще не различал таких тонкостей. Теперь мне ясно как день, что если пишешь и думаешь при этом о читателе, то ты (если ты писатель) никогда не напишешь так, чтобы написанное тебя удовлетворило, или чтобы ты считал это достойным себя. Хоть читатели у тебя и будут, но ты-то будешь ясно осознавать, что ты – не писатель. А значит и эти – не читатели. Если же, наоборот, писать и не думать о читателях, то ты напишешь достойно, только вот читать тебя не будут. А если так, то весьма скоро ты в себе засомневаешься – а писатель ты или нет? Честно говоря, получается так, что писатель и читатель не просто несоединимы, они и не враждуют даже, а просто их никогда не существует вместе. А так как они по определению должны быть вместе и взаимны, то их вообще не существует. Повторяю, однако, что все вышесказанное относится к писателям, а не к этим писакам, пишущих на потребу дня и на продажу.

Геген покосился на стул, где сидел Писатель; Пиар, воспользовавшись паузой, спросил:

– А разве тут есть настоящие писатели?

Геген укоризненно посмотрел на Пиара:

– Я же только что сказал, что нет – ни читателя, ни писателя. Будьте внимательней. Но, – старик откашлялся, – возвращаю ваше внимание к моей апелляции. Апелляция подается в ту же Комиссию, поскольку выше нет инстанций...

– Подождите, что-то я недопонял. Какой же смысл подавать жалобу тем, на кого вы жалуете-

тес? К тому же, вы упомянули о неких силах, более основательных, нежели Комиссия... – прервал Гегена Пиар.

– Вы меня не совсем правильно поняли, – терпеливо объяснил Геген, – В Комиссии жесткая дисциплина, а потому им вполне можно доверять. Другое дело – верить ли в Комиссию вообще... А о силах, которые я упомянул, нужно сказать, что это – силы Судьбы, которые человеку должны быть важнее чем все Комиссии, государства и правительства. Хотя, вы можете придерживаться иного мнения. Так вот, пришла ко мне Комиссия, и они, конечно же, мне объяснили, что они могут только рассмотреть мою просьбу о снятии с меня звания писателя; пока же я этого не прошу, я остаюсь писателем, правда, многословным и с туманным содержанием в тексте. Но в этом ничего особенного нет. И удалились.

Я, естественно, не мог согласиться с подобным решением, ведь, по сути, ничего и не было решено. По иронии судьбы в это время в городе начинает набирать обороты партия Вербергенов. В ее предвыборной кампании обещалось, если партия победит, ужесточение правил, по которым действует Комиссия. Мне это было бы совсем невыгодно; более того, Вербергены вообще обещали отменить институт апелляций. Но я знал тогда точно – все предвыборные обещания – лишь обещания для избирателей. Потому я включился в работу с Вербергенами, я стал работать на них. За это они мне пообещали выиграть апелляцию в Комиссии сразу же, как только они одержат победу...

– То есть, – прервал Гегена Пиар, – они обещают отменить апелляции при победе, а вам обещают апелляцию выиграть? Это же нечестно!

– Это лишь с одной стороны, – ответил Геген, – и вы так считаете как сторонний наблюдатель. На самом деле им надо было победить любой ценой, а цена противоречий еще не самая высокая. К тому же, об этом их обещании не знал никто, кроме нашего нынешнего мэра и меня. Итак, я стал им помогать. Я выполнял тогда любую, даже самую мелочную работу. К примеру, ночами я ходил по домам и разбрасывал листовки. Ведь Вербергены с самого начала представляли собою кучку энтузиастов. Будь у них соперники, они бы точно проиграли. Но противников, реальных противников, не было – и энтузиазм захватил власть. Кстати, я никогда не был ослеплен целями Вербергенов. Хотя я и работал на них, но внутренне я считал их неправыми; я был оппозиционером в центре их партийного пыла и согласия. Мне было совершенно неважно – что будет, если Вербергены победят на выборах, я имею в виду, что будет с городом. Более того, я не видел своего будущего далее выигранной апелляции; выигрыш апелляции был для меня конечным пунктом и пределом пределов. Мне, в принципе, и теперь совсем неважно, что происходит с городом. Видите ли, в том возрасте, то есть в молодости, когда об этом надо думать, я думал о совсем ином. Теперь об этом поздно думать, теперь вообще поздно...

Пиар посмотрел в окно. Там действительно темнело. Геген замолчал, но вскоре заговорил вновь:

– Вербергены победили. И, что самое удивительное, они сдержали свое обещание. И предомной предстала Комиссия для второй уже апелляции. Историю этой встречи отмечает несколько иных особенностей. Видите ли, до выборов Комиссию составляли в подавляющем большинстве Бодены. Тогда же, когда победили Вербергены, а состав Комиссии пока оставался прежним, сложилась интересная ситуация. Нет, не то чтобы Бодены из Комиссии меня боялись; ведь я был на стороне победивших (хоть и чисто внешне); Бодены вообще бесстрашны, тем более, Бодены из Комиссии. Ведь они прекрасно понимали, что им в любом случае осталось работать недолго. Им вообще нечего было бояться. В силу этого новоиспеченному мэру надо было порядком поднажать на Комиссию. Ведь вторая апелляция – это редкое явление, а вторая апелляция с требованием первой – вещь уникальная. Но членов Комиссии подобная уникальность не прельщала, и, после на удивление долгих переговоров, у меня таки состоялась вторая апелляция.

Члены Комиссии, если они и согласились провести вторую апелляцию, то все же не особо старались проиграть ее. Меня всячески уверяли, что туманное содержание в нашу эпоху постмодернизма даже говорит в мою пользу, что я могу быть воспринят каждым по-своему, а потому

могу прослыть всесторонним и эрудированным автором. Я им тогда ответил, что это все, конечно, хорошо, но при условии, что у меня было бы действительно туманное содержание. Но на самом деле все не так. Таким образом, я признавал несостоятельность первого заседания Комиссии, вынесшей тот самый Вердикт. Члены Комиссии забурчали себе что-то под нос, и я понял, что выиграл. И я действительно добился того, чего хотел, но уж лучше бы этого не случилось. Результатом второй апелляции стало то, что Комиссия вычеркнула слово «туманным» из Вердикта – и ушла. Таким вот образом я стал «многословным писателем с содержанием в тексте». Сначала я обрадовался, но радость моя быстро улетучилась, когда я в полной мере осознал абсурдность выражения «писатель с содержанием». Все остальное время я безрезультатно добивался на апелляциях изменить ситуацию, но мне лишь толковали, что я требую себе такого Вердикта, какого я сам желаю, то есть якобы беру на себя роль Комиссии. Мэр тогда меня с негодованием спросил: а зачем мне вообще эта Комиссия, если я требую Вердикта по собственному произволу? Я тогда был в партии Вербергенов на видном месте, но тут же от этого места отказался. Это произошло сразу же, как я понял, что мэр меня не поймет, и что он далек от нужд творческого человека. Тогда я метнулся к Боденам.

– Пойдите, – остановил исповедь старика Пиар, – но если вы поняли, что Комиссия далека от адекватного Вердикта, то к чему вам вообще ее мнение? Зачем вам чего-то от нее добиваться?

– Вот именно, – подхватил Геген, – именно тогда я стал зол на Комиссию, и, перейдя к Боденам, требовал от них ее упразднения.

Завидев изумление на лице слушателя, старик улыбнулся:

– Да, да. Я требовал упразднить Комиссию. Это было тогда и остается до сих пор абсурдным требованием. Чтобы понять, почему Бодены к нему прислушались, вы должны знать ситуацию того времени. Вербергены победили на выборах, и не без моей помощи. Хотя, повторяю, будь у них серьезный соперник, этого бы никогда не случилось. Я, после победы Вербергенов, стал ярым врагом для Боденов. По занимаемому мною после победы Вербергенов партийному посту легко было догадаться о моей роли в этой победе. Бодены меня ненавидели ровно настолько, насколько уважали и верили в мою значимость для их врагов. И потому, когда я ушел от Вербергенов, Бодены, с одной стороны, захотели меня заполучить в союзники, а с другой – могли бы меня гнать вшею. Но у них тогда было настолько жалкое положение, что они мне прислали приглашение с предложением у них работать еще до того, как я сам к ним с этой просьбой обратился. Мне предложили аналогичный пост в их партии, и я сделал вид, что рад оказанной мне чести, хотя этот пост у них и тот же пост у Вербергенов весьма разные вещи. Но я сразу же показал им, что я – творческая личность. Когда они в этом убедились, то выслушали меня. Тогда каждое слово мое для них имело огромное значение, – так они считали. Я сказал, что Комиссия не выполняет возложенной на нее задачи, а, скорее, наоборот занимает почем зря время писателей и заставляет их заниматься ненужными вещами. Потому Комиссию надобно упразднить вообще как институт. И Бодены со мною согласились. Видите ли, они тоже были далеки от моих нужд, но к моменту моей просьбы практически все Бодены из Комиссии были уволены победившими Вербергенами. И упразднение Комиссии было бы весьма кстати для Боденов. Ведь к тому времени Комиссия, занятая Вербергенами, была не просто живым свидетельством поражения Боденов, но и политическим врагом. Все свои решения Комиссия принимала в пользу Вербергенов. И с тех пор Бодены сделали на меня ставку большую, чем ставили на меня в свое время Вербергены. Для последних, кстати, я стал предателем и врагом номер один.

Отныне вся работа, вся организация Боденов шла за меня как за того, кто «предал Вербергенов за правое дело Боденов», кто «признает истину за Боденами», кто «изнутри убедился в политической порочности Вербергенов» и так далее. Агитировалась моя бедная судьба писателя, отвергнутого Комиссией, а ведь в последней сейчас заседают Вербергены... Хотя, к чести сказать, я-то был недоволен еще той Комиссией, где в большинстве своем заседали Бодены. Но в агитации об этом не говорилось. У Боденов теперь имелся лишь один человек в Комиссии, то есть ситуация близилась к полному игнорированию их Вербергенами. И тогда они сделали решительный

шаг – они предложили мне это единственное место, но лишь с тем условием, что я непременно «развалю Комиссию изнутри». Я, естественно, согласился, ибо именно таковым тогда было самое сокровенное желание. И так, я оказался представителем, выдвинутым Боденами, в Комиссии, где все были Вербергенами. И тут случилось невероятное. Вместо того, чтобы меня всячески унижать, ущемлять и игнорировать, Вербергены в Комиссии стали меня внимательно слушать; они исполняли все мои слова! Сначала я не понял, в чем дело, сообщил обо всем Боденам, но те сказали, что меня хотят подставить, что это очередной ход их политической стратегии, а потому я должен как можно скорее выполнить свое обещание – распустить Комиссию.

Но у меня теперь были совсем иные планы. Распустить Комиссию я хотел тогда, когда она не работала, теперь же я увидел, что здесь не все так бесполезно. К тому же меня окрылило хорошее ко мне отношение со стороны Вербергенов. И, вопреки Боденам, я пишу Проект Реформы Комиссии и показываю его Вербергенам. Конечно, Бодены видели этот Проект тоже, но они меня тогда жутко возненавидели и посчитали, что я их предал. Мол, они из последних сил боролись за меня, все на меня поставили, а я не выполнил своего обещания как раз тогда, когда мог это, пошел на поводу у Вербергенов. Хотя я и говорил, что на поводу ни у кого не иду, а ратую за интересы творчества, но меня уже ненавидели и в открытую презирали. Вербергены, наоборот, приняли мой проект и сделали меня Председателем Комиссии. Я тогда не мог поверить в свою удачу, но, на самом-то деле, это все делалось ради того, чтобы отобрать – в моем лице – последнюю надежду у Боденов. И я работал довольно долго Председателем, но чем дольше я оставался на этом посту, тем более ненавидели меня Бодены. Я добился для них увеличения мест в Комиссии до половины, но ничего за это от них не получил, даже слова благодарности не сказали. Более того, меня игнорировали даже те Бодены, которые появились в Комиссии благодаря мне.

К тому моменту Вербергены поняли, что к Боденам я уже не смогу вернуться, стали меня притеснять. Я тогда пошел к Боденам и сказал, что если их люди не поддержат меня на посту Председателя, то меня переизберут. На это меня просто выгнали на улицу. А на следующий день я узнал, что Бодены и Вербергены из Комиссии договорились и единогласно лишили меня как Председательства, так и обычного членства в Комиссии. Таким образом, я оказался вновь на улице, не нужный ни Боденам, ни Вербергенам, и так ничего и не добившись для своего дела...

– А почему вы не переменяли свой Вердикт, будучи Председателем Комиссии? – спросил увлеченный рассказом старика Пиар.

– Во-первых, я не мог этого сделать согласно своей же Реформе, ибо я запретил членам Комиссии обращаться к Комиссии в качестве определяемых. Во-вторых, для меня тогда куда важнее было именно создание Комиссии, адекватной творческим интересам других. Себя-то я считал уже при деле, причем более важным, нежели собственное творчество.

Старик замолчал. Пиар вздохнул. Ему было жаль Гегена, но, с другой стороны, старик сам виноват во всем происшедшем. Ведь он забыл свою цель, а такое забвение всегда приводит к беде. К тому же Пиар недолюбливал политиков – как действующих, так и бывших. Возможно, здесь сказывалась журналистская выучка – четвертая власть лишь тогда власть, когда она в сознательной оппозиции. А иначе – она просто рупор для первых трех.

– Значит, вы больше никогда не возвращались к писательству? – спросил, наконец, Пиар.

– Возвращался. Во-первых, я дописал свою Книгу, но более не заявлял об этом. Во-вторых, я сделал что-то гораздо важнее – и вы должны меня понять. Я сделал Указатель для города. Ведь в К. вообще нет указателей, ни один писатель не берется за эту работу. Ведь это невероятно сложно – по нынешним критериям к творчеству – написать Указатель. Никто к этому не готов, а я сделал это. Ведь вы видели мой Указатель?

– Да, – ответил Пиар, – весьма интересный, – он решил не обижать Гегена сообщением, что ничего глупее и бесполезнее этого Указателя он не видел в жизни. – Однако на нем нет никаких оповестительных знаков, по которым можно было бы определить автора.

– Вы это верно заметили. Но, видите ли, я написал Указатель анонимно. Я решил, что раз никому здесь нет дела до моей Книги, то я все же сделаю нечто полезное для людей. Совершенно

бескорыстно. Конечно, я мог бы получить за это большой гонорар. Более того, Комиссия была бы вынуждена в этом случае вычеркнуть из своего Вердикта слово «многословный». Ведь вы видели, что Указатель не столь уж и многословен? Но мне уже было все равно, что обо мне думает Комиссия и ее представители. Я сориентировался на нужды обычных людей. Ведь работать ради них – это высочайшее счастье. Вот теперь они и пользуются моим Указателем, и я не прошу за это даже того, чтобы они знали автора.

– Да уж, – произнес Пиар. – А как же вы живете теперь?

– Я перебиваюсь на пенсию, которую мне назначили по наличию того самого Вердикта. Но это уже не важно. Сейчас куда важнее ваша судьба, а она, поверьте мне, в опасности. Посему я прошу вас пойти со мною, именно со мною. Иного шанса у вас не будет.

– Шанса для чего? – недоверчиво спросил Пиар.

– Шанса уйти. Видите ли, Вербергены, да и Бодены тоже, ждали ко Дню Преодоления Прибытия Ожидаемого. И вот, в день вашего приезда, прошла новость, что Ожидаемый Прибыл. Так как вас поселили в гостинице, то вас и приняли за Ожидаемого. Но вы-то сами понимаете, что вы – не Он. Потому вам и надо скрыться.

– Подождите, – остановил Гегена Пиар, – а почему вы решили, что я – не Тот, Кого ждали?

– А вы разве знаете, что вас ждали? – удивился Геген.

– Нет, – покачал головой Пиар, – но даже если это не так, то, может, мне лучше остаться и пожинать плоды, подаренные обманувшимися?

Геген улыбнулся:

– Молодость, молодость... Это все было бы просто чудесно, – с горечью в голосе произнес он, – но, видите ли, это Ожидание не может быть обмануто, и ему в любом случае откроется истина – рано или поздно. Так как это Великое Ожидание, то и страдание ваше будет великим от этого...

– Хорошо, – прервал Гегена журналист, – предположим, что вы правы, хотя я не могу понять: как сейчас может быть обмануто То, что по условию Обманутым быть не может. Ну ладно... А что ждет Ожидаемого, Прибудет Он?

– Он Прибыл, можете не сомневаться, – сообщил старик, – я просто знаю, что вы – не Он. Если бы могло случиться так, что Ожидаемый не Прибыл бы, а Его ждали, то тогда бы вы и могли остаться и всех дурачить. Но это невозможно, это онтологическое Ожидание, а онтология не знает случаев. Ожидаемый будет жертвой для Вербергенов и Боденов. Это все, что я могу вам сейчас сказать.

Геген замолчал.

– Его, что, убьют, что ли? – ужаснулся Пиар. Он и не мог подумать, что все эти глупости еще и смертельно опасны.

– Нет, не убьют, – успокоил его Геген, – но смерть – не самое главное в данном случае. Да и не самое страшное.

Пиар кивнул, но он ничего не понял.

– Вам надо идти именно со мною. Меня не смогут остановить ни Бодены, ни Вербергены.

– Но ведь вы живете у Боденов? – спросил Пиар, явно беспокоясь за свою жизнь в ближайшее время.

– Я живу у Боденов, но на особом положении. Руководство Боденов меня по-прежнему игнорирует, но за меня поручился Александр. Теперь я в Абгрюнде могу лишь ночевать, да и то на самом нижнем ярусе. Внизу живут не члены Боденов, но сочувствующие, а зачастую просто посторонние.

– А Александр живет на третьем ярусе? – вспомнил Пиар.

– Да, у него уже достаточно высокая партийная должность.

– А зачем вы ему нужны? – спросил Пиар.

– Человеку нужен Учитель, – гордо ответил Геген.

Сам-то человек так не думает, подумал Пиар, но промолчал.

– Вы идете со мною? – спросил Геген.

– Да, – вздохнул Пиар и с сожалением оглядел свой номер. Ему не хотелось уходить отсюда. Но вдруг Геген говорит правду? К тому же он сам сегодня ночью грезил об Абгрюнде. Конечно, особого доверия Геген ему не внушал, но завтрашний день лучше провести с кем-нибудь. Ведь завтра будет Комиссия.

Пиар собрался. Он вынул лист из печатной машинки и положил его на место, в сумку. Немного подумав, он прихватил с собою недопитую бутылку вина. Геген терпеливо ждал его, теребя в руках свою трость, которую Пиар заметил только что.

– Вроде бы все, – произнес Пиар, вновь оглядывая свой номер.

Геген молча вышел из номера, Пиар последовал за ним. Заныло плечо, но оставалось лишь идти за стариком. В холле вновь, как и вчера ночью, никого не было. Ресторан был закрыт. Дверь на улицу, как это ни странно, была открыта. Лишь в ее проеме возник силуэт какого-то человека, но и тот тут же рассеялся в сумраке холла. Пиару показалось, что это был В.

– Вот видите, – полушепотом произнес старик, – они все поняли.

Дальше он ничего говорить не собирался, потому Пиар также затаенно спросил:

– Что поняли?

– Поняли, что вы уходите. Но ничего из-за меня не могут поделать, – многозначительно прошептал старик.

– А-а, – протянул Пиар, – все ясно.

Но ему ничего не было ясно, оставалось следовать за стариком. Они вышли на улицу, и гостиничная дверь за ними закрылась, благодаря чьему-то чуткому и внимательному жесту.

9. Третий ярус

По дороге в Абгрюнд Геген молчал, а Пиар лишь растерянно озирался по сторонам. Думать он ни о чем не мог; впрочем, он этого и не хотел.

На сей раз они шли по той оживленной улице, по которой с утра начал свое шествие к Людям Пиар. Будто Геген скрывался от этой улицы до этого не из-за людей, которых теперь было куда больше, чем днем, а из-за Пиара. Будто бы скрывая нечто от журналиста, Геген сам прятался от города. Теперь же, когда он поведал Пиару свою историю, причин прятаться более не оставалось, и Геген смело шел там, где еще вчера передвигался лишь перебежками. Теперь, кстати, трость он к ходьбе не приноровил, шел без ее помощи; ее же он вертел в руках, что выглядело даже вызывающе. На Пиара он внимания не обращал никакого, будто бы теперь Пиар сам должен заботиться о внимании старика, чтобы тот случайно не забыл о его, Пиара, существовании. Журналиста это, конечно, злило, поскольку он не понимал: что же могло изменить Гегена, чтобы тот так кардинально изменился? Конечно, он поведал о своих злключениях в К., но и что с того?

Так они шли вместе – вызывающий на себя взоры прохожих и игнорирующий спутника Геген, и злящийся на него за это Пиар, он же – игнорируемый.

Но на их пути произошло замечательное событие, которое Пиар также проигнорировал. Когда Геген опередил журналиста шагов на пять и шел, как и говорилось, вовсе не оглядываясь назад, как если бы он шел один, Пиара сзади кто-то взял за руку.

Пиар растерянно обернулся и опустил взор. Сзади него стоял маленький мальчик-китаец. Малыш прижал палец к губам, скосив глаза на Гегена. Пиар понял, что надо молчать, чтобы Геген ничего не узнал. Будто прочитав его мысли, мальчик утвердительно кивнул, и протянул Пиару сложенный вдвое маленький конверт, еще раз поднеся палец к губам.

Пиар попытался прочесть адресата, хотел сказать, что, наверное, это ошибка, но ни того, ни другого не сделал. Адресата не было указано вообще, конверт был чист, хоть и запечатан; а мальчика рядом не оказалось. Он исчез также стремительно, как и появился. Пожав плечами, Пиар сунул конверт в карман и догнал Гегена...

На входе в Абгрюнд (кстати, Пиар так и не определил – где же находится этот проулок), стоял Александр. Он тут же виновато кивнул Пиару и отвел старика в сторону. Журналист остался

стоять один, вновь пораженный Абгрюндом. Теперь он внимательнее оглядывался вокруг – это место станет его ночлегом, возможно, и не на одну ночь. Пиар, можно сказать, слушал глазами Абгрюнд.

Теперь здесь было мало людей, гораздо меньше, чем в прошлый раз. Площадь Абгрюнда была практически пуста. Зато Пиар заметил гораздо более сильное оживление в ячейках; особенно явственнее давали о себе знать верхние ячейки, хотя разговоры неслись и снизу.

Пиар посмотрел в глубь Абгрюнда, и теперь он уже, в отличие от прошлого раза, едва различал противоположную сторону Абгрюнда, где размещались «апартаменты» Гегена. Тут же журналист вдруг догадался о значении той стены Абгрюнда. Раз Геген жил здесь на полулегальном положении, а жил он в дальней стене, то, вероятно, та стена – это нечто вроде низшего рода жилища. Тогда не только нижний ярус означает низкое положение в партии, но и дальняя стена. Тогда, продолжал следовать своей догадке Пиар, чем ближе к проулку, тем выше положение в партии. Боковая стена намного респектабельнее. Вполне возможно, что те, кто живут на верхних ярусах дальней стены, даже меньше значат для партии, чем живущие здесь, сбоку, на нижних ярусах, у земли.

Это озарение Пиара прервал Александр, который просто взял журналиста за руку и сообщил ему с некоторым энтузиазмом, свойственным лишь ему одному, что он, Пиар, сегодня переночует у Александра.

– А где же Геген? – без особого сожаления спросил Пиар, которому старик уже надоел.

– У него появились неотложные дела.

Надо же, подумал Пиар, и Писателя куда-то вызвали.

– Это связано с Днем Преодоления? – почему-то спросил Пиар.

– Все связано с Днем Преодоления, – ответил Александр так, что Пиару больше не захотелось его о чем-нибудь спрашивать.

– Пойдемте, – сказал Александр. Они пошли влево и довольно быстро оказались где-то посредине левой стены, так как дальняя стена, где обитал Геген, стала достаточно обозримой.

Перед ними был ряд лестниц, сделанных из дерева и довольно добротно. Пиар заметил, что все лестницы пронумерованы, причем в непонятном порядке. Здесь были и повторяющиеся номера, а те, что не повторялись, друг от друга заметно отличались номерами, так как шли ни по возрастанию, ни по убыванию.

Когда они поднимались по лестнице с номером 1024, Пиар спросил у Александра:

– А что означают эти номера? – подразумевая, что это либо номера ячеек, подобные номерам домов и квартир, либо порядковые номера партбилетов у Боденов, хотя было непонятно: почему они повторяются. Но все же это было вполне вероятно, поскольку не члены партии, живущие на первом ярусе, лестниц не имели, а, соответственно, и номеров. Вполне возможно для местных порядков, что номера ячеек чередовались каким-то образом с номерами партбилетов тех, кто в ячейках проживает. Но Александр ответил иначе:

– Это не номера, это цифры и числа.

– А для чего нужны цифры и числа? – не понял ответа на свой вопрос Пиар.

– Станный вы человек, Пиар, – ответил находящийся выше Пиара Александр, – цифры и числа нужны для счета. Сразу видно, что вы – писатель и у вас гуманитарное образование.

Пиар промолчал, не желая расценивать эти слова как личное оскорбление. Александр же, побоявшись, что журналист обидится, пояснил:

– У нас никто не пишет, хотя на лестницах и можно было бы писать слова. Но, коли нет писателей, приходится довольствоваться цифрами и числами. К тому же они надежнее слов и объективнее. Хотя у некоторых есть надписанные словами лестницы, заказанные у Писателя. Но, видите ли, это стоит слишком дорого.

Пиар промолчал. Ему это было непонятно, да он и не считал цифры и числа объективнее слов, в чем, наверное, действительно сказывалось его гуманитарное образование.

Они прошли вверх уже полторы ячейки, и, надо сказать, что высота ячейки оказалась значительно больше, нежели это казалось снизу, – более, чем высота этажа обычного дома. Понятно

это стало по числу ступеней, приходящихся на ячейку. Их было около двадцати, а подъем – достаточно крутым, расстояние между ступенями, на глаз Пиара, колебалось где-то между тридцатью сантиметрами и полуметром. Оно не было равномерным. На первом ярусе ступеней было мало, расстояние между ними было большое. Преодолеть этот участок лестницы было достаточно сложно, но быстро. На втором ярусе большие промежутки между степенями чередовались с промежутками поменьше. На третьем ярусе расстояние между ступенями сокращалось, ступеней становилось больше. Постоянной была только, как показалось Пиару, высота каждого яруса – около шести-восьми метров.

Несмотря на достаточную высоту, Пиар почему-то не боялся, даже вопреки своей врожденной боязни высоты. И это даже несмотря на то, что он постоянно смотрел вниз: сначала в первый ярус, затем во второй. Там было пусто, меблировка ничем не отличалась от гегеновской.

Оказавшись на уровне третьего яруса, Александр спрыгнул на пол и подождал отстающего на пять ступеней Пиара.

– Проходите, – пригласил он журналиста. Пиар только теперь ощутил боязнь высоты, – ведь надо было пролететь над бездной более десяти метров глубиной, еще полметра, отделяющих лестницу от пола яруса.

Александр заметил нерешительность гостя, а потому протянул ему руку:

– Вам помочь?

– Нет, что вы, я сам, – неловко и едва переведя дыхание, произнес Пиар и прыгнул.

Оказавшись внутри ячейки, Пиар сразу же заметил большую странность. Все ячейки были одинакового размера, но только вот ячейки нижнего яруса казались жалкими комнатухами, а эта, всего через ярус выше, выглядела довольно просторной квартирой. Во-первых, здесь стояла довольно большая кровать; рядом с нею, чуть дальше, стояло нечто вроде газовой плиты и книжного шкафа. Правда, из-за тени, не было видно: есть ли там книги или же нечто другое, а может быть, он вообще пуст.

Пиар сразу же спросил то, что пришло ему в голову по мере подъема сюда:

– А зачем меняется расстояние меж ступенями? Разве нельзя сделать его одинаковым, так было бы гораздо удобнее забираться?

Александр, улыбнувшись, ответил:

– Опять вы неверно ставите вопрос. Меняется не расстояние меж ступенями, но их количество.

– А разве это не одно и то же? – спросил с легким негодованием Пиар, – Какая разница?

– В чем отличие. Нет, не одно и то же. Видите ли, не только местонахождение яруса по высоте означает партийное положение, но и количество ступеней, мимо этого яруса проходящих. Каждая ступень стоит достаточно дорого, да и то ее можно купить, лишь имея на то особое разрешение, Лицензию. А Лицензию выдают только за особые заслуги перед Партией.

– А к чему надо нагромождать ступеньки? – спросил Пиар. – Ведь по мне лучше, чтобы их было меньше, и мимо моего яруса проходили быстрее те, кто живет наверху. Они ведь мешают – ползают мимо твоего дома...

– Нет, вы неверно думаете, – улыбнулся Александр, – вот вы знаете, кто живет наверху?

– Да. Те, кто выше по партийной должности, – ответил Пиар.

– Вот именно! А те, кто ниже, зачастую зависят от тех, кто выше. И твое партийное благосостояние напрямую зависит от того внимания, которое тебе уделяет начальник. А в каком случае он тебе это внимание уделяет? В том, если проходить мимо твоего дома он будет как можно чаще. Но сделать это не в твоих силах – ведь у начальника свои планы. Зато ты можешь сделать так, чтобы начальник мимо твоего дома проходил как можно дольше. А это возможно тогда, когда мимо твоего яруса будет проходить много ступеней.

Пиар оторопел. В погоне за вниманием начальства лишать свою жизнь интимности! Этого он понять не мог. В иных местах люди все силы отдают на право личной жизни, а здесь – то же самое, да с точностью наоборот. Он подошел к столу и сел за него, так и не дождавшись приглашения сесть.

– А если начальство не обратит внимания на тебя, даже если ты поставишь сто ступеней на свой ярус?

Александр усмехнулся и сел напротив Пиара:

– Во-первых, максимальное число ступеней ограничено законом. Во-вторых, начальство в любом случае обратит на тебя внимание, и здесь тому есть множество причин. Первая из них (и самая главная) – это то, что мимо твоей ячейки начальник будет лезть так долго, что, о чем бы он не думал в это время, он все равно задержится мыслью на твоём ярусе: а что это за ярус, по которому я лезу, а он все не кончается и кончается? Вторая причина состоит в том, что чем выше начальник по званию, тем он толще, а, следовательно, тем сложнее ему взбираться по твоим ступеням.

– Но, ведь, в этом случае у него, наоборот, будет каждый раз расти раздражение по поводу такого числа ступеней, – возразил Пиар, живо представляя себе своего редактора, взбирающегося на десятый ярус и решившего уже на пятом покончить жизнь самоубийством.

– На это есть третья причина, – продолжал Александр, – сам-то начальник тоже строит ступеньки для вышеживущих. Причем здесь есть одна тонкость. Если мимо первого яруса лезут девять высших начальников, то мимо, к примеру, восьмого – только два. Потому тот, кто живет внизу, обозреваем большим количеством начальников. И это – даже при меньшем числе ступенек. Но тот, кто живет на восьмом ярусе, такой возможности не имеет, а потому вынужден брать не количеством, но качеством: и строить как можно больше ступенек. Потому, чем выше ты проживаешь, тем больше ступенек ты можешь строить. Соотношение здесь таково: в самом низу один лезущий начальник равен двум ступеням, на девятом ярусе, где лезущий начальник один – можно ставить девяносто девять ступеней. Все ярусы меж первым и девятым – среднее между ними.

– Значит, – прервал Александра Пиар, – самому верхнему начальнику вообще ничего не надо ставить?

– Что вы! – воскликнул Александр, – Ему, конечно, в этом ряду ничего ставить не надо, но теперь он может перейти в левый ряд, к выходу, сразу на вторую ячейку – и вновь строить оттуда себе путь наверх.

– Значит, все движется к выходу? – спросил Пиар, радуясь тому, что он до этого дошел сам.

– Да, – кивнул Александр, – вы очень проницательны.

Пиар подумал, что это ирония, но, судя по всему, это был действительно комплимент.

– Ну а что, если все достигнут этого последнего ряда перед выходом, десятой ячейки?

– Все не могут этого достигнуть, ибо человеческой жизни в среднем хватает на ряд, максимум (для выдающихся политиков) – на три ряда. Тот же, кто достигает выхода, уходит жить в Город.

– Погодите, – опешил Пиар, – Разве не проще сразу жить в городе? К чему этот Абгрюнд с его диалектикой ярусов и ступеней? Уходи из Абгрюнда – и живи в Городе просто так. А еще лучше – вообще в Абгрюнд не заглядывать....

– Но вы-то заглянули! – с обидой в голосе за Абгрюнд, сказал Александр. – Что же вы там не остались? – он кивнул в сторону выхода.

– У меня особые обстоятельства, к тому же я не собираюсь здесь жить. А обычные люди! (Пиар подумал об открытых им сегодня на Набережной Людях), они-то что! К чему все это надо?

– Обычных людей не бывает, – ответил Александр, – у всех есть свои особые обстоятельства. К тому же, откуда вы взяли, что лучше – это то, что проще? Ведь это разные вещи. Подумайте только – в чем сходство? – и все станет ясно.

– Ладно, оставим это, – официальным тоном сказал Пиар, – вернемся к ступеням. Как движется партийная карьера?

Александр оживился:

– Итак, начальник может заметить вас уже потому, что он сам вынужден строить такие же ступени у себя на ярусе. Чтобы не было консерватизма и у начальника не появилось фаворита (которого он сможет поднять до той ячейки, выше которой живет он сам), начальник на десятом ярусе живет не более года, а затем переселяется на другой ряд. Потому ты каждый год зависишь

от другого начальника; это значит – не от его личных предпочтений, но от количества ступеней на твоем ярусе. Но, тем не менее, начальник мог бы по личным основаниям тебя всячески игнорировать, а в этом случае законом предусмотрена такая возможность: набрав определенное количество ступеней, максимальное для твоего яруса, ты автоматически переходишь на ярус выше, независимо от начальства. Таким образом, если ты понравишься начальству, оно тебя запомнит, ты можешь быть направлен выше еще до максимального набора ступеней. А для того, чтобы начальник тебя запомнил, тебе нужно набирать ступени. Второй, альтернативный путь – не обращать внимания на начальство, наращивать ступени до максимума, и переходить выше. Но, в этом случае, начальство внимание на тебя непременно обратит. Обычные люди, как вы выразились, живут где-то между этих двух альтернатив.

– По-моему, никаких альтернатив здесь нет, – вздохнул Пиар, – а это все – одно и то же. Только непонятно вот что. Если верхний начальник, не строя ступеней, живет лишь год, то, значит, каждый год должны подниматься все, считая и нижний ярус?

– Нет, что вы! – возразил Александр, – У начальства же есть дети! – он засмеялся, затем посерьезнел. – Срок максимально долгого проживания на ячейке ограничен максимальным количеством ступеней, разрешенных для яруса, где эта ступенька находится. Одна ступенька – два года вниз, и десять ступеней в год – сверху. Таким образом, на первом ярусе можно прожить около тридцати лет, а на девятом – лишь десять.

– А если не успеешь набрать ступени? – спросил Пиар.

– Тогда переходишь на нижний уровень. Потому на первом ярусе живут бездельники, которые могут без малого тридцать лет жить в Абгрюнде.

– А если они и там ничего не будут делать? – продолжил Пиар.

– Тогда их выгоняют из Абгрюнда, – ответил Александр.

– Так же, как и тех, кто достиг десятого яруса последнего ряда перед выходом? – не унимался Пиар.

– Да, – кивнул головой Александр, – только тех провожают с почестями, а этих гонят с позором.

Ну и что же?! – хотел спросить Пиар. – Какая разница?! – но передумал. Каждый год здесь кто-то выходит в Город с почестями, кто-то – с позором, а основная масса людей гниет в этих ячейках, уважает первых, ненавидит вторых, сама при этом мечтая лишь о ярусе повыше – и так умирают. Глупость какая-то.

Александр немного помолчал, а затем произнес:

– Конечно, некоторые нечестные люди применяют много приемов, за которыми они скрывают свои преступные деяния. К примеру, если кому-то нежелательно чрезмерное внимание власти, он специально не будет строить ступеней, а иногда (такие случаи тоже бывали) может их ломать. Чтобы не утруждать людей слежением за этими мелочами, Партия создала специальный Комитет По Ступеням, который считает и проверяет увеличение ступеней. Этот Комитет выдает Лицензии на ступени. У него, правда, есть и полицейская функция – следить за всякими жуликами, которые есть почти в каждом ряду.

Пиар задал еще один вопрос, чтобы картина стала четче:

– А может ли житель какого-то ряда выбрать другой ряд?

Александр кивнул:

– Конечно! Если вам, к примеру, не нравятся те начальники, что лазают мимо вашей ячейки, то в вашем распоряжении все ячейки данного яруса, на рядах, дальше отстоящих от выхода, чем ваша.

– Выходит, – заключил Пиар, – вся свобода сводится к выбору худшего ряда?

– Нет, – ответил с улыбкой Александр, – У нас все ряды равны по качеству жизни. Но этот выбор – это же не свобода. Все прекрасно понимают, что свобода – это стремление к лучшему. Заметьте, не к простому, а к лучшему. И потому у жителей Абгрюнда одна свобода, объективная свобода – лезть вверх, строить ступени.

Пиар больше ничего не хотел спрашивать о ступенях. Его удивляло одно – а именно такой вывод он и сделал, – в Абгрюнде созданы такие условия, что самый отъявленный лъстец здесь слышит самым объективно честным человеком. Чем больше в тебе карьеризма, тем более ты имеешь шансов эту карьеру построить и осуществить. Конечно, так везде, но ведь хотя бы не возводится в ранг закона и требования! А потому везде честные люди имеют хоть и слабую, но надежду провести свою жизнь в соответствии со своею совестью. В Абгрюнде этого не позволялось законодательно. Иначе придет Комитет По Ступеням, посчитает ваши заслуги, а там уж...

Пока они разговаривали, по лестнице никто не поднимался. Но теперь, когда они сидели в тишине, мимо пролез довольно-таки толстый усатый мужчина. Он поднимался на каждую ступеньку с трудом, его путь мимо их яруса длился не менее десяти минут. Но за это время он ни разу не глянул в их комнату. Когда он скрылся вверху, Александр сказал, что это жилец седьмого яруса, на что Пиар усмехнулся:

– Ну вот, он лез мимо довольно долго, но ни разу не посмотрел сюда. Где же то внимание начальства, за которое вы строите ступеньки?

Александр совсем не обиделся на явную иронию Пиара и сказал:

– Видите ли, он сразу заметил здесь постороннего, а начальники – очень застенчивые люди. Он просто смущался смотреть сюда, когда здесь вы. В иное время он глаз не сводит с моей ячейки.

– О! – воскликнул Пиар. – Значит, вы многое потеряли, оставив меня у себя?

Александр задумался на миг и медленно произнес:

– Нет, не много... Хотя, конечно, да. Вообще в Абгрюнде мало привечают гостей. К тому же, гости – это явление нижних ярусов, тех, кому еще незачем бороться за внимание начальства так, как этого требуется выше. С седьмого яруса включительно вообще гости запрещены. Но причина здесь еще и в том, что верхние ступени строить тяжелее, а потому они дорогие. Не каждому будет приятно, чтобы по его ступеням лазали посторонние. Начальство выше – совсем другое дело.

Пиар пожалел этого толстяка, который не имел права к себе кого-нибудь просто пригласить.

Вдруг сбоку, справа, раздались голоса. Это была ячейка соседнего ряда третьего яруса. Пиар даже не подозревал, что здесь все так хорошо будет слышно. Он машинально повернул голову вправо, на что Александр произнес:

– Там живут оппозиционеры. Они хотят совершить революцию в Абгрюнде, улучшить порядок. Слушать их довольно скучно, но иногда они говорят забавные вещи.

– И что, всегда их так хорошо слышно? – поразился Пиар.

– Да, здесь хорошо слышно все смежные ячейки – внизу, вверху и по бокам. А иногда даже те, что находятся по диагонали.

– Значит, и нас они слышат? – тихо спросил Пиар.

– Конечно! – кивнул головой Александр.

– Ну, а как же конфиденциальность? – не повышая голоса, поинтересовался журналист.

– А зачем она нужна? Абгрюнд живет по тому принципу, что честному человеку от других скрывать нечего. А если тебе есть что скрывать, то тебя услышат и сообщат в Комитет По Ступеням. Потому нечестные у нас молчат. Это, кстати, весьма выгодно. Кому захочется слушать болтуна, лжеца или обманщика? Никому. А у нас они молчат. И, тем самым, их не слышат и не могут, соответственно, быть ими обмануты. Все правильно.

– Да уж, – пробормотал Пиар, которому вообще расхотелось говорить, хоть он никого и не собирался обманывать. Наоборот, складывалось впечатление, что все вокруг дурили друг друга, а потому, чтобы не вступать в их игру, надо было молчать. Пиар молчал, а Александр достал откуда-то керосиновую лампу, точь-в-точь как у Гегена, и зажег ее. Комната сразу же стала меньше и даже уютней, хотя очень отталкивало отсутствие внешней стены.

В это время по лестнице вверх вскарабкался ребенок. Он был проворным и очень быстро скрылся вверху, успев при этом показать Пиару язык.

– Разве здесь есть дети? – спросил Пиар и подумал, что это очень несчастные дети.

– Конечно, – удивился Александр, – а куда же они денутся? Вверху живет сын начальника,

прямо тут же, на четвертом ярусе. Сейчас этот начальник остается на ночь в Городе, а к сыну часто приходят на ночь дети из других рядов.

– Я надеюсь, ему не запрещают играть с теми детьми? – Пиар кивнул вглубь Абгрюнда.

– Нет, что вы! Дети дружат, как им хочется. Ведь до поры до времени у них детство, а затем они все равно займут свою ячейку, свой ряд и свой ярус.

– Конечно, – задумался Пиар, – так происходит везде, и это очень жестоко. Например, когда твой лучший друг оказывается не твоим лучшим другом, а сыном какого-нибудь крупного начальника. Тут же ты понимаешь, что твой отец – это не просто отец, а отец-ненаачальник.

Журналист вздохнул, он будто всматривался в какую-то одну точку на далекой, противоположной стене Абгрюнда. Там сейчас, может быть, жили друзья этого мальчика, но они еще не знали, что им придется потратить всю свою жизнь, чтобы их внуки и правнуки хотя бы приблизились к той стене, на которой живет уже сейчас их лучший друг.

Александр вздохнул:

– Мне теперь надо уходить. К сожалению, я сегодня ночью буду очень занят. Поэтому вы на эту ночь останетесь в одиночестве. Но это исключительный случай. Я думаю, что вам не будет скучно, у меня есть книги. Если хотите, скоротайте вечер в их обществе.

– А у вас можно читать? – спросил Пиар, припоминая градусы по Фаренгейту у Брэдбери.

– Конечно. У нас очень много читают. Геген даже говорит, что читают у нас больше, чем следовало бы.

Пиар внутренне согласился с этим. Такие порядки, какие заведены в этом городе, явно не на трезвую голову были установлены. Скорее, на голову начитанную. Только вот чего-то не того эта голова начиталась.

– Более того, – продолжил Александр, – вон там (он кивнул на ряд, ближе к выходу из Абгрюнда) у нас живут библиотекари. Они очень много знают, их порою интересно слушать. Кстати, там (Александр топнул ногой) живут два священника. У них Церковь своя, но она находится двумя рядами дальше от выхода.

– Что же, значит, они выслужились перед Партией больше, чем их Церковь? Ведь она расходуется с ними по статусу?

– Да, – вздохнул вновь Александр, – священники для Партии значат гораздо больше, чем Церковь. Хотя, по-моему, это неправильно. Но так уж завелось: в Церковь ходят все, кто живет правее ее, а к священникам – те, кто левее, ближе к выходу. Им-то Церковь уже не нужна, им нужен священник.

– Разве в Партии религия не запрещена? – спросил Пиар.

– Нет, – ответил парень, – а почему вы спрашиваете?

– Мне так показалось. Ведь у вас очень жесткая структура, а в подобном случае вера одна – вера в Партию, в руководство, в светлое будущее...

– Нет, – облегченно выдохнул Александр, – у нас очень демократичная структура. Даже более демократичная, чем в Городе. Это только со стороны кажется иначе. Но тот, кто здесь живет, тот думает по-другому. Жители Абгрюнда очень любят Абгрюнд. Хотя, конечно, и не так, как те, кто из Абгрюнда переехал в Город. Их можно понять, ведь при выезде отсюда они в полной мере осознают, что они потеряли. Особенно горько тем, кто достиг вершины Абгрюнда и тем, кого выгнали – ни те, ни другие не имеют права вернуться сюда.

– Понятно, – растерянно пробормотал Пиар, которому это было совершенно непонятно. Абгрюнд для него был чем-то экзотическим, современным средневековым. Ему здесь даже немного нравилось, но это было удовольствие гостя, гостя, которому даже представить было трудно, что здесь вообще кто-то живет. И дело даже не в том, что дома лучше всего, нет! Журналист должен избавиться от этого предрассудка, он не должен отдавать предпочтение чему-либо; тем более, если это что-либо – его дом. Ведь личный интерес и предпочтения жертвуется в угоду объективности, и сразу же исключается все, что может быть предвзято – дом, друзья, близкие, зарплата, главный редактор...

Здесь же дело было в ином. Абгрюнд просто не годился для жития в нем, не для людей это все. Так почему-то казалось Пиару, несмотря даже на то, что он не понимал, почему он так думает. Объективно Абгрюнд не для людей. Но, с другой стороны, люди в нем живут. И даже кто-то его любит. А это значит, нечто ускользало от Пиара. Это Нечто таило в себе то, что в Абгрюнде любят, за что Абгрюнд любят, почему в Абгрюнде живут. А значит, это Нечто – сама суть Абгрюнда, то, ради описания чего журналисты и нужны. Пусть и не все, но хорошие, а Пиар себя таковым считал. Потому теперь он испытывал профессиональное недовольство за негаснущий интерес, смешанное с отвращением и состраданием одновременно. Это все тяготило Пиара, а потому весьма кстати теперь было бы остаться одному и во всем разобраться.

Александр тоже молчал, было видно, что вопрос Пиара о соотношении религии и Партии каким-то образом задел его. Но юноша тут же будто опомнился и встал из-за стола. Он спросил, желает ли Пиар поужинать, но журналист отказался, сообщив, что они с Гегеном уже хорошо поужинали в гостинице.

Александр сказал, что теперь ему надо идти и что вернется он рано утром, и у них троих – Гегена, Пиара и Александра – будет нелегкий день. Пиар не знал, куда собеседник идет, спрашивать об этом не хотелось, потому он просто пожелал ему удачи. Александр поблагодарил журналиста за благословение, сказав, что оно ему пригодится, – и запрыгнул на лестницу.

Затем он поспешно, через две ступеньки, спустился на землю. Пиар еще раз подивился выучке парня жить среди лестниц и ячеек.

Оставшись один, Пиар прилег на кровать. Сегодня он надеялся выспаться. К тому же, если будет бессонница, то будет и время подумать над сущностью Абгрюнда, которую он едва-едва не ухватил, приблизившись к ней. Но она от него ускользнула в религиозной задумчивости Александра.

Но теперь журналист знал, что эта сущность есть; все дело теперь было только за тем, чтобы правильно к ней подкрасться. Благо, ночь это позволяла, ибо крадучись ходят не только журналисты, но и воры. А ночь – это время воров. А значит – и журналистов.

10. (Сно)творение Абгрюнда

И только журналист удобно расположился на кровати и собрался потушить эту зловоняющую керосином лампу, как на лестнице, напротив его ячейки, возник, будто из-под земли, а точнее – из-под пола, чей-то силуэт. Предположив, что это один из семи вышеживущих начальников, Пиар потушил лампу, но человек на лестнице не исчезал. Наоборот, он стал как-то странно раскачиваться из стороны в сторону. Только теперь Пиар догадался, что этот тип всматривается в ячейку, где лежит Пиар. На это журналист тяжело вздохнул и отвернулся к стене. Через минут десять он повернулся обратно: человек был все там же, на лестнице. Решив, что это еще одна особенность Абгрюнда (человек у вас почти в комнате, когда вы засыпаете), Пиар вновь отвернулся и сладко зевнул.

Абгрюнд гудел, но сейчас этот гул нисколько не мешал, но, напротив, зазывал в тот мир сна, где все просто и где нет ни того Абгрюнда, ни, весьма вероятно, этого Города вообще. Хотя, Пиар уже сомневался, что этого Города может не быть, поскольку для него, лежащего где-то посреди Абгрюнда на третьем ярусе в стене, ближайшей к выходу, Город К. был везде, где не Абгрюнд. Скорее всего, так оно и было. Вот он, Пиар, жил в Городе. Вообще, все, кто ни в Абгрюнде, те в Городе. Хотя, наоборот, это неверно. Значит, есть еще что-то третье, где существуют те, кто ни в Абгрюнде, ни в Городе. А это третье, наверно, и есть та самая суть Абгрюнда, которую Пиар еще до засыпания собирался найти. Выходит, суть Абгрюнда не в нем самом и не в Городе, а посередине. Что же это такое, что ни в нем, ни вне его? Что же есть посередине внутри и снаружи? Наверно, это те большие...

Пиара кто-то тронул за плечо, и он тут же проснулся. Вернее, он еще не спал, а лишь лежал в блаженной и бредовой полудреме, которая чуть было не открыла ему то, что внутри и снаружи,

как говорил ему его редактор, прежде чем черепаха, да, та самая, не подмигнула хитрым прищуренным взором.

Его опять тронули за плечо, и он окончательно проснулся. Даже для убедительности, чтобы еще раз не впасть в дрему, он сел на кровати. Сердце бешено стучало, в глазах расходились разноцветные круги...

Посреди ячейки – а Пиар только сейчас полностью осознал, где он находится, – посреди ячейки, точнее, ближе к лестнице, стоял человек. Наверное, это и был тот же, что висел на лестнице, пока Пиар спал. Неужто он все время ждал его?

– Долго я спал? – спросил Пиар, незнакомец вздрогнул от неожиданности:

– А вы разве спали?

Журналист кивнул, чего незнакомец в темноте не заметил, и спросил:

– Как долго вы здесь стоите?

– Нет, – незнакомец успокоился, – минут пять.

Надо же, подумал Пиар, а мне-то показалось, что прошло часа три. Но тут его мысль натолкнулась в памяти на прошлую ночь, когда в его номере был Писатель. Или прошлая ночь натолкнулась на память его нынешних мыслей, когда Писатель пришел на заседание Комиссии, а ему там сказали, что на самом деле он не в Комиссии, а Комиссия в нем. И вообще это никакая не Комиссия, а Комитет По Ступеням, и теперь он осуждается за написание медицинских справок без вдохновения на лестнице по ночам («о чем следует упомянуть особо!» – подчеркнул Председатель) и прямо на лбу вышеползущих мимо его ячейки начальников, за что его приговаривают...

Пиара вновь потрясли за плечо. Он испуганно вскрикнул и вновь натолкнулся на этого незнакомца. Тут же осознав, что он снова задремал, Пиар спросил:

– Зачем вы пришли?

Незнакомец сглотнул слюну и как-то жалобно произнес:

– Я все скажу, вы только не засыпайте. Меня послали за Александром. И прежде чем еще раз заснуть, скажите мне, где он, а то я и так много времени потерял, ожидая вас. Я стою, жду, думаю, вы думаете, а вы спите.

– Как это потеряли много времени? – прервал его Пиар, – вы же только что сказали, что я спал всего пять минут?

– После этого прошло ровно полтора часа.

Пиар немного обиделся, что незнакомец посчитал его тугодумом, полтора часа размышляющим над черт знает чем, но весть о полуторачасовом сне несколько обрадовала его.

– Хорошо, – Пиар сладко потянулся, – я не знаю, где Александр. Но я полагаю, что он где-то с Гегеном. Вы знаете Гегена?

Незнакомец тут же ответил:

– Конечно! Кто же не знает этого пройдоху... Вы не знаете, куда они пошли?

– Нет, – получая удовольствие от прерванного сна, протянул Пиар, – не знаю. Может быть, они готовятся ко Дню Преодоления?

– Нет, – растерянно пробормотал незнакомец, – скорее, нет. Они, наверное, все заботятся о приезде журналисте...

– О ком? – подскочил на кровати Пиар.

– А вы разве не знаете? – удивился незнакомец, – В Город вчера утром прибыл журналист, выдающий себя за писателя. Геген и Александр решили сделать из этого, никому не нужного, приезда событие и готовятся выступить с этим на празднике.

Пиар сидел оторопевши. Он впервые слышал, чтобы его в К. называли журналистом. Ведь он это тщательно и вполне сознательно ото всех скрывал! А, оказывается, об этом так просто говорят! И кто? Черт его знает кто! И где? В этом Абгрюнде! Журналист стал еще больше ненавидеть Абгрюнд за эту его правдивость, разбивающую мечты, в которых хотелось себя выдать за того, кем ты не являешься. Горло сжала обида.

– Почему приезд этого журналиста никому не нужен?

Незнакомец немного испугался, и ему стало совестно за то, что он высказал свое собственное мнение.

– Нет, конечно. Журналиста ждали, но этого и так достаточно. К тому же, журналист, может быть, и есть писатель. Статьи, вы не знаете последние новости, – обратился незнакомец к Пиару, – журналист писатель или нет?

– Не знаю, – буркнул Пиар и тут же со злостью добавил, – мне это неинтересно. Александра тут нет, ищите его в другом месте.

– Простите меня за беспокойство, – отступил к лестнице незнакомец, и чуть не сорвался вниз, неловко запрыгнув на лестницу. Было видно, что по лестницам он лазить не привык. Значит, он живет на первом ярусе, подумал Пиар, и вспомнил, что, по словам Александра, на первом ярусе живут бездельники. Бездельник! – выругался Пиар, но легче от этого не стало. Даже если этот тип бездельник, то он все равно знает тайну Пиара, и готов выложить ее всем первым встречным, и даже спящим, предварительно разбудив их: чтобы они лучше со сна запомнили, что Пиар, выдающий себя за писателя, не писатель, а журналист.

Но от этого стало еще хуже, журналиста ударило в жар. Его лоб покрылся испариной, ладони вспотели. Пиар хотел забыть эту явь Абгрюнда как скверный сон, но теперь он, к сожалению, не спал. Он не спал до того достоверно, что даже во сне подобной достоверности не приснится.

Он лег, и, стараясь ни о чем не думать, пытался уснуть. Ведь он прекрасно знал, что преждевременные размышления вредят не только желудку и портят настроение, но они еще чреватые преждевременными действиями, предвосхищающими и предотвращающими нечто там, где этого предвосхищать и предотвращать не нужно, а порою даже вредно.

К примеру, если он захочет теперь действовать, полагаясь как на факт, на то, что о нем все известно, то он мог бы наделать глупостей, ибо вдруг действительно этот бездельник выдумал про Пиара, что Пиар – журналист? Конечно, выдумка в точку, надо отдать должное, но, вдруг, все же выдумка? Или, хуже того, он знал, что перед ним – Пиар? А ведь могло бы быть и так, что этого типа специально подослали Геген и Александр, чтобы проверить Пиара: а вдруг он дрогнет?

Но Пиар не дрогнул. С другой стороны, может быть теперь и надо действовать. Ведь, могло быть и так, что сейчас Пиара ищет коротышка и этот странный В., узнавшие, что он – не писатель, и желающие теперь отомстить ему за этот обман? Ведь, кажется, именно об этой расправе Геген упоминал? К тому же, откуда они могли узнать, что Пиар журналист, как не...? Из чего же? Из правды, из нее, родимой.

Но, с другой стороны, если они его просто хотели проверить, то профессию журналиста они могли взять с потолка, случайно. Ведь, по Пиару, выходило так, что мир делится на три категории: на журналистов, на Людей и на тех, о ком журналисты пишут. И журналистов ничуть не меньше, чем не больше всех остальных.

Но, опять же, если всерьез рассматривать слова незнакомца как случайно пришедшую кому-то в голову проверку, то на это Геген говорил, что случайностей нет, равно как и неслучайностей. Тогда кто-то специально это сделал, а это требует от Пиара решительных действий – бежать!

Но, с другой стороны, Геген говорил, что бывают невыгодные факты, которые не стоит принимать в расчет. Вот то, что Пиара назвали журналистом – это факт невыгодный. Невыгоден он для Пиара. А если он невыгоден и для Гегена? Зачем тогда Гегену придумывать для себя невыгодную проверку того, кому эта проверка тоже невыгодна? Кому это выгодно?

Пиар зашел в тупик, а уснуть никак не мог. Он вертелся с боку на бок, но это не помогало. Тогда он просто закрыл глаза, и, чтобы не думать, стал слушать Абгрюнд.

Абгрюнда он, собственно, не услышал, а услышал лишь то, что говорили в соседних ячейках.

Вверху действительно играли дети. По крайней мере, они о чем-то болтали меж собой, и Пиар со злостью подумал, что им давно пора спать. Он был сейчас зол на них, хотя некоторое время назад искренне сожалел их судьбе. Наверное, они сейчас пользуются отсутствием отца, а потому так поздно не спят.

Справа слышался заунывный шепот революционеров, снизу священник что-то читал вслух, а слева библиотекари обсуждали современное состояние литературы. Голоса у всех были разные:

революционеры шептались, а потому было непонятно вообще – мужчины это или женщины, или и те, и другие; священник говорил нараспев басом; библиотекари достаточно пискляво и в нос гнусавили.

Сначала Пиара это все раздражало, но затем он нашел забавным слушать все эти голоса, поскольку это отвлекало его от навязчивых мыслей, что его раскрыли и надо срочно что-то делать.

– Надо его вот сюда поставить, – говорили дети, по-прежнему во что-то играя, – Нет, он должен стоять здесь. Почему? Потому что он главнее вот этого. К тому же ему хочется здесь стоять. Ну ладно, пусть стоит здесь. Тогда куда ты денешь этого? А этого поставь вон туда, там уже есть один такой же...

– Это шедевр, – гнусавили библиотекари, – По крайней мере, этого давно не встречалось в современной литературе. Нет, в этом нет ничего особенного. Да как же нет? А эта цикличность насловных сюжетов, этакий модернистский пафос в описании того же неба?

– Да прости Он прегрешения ваши во грехе, ибо не ведали, что творили. Но только по милости Господа нашего и происходит благодатное покаяние, – нараспев читал священник.

– Необходимо изменить все за раз, – шептались революционеры, – чтобы никто даже не успел опомниться. А разве это получится? Конечно, даже не сомневайся. Нас много, не может же большинство заблуждаться? Даже если оно и заблуждается, то все равно оно право, ибо иначе-то нельзя. Это верно. Несомненно, только теперь надо проработать последние пункты Программы, а то на последнем Съезде не очень хорошо получилось. Да нет, получилось все как надо, просто не очень точная формулировка. Ну, я про это говорю. Нет, ты говоришь не об этом.

Пиар подумал об уникальности каждой ячейки: ведь то, что теперь слышит он, не слышит больше никто во всем Абрюнде! Кто-то слышит революционеров, кто-то детей, кто-то библиотекарей, кто-то священника, но никто, кроме Пиара, не слышит их всех вместе. Конечно, Пиар сам многого не слышит, но в этом и состоит уникальность положения! Ему даже на миг захотелось жить в Абрюнде. Но он отогнал эту мысль и стал слушать дальше.

– А зачем он к ним пойдет, ведь это они к нему должны идти? А они-то в гору не поднимутся, а он сможет к ним спуститься. А как же он поднимется обратно? А он останется у них жить...

– ...В сей земле обетованной, что Господь нам основал величием и благостью Своею, и повелел Он по прошествии срока...

– ... Через два дня и сделаем собрание, сразу после Праздника. Как раз раздадим листовки. За это же могут поймать? Ну и что, дело-то у нас правое, и, к тому же...

– ...Сюжет не очень закрученный. Я бы даже сказал скучноватый, но ведь дело-то далеко не в сюжете, это сказал еще великий...

– ...Дурак! Ну что ты его сюда поставил? Как я смогу пройти мимо? Мы встретимся. А зачем нам с тобою встречаться, если я иду в ту же сторону, что и...

– ...Эти подонки из Комитета совсем обнаглели. Они требуют увеличения пошлин за ступени. Но, ничего, недолго осталось ждать...

– ...Всего-то двести страниц! Заметь: сколько теперь пишут, а там не встретишь столько свежих идей и приемов...

– ...Коими Господь наш создал Сад Эдемский и поселил в нем всю тварь Божию, даже змия-искусителя, предоставив человеку самому выбрать...

– ...Если тебе не нравится, я не буду с тобою спорить. Но я считаю, что это лучшая книга. Она очень дорогая. Дорогая?! А ты знаешь, например, сколько сейчас стоит собрание никому не известного писателя?

– ...Три щелбана. Я должен тебе три щелбана, ты проспорил. Или я забираю твоего солдата, или три щелбана. Выбирай! Щелбаны? Пожалуйста! Раз... два... три...

– ...Пятнадцать тысяч за ступень! Они хотят поднять планку налога за каждую цифру! Ты это себе представляешь? Да уж, здесь не от хорошей жизни решишься на...

– ...Воскресение Господа стало очередным доказательством неверующим и усомнившимся, которые теперь решились пойти за апостолами и...

– ...Переделать вертикальные на горизонтальные – это единственный выход. Ведь лестница – это не партийная выслуга, а способ существования! Необходимо двигаться по ячейкам горизонтально, и тогда...

– ...Вышедший из бездны зверь будет заключен на тысячелетие в геенну огненную, отчего вздохнут народы спокойно, и воссияет Господь во всей благодати своей, и скажет вставшему перед ним праведнику...

– ...Теперь я бью тебе щелбан, ты проспорил. К тому же, теперь моя очередь. Нет, мы не договаривались ходить одновременно, только по очереди. Ты же не хочешь, чтобы твой командир оказался там? Нет. Ну, видишь, я тоже туда не хочу...

– ...Ведь эта фантазмагория, выписанная в книге, во многом определяет будущее литературное движение. И корабль современности – это вовсе не «Титаник». Ведь прошлое всегда что-то добавляет, оно неиссякаемо, пока будущее...

– ...Неопределенно все как-то. Всего-то пятнадцать нижних ячеек готовы до конца идти с нами, да и то с той стороны стены. Нет, я не сомневаюсь, что мы победим, ведь нынешняя власть – это всего лишь слово и...

– ...Ужасная абстракция этой книги все же оставляет место тому светлomu и теплomu, что есть в каждом литераторе. Ведь даже самый последний и жалкий...

– ...Бог всемогущ, ибо Он Творец Вселенной, и везде он. И ежели кто вознесет хулу на Него в сердце своем, тому он скажет...

– ...Все, я больше так не играю. Или ты соблюдаешь правила, или я иду домой. Хорошо, давай будем играть по-другому, одновременно. Только учти, что я не смогу...

– ...Совершить переворот в сознании Абгрюнда – вот что нам надо в первую очередь. Каждый должен понять, что он имеет право, исключительное право, двигаться не по вертикали, а по горизонтали. Это улучшит наше положение. А на самый низ мы поселим тех, кто сейчас сверху. Там им самое место, пусть знают, как увеличивать налоги...

– ...Так сказал Господь, и исчез в поднебесной выси. А Моисей остался стоять возле сухого кустарника после прозрения, желая только одного...

– ...Помочиться. Именно помочиться – так призывает этот автор относиться к классике, так называемой классике. Конечно, это грубовато, но когда речь идет о самом святом – о Литературе! – то здесь уже нельзя...

– ...Ставить его сюда нельзя. Он хороший, хотя и дружит с плохими. А твои плохие. Почему? А потому что мои хорошие, а двух хороших быть не может. Ведь кто-то должен быть плохим...

– ...А иначе, зачем нам революция? Или мы решимся на все, или будем по-прежнему довольствоваться малым, то есть сегодняшним днем. У нас много врагов, но все они...

– ...Под кроватью. Я их туда положил, потому что они для этой игры не годятся. Ты же не хочешь спутать все правила? Ведь их установили не для того, чтобы ты из-за своих солдатиков...

– ...Повел еврейский народ на верную гибель, – так считали египтяне, да и сами иудеи. Сорок лет водил он их по пустыне, и в итоге...

– ...Написать такое дерьмо, простите меня! Это же бред собачий! Где это видано, чтобы образованный человек такое писал? Мне даже книгу в руки брать противно...

– ...А потому завтра же сядем писать. Надо сделать хотя бы тысячу листовок, отпечатаем их где-нибудь. Надо найти Писателя, сами-то не справимся. А вдруг он откажется? Ни за что...

– ...Ни за что я не хочу быть писателем. Мой папа говорит, что все писатели обманщики, особенно приезжие. Он нам недавно приносил одну справку...

– ...Где было сказано: не убий, не кради, не прелюбодействуй в сердце своем, и еще семь заповедей. Взял их Моисей и пошел к людям, и, пришедши к ним, сказал...

– ...Если вы не будете выполнять наши требования, то мы завтра переселим вас в нижние ячейки, где будут все отбросы, или, в худшем случае, вообще выгоним из Абгрюнда. Так надо написать и раздать листовки...

– ...Это тоже неплохо написано, но у Кафки, по-моему, лучше. Хотя и не так прочувствованно.

Просто Кафка писал, будучи уже весь насквозь пропитан своими переживаниями, а потому...

– ...Чем-то весь день воняло возле реки. Меня папа водил туда, но стояла такая жара, что я ничего не помню, кроме этой вони. У меня голова закружилась, и я даже решил...

– ...Надо либо сложить голову, либо сжать плотнее зубы и добиваться победы. Если все будет неожиданно, то никто глазом не успеет моргнуть, как...

– ...Господь окажется во главе мира, где будут жить лишь избранные и праведники. А все, поклоняющиеся зверю и числу его, будут ввержены в геенну огненную, где скрежет зубов и...

– ...И к тому же очень красивый переплет. Ведь сейчас уже переплетают не так, как раньше, сейчас книги уже не ценят. Сейчас ведь как рассуждают...

– ...Когда я вырасту большим, то непременно доберусь до выхода. Хоть и говорят, что это безумно сложно. Но ведь кто-то должен это сделать, и почему это буду не я?

– ...Да потому что мы униженные, мы дерьмо, ты можешь это понять! Нас ненавидят, над нами смеются. Мы гнием в ячейках. А совершив революцию, мы обгоним не только свое время, но и время всего Города за пределами Абгрюнда...

– ...Да, там делают хорошие книги, хотя сейчас опять пошла мода на этикие огромные кирпичи. Такой случайно уронишь, да если еще и на ногу, то уж непременно вскрикнешь...

– ...Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое как на земле, так и на небе! Хлеб наш насущный давай нам на каждый день, да не введи нас во искушение, но избави нас от...

– ...Этих современных писателей вообще убить надо. Они себя позорят, но это ладно, они ничего иного и не могут. Но ведь они позорят Литературу! Нельзя же...

– ...Не спать так долго. Надо уже ложиться, не то папа заподозрит, что мы не спали. Собирай свои игрушки и...

– ...Завтра начинаем действовать. Если будет сопротивление, будем бить прямо в морду. Ведь как еще назвать этих идиотов, как не...

– ...Слугами Божьими, апостолами и ангелами да будут сохранены наши души, яко спаслась душа Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Абгрюнд замолчал. Пиар, было впавший в дрему под эти разговоры, вновь проснулся. Он огляделся – вокруг было темно, стояла либо глубокая ночь, либо раннее утро.

Только что услышанное наводило Пиара на ряд мыслей, которые до этого ему были неведомы. Если такое творится в Абгрюнде каждый вечер, то вполне понятно, почему в головах Гегена и Александра такой ералаш. С одной стороны, конечно, каждый из говорящих был нормальным. Но когда несколько таких нормальных встречаются в одной голове, то из этого ничего хорошего не выйдет. В Абгрюнде созданы такие условия, что, если ты хочешь остаться нормальным, ты должен говорить, говорить – и никого не слушать вообще. Молчание в Абгрюнде – это приговор к сумасшествию. Гости Абгрюнда этого не знают, а потому, вероятно, не только гостей не любят здесь, но и тем, кто сюда попадает, Абгрюнд не особо нравится. Теперь ясно, почему с седьмого яруса гости запрещены законом. Здесь дело вовсе не в застенчивости начальства или дороговизне верхних ступеней, хоть это и могло сыграть свою роль при принятии закона. Ведь законы принимаются не ради того, чему они служат, а из-за того, что, вроде бы, к закону совсем не относится. По крайней мере, на первый взгляд.

Видимо, внизу, где гости разрешены, люди живут простые, потому и нужды у них похожие, и разговоры об одном. Потому внизу нет разницы – сколько ты слышишь. Все равно речь идет о стремлении подняться выше. Кстати, внизу ты этим стремлением от других и заражаешься. Те же, что живут выше и стремиться им уже некуда, начинают чудить и говорить каждый о своем, там и увеличивается шанс сойти с ума. Вот ради медицинских целей гости вверху, вероятно, и запрещены.

Пиар тут же вывел закон Абгрюнда: чем выше, тем безумнее. Но радости от этого открытия особой не испытал. Ему страшно хотелось спать; настолько сильно, что завтра днем он решил, во что бы то ни стало, отоспаться. Он зевнул и закрыл глаза... Последняя мысль, которая пришла ему перед сном в голову, несла в себе идею того, что весь разговор, которой он сегодня не по

собственной воле слушал, – не более чем розыгрыш или очередная проверка того же Гегена. Но это было настолько глупо перед приближением благостного сна, что Пиар даже не захотел эту мысль отгонять, – она пришла ему уже в спящую голову, а потому ей ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Или же она превратилась в один из неосознанных снов, которые чудесны тем, что никак не связаны с самой этой мыслью.

Абгрюнд, казалось, спал. Ячейки были темны, лишь кое-где в самом низу или вверху светились лампы – такие же, керосиновые. Проулок в Абгрюнд был закрыт на ночь небольшим полосатым шлагбаумом, возле которого, свернувшись комочком, спал старый рыжий пес. Ему ничего не снилось.

II. Театр

Пиар проснулся с ясным осознанием того, что если Бог не сделает красивый переплет, то солдатики будут вонять по горизонтали. Эта мысль была настолько четкой, что немедленно призвала действовать. Пиар так и вскочил с кровати, но тут до него дошло, что поделать, собственно, он уже ничего не может. Еще ему приснилось, что в Абгрюнде можно писать романы, ничего для этого не предпринимая; но эта, последняя, мысль показалась ему абсурдной и чересчур мелочной в сравнении с мыслью о Боге, переплете, солдатиках и горизонталях.

Но это все сразу же затуманилось тем, что Пиар увидел сидящих за столом Гегена и какого-то незнакомого человека. Они, вероятно, ждали его молча, а теперь лица обоих просияли улыбкой:

– Доброе утро!

– Да, спасибо, – ответил с недовольством Пиар. Если утро начинается с присутствия Гегена, то из этого дня ничего доброго не выйдет. Пиар это вывел из того, что вечера, проведенные с Гегеном, завершались ужасными ночами. Конечно, это может быть случайно и никак не связано, но проверить эту вероятность случайности Пиару возможность еще не предоставлялась.

– А где же Александр? – спросил Пиар, удивляясь отсутствию хозяина ячейки.

– Я не знаю, – ответил Геген, – сам не могу его найти.

– К тому же, – заговорил незнакомец, – вы вчера мне неверно сказали, что Александр у Гегена. Тут Пиар узнал по голосу ночного гостя.

– Ну, уж извините! Что думал, то и говорил.

Пиару не понравилось, что его обвиняют в даче ложной информации, даже если это обвинение – плохо скрытый упрек. Ему вообще все-все надоело; ему хотелось, чтобы его оставили в покое хотя бы до послезавтра, а там уж он уедет. Да, это утро начиналось с вечера еще позавчера.

– Мы сейчас пойдем в Театр, – опять констатировал Геген.

Пиару эта мысль понравилась. Уж лучше посидеть в Театре – двумя часами меньше. По крайней мере, там, в Театре, не должно быть никаких происшествий, касающихся его судьбы.

– Познакомьтесь, Пиар, – продолжил Геген, указывая на незнакомца, – это Нонейм. Нонейм, это Пиар.

Нонейм кивнул в знак приветствия, Пиар улыбнулся:

– Странное у вас имя.

Нонейм обиженно сконфузился и пожал плечами:

– Ничего странного. Обычное имя.

Было видно, что о странности своего имени он был оповещен еще задолго до Пиара и упоминание об этом ему неприятно.

– А что сегодня в Театре? Какой спектакль? – спросил Пиар, уже предвкушая встречу со знакомой постановкой. Хотя это и было странно – представление утром, но этому городу все легко списывалось. В конце концов, представление рано утром ни черта ничего не значит в сравнении со всем остальным, здесь происходящим.

– Пиар, вы шутите? – с доверчивой улыбкой спросил Нонейм, – какое же в Театре представление?

– Не понял? – обернулся к Гегену Пиар, чувствуя подвох местного масштаба от этого Театра. Но Геген это проигнорировал и напомнил Пиару, что у него сегодня Комиссия, а потому не стоит забивать голову особенностями местных инсценировок всем известных с детства произведений.

Журналист сразу же замолчал. Во-первых, ему было неприятно думать о Комиссии после воспоминания, что послезавтра он покинет К. навсегда. И, во-вторых, спрашивать Гегена тогда, когда он не желает отвечать – дело бесполезное.

Они спустились по лестнице вниз; в ячейках, мимо которых они лезли, не было ни души. Там, где вчера был священник, стоял большой крест, прислоненный к лестнице, отчего было очень неудобно братья за ступеньки руками; Пиар здесь чуть не сорвался из-за этого креста вниз, но вспомнил он при этом вовсе не Бога.

Не хотелось ему разговаривать и по той причине, что Нонейм назвал его вчера журналистом. Пиару было первый раз в жизни обидно, когда его называют по той профессии, которой он так гордился. Сейчас же ему казалось, что Нонейм специально не вспоминает, замалчивает их вчерашнюю встречу. В самом деле, если вчера он еще мог не знать, что он разговаривает с тем, о ком говорит, то уже сегодня он этого не знать не мог. И, тем не менее, он молчал, и это молчание оправдывало самые худшие из ночных опасений Пиара: о нем все известно. Потому хотелось сбросить с себя все условности и сказать, что игра окончена; вместе с тем, казалось бы, рухнул и весь Абгрюнд с этой его местной инсценировкой. Но по опыту журналист знал, что очень часто такая откровенность «на пределе» приводит к обратному эффекту: на откровенничающего смотрят как на проигравшего. Особенно в этих условиях – Геген мог вообще проигнорировать пыл Пиара. Потому журналист молчал, потому ему Театр, даже со всеми странностями, казался сейчас оазисом, где можно было если и не отдохнуть, то полностью расслабиться точно.

Располагался Театр на той же дальней стене, в которой жил Геген, внутри нее. Пиар впервые и с большим удивлением узнал, что ячейки могут быть входом в другое помещение. Вход в Театр занимал целый вертикальный ряд; ячейки в этом ряду вовсе не были комнатами, с улицы они выглядели черными дырами. Здесь, как и везде, стояла лестница, по которой они втроем и стали забираться. Пиар решил, что внутри Театра много ярусов-балконов, и с каждой ячейки, в соответствии с партийным положением, каждый заходит в свой ярус. Но вскоре ему пришлось расстаться с этим нормальным предположением – как раз в тот миг, когда они, достигнув шестой ячейки и спрыгнув внутрь нее с лестницы, подошли к этой черной дыре Театра.

Журналист ожидал увидеть балкон или хотя бы какую-нибудь лавку, висящую на высоте шестого яруса – это было бы вполне в духе Абгрюнда. Но впереди, во тьме, исчез сначала силуэт Гегена, а затем и Нонейма. Решив, что он сейчас потеряет их из виду, а оставаться перед этой тьмой одному было не лучшим вариантом, Пиар крикнул «Подождите меня!» и рванул к бездне.

Но тут же, рядом, он услышал голос Гегена: «Осторожно, здесь лестница!», а потому остановился. Тут только он едва различил ступени лестницы, точь-в-точь повторяющую уличную, по которой они только что сюда забрались. У Пиара по этому поводу возникла масштабная мысль, что там, во тьме, все так же, как и здесь, что Театр – это темный, изнаночный Абгрюнд.

Он подумал, что изнанкой красивого должно быть что-то ужасное, а изнанкой уродливого – прекрасное. Но ничего прекрасного в надвигающемся мраке он не различил. Ему оставалось только осторожно, на ощупь, забраться на лестницу и начать спуск.

Спускались они в тишине, только один раз нога Пиара натолкнулась на что-то мягкое. По криканию, раздавшемуся снизу, он понял, что наступил на голову Нонейма. Замедлив спуск, он осознал, что ступени здесь тоже неравномерные, точно так же, как и в ряду, где он провел ночь, так же, как и во всем Абгрюнде, там, снаружи. Решив рассмотреть феномен внутренних ступеней позже, он смотрел теперь на те ячейки, мимо которых они спускались. Мимо них они поднимались до шестой – а теперь обратно, с той шестой, они погружались в Театр. Только, если на подъеме сквозь ячейки, сквозь их отсутствующие стены, проглядывала тьма, то теперь, наоборот, свет слепил глаза, а потому тьма Театра за спиной, вверху и внизу казалась еще мрачнее.

Геген и Нонейм ждали Пиара на полу Театра, возле лестницы. Пол Театра отличался от мощеной бульжниками площади Абгрюнда, – это Пиар смог разглядеть в той полоске света, которая лежала на полу и была результатом просвечивающихся ячеек. Кроме этой светлой полосы, вокруг было темно. Полоса по полу тянулась в глубь Театра и на полу же прерывалась, а потому определить наличие противоположной стены Театра в ближайших ста-двухстах метрах Пиар не решился бы. Складывалось стойкое впечатление, что вокруг, в темноте, пусто. И это даже несмотря на то, что в тонкую полоску света на полу, попало три обычных канцелярских стола. Стульев рядом с ними не было, стояли столы не в ряд, а как-то случайно. Из всего этого Пиар вывел, что столы вряд ли используют по назначению.

Геген взял Пиара за руку и повел влево от полосы света. Опасаясь потерять спутника, журналист сжал руку старика. Шли они достаточно долго – настолько, что Пиар успел спросить об архитектуре этого помещения, а Геген успел ответить, в своей неторопливой манере, что помещение Театра предполагалось гораздо меньше. Вернее, вообще ни о каком Театре не шла речь, но строители Абгрюнда промахнулись в расчетах, отчего построили лишнюю комнату. Жители Абгрюнда на общем собрании решили разместить здесь Театр.

Странно, подумал Пиар. Ему не верилось, что из-за ошибки в расчетах при строительстве можно построить такое огромное помещение просто так. Конечно, истории Абгрюнда он не знал, но этого факта происхождения Театра вполне хватило для того, чтобы понять, что история эта была довольно интересна и забавна.

Геген освободил свою руку, Пиар же продолжал идти и шел до тех пор, пока не налетел на стену. Потирая ушибленный нос, он мысленно обругал Гегена не лучшими словами. Но тут же он с ужасом осознал, что потерял Гегена. Вокруг была тьма, лишь в метрах двухстах позади, на полу, лежала полоска того самого света. Пиар успокоился и решил, что, в случае чего, выход он найдет. К тому же, раз Геген привел его сюда и здесь оставил, значит, это имело свой резон. По крайней мере, для Гегена. А раз своего резона Пиар не имел вообще, то оставалось радоваться, что толика смысла в его присутствии здесь имеется, хотя бы и чужого смысла.

Тут Пиар увидел Гегена. Старик вышел в освещенную солнцем полосу и тут же исчез по ту сторону ее. Тогда журналист стал оглядываться в поиске Нонейма, но, естественно, ничего не увидел.

– Я здесь, – раздался шепот Нонейма справа.

– Я тоже, – вздохнул Пиар. Он удивился тому, как Нонейм мог разглядеть, что он его ищет. Тут же журналист уселся прямо на пол и осознал, что в Театре стоит какой-то гул. Определить его природу он не решился бы, но гул этот, хотя и постоянно нарастал и отдалялся волнами, все же был постоянным в своей волнообразности. Сначала Пиар подумал, что это гудит Абгрюнд по ту сторону Театра, но тут же его пронзила молния озарения: это перешептывались люди!

Пиар протянул руку вправо и тут же раздался возмущенный шепот Нонейма:

– Что вы меня весь день то пинаете, то щупаете?

– Извините, – пробормотал Пиар, и повторил тот же жест в левую сторону. Рука его уперлась во что-то мягкое. Это было тоже чье-то плечо, очевидно, кто-то тоже сидел на полу рядом.

– Я вас слушаю, – раздался слева мужской голос.

– Я вас тоже, – пробормотал Пиар и извинился. Он с ужасом осознавал, что вокруг него повсюду были люди. Трудно даже было предположить, сколько в этой тьме людей, но, судя по шуму, людей была тьма. Тьма и люди в ней составляли одно целое, отчего Пиару стало не по себе; у него даже промелькнула боязнь замкнутого пространства. Оставалось удивиться тому, как ему удалось занять место у стены, а по дороге к стене еще никого не задеть. Конечно, это было случайно, да только случайностям Пиар больше не верил, особенно здесь, в Абгрюнде.

Но он даже не успел сделать какого-нибудь вывода из этого всего, как на полосу света из тьмы выступил какой-то человек. Он поднял руки вверх и в таком неудобном положении забрался на один из трех столов. Гул притих. Он обернулся вокруг, будто оглядывая публику. Сейчас этот маленький человечек действительно напоминал актера, собирающегося сказать не то чтобы

очень уж важную речь, сколько речь забавную, а потому лишь и достойную того, чтобы ее выслушали.

– Господа! Ни для кого из нас чтение книг не является чем-то особенным; более того, это наша повседневная обязанность, вошедшая в привычку настолько, что мы полагаем чтение нашим собственным делом, нежели предписанием Закона. Но, как бы то ни было на самом деле (а это – решать уже историкам), мы с вами читаем. Не обращал ли кто из вас внимание на тот факт, что при чтении наша голова забита не нашими, но чужими мыслями? Что, фактически, читая, живем не мы, а живет книга? Конечно, это зависит от качества книги: чем она лучше, тем мертвее мы, читая ее. Хорошая книга не позволяет задним мыслям копошиться у нас в голове, хорошая книга требует хорошего читателя, она его создает, убивая в нас бездельника и бездумца. Но все мы прекрасно знаем, что лучшей книгой будет воистину та, открыв которую, мы впервые и оживем. Сама же книга при этом, соответственно, умрет. И пока мы с вами будем читать эту Лучшую Книгу, мы будем воистину жить.

Оратор остановился, оглядывая тьму, затем произнес вновь:

– Цель существования Абгрюнда до сих пор многим не ясна, но было бы замечательно, если бы этой целью стало написание Лучшей Книги. Ни для кого не секрет, что писатели по ту сторону Абгрюнда пишут не лучшее, даже не хорошее. Мы с вами должны умереть все ради того, чтобы ожила та книга, читая которую, читающий оживет! Благодарю за внимание, теперь вопросы.

Говорящий замолчал, откуда-то слева раздался вопрос:

– Как же тогда та идея, что, не будь плохих книг, мы бы никогда не узнали о хороших?

Оратор рассмеялся, его смех эхом разлился по Театру:

– Это чушь, господа! Мне не нужно читать, простите меня, всякое дерьмо, чтобы знать, что это – дерьмо, а бывает и нечто лучшее.

Оттуда же раздался другой голос:

– Значит, ты полагаешь, что я сразу смогу определить хорошее, не требуя чего-то для сравнения?

Оратор кивнул:

– Вот именно. Ведь также точно наша достопочтенная Комиссия определяет писателей. Она не нуждается в сравнении для того, чтобы определить, что перед нею – писатель. Она знает это – и все! И мы, равняясь на Комиссию, должны делать то же с книгами. Причем, прошу обратить на это особое внимание, мы не мним себя Комиссией, но уподобляемся ей.

Оратор замолчал. Оглядевшись вокруг и убедившись таким образом, что вопросы исчерпаны, он спрыгнул со стола и скрылся во тьме. По Театру прошел гул неодобрения, в то время как Пиару эта речь понравилась. Тут же на другом столе оказался высокий человек, с густой черной шевелюрой на голове.

– Это Главный в Абгрюнде, – шепнул Пиару Нонейм, но вокруг тут же зашипели: «Тихо!», «Тише!», «Молчите!».

Пиар преисполнился благоговейного трепета, на что сам себе удивился. За свою жизнь он видел тысячи начальников всех уровней; и уже давно не осознавал в полной мере, что он беседует с теми, посмотреть на которых было бы величайшим счастьем для других. Но теперь, стоя в Театре среди невидимой толпы, он тоже был охвачен эйфорией присутствия полубога. Потому он тоже хотел шикнуть на Нонейма, но не стал этого делать.

Здесь же, неподалеку, ютился и профессиональный интерес. Ведь сейчас перед ним, на столе, стоит тот, кто отвечает за порядки Абгрюнда. Пусть не он их установил и не ему их переделывать, но он – должностное лицо, а потому ему-то и надо было все объяснить Пиару, а не Гегену, не Александру.

Как оказалось, ничего никому Главный объяснять не собирался. Он откашлялся и сказал:

– Граждане! Наш независимый Абгрюнд переживает нелучшие времена. Сейчас, накануне Дня Преодоления, мы должны еще раз оглянуться назад и вспомнить: зачем мы здесь и почему они там...

Пока он говорил, вокруг его стола выстроились кольцом люди в белых одеждах, и стали исполнять некий странный хоровод. Они кружились вокруг стола Главного то в одну, то в другую сторону. Пиара это отвлекало, в то время как он из всех сил хотел сосредоточиться на речи.

– Прибытие осуществилось, никакого обмана не было. И в Городе вновь уповают на Прибывшего, но мы то знаем, что важно не Прибытие, важен не Прибывший, а то – куда он прибыл. Посещение Абгрюнда – это заслуга не моя. Сегодня, в столь трудный, но светлый для нас час, я прошу у вас реабилитации одного человека, который в свое время нам помог. Конечно, он совершил для нас с вами больше плохого, чем благого, но теперь мы все должны ему простить. Сам он этого не просит у вас, но не из гордости, а из природной скромности, присущей ему с рождения. Все мы его хорошо знаем, но как оказалось, недостаточно хорошо. Вернее, совсем не знаем. Но, прошу его самого выступить, чтобы вы смогли убедиться в справедливости моих слов.

Сам Главный никуда не пошел, а так и остался стоять на столе. Хоровод вокруг его стола оставался, а на соседний стол по-молодецки забрался Геген. В руках он держал свою трость.

Как только старик вышел на свет, снова гул неодобрения прокатился по Театру. Но Гегена это нисколько не смутило.

– Братья! Я слышу ваше неодобрение, – начал он, – но то, что я сейчас делаю, я должен сделать, ибо, несмотря ни на что, до сих пор считаю Боденов лучшей партией, партией лучших.

Геген на миг замолчал, кто-то захлопал, но тут же осекся.

– Я никогда не питал иллюзий в отношении партийных организаций, но теперь я должен признать: за все мое время, которое я знаю вас, братья, вы выстояли и ни разу, почти ни разу, не посрамили честь великого звания Боденов. За это лишь, ни за что более, я хочу оставить в дар Абгрюнду свою трость. Всем вам должно быть известно, что трость эта, подаренная мне нашим нынешним зром, опровергает, начисто опровергает, самих же Вербергенов. Особенность ее состоит в том, что она деревянная, настоящая деревянная трость!

Вновь раздался гул, на сей раз это было нечто вроде удивления и радости.

– Вербергены, которые отрицают существование чего бы то ни было настоящего, сами называли эту трость чудом. Для нас с вами особенность ее состоит не в том, что она – настоящая, но в том, что это настоящая трость Вербергенов. Следовательно, это еще одно подтверждение нашей правоты с их стороны. Больше я ничего говорить не буду; просить за себя – в том числе. Я вам доверяю решение о доверии мне.

С этими словами Геген передал трость Главному. Для этого ему пришлось встать на край стола так, что Пиар решил, что старик сейчас упадет на пол. Но старик ловко отдал трость и вернулся к центру стола. Главный бережно принял трость и торжествующе посмотрел по сторонам.

– Граждане! – начал он. – Вас не удивляет тот факт, что человек отдает трость тогда, когда она ему может пригодиться по старости?

Раздались возгласы: «Нет», «Не удивляет!»

– Меня тоже, – продолжил Главный, – но, тем не менее, трость теперь у нас! – Он поднял руку с тростью вверх и Театр одобрительно загудел. – Я прошу вас рассмотреть предложение о принятии этого человека (он указал на Гегена) в партию.

Главный умолк, и тут же началось невообразимое. Театр стал невероятно шуметь; кричали, наверно, все. Пиар различил голос Нонейма, он кричал «Нет!». Геген и Главный стояли на столах, хоровод у стола Главного вновь начал свое шествие по кругу.

Пиар испугался этого шума, к тому же, это было чрезвычайно тяжело для непривычного уха. Пиар вновь сел на землю и зажал уши ладонями. Минуты через три люди вокруг стали еще и топтать, отчего сидеть на полу становилось опасно. Журналист вновь встал и сквозь зажатые уши различил, что беспорядочные крики во что-то сливаются, выкрикивая непонятную фразу, нечто вроде «Втоо яу! Втоо яу!». Еще минуты через две Пиар явно различил крики «Второй ярус! Второй ярус!». Неожиданно шум затих. В наступившей тишине не было слышно ни шороха. Главный произнес:

– Решение принято! – и Театр загудел вновь. Тут же вокруг стола Гегена стал кружиться второй хоровод, в то время как у стола Главного первый остановился. Пиар взирал на все это с лю-

бопытством туземца, попавшего в центр современного города, но все же считающего себя понимающим все происходящее.

Пока он пытался найти аналоги этому представлению, столы опустели. Теперь полоска света освещала пустые столы – точно так же, как и тогда, когда Пиар их впервые увидел. Также и гул стих, но стих как-то постепенно, так что Пиар даже не заметил, как оказался посреди тишины.

Неожиданно страшное предположение охватило все существо журналиста, и он тут же, опасаясь, что так оно и есть, протянул руки по сторонам, но схватил лишь воздух. Тогда Пиар пошел в одну сторону, в другую с вытянутыми вперед руками, но так оно и есть – вокруг никого не было! Журналиста бросило в жар, почему-то боязно было оставаться здесь, во Тьме, в одиночестве.

Пиар побежал к полоске света, но по дороге обо что-то споткнулся. Тогда он, вразумляя себя, пошел не спеша. Ему не хотелось уронить своего достоинства даже здесь, в темноте, где его никто не видит. Уж очень памятной была первая ночь в К., когда так же, в темноте, его застал В. в пиджаке и в халате.

Пиар пошел медленно, но тут, буквально за двадцать метров до долгожданного света, его кто-то взял за руку. Делать вид, что это в порядке вещей, было просто глупо, и он спросил:

– Кто здесь? Геген?

– Нет, – ответил голос Нонейма, – это Нонейм. Геген, как вы понимаете, теперь вряд ли будет околачиваться здесь, в пустом Театре. Ведь ему дали гражданство в Абгрюнде.

– Это я уже понял, – ответил Пиар, вспоминая крики «Второй ярус!», – ну а теперь что?

– Я не понимаю вашего вопроса, – ответил Нонейм.

– Я сам его не понимаю. Что со мною теперь будет? Где мне обитать?

– А-а, – протянул Нонейм, – вы как писатель, хотя еще и неопределенный, можете обитать пока в ячейке Александра, ведь он куда-то пропал. К тому же Геген вам разрешает пожить в его старой ячейке, на первом ярусе. Как видите, вариантов у вас более чем достаточно, этому можно даже позавидовать, – почему-то без особой зависти в голосе произнес Нонейм.

– Я хочу покинуть Абгрюнд, – тихо сказал Пиар.

– Это уже сложнее, – задумался Нонейм, – но возможно. Я сейчас вам дам адрес своего дяди, он историк. Если захотите, остановитесь у него. Это интересный человек, тема его исследований – доабгрюндный период Абгрюнда. Кстати, зовут его Ши.

– Спасибо, – Пиар принял из рук Нонейма клочок бумаги.

– До свидания, – протянул Нонейм, и наступила тишина.

– До свидания, – пробормотал Пиар, хотя и понял, что остался совершенно один. Он побрел к полоске света, но и теперь ему помешали до нее добраться. Его кто-то остановил.

– Это Нонейм? – спросил Пиар, но никто не ответил, отчего Пиару стало жутко. Тем не менее, идти он не мог, ибо кто-то стальной хваткой держал его за локоть.

– Пиар? – спросил незнакомый голос.

– Да, – пролепетал Пиар, его посетила мысль о Комитете По Ступеням.

– Это Комиссия. Вы подлежите нашему определению с вынесением Вердикта о вашем статусе.

12. Вердикт

Наконец-то, подумал Пиар. Он, конечно же, сразу взволновался, но, тем не менее, испытал огромное облегчение. Мысль о Комиссии преследовала его уже два дня. И если вначале она была явной, то теперь уже впилась в него настолько глубоко, что проходила красной нитью через каждое его слово и поступок. Он уже не чувствовал приближения Комиссии, но сам он будто стал этим приближением. И в этот миг, при словах из темноты, Пиар вновь отделился от ожидания, почувствовал его и понял, что вновь обрел власть над собою. Конечно, он не ожидал, что встреча с Комиссией произойдет вот так, в полной темноте. Да и откуда он мог это знать, если знаком с Театром всего пару часов?

– Что ж, хорошо, – срывающимся голосом пробормотал Пиар, – может, тогда выйдем на свет? – и он указал на полосу света, хотя его жеста никто, наверно, и не видел.

– Ничего хорошего, – проговорил строгий голос, похожий на голос Гегена, но более каменный или железный, – ваше Дело чрезвычайно сложное, а потому не пытайтесь уйти от ответственности.

– Да я никуда не хочу уходить от вашей ответственности. Более того... Я просто хочу выйти на свет.

– Что ж, – сказал тот же голос, – если вы хотите выйти на свет, то вам очень повезло, поскольку мы уже вывели вас на свет.

Понимая, что спорить с этими господами (а их было минимум двое) бесполезно, Пиар вышел на свет сам, и повернулся туда, откуда с ним только что говорили.

– Только не пытайтесь бежать, – раздался голос из тьмы, но уже с другой стороны. Это был Третий.

– Да я и не собираюсь, – испуганно пробормотал Пиар. Его вовсе не радовала перспектива того, что он остался наедине с теми, кого он не видит. – Я только хочу видеть ваши лица.

– А это совсем необязательно, – проговорил Первый, который взял его за руку три минуты назад. – Главное, что мы видим ваше.

Пиар попытался успокоиться и взять себя в руки. В конце концов, это официальное учреждение, и они не могут себе позволить... Хотя...

– Скажите, вы всегда нападаете из темноты? – спросил он, и немного успокоился от своей смелости. Лучший способ побороть страх – наглость и напор.

– Мы государственное учреждение, – ответил Третий откуда-то сзади, – а потому поступаем так, как считаем нужным.

– Надо же! – усмехнулся Пиар, – А я-то считал, что как раз государственные учреждения в первую очередь должны подчиняться законам...

– Это ваш предрассудок, – прервал Второй. – Кроме того, нет такого Закона, который при- нуждал бы нас выходить на свет перед определяемым. Более того, мы обязаны по Закону выводить на свет таких темных личностей, как вы.

Пиар хотел что-то съязвить, но осекся. Он почему-то с самого начала считал, что писателем его не признают. Теперь же его охватило какое-то сомнение в своей писательской неполноценности, и он даже подумал, что его сейчас признают. Это было, конечно, глупо, но эта мысль все прочнее завоевывала себе место в его голове. И это было весьма неудобно, поскольку более нельзя было хамить Комиссии, а надо было стать добропорядочным определяемым.

– Хорошо, – сказал Пиар, ослепленный светом, – что вы решили?

– Хм, странный вы человек, – сказал Первый, – почему вы ничего не хотите рассказать о себе, о своем творчестве?

– Видите ли, – примирительно проговорил Пиар, – я уже достаточно наслышан о том, что ваше решение... э... – он подбирал слова помягче, – не меняется от слов того, кому оно адресуется. Потому я просто хочу знать, что меня ждет.

– Где же вы такого наслушались? – с подозрением спросил Второй, и вновь Пиар услышал в этом голосе что-то от Гегена, – Это бред! Мы, кстати, в отношении вас весьма сомневаемся, и от ваших слов действительно многое зависит. Хотя... – Второй задумался, – это зависит от того, что вы скажете и как.

Пиар не был готов к подобному повороту дел. Потому он этому сразу же воспротивился:

– Но если вы решаете нечто, касающееся моего творчества, то разве могут что-нибудь изменить мои слова? Ведь вы решаете мои дела, зачем вам тогда мои слова? Я-то полагаю, что вы нечто суда, а потому вам лучше самим знать – виноват я или нет. Если же вы можете изменить свое мнение от моих слов, тогда зачем вы нужны вообще?

Пиар перевел дыхание. Его вдруг посетила ясная мысль, что все происходит не по-настоящему, а настоящее – это его работа, его репортажи, его редактор, в конце концов! А это все – не более

чем игра. Потому ему во что бы то ни стало захотелось эту игру выиграть. Ведь, если позволительно проиграть в жизни, то совсем непозволительно проиграть в игре.

– Не обижайтесь на меня, но мне просто интересно, чем вы занимаетесь. Ведь мне, по большому счету, совершенно неважно – признаете вы меня писателем или нет; я-то скоро покину ваш город и никогда в жизни о вас более не услышу. Да, не услышу. В самом деле, если я до этой поездки ни разу о вас не слышал, то почему я должен слышать о вас после нее? Мне вполне достаточно того, что я знаю о себе, кто я – писатель или нет. Ваш вердикт ничего не значит для меня!

– Мы это все знаем, – раздался голос Первого, – тем не менее, для вашего Дела из ваших слов я делаю вывод о том, что о Комиссии вы до приезда не слышали?

– Совершенно верно, но я повторяю, что это неважно...

– Это важно, – властно прервал его Третий.

– Неважно, – повторил Пиар, – и я настаиваю на этом! Может, это и имеет значение для вас и моего Дела, как вы это называете, но для меня ни вы, ни Дело не важно, вы это можете понять?

Пиар замолчал и через некоторое время Первый спросил:

– Значит, вы настаиваете на объективности своего творчества?

– Почему? – удивился Пиар.

– Вы говорите, что вам ничего не важно, то есть напираете на вашем отстранении от текста?

Пиар подумал, что они говорят на разных языках. В то же время ему льстило то, что его посчитали объективистом, поскольку именно таковым он себя и считал – объективным журналистом. Но не объективным писателем.

– Думайте, что хотите. Мне и это неважно, – бросил он.

– Неужели вы не осознаете уникальности происходящего? – спросил Второй. – Определение возможно только раз.

– Неужели вы не понимаете, – передразнил его Пиар, – уникальности моего нахождения здесь? Моей уникальности? Ведь я вас вижу тоже первый и последний раз... К тому же, – добавил он с усмешкой, – я вас и не вижу.

– Значит, – подытожил Третий, – вы настаиваете еще и на своей оригинальности, или, как сами изволили выразиться, уникальности? То есть, вы считаете себя оригинальным объективистом?

Пиару захотелось засмеяться им прямо в лицо, но их лица он не видел, а потому лишь спокойно улыбнулся:

– Да я вообще не говорю сейчас о творчестве, не об этом речь...

– Речь всегда об этом, – категорично отрезал Первый.

– А это у кого как, – пробормотал Пиар и сел за стол, на котором ранее стоял Геген. Он принялся беззаботно, словно малые дети, болтать ногами, всячески показывая, что происходящее ему безразлично. В то же время в голове у него крутилась мысль о происходящем с иной стороны. Он, Пиар, сейчас игнорирует Комиссию, ту самую Комиссию, пред которой преклонялись и благоговели Геген и Писатель, особенно Геген! Чувство превосходства переполнило его.

– Зачем вы плагиатировали «Летопись Рима»? – спросил с упреком Второй.

Это был вопрос в лоб, а потому Пиар мгновенно потерял свой настрой и ощутил себя нашальшившим ребенком, которого взрослые застали врасплох, с поличным.

– Хотелось, вот и плагиатировал, – упавшим тоном произнес он.

– Таким образом, вы признаете плагиат?

Пиару в голову пришла мысль о том, что его, как и предупреждал Геген, сейчас причислят к сторонникам Вербергенов.

– Нет, плагиата не было, – отрезал он, – я просто писал, и совершенно случайно, что я написал «Летопись Рима».

Он говорил правду, хотя и чувствовал себя не в своей тарелке. Ведь теперь выходило так, что он подпадает под сторонников Боденов, а этого ему также не хотелось.

– Значит, вы отрицаете плагиат? – спросил Второй.

– Как таковой – нет, он бывает. Но в данном случае я не занимался плагиатом, а по-настоящему, творчески писал «Летопись Рима».

Комиссия замолчала. Пиар продолжал болтать ногами, но теперь он делал это уже более по инерции, нежели сознательно, а потому это было очень смешно. Но Пиар этого не понимал сейчас, его мысли были направлены на сложившуюся ситуацию. Ведь теперь он оказался зажат в тисках политических интересов местных жителей, – так он считал, в то время как ему хотелось бы быть над всем происходящим – и все. Хотя почему бы и не выбрать кого-нибудь из двух? Нет, из-за принципа надо оставаться вне их проблем, как раз потому, что они ожидают иного!

– Странно, – заговорил Первый, – он говорит, что он не плагиатор, но плагиат признает...

– Я так и думал, это даже похвально. Но, тем не менее, Вердикт вынести надо, – заключил Второй.

– Действительно, – отозвался Третий и возникла пауза. Пиар весь напрягся.

– Комиссия удаляется на совещание, – проговорил Третий, – вы побудете немного в одиночестве, но это ненадолго.

– Хорошо, – кивнул Пиар и добавил, – давно пора.

На самом деле подобное одиночество его не напугало, ведь ничего не менялось – он так и оставался сидеть среди тьмы Театра на столе, в тоненькой полоске дневного света. Ему было интересно: куда удаляется Комиссия? Ведь, чтобы собраться вместе, им необходимо, чтобы Третий, стоящий за спиной Пиара, перешел к тем двоим, вперед. Или наоборот. Но линию света никто не пересек, а потому оставалось лишь догадываться: как можно совещаться, не держа совета.

Еще Пиар думал о том, как его только что охарактеризовала Комиссия. Уникальный объективист. С этим, пожалуй, можно согласиться, если считать его произведением дорожные расходы. Но ведь он, Пиар, если и мечтал когда-либо о писательстве, то уж никак не помышлял о дорожных расходах. С другой стороны, пиши он что-нибудь иное, был бы он объективистом? Уникальным? Уникальным – бесспорно, иначе, зачем писать? Но вот объективным... Он вспомнил свои репортажи, сверяя их на предмет объективности. Вообще-то, он никогда не сомневался в таковой, но это лишь оттого, что вообще не думал об этом. Его с детства учили, что хороший журналист объективен; он считал себя хорошим журналистом, а значит и... Нечто вдруг перевернулось в его голове, произошло короткое затмение. Пиар понял, что он недостаточно объективен, но и черт бы с этим! Он понял, что более не хочет быть тем, кто считает себя объективным. Ему с детства твердили: ты слишком субъективен, тебе недостает чувства реальности! А он специально шел против этого, сжимал зубы и кулаки, наддувался и твердил себе: нет, я объективен! А теперь, когда ему о его объективности сказали просто так, как о ничего не значащем факте, ему стало обидно. Просто он понял, неожиданно понял, пока Комиссия совещалась, что не стоила игра свеч, что ценности ей придавало сопротивление вокруг. А здесь, в Абгрюнде, никто не сопротивляется; но не это страшно – ведь он скоро отсюда уедет обратно, а там вновь будут сопротивляться, скорее по привычке, там Пиара иного и не знают. А здесь стало ясно, что сама по себе эта объективность яйца выеденного не стоит. И это вовсе не значит, что повысилась в цене субъективность – ничего подобного! Пиар осознал, что кем бы ты себя не считал, ты остаешься собою, а все остальное – лишь ширма, просвечивающаяся тряпка. И теперь ему стало совсем неинтересно, честно неинтересно, что ему скажет Комиссия. Да и что она сможет сказать Пиару о Пиаре, если Пиар сам о себе ничего не может сказать?

Вдруг – а для него это действительно стало вдруг – голос Третьего произнес откуда-то сзади, оттуда же, где он и был до этого:

– Решение вынесено, Вердикт принят.

Пиар улыбнулся и промолчал – пусть говорят они. Но и они молчали, а потому минуты через три Пиар все же спросил:

– И что вы решили?

Третий со спины ответил:

– Я решил, что вам...

– Пойдите! – прервал его Пиар. – Что значит «Я»?! А где те двое? – он кивнул вперед.

– Они ушли, – вздохнул Третий, – у них дела.

– Что значит «у них дела»?! – вознегодовал Пиар. – Вы же Комиссия, вы и должны решать все вместе, у вас совещательный принцип вынесения Вердиктов... Я это все знаю, вы меня не обманете! Где остальные?

– Мне не хотелось вам говорить, – замялся Третий, оставшийся единственным, – но им стало скучно, и они решили заняться более интересными и важными делами, нежели ваше Дело и ваш Вердикт.

Пиар был в гневе Он тут сидит, думает о своей судьбе и прочих глобальных вещах, а им скучно и они уходят!

– Да это ерунда какая-то! – возмутился журналист. – Вы же должностные лица, вы просто обязаны, слышите – обязаны! – соблюдать Закон!

– Я прошу вас не гневаться, – робко успокаивал Пиара Третий, – но у вас очень простое Дело, Вердикт стандартный. Потому в этом даже ваша вина, что они ушли. Будь вы чуть интересней, они бы наверняка остались – в этом я вас уверяю. Но так уж вышло, я вас не виню, что я один должен зачитать вам Вердикт.

– Он меня не винит! – вскричал Пиар, – это я-то стандартный?! Да как вы смее выносить такие решения, не спрашивая?

– Мы у вас спрашивали, – спокойно отозвался Третий, – А вы как раз и подтвердили своею оправдательной речью, да и теперь подтверждаете, правильность нашего Вердикта.

– Это не была оправдательная речь! – возмутился Пиар. – Я просто хотел говорить с вами! К тому же, почему я должен оправдываться перед вами?

– Не вы, а ваша речь, не перед нами, а за себя, – разъярил все Третий и на миг задумался, – Знаете, мне тоже некогда, я хотел бы попросить вас... В общем, я сейчас уйду, а вы никому не говорите об этом, ладно?

– Нет уж, это совсем свинство! – Пиара еще никто так не оскорблял своей незаинтересованностью в его судьбе.

– Извините, – послышался уже издалека голос Третьего, – До свидания!

– Погодите! – встrepенул Пиар, – а Вердикт-то где?

– Он сзади вас, на столе, – едва слышно раздалось эхо по Театру.

– Действительно, свинство какое-то! – пробормотал Пиар. Теперь он остался один. Сзади, на столе, действительно лежал лист бумаги. Пиар взял его и, свернув в трубочку – здесь он все равно ничего бы не прочел, – побрел по полоске света к выходу.

Его всего распирало от негодования, и, наверное, случись еще кому-нибудь схватить его за руку из темноты, могло бы случиться нечто страшное. Но Пиар никого не встретил до самого выхода, и прошел сквозь первую ячейку наружу. Солнечный свет ослепил его, чему он удивился, поскольку считал, что уже привык к нему там, внутри.

Но яркость дня в сравнении с тем солнцем, в полосе Театра, была просто невыносимой. Пиар зажмурился, прикрыл лицо рукою с Вердиктом и отвернулся от неба. Вход в Театр теперь казался ему не просто черной дырой в неизведанное, но тем местом, где так абсурдно и сумбурно, но все же решилась судьба его здешнего пребывания.

Пиар сейчас подумал о том, о чем он в Театре думать не хотел – о предательстве Гегена. Неужели этот старик действительно лишь разыгрывал из себя друга, чтобы наладить свои дела в Партии? А строил ли он из себя друга?

Пиару только что открылась еще одна истина – а ведь старик-то ни на что не претендовал, это сам Пиар представлял его себе другом, хорошим знакомым. А потому и обижаться на старика нельзя. Ведь называл же Писатель его предателем, а Геген даже не возражал, более того...

– Что ж, – проговорил Пиар, – надо учиться у таких людей жить. Ведь у Гегена, наверное, и совесть чиста.

За это время глаза его немного привыкли к дневному свету, и, теперь он машинально, весь еще в мыслях о Гегене, развернул Вердикт и уставился в него.

Сверху значилось:

ВЕРДИКТ

выданный Комиссией Пиару.

В центре листа было написано:

Определяем за Пиаром,
что он признается
на основании созданных им
дорожных расходов

ПИСАТЕЛЕМ

неоригинально субъективным,
болтающим ногами.

Ниже стояли неразборчивая подпись и сегодняшняя дата, а завершалось все маленьким словом «Театр», стоящим в нижнем правом углу.

Пиара это совсем не удивило, смущало только «болтающим ногами», но, вспомнив о муках Гегена по поводу туманного содержания в тексте, он решил особо не печалиться. К тому же, «болтающим ногами» было приписано от руки и другими чернилами, отчего Пиар еще более убедился в несерьезности всей процедуры.

Вновь свернув Вердикт в трубочку, Пиар пошел к выходу из Абгрюнда, хотя он и не знал – куда ему надо. Первым делом – выйти отсюда в Город и, наконец, позавтракать. Теперь-то понятно, почему Геген так торопил его утром, что Пиар даже забыл о еде – Гегену было просто необходимо, чтобы Пиар находился в Театре. Но теперь надо во что-нибудь ни стало что-нибудь съесть.

Пиар довольно быстро прошел сквозь Абгрюнд – благо мало встречалось ему людей, выбоины на площади хорошо различались, – и вышел через Проулок в Город.

Настроение у него поднималось с каждым шагом по мере того, как он отдалялся от Театра, Комиссии, Абгрюнда, и приближался к заветному обеденному завтраку. Так как он не знал иных заведений, кроме гостиничного ресторана, то он машинально свернул по выходу из Абгрюнда направо; гостиница была недалеко, Указатель Гегена остался где-то позади, возле Набережной.

Мысли об опасности нахождения в гостинице Пиар не допускал, и это было вполне объяснимо. Ведь об опасности его предупреждал Геген, а теперь Гегена нет, Геген его предал, Вердикт вручен – все изменилось, игра закончилась, а посему и ее правила более не действуют. Для Пиара это было ясно как день, над этим даже не надо было думать.

Но «Летопись Рима» была закрыта. Пиар с удивлением уставился на это проявление негостеприимства гостиницы, но затем подумал, что, вероятно, это связано с грядущим Днем Преодоления.

При вопросе: куда же идти покушать, на котором почему-то так упорно и даже со злобой упорствовал желудок, Пиар вспомнил о Нонейме и его дяде Ши. И поморщился. Судя по имени, Ши – китаец, а Нонейм на китайца совсем не похож. Либо это не родной дядя Нонейма – а в этом случае благожелательное присутствие Пиара как друга Нонейма у Ши весьма сомнительно; либо история там еще темнее, а потому и вовсе не хотелось познавать ее тонкости на собственной журналистской шкуре.

Но иного пути у него не было. Журналист достал из нагрудного кармана бумажку, которую дал ему Нонейм, и прочел ее. На ней просто значилось: «Ши, историк». Это была визитка, но без адреса – так теперь понял Пиар. И при этой неглубокой догадке его прошибло потом: сумка с вещами! Он забыл ее в Абгрюнде! Надо идти туда сейчас же! И журналист понесся к Абгрюнду, но достаточно быстро запыхался, причем настолько, что этого хватило на перемену решения о возвращении в Абгрюнд, а если быть еще точнее – на его перенесение. Журналист решил сначала отыскать Ши, поесть у него, а затем вернуться. Он остановился посреди улицы, держа в одной руке свернутый Вердикт, а в другой – визитку историка. Спрашивать у местных жителей, где жи-

вет историк Ши, он не собирался, а потому просто решил показать им визитку, дальше действовать по обстоятельствам.

Но первый же прохожий, среднего возраста невзрачный мужчина, повел себя довольно странно. Он молча и строго посмотрел на протянутый ему Пиаром клочок бумаги, а затем поднял на журналиста сияющее лицо:

– Да, это мое. Где вы ее нашли? – с этими словами он взял визитку из рук Пиара и положил ее в карман.

– Видите ли, мне дал ее ваш племянник, Нонейм, – не мог поверить такому совпадению обрадованный Пиар. Хотя, если Ши идет не домой, а по делам, то это еще больше свергало Пиара в пучину неопределенности.

– Ах, да! – мужчина хлопнул себя по лбу, – Вы Пиар? Нонейм меня предупреждал о вашем приходе, совсем из головы вылетело!

– А вы и есть Ши? – удивился Пиар совсем не китайской внешности собеседника.

– Конечно, – закивал головой Ши. – Историк Ши, – откашлявшись, отчеканил он и протянул руку.

– Пиар, – вздохнул Пиар и ответил рукопожатием.

– А вы же писатель! – почему-то обрадовался Ши. – Вас, кстати, определили? Ведь, если я ничего не перепутал, вас сегодня должны определять?

– Да, – кивнул Пиар и сделал неопределенный жест рукой со свернутым Вердиктом. – Определили, но не очень кстати.

Ши замахал руками:

– Ну, это ерунда. Ведь главное, что утвердили, а все остальное – неважно. Я, к примеру, не помню ни одного случая, чтобы определяемый был полностью удовлетворен вынесенным ему Вердиктом, – он запнулся. – Что это мы здесь стоим? Пойдемте ко мне.

Он смотрел на Пиара горящими глазами, отчего походил на сумасшедшего. Не найдя, что ответить, Пиар согласно кивнул. И Ши пошел впереди, а Пиар последовал за ним.

Жил Ши недалеко от гостиницы, на главной улице Города, в обычном трехэтажном доме, на третьем этаже.

Это была огромная квартира с высокими потолками, но вся какая-то неухоженная, отчего все вокруг выглядело убого. Тем не менее, Пиару это больше нравилось, нежели Абгрюнд с его ячейками.

Как только они вошли в квартиру – а дверь им открыл какой-то старик, которого он представил своим дядей, временно живущим в силу своих семейных обстоятельств у него, – Ши сразу же попросил Пиара проследовать на кухню.

– Вы, наверное, проголодались? – спросил он. – Ведь теперь время обеда?

– Да, – опять кивнул Пиар и последовал за Ши. Старик же, кричась, отправился в комнату, что-то бормоча себе под нос.

На кухне у Ши было уютнее, чем в прихожей; здесь царил порядок, чего Пиар не мог сказать, к примеру, о своей квартире. Но ему это было простительно, поскольку работа не оставляла времени на всяческие домашние дела, в том числе и на регулярную уборку кухни, на которую он и заходил-то только по утрам, чтобы выпить кофе.

Кухня Ши представляла собою полную противоположность, вероятно, ее хозяин любил хорошо поесть. Пиар помыл руки и сел за стол. Рядом он положил свой Вердикт, и терпеливо дождался, пока Ши не выставил перед ним аппетитный обед. Тут же Пиар с тоскою подумал, что среди вещей, забытых им в Абгрюнде, есть полбутылки красного вина.

– Какие у вас планы на сегодня, на завтра? – спросил Ши. Сам он ничего не ел, а тем же горящим взором рассматривал гостя. Если бы Пиар не очень хотел есть, он бы смутился под этим взглядом, но сейчас такие тонкости этикета не могли отбить у него аппетит.

Пиар неопределенно помотал головой, и, торопясь прожевать и проглотить еду, ответил:

– Сейчас мне надо сходить в Абгрюнд, я оставил там кое-какие вещи, забрать их. Затем я вернусь сюда, если, конечно, вы не возражаете...

- Ну что вы! – встрепенулся Ши, будто ему дали оплеуху.
- Вот, затем я собираюсь выспаться, что-нибудь почитать, – продолжил Пиар. – Завтра – не знаю.
- Завтра День Преодоления, – напомнил Ши.
- Да, я слышан, – кивнул Пиар, – Тогда, может быть, выйду прогуляться по Городу. А послезавтра, когда поезда начнут ходить, отправлюсь домой.
- Стосковались? – поинтересовался с сочувствием Ши. – Семья?
- Нет, что вы! – ответил Пиар. – С семьей успеется. Но здесь, конечно, тяжело. Ваши обычаи, порядки, законы...
- Я понимаю, – кивнул Ши. – Можно посмотреть? – он дотронулся до лежащего на столе Вердикта.
- Конечно, – согласился Пиар, – забавная бумажка.
- Ши бережно взял Вердикт и внимательно прочел то, что там написано. Пиар следил за реакцией историка, ожидая увидеть улыбку на его лице, когда тот дочитает до «болтающий ногами». Но Ши оставался совершенно серьезным, кивнул и положил Вердикт на место.
- Ну что? – спросил Пиар.
- Поздравляю вас с утверждением, вы определены, – сдержанно ответил Ши.
- Это ладно, – махнул рукою Пиар. – Ну а как вам про ноги?
- Ши задумался, а затем произнес:
- Да, наверное, вы их очень достали, – заключил историк. – Не многим это удается. Но, тем не менее, они вас определили.
- Пиар довольно кивнул и продолжал поглощать обед.

13. Библиотека Ши

Покончив с обедом, Пиар поблагодарил Ши и, сказав, что сейчас вернется, пошел в Абгрюнд. Солнце перевалило далеко за полдень, было тепло, и Пиар как-то даже отрешился от событий сегодняшнего утра, да и двух последних дней. Ему все теперь казалось каким-то сном, все: Геген, В., Александр, Комиссия... К тому же ему очень понравился Ши – совсем нормальный человек, хотя исключить какого-нибудь безумия у него Пиар не мог – ведь Писатель тоже сначала казался нормальным. Да и взгляд у этого Ши какой-то... Но журналист уже стал привыкать к странности окружающих, и, теперь, когда он сытый и довольный шел по солнечному городу, ему жизнь среди нормальных людей казалась бесприсветной и скучной.

Он, не торопясь, дошел до Абгрюнда, свернул в Проулок и через минуту вновь очутился внутри. По непонятным причинам, Абгрюнд вновь заморозил его на миг остановиться. Но теперь Пиар смотрел на все иначе – теперь он знал ячейки и лестницы, теперь он побывал в Театре. Тем не менее, чем-то неизведанным и завораживающе-величественным веяло от этих высоченных стен, от этих булыжников, от этих людей, которые, вопреки всяким здравым смыслам, находились здесь, здесь существовали. Хотя, вполне возможно, Пиар так считал из-за того разомлевшего состояния сытого и немного усталого от этой сытости гостя, который видит все это, наверное, в последний раз.

Навстречу Пиару из глубины Абгрюнда, из той самой, где притаился темный Театр, выступил какой-то человек. Пока, издалека, он был всего лишь букашкой. Но Пиар почему-то подумал, что эта букашка идет непременно к нему, и тогда это насекомое моментально выросло в его глазах до небывалых размеров. Журналист, хотя и был спокоен, но не верил здесь в случайности; мало ли что таит в себе приближение этого человека? Пиар даже с усмешкой подумал о втором Гегене, но тут же успокоил себя тем, что двух таких, как Геген, быть не может.

Это был Писатель. Он, видно, давно уже ждал Пиара, и теперь спешил к нему, чуть ли не бегом. Пиару деваться было некуда, он остановился и принялся ждать. Навстречу Писателю он не пошел специально, чтобы показать, в первую очередь себе, что ему, Пиару, эта встреча ни к чему. Писатель этого не заметил, а, может быть, только сделал вид.

– Где же вы? – взволнованно подбежал он к Пиару, – Я вас уже битые два часа тут разыскиваю, весь Абгрюнд облазил. Мы же с вами договаривались, вы помните?

Пиар только сейчас вспомнил и тут же с чувством собственного достоинства выдал:

– Мы с вами не договаривались, но, – Писатель захотел что-то сказать, но Пиар упредил его слова, – но вы лишь спросили, где меня найти, где я буду. Геген ответил вам, что я буду в Абгрюнде, и был прав. Я действительно был здесь, в Абгрюнде, все утро и весь день, и ушел буквально часа три назад. Так что я ничем вам не обязан. Более того, если бы я не забыл здесь свои вещи, вы бы до сих пор меня ждали и уж точно бы не дождались.

Пиара раздражало то, что он был теперь вынужден вспомнить о Гегене, о вчерашнем дне, так встревожившим его за судьбу этого Писателя. Писатель обиженно пробормотал:

– Значит, вам безразлична моя судьба? А ведь меня сегодня полдня пытала Комиссия. Они хотели узнать о вас, между прочим.

Пиар смягчился:

– Вам тогда очень повезло. Меня эти господа вниманием не вознаградили, а я того бы очень хотел. Ваша же судьба мне не безразлична, но я тоже сегодня встречался с Комиссией, и видел, что из себя представляют эти люди. Потому я совершенно спокоен на ваш счет, поскольку ничего страшного ни Комиссия, ни ее решения не могут причинить ни моей, ни вашей судьбе.

Писатель усмехнулся и свысока посмотрел на Пиара:

– Легко вы рассуждаете... Конечно, вам легко рассуждать. Вы в этом городе проездом, вы отсюда уедете. А мне и всем им, – он кивнул вглубь Абгрюнда, – нелегко. Вы не понимаете всей серьезности происходящего здесь. А здесь решаются судьбы людей! И люди эти ничем не хуже, чем вы. А, может, даже и лучше.

Пиар нарочито усмехнулся:

– Да, люди хорошие, только немного того! – он покрутил пальцем у виска. – Люди хорошие, только придумали они себе какие-то дурацкие порядки! И теперь от них страдают и хотят их обмануть! Хотя, что я говорю писателю медицинских справок!

– Да, – встрепенулся Писатель. – Что это я слушаю писателя дорожных расходов и плагиатора писателя медицинских справок!

Было видно, что он обиделся на Пиара.

– Мне очень жаль, – грустно проговорил Пиар, – что вы не видите в творчестве ничего дальше справок и расходов, – и он собрался идти дальше, но Писатель его остановил:

– А знаете, почему мы не видим дальше справок и расходов?

– Почему же? – спросил Пиар, совсем не понимая, к чему этот вопрос.

– Потому что, – Писатель сделал торжествующий вид, – потому что люди уже ничего не пишут, кроме расходов и справок. Все очень просто!

И он по-дружески похлопал Пиара по плечу. Пиару не понравился этот фамильярный жест; ему стало обидно за всех остальных, которые находятся там, за пределами К., и он ответил:

– Если у вас более того ничего не пишут, то в этом только ваша заслуга. А у нас пишут нормально; мы пишем то, что стоит того, чтобы быть написанным.

– Медицинские справки, я так понял, это ненормально и писать их не стоит? – с иронией спросил Писатель.

– Нет, почему же, они стоят того, они нормальны. Но не только они, вы это понимаете? – Пиар посмотрел на недоумевающего Писателя. – Вряд ли вы понимаете, – вздохнул он.

– Конечно, мне этого не понять. Только почему вы, пришедши в номер, сели за дорожные расходы, а не за «Войну и мир», скажем?

Пиар понял, к чему клонит Писатель, и ответил:

– Во-первых, «Война и мир» уже написана. Во-вторых, я был с дороги, и мне надо было записать, сколько я потратил...

– Хорошо, – прервал его Писатель, – а теперь представьте, что все люди всегда либо с дороги, либо с магазина, либо из больницы... В общем, все они откуда-нибудь.

– Ну, это ясно, – не понял Пиар, – Так всегда, этого даже не надо представлять. Что дальше?

– Это мне не надо представлять, поскольку я реалист. А вы уж потрудитесь представить, и хотя бы в течение трех минут про это не забывать, – Писатель сложил руки на груди, – Человек, идущий в больницу, просит справку и рецепт. Человек, приехавший из командировки, пишет расходы. Назовите мне теперь то место, куда или откуда должен прийти человек, чтобы ему необходимо было написать роман... Да что там роман, хотя бы стихотвореньице, такое маленькое, с рифмой «идет – не идет»?

Пиар понял, что попался. Он ничего не мог ответить. Конечно, он мог бы что-нибудь придумать про существование творческих людей, но сам-то он писал потому, что работал в газете! И никогда не писал просто так, без всяких «потому что». И он с ужасом осознал, что в словах Писателя есть львиная доля правды.

Писатель же, наоборот, посчитал молчание Пиара несогласием со своей речью и продолжал, хотя и более спокойно:

– Мы как раз и ориентируемся на реальность. Людям нужны справки и расходы – они в них реально нуждаются. А ваши романы и прочее – это все слова, кипы слов! И я не знаю, какие у вас порядки, но если не такие, то мне жаль вас. Неужели вы цените никому не нужное творчество?

– А вы не цените творчество? – спросил Пиар.

– Ценим. Вот сели бы вы за роман, а не за дорожные расходы, вас бы оценили иначе. Но ведь нет, вы не исключение! Вам нужны расходы!

– Это полная случайность, – пробормотал Пиар, – я мог бы с тем же успехом сесть за роман. А почему бы и нет?

Он гордо кивнул головой, хотя и не верил себе сейчас.

– Мог бы, он мог бы! – Писатель рассмеялся. – Но почему-то не сели! А жизнь не вернешь! Вот так и случается – если бы все могли бы, да еще и сделали так, как могли, то в К. царили бы совсем другие порядки! Да что в К., во всем мире! – Писатель мечтательно закрыл глаза, но затем встрепенулся. – Но вы не смогли!

Пиар хотел было возразить, что не он виноват в порядках К., но промолчал – виноват он или нет, но для Комиссии он – писатель дорожных расходов. Он правило, а вовсе не исключение.

– Что вы мне хотели сказать? – примирительно спросил Пиар.

– Что вам может сказать писатель медицинских справок? – обиженно спросил Писатель и гордо направился к выходу из Абгрюнда.

Пиар побрел к ячейке Александра, и, пока он искал подходящую цифру 1024, его посетили не очень приятные мысли.

Писатель был, с одной стороны, прав. Но лишь с одной, с вербергеновской. Теперь Пиару позиция Вербергенов казалась не такой уж и абсурдной, более того, он теперь стал понимать и Боденов.

Найдя нужную лестницу, он начал по ней забираться наверх. А все-таки жаль, что Писатель обиделся, Пиар не хотел его обижать, особенно сейчас, когда проникся его правотой.

Без труда преодолев два яруса, в которых никого не было, журналист запрыгнул в ячейку Александра. Здесь тоже было пусто. На столе белела записка. Пиар не знал, кому она адресована, но посчитал не лишним ее прочесть.

«Пиар, – значилось там, – Мне нужно обсудить с вами одно очень важное для меня дело. Но обстоятельства вынуждают меня спешить. Мне важно, чтобы вы были осведомлены. Надеюсь, что мы завтра встретимся и все обсудим. Александр».

Пиар с уважением разглядывал этот детский почерк – там, где не пишут, даже записка кажется произведением искусства. Хорошо, что с парнем ничего не случилось, – отметил про себя журналист.

На кровати лежала его сумка. Пиар взял ее и с тоскою посмотрел на ячейку, где он провел ночь. Теперь все выглядело менее таинственно, но более уютно. Даже захотелось здесь остаться до послезавтрашнего дня, а затем тайком, перебежками рвануть на вокзал, сесть на поезд и ни о

чем и ни о ком более не слышать. Если он раньше хотел таким образом бежать от местной глупости и абсурда, то теперь ему хотелось скрыться от этой местной правды, которая заставляла его думать над тем, над чем думать было опасно.

Пиар сложил записку и бросил ее в сумку. Теперь можно идти...

Он вернулся к Ши уже к вечеру. Солнце еще не закатилось, но уже заставило тени удлиниться до невыразимых размеров. Подобно теням, возросли в глазах Пиара и все слова Писателя. И журналист бродил по городу часа три, пытаясь уложить мысли в какой-либо порядок, чтобы голова стала легкой и не цеплялась за их грубые края, причиняя ему боль.

В итоге голова у него действительно разболелась, но это было даже к лучшему – теперь Пиар вообще ни о чем не мог думать, кроме того, что у него ужасно болит голова. Дверь ему открыл Ши, несказанно обрадовавшись возвращению гостя.

– Как там Абгрюнд, – спросил он, – стоит?

– Стоит, – вздохнул Пиар, – только почему-то молчит.

– Завтра он тоже будет молчать, – беззаботно произнес Ши без того налета трагизма в голосе, с которым говорил о молчании Геген.

Пиар сказал, что он уже знает об этом. Ши резко перевел тему разговора и напомнил Пиару, что тот хотел что-нибудь почитать. Пиар с этим согласился, и не стал говорить, что почитать он хотел ту книгу, которая у него с собою; ведь, весьма возможно, что Ши предложит что-нибудь более интересное.

Так и случилось. Ши провел Пиара в комнату, две стены которой были отведены под книги – сверху донизу слева направо тянулись вереницею разноцветные, в основном темные, тома. Правда, здесь был еще и письменный стол, наполовину заваленный книгами и кожаный диван черного цвета.

– Это моя библиотека. На две ночи это будет ваша комната, а это, – Ши указал на книги, – ваше чтение. Выбирайте что хотите, только, – он сделал важный вид, – ставьте, пожалуйста, все на место.

– Большая у вас библиотека, – восхищенно произнес Пиар, стыдливо вспомнив о своей, занимающей два ящика письменного стола, да и то не полностью.

– Да, – гордо ответил Ши, – у меня одна из самых больших частных библиотек в этом городе.

– Книги вам нужны для работы? – с участием спросил Пиар.

– Нет, что вы! – рассмеялся Ши. – Зачем историку книги? Это просто коллекция, хобби. Ведь я не прочел и трети всего этого.

Журналиста удивил такой подход, но больше он ничего не стал спрашивать, потому что боялся неосторожно обидеть Ши.

Историк ушел, оставив Пиара наедине с книгами. Журналист не любил книг, точнее, не испытывал никакого благоговейного трепета перед ними. Его научили тому, что важнее живых людей нет ничего, с ними и надо работать. Книги же остались где-то в детстве, вместе с образованием, по ним полученным.

Но, оказавшись среди стольких книг, он не мог не обратиться к ним.

Библиотека Ши оказалась хорошо систематизированной, хотя принципа, лежащего в основе этой систематизации, Пиар понять не мог.

К каждой полке была прикреплена записка, характеризующая стоящие на полке книги. Надписи были разные. Пиар прошел мимо «Плохих книг»; мимо «Непопулярных книг»; задержался возле «Интересных книг»; но, в итоге, остановился перед огромной полкой, обозначенной как «История Абгрюнда».

На ней стояло множество томов, и он наугад вынул один из них. «Докомиссионный период», гласило его название. Пиар сел за стол и открыл книгу на середине.

«...Мы с вами можем долго говорить и утверждать, как некоторые утверждают, что Абгрюнд без Комиссии вовсе не влачил жалкого существования, а представлял в своем лице полную энер-

гии и мощи конкурентную силу всему Городу. Но, тем не менее, только слепой не узрит очевидного факта, согласно которому Абгрюнд был посмешищем для всех, живущих вне его. Порядки Абгрюнда той эпохи трудно охватить в полной мере (в основном из-за отсутствия артефактов), но с уверенностью можно сказать, что до появления Комиссии порядки, нравы и обычаи Абгрюнда казались смешными не только жителям Абгрюнда, но и нам, окажись мы в ту эпоху в Абгрюнде. Своеобразие абгрюндовой культуры докомиссионного периода трудно передать на словах. Достаточно привести несколько ярких примеров, иллюстрирующих вышеизложенное в достаточном для сегодняшнего понимания виде. К примеру, Театр того времени вовсе не служил местом Общего Собрания жителей, но выполнял, как мы сейчас сказали бы, совсем не театральную функцию: там собирались так называемые «актеры», дабы сыграть одно из отвратительных произведений какого-нибудь городского автора...»

Пиару стало скучно, и он захлопнул книгу, отчего сразу же повеяло чем-то; скорее, не докомиссионной эпохой Абгрюнда, но просто книжной пылью. Журналист взял следующую книгу, озаглавленную как «Комиссия» с подзаголовком «Зарождение». Здесь он поступил точно так же – открыл книгу наугад.

«...Деятельность Непома остро поставила вопрос перед жителями Абгрюнда: если не начать отделение и классификацию пишущих, то вскоре можно ожидать потока грязных и просто социально неприятных своими подтекстами и последствиями книг. Оппозиция, тайно лелеявшая планы о лишении Непома полученных им полномочий, искала подходящий случай, чтобы совершить провокацию. И, как случается в истории, случай этот действительно так и не подвернулся. Но, прежде чем приступить к причинам, не позволяющим случаю подвернуться, стоит отметить ряд положительных моментов в пользу противников оппозиции...»

Пиар закрыл книгу и задумался. Неужели люди писали эти толстые тома только затем, чтобы описать появление Комиссии? Не стоит Комиссия того, решил Пиар. Даже если Писатель во многом был прав, то Комиссия, такая, какую ее видел Пиар, вообще недоразумение какое-то. Ей было бы большим счастьем одна шестнадцатая на последней странице самой желтой газеты, – так сказал бы его редактор. А тут – целые тома!

Пиар понял, что он чего-то не понимает во всем этом; но, тем не менее, положив на место этот том, он взял следующий: «Комиссия. Начало расцвета».

«...После окончательной победы Непома и разгрома оппозиции (см. предыдущий том), Абгрюнд стал преобращаться. На его, до этого сером, фоне стали заявлять о себе те, кого мы до сих пор считаем классиками литературы Абгрюнда, и кого все остальные за пределами Абгрюнда не считают таковыми лишь в силу своей природной неполноценности и просто глупости. Первым Делом Комиссии стало рассмотрение Дела самого Непома, возглавляющего тогда эту Комиссию. Комиссия решила большинством голосов определить Непома как «живого классика ясного стиля». В этом каждый из вас может убедиться лично, если прочтет бессмертное произведение Непома «Несуществующие враги». Там он весьма метко определил и систематизировал все несуществующее на два вида. Несуществующее первого вида он оригинально назвал выдумкой; несуществующее второго вида – врагами. Не стоит, однако, путать врагов с выдумкой, поскольку враги не существуют совсем иначе, нежели не существует выдумка. Несуществующие враги строят неосуществимые козни против вас, собираясь осуществить неосуществимое покушение. Человек, принявший их вызов, отныне всю жизнь должен посвятить этой невидимой борьбе...»

Уже вовсе бред какой-то, подумал Пиар и поискал на полке книгу «Несуществующие враги». Книга была рядом выше, помеченным как «Живая классика ясного стиля». Помимо книги Непома, на этой полке было еще пять книг: книга с ничего не выражающим названием «Небо и Земля»; красная книга с названием «Зелень кругов»; белая тоненькая книга, озаглавленная как «Столица и всё»; огромный том «Возмущение затухло» (причем «за» было написано почему-то отдельно) и книга «Белые и чайник».

Решив, что классику Абгрюнда ему все равно не понять, Пиар обратился к другой стене. Здесь все было классифицировано менее официально, но не менее непонятно. Пиара сразу же привлек-

ла записка «Книги, претендующие на мысли». Здесь было всего три книги, названия которых на корешке обозначено не было. Решив вернуться к ним позже, он поднял голову вверх. Там стояли книги, которые, по мнению Ши, на мысль не претендовали; далее стояли такие же, не претендующие, но, вопреки претензии, мысль все же содержащие.

Левее располагались книги «Художественные без художеств», еще левее – «Просто романы». Найдя там знакомого ему с детства Жюля Верна, Пиар обрадовался и хотел посвятить оставшееся до сна время ему, но решил последовательно ознакомиться с библиотекой Ши до конца.

Книги без вкуса, книги без запаха, книги пустые, книги смешные... Интересно, зачем Ши их все подписал? Конечно, он их не все читает, а когда захочет почитать, будет знать, где какую взять. Но, если он их не читал, то как же он их систематизировал? По чьему-то совету? Вряд ли, ведь он гордый. Скорее всего, по особому чутью, инстинктивно.

Тут Пиар натолкнулся на записку «Мои книги». Он взял первую попавшуюся и сел за стол. На титульном листе значилось «Ши Ворот. Введение в историю Доабгрюндовой Эпохи. Том III».

Пиар нехотя поднялся из-за стола и поискал первый том. Но на полке его не было, только девятый и четырнадцатый тома. Журналист посчитал отсутствие томов вполне нормальным, ведь могло бы так быть, что Ши их отдал кому-нибудь почитать.

Решив, что начинать чтение не с начала не стоит, Пиар поставил третий том Ши на место и взял с той же полки книгу с названием «Непом: мессия Абгрюнда». Тут же было изображение этого Непома, стилизованное под средневековую гравюру. Это было толстое лицо лысого мужика. Никакой растительности на лице, отвисший двойной подбородок. Пиару этот тип напомнил какого-то крупного чиновника, у которого Пиар пару лет назад брал интервью. Тот тип выглядел точно так же, за исключением подбородка – он, помнится, был тройной. Чиновник тогда всячески выказывал презрение к журналистам, ко всем людям вообще, отчего у Пиара теперь сложилось такое же мнение о Непоме. Он понимал, что это глупо, и пытался представить, что не все люди с подобной внешностью обладают таким скверным характером. Но ему это никак не удавалось, а потому он просто открыл книгу Ши с самого начала и принялся читать.

«При исследовании Эпохи до Абгрюнда многие современные историки оказываются в неловком положении. Помимо естественных трудностей с источниками, у них возникает ряд вопросов, разрешению исторически не подлежащих, и именно поэтому исследованию претящих. Я могу даже предположить, что не будь этих вопросов, или же, подлежи они быстрому и однозначно-му ответу, историков Доабгрюндовой Эпохи было бы в четырнадцать раз больше (если кого-то интересует эта цифра «14», я отсылаю вас к моей неопубликованной статье «Причины, которых нет» – Ш.В.).

Одним из таких вопросов является именно тот, который спрашивает: какую же Эпоху считать Доабгрюндовой? Иначе этот вопрос звучит так: с какой Эпохи начинается Абгрюнд? Многие, достигнув этого вопроса и не постигнув ответа на него, уходят из Матери Наук (Истории – Ш.В.) восвояси. Вашему покорному слуге этот вопрос сложным не кажется вовсе, ибо Доабгрюндовой Эпохой будет та, когда Абгрюнда еще не было, Эпохой Абгрюнда будет та, когда Абгрюнд уже был. Если кто-то не удовлетворится этим ответом, с тем я готов вступить в публичную дискуссию касательно приведенных выше формулировок.

Но здесь, коли мы справились с поставленной задачей и готовы перейти к следующей, перед нами встает проблема совсем иного рода...»

Пиар пролистал несколько страниц в поисках упоминания того самого Непома, о котором, собственно, книга и была написана, коли судить по названию. Не найдя даже намека на Непома, Пиар справился по этому поводу в содержании, где с радостью обнаружил главу «Жизнь и деяния Непома». Открыв страницу триста сорок семь, где эта глава начиналась, он принялся внимательно читать.

«Переходим теперь к главному герою этой работы, к тому, кого некоторые называют Христом Абгрюнда, некоторые – проклятием Абгрюнда. Как бы то ни было, но Непом родился. Нам неизвестно, когда он родился, хоть сам факт его рождения сомнению не подлежит, ибо нам до-

подлинно известно, что Непом жил и умер (кстати, многие, желая оспорить этот факт рождения, приводят в пример исследования современных ученых о жизни без рождения и смерти без жизни; эти господа хотя нас уверить, что, если Непом жил, то вовсе необязательно, что он родился; этого же нельзя сказать по факту его смерти тем более – и т.д.).

Полное имя Непома – Непом Нюкто – также многими оспаривается, но в данном случае будет просто благоразумно положиться на традицию.

Детство Непома прошло там, где сейчас располагается Абгрюнд. Ответить на вопрос: а был ли тогда Абгрюнд или нет, мы не можем, а посему должны сойтись на том, что Абгрюнд – это место современного Абгрюнда, а не сам Абгрюнд (подробнее это изложено в моей книге «Абгрюнд и Абгрюнд» – Ш.В.).

С детства Непом был чрезвычайно ленивым и плаксивым крепышом, что с гордостью отмечает в своей книге выдающийся исследователь того периода Вильгельм Рун (также стоит отметить, что В. Рун тогда еще не знал о той роли, которую будет суждено сыграть в истории этому жирному малышу). Известен один случай, когда Непом не пожелал идти учиться и просто принялся визжать на весь Абгрюнд, отчего вокруг того места, где он жил, собрался весь народ. Независимо от того, чем все это закончилось (об этом подробнее в книге В. Руна «Визг Непома. След в истории»), мы теперь можем с уверенностью сказать, что Непом проявил себя как сильная историческая личность уже тогда, в детстве. По этому поступку мы можем увидеть в нем будущую судьбу Абгрюнда. В этом жесте Непом выразил несогласие с традиционным приравнением писателей друг к другу, и заложил основу Комиссии, которую ему предстоит в недалгом будущем основать...»

Пиар закрыл книгу. Он не мог поверить своим глазам, своим мыслям. Неужели это все воспринимается всерьез? Он решил больше себя не терзать и громко позвал Ши. Через пару минут в комнату вошел дядя Ши, старик, а за ним поспешно и сам историк.

– Дядя, это не вас, это меня, – громко сказал он старику и почти насильно вывел старика из комнаты. Затем он вернулся и с интересом посмотрел на Пиара. – Вы в чем-то нуждаетесь, Пиар?

Пиар кивнул на книгу и произнес:

– Я здесь читаю вашу книгу о Непоме.

Он посмотрел на историка, тот горделиво выпрямился.

– Мне интересно вот что. Непом – это, по-моему, ваш герой?

– Нет, – ответил историк, – это герой Абгрюнда.

– Это он? – спросил Пиар, указывая на лысого на гравюре. Историк согласно кивнул.

– Так вот, – продолжил вопрошать Пиар, – то, что вы пишете... Так и есть? То есть, я хочу сказать, это общепринято?

– Конечно, – кивнул Ши, – историк, который работает вне традиции – это не историк, а писатель-фантаст.

– Хорошо, – продолжил Пиар, – Неужели жители Абгрюнда восхищаются этим человеком? – он снова кивнул на гравюру.

– Да, – удивленно ответил Ши, не понимая, к чему клонит Пиар, – а что?

– Нет, ничего, – вздохнул Пиар, – скажите мне просто: что сделал Непом?

Историк сделал важное лицо и, выдержав паузу, произнес:

– Непом основал Комиссию, он заложил основы порядка ярусной вертикали в Абгрюнде, предложил одностороннее выходное движение. Правда, он был против допуска непартийных к обитанию в Абгрюнде, но будущее показало, что благоразумнее всего допустить их на первый ярус.

– А чем Непом занимался? – спросил Пиар.

– Он? Да, собственно, ничем. Но в этом и состояла его миссия. Он написал книгу «Несуществующие враги», где разделил все несуществующее на два вида...

– Это я уже знаю, – прервал Ши Пиар, – Значит, в основном, Абгрюнд обязан своим современным состоянием этому Непому?

Историк спокойно кивнул, будто это само собою подразумевалось.

– А кем он был: Вербергеном или Боденом? – уточнял Пиар для себя какую-то картину.

– Это интересный вопрос. Сам Непом не был ни тем, ни другим. Комиссия признала за ним звание классика, которое предполагает позицию вне партийной борьбы. Тогда, к тому же, не было внутривнутрипартийного деления на Боденов и Вербергенов, вылившегося впоследствии в разделение на партии...

– Ясно, – вновь прервал Пиар, – Но, все же. Если пересмотреть творчество Непома сейчас, то к кому бы его можно было отнести?

Историк пожал плечами:

– Не знаю. Я полагаю, что, предстань он сегодня перед Комиссией, его бы вообще не определили.

Пиар был поражен такой откровенностью:

– То есть, вы хотите сказать, что Непом вообще не был бы сегодня писателем? Тот самый Непом, который признан всеми за классика литературы Абгрюнда?

– Конечно, – спокойно кивнул Ши, – именно это я и хотел сказать. Видите ли, Непом заложил основание такому идеальному порядку, благодаря которому на свет появились и заявили о себе настолько талантливые люди, что сам Непом им в творческой конкуренции в подметки не годится.

– Но зачем же вы им все так восхищаетесь? – удивился Пиар.

– Видите ли, – улыбнулся историк, – Непом – это наше прошлое, без которого не было бы нашего настоящего. Нет ничего удивительного в том, что Непом был несовершенным. Не будь его несовершенства, не было бы нашего совершенства. Так что любой ребенок вам расскажет о глупости Непома. Но тем не менее...

– А разве дети смогут его уважать после всего этого? – спросил Пиар.

– Конечно. В детстве мы ругаем Непома, а повзрослев понимаем, что он был великим. Видите ли, у нас во всем прогресс – и в истории, и в жизни каждого.

Пиар заинтересованно посмотрел на Ши, как бы спрашивая его разъяснить последние слова.

– Прогресс в истории заключается в том, что мы выросли настолько, чтобы видеть глупость нашего основоположника. И чем новее поколение, тем глупее им кажется Непом, тем прогрессивней мы становимся. Сегодня человек, восхищающийся Непомом – это человек прошлого. Прогресс в жизни каждого состоит в том, что человек, с детства воспринявший традицию (т. е. ругающий Непома), к определенному возрасту понимает, что без Непома не было бы и его. Это ясно? – закончил разъяснения Ши.

Пиару было ясно то, что говорит Ши, но ему это было не понятно в общем, в принципе, он не мог этого принять.

– Ясно, – вздохнул Пиар.

– Я могу идти? – спросил Ши и собрался уходить.

– Подождите, – остановил его Пиар, – я хотел вас спросить по поводу вашей «Истории». Где все остальные тома? Здесь только третий, девятый и четырнадцатый тома.

– Это все, – Ши казался озадаченным.

– А где же первый том? – уточнил Пиар.

– Я его не написал, – беззаботно выдохнул Ши.

– Почему? – растерялся журналист. – Как же так?

Историк улыбнулся:

– Видите ли (судя по всему, понял Пиар, «видите ли» было его любимым выражением), все тома, кроме трех написанных, предполагают скучную работу, и мне их неинтересно писать. Я выбрал то, что мне интересно – и написал. Оказалось, что это третий, девятый и четырнадцатый тома.

Пиар промолчал, Ши постоял немного и вышел.

Оставшись в одиночестве, Пиар поставил на место книгу о Непоме, и решил, что историю Абгрюнда, так же как и классику его, ему никогда не понять, равно как и ее историков. Теперь

оставалось обратиться к совсем другой области знаний. Он подошел к полке «Наука», которую приметил еще давно. Ему было интересно – если в Абгрюнде есть свои физики, то могли бы они открыть что-нибудь такое, что не открыли еще там, в большом мире, за пределами К.? Пиар взял в руки книгу «Главный вопрос физики» и вернулся за стол. Вверху титульный лист был означен как «Серия: современная физика Абгрюнда».

Пиар в физике ничего не смыслил, но ему было интересно, в чем же главный вопрос физики Абгрюнда сегодня. Он открыл книгу с самого начала, и стал читать аннотацию.

«В книге, которую вы держите в руках, рассматривается важнейший вопрос физики, в зависимости от ответа на который может быть разрешен глубочайший методологический кризис, в котором вновь оказалась физика нашего времени. Это вопрос о соотношении длины и ширины. Напоминаю, что классическая физика современников Непома исчерпала свой ресурс. Конечно, ее положение об исключительности любого деления актуально и сейчас, но уже не является общеобязательным. Положение это гласит: делается то, что делается – и не более того. Классический пример для этого положения был взят из нашей обыденной жизни: если человек делает яичницу, то он делает яичницу – и не более того. Даже если у него не получится в итоге яичница, а выйдет, скажем, хороший омлет (при допущении того, что в приготовлении омлета мука не требуется или субъект случайно добавит в яичницу муку – об этом экспериментальном допущении классической физики см. книгу «Яичница и омлет»), то, с позиций классической физики, дела это не меняет, и у субъекта все равно будет плохая яичница, а не хороший омлет (как считали «приспособленцы» в физике). Но ресурс этого положения исчерпался и был поставлен под сомнение теорией приносительности, заявившей, что если получился омлет, то и он сгодится (т. н. принцип включенности в эксперимент).

Так вот, на фоне этих методологических баталий, вопрос о соотношении длины и ширины стал весьма актуальным и выступил на свет. Автор этой книги рассматривает в первой главе актуальность классического понимания длины и ширины, и приводит доводы в пользу этого понимания. Напомним, что с позиций классической физики, длина считается величиной большей, чем ширина.

Во второй главе автор рассматривает второй постулат теории приносительности, гласящий, что ширина и длина в некоторых глубинах равны. Также подробно освещается принцип включенности.

И, наконец, третья глава готовит читателя к восприятию абсолютно новой, совсем неожиданной и прямо-таки скандальной для всей предшествующей физики Барабанной теории. Согласно ей, ширина больше длины, независимо от глубин(!). По Барабану, отмечается вся предшествующая физика... Или она просто занимает свое место в традиции?

Мы предлагаем читателю самому во всем разобраться и ответить для себя на главный вопрос физики».

Пиар закрыл книгу и посмотрел в окно. Там царил полный мрак, отчего вспомнился Театр. Время было позднее, хотелось есть, но Пиар достал из сумки полбутылки того самого красного гостиничного вина, отчего вспомнился так любящий его Писатель. Пиар вернул книгу на место, и, чтобы отогнать воспоминания сегодняшнего дня, обратился к полке с тремя книгами, претендующими на мысль. Он взял одну из них и улегся на диван.

Пригубив вино прямо из бутылки, он открыл книгу без названия и уперся в эссе «Форма смысла».

«...Взять правильную квадратную форму и постепенно, плавно довести ее до выпуклости, подобной полукруглой, овальной подушке – в этом смысл. Какой смысл? Ну, как же: выпуклый, овально-подушечный смысл. Теперь можно успокоиться и вполне им удовлетвориться. Кому это не нравится, тот, должно быть, задается вопросом о смысле смысла такой формы. Эти господа могут не волноваться: если им не нравится это, если они на этом не останавливаются в своих поисках, то тогда можно сказать с полной уверенностью, что им придется не по нраву и любой другой смысл.

Конечно, допустим, что мы не будем доводить квадратную форму до овальной, а оставим ее такой, какая она и есть. Тогда спросим себя: довольны ли эти вышеупомянутые господа, остановятся ли они на достигнутом смысле квадратной формы? Вряд ли. Из этого всего можно сделать неутешительный вывод о том, что им вовсе не важно: изменяли ли мы нечто до овала или нет; значит, они не видят разницы в этом изменении, значит, для них нет смысла и в неизменном, дооваленном квадрате. Ну, а если так скверно обстоят дела, то к чему же тогда говорить с ними о смысле? К чему спрашивать у них, к чему на них оглядываться? Ведь для них, судя по всему, не будет смысла ни в квадрате, ни в овале, и даже в параллельном октаэдре они не увидят ничего. Но мы то с вами, как истинные знатоки смысловых модификаций, прекрасно понимаем, что нет более осмысленного смысла, чем смысл параллельно-октаэдрированный. Что же теперь мы можем сказать об этом?

Не стоит принимать во внимание то, что бессмысленно по своей сути, что бесформенно или что формы для смысла не признает, что, по сути, есть одно и то же. Мы прекрасно знаем и понимаем, что довести квадрат до овала – это нечто более, нежели какая-нибудь (к примеру) Великая Там Революция и прочие лишённые формы (читай: смысла) фигуры.

Нет, Пифагор не может быть нашим богом, ибо мы знаем, что нет ничего абсурднее, чем наделение смыслом чисел. Скорее, наоборот, числа наделяются смыслом, лишь приобретая некую, хотя бы и овальную (а почему бы и нет?) форму. Мы не должны пятиться назад и овальную форму приводить к квадратной, поскольку не существует – и не может существовать – такого логического доказательства, которое бы нас смогло убедить в том, что не овальное, но, наоборот, квадратное является формой совершенства...»

Пиар читал, веки его смыкались, и где-то внутри себя он был рад, что засыпает без воспоминаний сегодняшнего дня, без подведения сегодняшних итогов. Ему было интересно читать, вино постепенно подходило к концу, и он не заметил, как ушел в мир сна на полной смысла форме подушки, положив на нее усталую голову. В комнате горел свет. Ши пару раз заходил в комнату, брал книги, но он был осторожен, ходил на цыпочках, дабы ничем не потревожить сон своего гостя.

14. Место

Каждое утро начинается со вчерашнего голода, подумал Пиар, едва открыв глаза. Ему действительно страшно хотелось есть. Потом он вспомнил, что сегодня День Преодоления, он же – его последний день в К. Тут же он переключился на несвойственную ему манеру думать, задав себе вопрос: как же можно вспомнить то, что еще только будет? Ведь сегодня будет праздник, его еще нет, а он о нем уже вспомнил. Посчитав все же эти мысли остатком вчерашнего умственного напряжения, журналист сладко потянулся, и от этого на пол упала пустая бутылка из-под вина. Пиар почувствовал себя очень усталым; наверное, он спал всю ночь в одном положении, его руки и ноги отказывались ему повиноваться.

В комнату вошел Ши, и Пиар со сна его даже не признал. Историк был одет в черный, идеально отглаженный костюм. Казалось, что от перемены одежды сам облик его изменился: он стал торжественным, от него на милое несло чувством ответственности, которую он готов был сегодня на себя принять.

– Пьете? – строго спросил он журналиста, указывая на бутылку, предательски выкатившуюся на середину комнаты.

– Пью, – жалобно пролепетал Пиар; оказывается, язык тоже сегодня ему плохо подчинился.

– Это нехорошо, – тем же отечески назидательным тоном произнес Ши, на что Пиар пискнул что-то неопределенное.

Но лицо Ши тут же смягчилось и просияло:

– Хотя вам можно. Ведь вы с сегодняшнего дня просыпаетесь в новом статусе; теперь вы писатель, – Ши сделал паузу, во время которой Пиар жалобно застонал. – Я знаю, что современные писатели любят пить. Мне довелось видиться с одним по долгу службы; он, кстати, тоже пьет только этот сорт вина.

– Кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите, – сказал Пиар, поднимаясь с дивана и разглядывая помятую одежду. Ему было неприятно вспоминать о Писателе, об их вчерашнем разговоре.

– Да? – искренне удивился Ши, – Ну и как вам этот тип?

Журналист на миг задумался, ибо мнение о Писателе у него было противоречивым: Писатель в гостинице и Писатель в Абгрюнде. Первого, гостиничного, он не любил, а второго, из Абгрюнда, понять до конца не успел и не смог. Потому он лишь неопределенно пробормотал:

– Не знаю. Неоднозначный человек.

Историк рассмеялся.

– Это вы верно подметили. Но я-то его хорошо знаю, давно. Ведь он писал «Летопись Рима», а я защищался по Риму в свое время. Он, когда работал над летописью, у меня много консультировался. Я ему все рассказывал, но вы же знаете писателей – он все равно все сделал по-своему. Я до сих пор, когда хожу мимо гостиницы, содрогаюсь от его «Летописи Рима». Так перевернуть историю в двух словах! Вы меня, конечно, понимаете?

– Нет, – ответил Пиар, – но это ничего. Я уже привык.

Историк казался озадаченным, но лишь на миг, а затем спохватился:

– В самом деле, это все неважно. Это касается моих профессиональных интересов, это личное, если угодно. А вам надо хорошо позавтракать, если вы не возражаете, – он выжидающе поглядел на Пиара.

– Нет, не возражаю, – ответил Пиар, проделывая что-то вроде гимнастики. – Я ужасно голоден.

– Конечно, конечно, – скороговоркой произнес Ши. – Это моя вина. Я вчера, видите ли, зашел над одним абстракционистским романом и совсем забыл о вас. Впрочем, и о себе тоже. А вы читали Жюль Верна?

– Да, – ответил Пиар. – Это его вы называете абстракционистом?

– Конечно, – Ши кивнул. – Я еще ничего не читал из классики абстракционизма, а вчера, наконец-то, занялся этим. Хотя мне многое непонятно... Я пошел готовить завтрак, приходите через пару минут, – закончил он и удалился.

Пиар переделался в свой серый костюм и решил уйти от Ши на целый день, вернуться сюда только поздно ночью. Книги со стен оказывали на него сегодня угнетающее влияние; они будто бы провоцировали его и бросали вызов его способности их понимать. Журналист им сказал, что он равным образом ничего в них не понимает, и прошел на кухню.

Ши по волшебному быстро выставил перед Пиаром завтрак и сообщил, что сегодня День Преодоления, а посему он должен покинуть гостя сейчас же, но пусть Пиар по этому поводу не расстраивается, а идет на праздник сам; вечером Ши вновь ждет его. Журналист ответил, что он не расстроится – и Ши ушел.

Пиар за завтраком был преисполнен предчувствия городского праздника Преодоления, хоть и ясно понимал, что праздник этот не его, что он о нем ничего не знает. Но его занимало сейчас иное, он думал обо всех праздниках сразу. Ведь человек, оказываясь в гуще событий, всегда упускает из виду главное – суть праздника, причину этих событий. Она всегда остается где-то там, выше или сбоку, в зависимости от отношения. Если праздник принимается, то он весь где-то в вышине, ты же только плещешься в теплых водах его прилива на берегу. Если же праздник не принимается, то оказываешься в пучине его урагана на жалком суденышке, в то время как все остальные где-то сбоку, на огромном океанском лайнере.

Пиар не мог определить место Дня Преодоления в своем понимании. С одной стороны, ему, как журналисту, надо быть вне торжеств, не позволять себе быть застигнутым врасплох. Но, с другой стороны, тогда он не ощутит праздника, и вряд ли что о нем сумеет написать, достойное внимания.

Решив, что дело надо предоставить Стихии и Случаю, а самому быть к ней открытым и к нему готовым, он закончил с завтраком и собрался уходить. Но тут из комнаты вышел дядя Ши, который произносил странные слова:

– Они все безумны, они кошунствуют. И сегодня – День самого Большого Кошунства! Остерегайтесь...

Пиар посчитал эти слова старика маразмом слабоумия, а потому согласился и вышел на улицу, где сияло солнце при полном безветрии полудня.

Людей на улице было не очень много, как сказал бы Пиар, исходя из практики своего пребывания здесь, не больше обычного. Но и у них-то был не очень праздничный вид. Одеты они были нарядно, но выражение их лиц осталось будничным, будто они забыли приобрести на распродаже к сегодняшнему дню маску праздничного настроения. Тут же Пиар заметил, что люди либо стоят, либо ходят какими-то заранее заданными маршрутами: кто по кругу, кто взад-вперед, кто еще как-то. Никто не гулял, в их движениях отсутствовала свободная праздность.

Удивленный этим открытием, он сначала пошел в сторону гостиницы с единственной целью: он хотел узнать – открыто ли это заведение сегодня или нет. Ведь Ши попросился с журналистом до вечера, из чего следует простой вывод, что Пиар на обед у Ши рассчитывать не может. Потому, если гостиница будет открыта, журналист сможет туда сходить, когда проголодается.

По пути в гостиницу ему встретилось около сотни этих странных людей: они стояли посреди улицы, возле домов, они бродили вдоль и поперек, один тип даже прыгал. Журналист не знал особенностей Дня Преодоления, но это все казалось ему странным, в крайнем случае, совсем не праздничным.

Гостиница была открыта, но Пиар решил проверить все до конца. Он зашел в холл (швейцара у дверей не было), отчего весь проникся воспоминаниями своего последнего пребывания здесь. Отчетливей всего перед его взором стояла картина ухода отсюда, когда они с Гегеном под покровом темноты покидали «Летопись Рима», а кто-то, помнится, еще закрыл за ними входную дверь.

Все это теперь ненадолго заставило Пиара задержаться в холле, но он все же подошел к ресторанной двери и потянул за ручку. Дверь открылась, ресторан работал, можно было выходить.

Но Пиар, все еще желая побороть свой страх гостиницы, внушенный ему Гегеном, прошел вовнутрь, решив заказать себе чашечку кофе.

Людей за столиками почти не было, за исключением пяти нерадостных типов, сидящих поодиночке в разных частях зала. За стойкой бармена не оказалось тоже. Пиар сел за стол, за которым они когда-то сидели с Александром, и принялся ждать появления кого-нибудь из персонала ресторана. Сам он рассматривал присутствующих, но все пятеро молчали, погруженные в мысли. Журналист же знал, что о человеке, погруженном в раздумье, мало что можно сказать, если только не знаешь о чем он в это время думает.

Но это всеобщее молчание, возведенное его собственным присутствием из пятой в шестую степень, угнетало журналиста, и он стал настукивать пальцами по столу какую-то мелодию. Он так увлекся этим делом, что испугался, когда к нему сбоку кто-то подошел и произнес:

– Извините, вы не могли бы сесть за другой столик?

Пиар обернулся: слева стоял мужчина лет сорока с извиняющейся улыбкой на лице. Журналист посмотрел вокруг и указал незнакомцу на пустые столы вокруг:

– Здесь вон сколько места, зачем вам этот стол?

Улыбка незнакомца на лице стала еще больше извинять поведение своего владельца:

– Но, понимаете ли, это сегодня мое место.

Пиар встал из-за стола:

– Тогда пожалуйста. Садитесь.

Сам журналист сел за соседний стол от незнакомца. Тот же уселся и замолчал, о чем-то задумавшись. Теперь его нельзя было отличить от тех пятерых. Пиар искал в этом какой-то смысл, но время шло, а по сидящим нельзя было сказать, что они чего-то или кого-то ждут; наоборот, казалось любое изменение или событие только навредит их одинокому молчанию.

Журналист стал осознавать, он просто кожей почувствовал, что во всем происходящем что-то не так. Но тут появился бармен – последняя надежда на нормальное обстояние дел, и Пиар сразу поднял руку, чтобы привлечь его внимание. Это был тот самый бармен, который заменял брата В.

Тот поспешно подошел к столику журналиста, но не успел Пиар рта открыть для заказа, как бармен опередил его вопросом: «Что вы тут делаете?» Причем сказано это было каким-то полусшепотом. Пиар также шепотом ответил, что он зашел выпить чашечку кофе. Тогда бармен как-то выпрямился и уже официальным тоном спросил:

– Вы не поняли моего вопроса. Разве ваше место здесь, в ресторане?

Пиара этот вопрос сбил с толку, и он, не найдя что ответить, отпарировал:

– А ваше?

Бармен засмутился и пробормотал, что его место нет, не здесь, но его попросили, чтобы он еще немного здесь задержался, на что журналист ответил, что попросить бармена задержаться, наверное, стоило хотя бы для того, чтобы он сейчас же приготовил посетителю кофе, а не задавал глупых вопросов.

После этих слов журналиста бармен даже покраснел от возмущения и стремительно удалился в ту самую, правую, служебную дверь возле стойки. Пиар заподозрил, что пошел тот совсем не за кофе.

Действительно, не прошло пяти минут, как в зал ресторана уже через центральный вход вбежал бармен в сопровождении коротышки – точь-в-точь так же, как это было с В., когда Пиар начал печатать. Готовясь к нападению, Пиар напустил на себя маску невозмутимости и поудобнее устроился.

Подбежавший к нему коротышка выглядел несколько растерянным. Скорее всего, он не выспался этой ночью.

– Извините, – торопливо проговорил он, будто Пиара видит впервые. – Где ваше место?

Пиар невозмутимо поднял на него глаза и спокойно ответил:

– Там, где я есть, там мое место.

Коротышка на миг задумался и ответил, что это не так. Хорошо бы, если бы это было так, но это не так. Затем он переменялся в лице и сменил тон на более услужливый:

– Вы хотите кофе?

Пиар кивнул.

– Тогда приготовь кофе и побыстрее, – обратился коротышка к бармену, все это время стоящему позади него и с любопытством наблюдающего за развитием событий. Бармен кивнул и побежал к стойке. Пиар отметил, что сидящие в зале совсем не интересуются здесь происходящим, а по-прежнему сидят, погруженные в себя, в столы, в окна.

Коротышка так и стоял возле Пиара, когда бармен принес чашечку огненного кофе и поставил ее на стол перед журналистом.

– Кстати, – обратился коротышка к бармену, – ты что тут делаешь? Или ты тоже не знаешь, где твое место?

– Видите ли, – замялся бармен, но коротышка схватил его за локоть и повел к выходу, бросив Пиару уже через плечо, что он надеется, что гость быстро допьет кофе и пойдет по своим делам.

Журналист хотел сказать, что допьет кофе тогда, когда захочет, но их уже и след простыл. Хорош праздник, отметил про себя Пиар, осторожно отпивая кофе и разглядывая молчунов за столами. Реген боялся, что Пиара здесь будут держать силой, а его, наоборот, гонят. Сначала журналист решил, что он будет вопреки всем находиться здесь долго, но затем почувствовал, что это было бы просто глупостью. Потому что, допив кофе, он оставил на столе деньги и вышел из гостиницы.

На улице мало что изменилось, за исключением того, что ходящие по маршрутам стали то ли подпрыгивать, то ли пританцовывать при ходьбе, а стоящие стали просто ходить. Еще их стало больше. Теперь люди кое-где даже образовывали живой коридор, по которому журналист направлялся вниз по Проспекту. Он уже решил для себя, что, достигнув Указателя, он присядет на лавку возле него и проведет там как можно дольше времени.

Пиар шел вдоль людей и даже пару раз слышал их испуганное перешептывание: «Он идет! Смотрите – он просто идет!». Затем за ним увязался какой-то мальчик из толпы, но его тут же

впихнули обратно. Пиар поравнялся с Проулком, ведущим в Абгрюнд. Он на миг остановился и с тоскою заглянул внутрь...

По мере приближения к Указателю, людей становилось больше; кое-где они запрудили всю улицу, отчего Пиар, с трудом мимо них протискиваясь, подумал, что в таком городе, как К., просто физически не может жить столько людей. Но, тем не менее, он их физически ощущал, они его толкали в ответ на его движения; один раз он вообще оказался запертым в кольце, из которого пришлось выбираться, прибегнув к помощи локтей и коленей. Больше всего Пиара, привыкшего к толпе, удивил тот факт, что все молчали. Даже шепот, едва и временами улавливаемый где-то, не превращался в постоянный, а быстрым прекращением явно выдавал свою случайную природу.

Журналист подумал, что все знания о толпе, которыми он обладал до сих пор, здесь были просто мертвы. Складывалось ощущение, что это – не толпа, но собрание людей.

Цель своего прохождения к Указателю Пиару уже не была ясна: если где-то и есть свободное место на лавке, то оно наверняка занято теми, кто стоять уже устал, а уходить, по неясным причинам, не собирался.

Но ему повезло и, несмотря на большую толпу возле Указателя, лавки подозрительно были пусты. Вполне возможно, причиной этому был какой-нибудь запрет сидеть на лавке в День Преодоления возле Указателя. В журналисте же разыграло желание противиться всем этим глупым запретам, и он нагло уселся, в то время как вокруг только стояли. Он оправдывал себя еще и тем, что он очень устал, хотя усталость от новизны впечатлений себя не проявляла.

Он машинально искал глазами того самого старика, у которого он спрашивал об Указателе, но того рядом не оказалось. Журналист было принялся внимательно изучать контингент присутствующих, но контингент почему-то в основном отвернулся от него, а потому оставалось просто сидеть.

Откуда-то сзади раздался голос, возмущенные тем, что «Он сидит! Нет, вы посмотрите, он сидит!», и Пиар обернулся назад, чтобы разглядеть возмутителя, возмущенного сидящим, как в это время кто-то взял его за локоть с другой стороны. Это был Александр.

– Здравствуйте! – обрадовано протянул он. – Я так и знал, что вы здесь сидите. У меня к вам дело.

Пиар тоже обрадовался появлению парня, но ограничился замечанием, что он о деле Александра уже прочитал – и достал из нагрудного кармана ту самую записку, найденную им в Абгрюнде вчера. Александр поспешно выхватил записку, засунув ее в карман брюк, и тихо произнес:

– Мне сейчас некогда, сейчас все начнется. Вы где остановились?

– У Ши. А что, собственно, за дело? – едва успел произнести Пиар, но Александра уже не было: толпа сомкнулась в том месте, где только что стоял этот загадочный молодой человек.

И тут действительно началось. Неизвестно откуда, или, как показалось Пиару, со всех сторон сразу, застучали барабаны. В присутствии этой молчаливой толпы и бое этих ужасных барабанов, Пиар подумал, что сейчас кого-то будут казнить.

Но бой продолжался, и вновь неожиданно кто-то затянул:

Плато-о-о-он
Преодоле-е-е-ен!

И вся толпа подхватила:

Божественный
Плато-о-о-он
Преодоле-е-е-ен!

Это все прозвучало три раза, после чего мелодия, извлекаемая невидимыми музыкантами из барабанов, стала ритмичнее и веселее. Тот же голос прокричал:

И это не сказка!
И это не со-о-о-о-он!

Толпа же вновь затянула:

Действительно!
Божественный
Плато-о-о-он
Преодоле-е-е-ен!

Ребенок, стоящий рядом, даже захлопал в ладоши от восторга, но рядом находящиеся взрослые властным жестом пресекли эту наглую выходку.

Журналист расслабился – толпа вот уже минут пять повторяет одно и то же, а значит, казнить никто никого не будет. Наоборот, происходящее выглядело забавно. Вместе с тем Пиар чувствовал необычайный подъем, испытываемый только в большой массе людей, согласованно что-либо делающих: марширующих, поющих, кричащих.

Но, как это случается, все было не так. Точнее, все было испорчено тем, что рядом с Пиаром на лавке, по обе стороны, оказались двое мужчин. Внешне они не были похожи, но по выражению лица их можно было принять за близнецов. Ничего хорошего, впрочем, лицо это не выражало.

– Пиар? – обратился к журналисту Левый.

Пиар ничего не успел ответить, как Правый произнес:

– Мы к вам по делу.

Пиар, наконец, вставил свой вопрос:

– Кто вы? – спросил он несколько развязно; благо, опыт общения с Комиссией научил его многому.

– Комитет, – сказал Правый.

– По ступеням, – продолжил Левый.

Эта их манера говорить напомнила Пиару Шалтай-болтая, только их настроение вовсе не походило на сказку.

– Я вас слушаю, – сказал Пиар дрогнувшим голосом. Он почуял недоброе.

– Мы должны задать вам один вопрос, и, в зависимости от ответа на него, решить, – сказал Правый.

– Что решить? – встревожено спросил журналист. Впервые его жизнь подвергалась опасности в этом городе.

– Сначала вопрос, – настойчиво сказал Левый.

– Ну, хорошо. Спрашивайте, – вздохнул Пиар.

– Где ваше место? – спросил Правый.

Пиару этот вопрос сегодня задавали третий раз, а посему это наводило на определенные размышления.

– Я не понимаю вашего вопроса, – честно ответил Пиар.

– Где ваше место? – отчетливо повторил Левый голосом Правого.

– Я слышу вопрос, но я его не понимаю, – растерялся Пиар.

Двое за спиной журналиста переглянулись и пожали плечами.

– Странный вы какой-то, весь подозрительный, – сказал Правый.

– Еще писателем называется, – подхватил Левый.

Пиар сделал вид, что не заметил упреков и спокойно произнес:

– Объясните мне: что значит «мое место»?

– Ваше место – это то, где вы находитесь.

– Кроме того, – продолжил Левый, – Ваше место – это место на сегодняшнем празднике.

– Хорошо, – кивнул Пиар и огляделся, – я нахожусь возле Указателя. Это мое первое место. На празднике же мне места нет, поскольку я не знаю ваших обычаев. И вообще, я завтра отсюда уеду.

– Вы не можете быть без места на празднике, – неуверенно проговорил Левый.

– Могу. У меня же нет места. Или, если угодно, мое место на празднике совпадает с местом возле Указателя на лавке, где я сижу.

Правый грустно вздохнул:

– Сидеть на празднике нельзя. Найдите себе другое место, пока мы вас не поместили сами.

Пиару не хотелось спрашивать, куда его эти господа хотят поместить, а потому еще раз, на всякий случай, он спросил:

– А можно без места? Просто походить?

Левый усмехнулся и кивнул на толпу:

– Походить – это тоже место. Видите, сколько местных ходоков? Вы нам точно скажите – где вы будете ходить, а мы вам, как Прибывшему, сделаем уступку. Будете ходить, где сами хотите, – и он подмигнул собеседнику.

– Откуда же я знаю, куда я пойду? – растерялся Пиар, – Это же происходит спонтанно...

Оба – Правый и Левый – рассмеялись:

– Вы не понимаете, Пиар, какую вы сейчас глупость говорите. Вы хотите, чтобы мы вам поверили, что вы пойдете спонтанно туда, куда вы не знаете? Это же просто глупость – ведь туда не попадешь даже специально! Давайте, не скрывая ничего, укажите нам маршрут вашего места.

Пиар почувствовал, что его зажали в тиски. Он вырос в таком мире, где никому не нужно было указывать, куда ты пойдешь. Его это возмутило:

– Мне никто не говорил, что у вас здесь тоталитаризм какой-то! – со злостью выпалил он, готовясь с гордостью сесть в местную тюрьму и писать оттуда своему редактору репортажи о демократических свободах.

– А вам никто и не говорит, что здесь тоталитаризм, – с примиряющим видом улыбнулся Левый. – Вы совершенно свободны. Ведь это нужно вам – мы закрепим за вами место вашей свободы, тем самым, обережем вас от толпы. Ведь они недовольны вашим произволом. Оформите его в свободу выбора места – и мы ручаемся за вашу безопасность.

Журналист глубоко задумался, ибо сказанное только что вроде бы и не противоречило себе, было логично и правильно, а, с другой стороны, все равно было что-то дикое в этом предложении. Там, за пределами К., фактически все обстоит так же, но как-то неявно, негласно, само собою подразумеваясь. А здесь, всего-то, требуют того же, только предлагают еще над этим задуматься.

– Вы же не всегда места требуете? – спросил заинтересованно Пиар.

– Нет, – быстро ответил Правый; казалось, он даже не дослушал вопроса. – Только в День Преодоления.

– Но ведь это же праздник! – невольно вырвалось у Пиара.

– Вот именно! – подхватил Правый, – Неужели вы хотите, чтобы мы вводили места во все дни, кроме праздника?

Пиара это озадачило, но затем он пришел в себя:

– Но разве нельзя в будний день, если это так необходимо...

– Нельзя! – вновь категорично отрезал Правый. – Либо сегодня, либо во все остальные дни. Вот, если победят Бодены, то места будут всегда, кроме сегодня.

– Ясно, – протянул Пиар, почесав за ухом.

– Итак, маршрут, – сказал Левый, прерывая их беседу.

– Я, наверное, дойду до Набережной, затем – обратно, до Гостиницы. Там я пообедаю в ресторане...

– Хорошо, – сказал Правый, – дальше?

Они достали одинаковые блокноты и одновременно что-то в них помечали.

– Дальше я еще немного побуду где-нибудь возле Гостиницы, а затем вернусь...

– Все, больше вы ничего не успеете, – прервал его Левый. – Праздник кончится, места вы лишаетесь наряду со всеми, а потому вы нас больше не интересуете, – он что-то написал в блокноте и обратился ко второму, – Бэ восемь.

Пиару стало жаль так быстро терять новоприобретенное место, и он повернулся к Правому, чтобы спросить его – требуется ли документ, подтверждающий наличие места или нет, но Правый что-то отметил в своем блокноте и обратился к Левому:

– Дэ пять.

Пиар повернулся к Левому. Тот только что сделал пометку в своем блокноте и с горечью произнес:

– Убит.

Затем они стремительно поднялись с лавки, и, прежде чем исчезнуть в толпе, крикнули Пиару:

– Не торопитесь в маршруте. Берегите Место. И встаньте с лавки.

И двое из Комитета исчезли также внезапно, как и появились. Пиар встал с лавки и увидел того старика, о котором вспомнил полчаса назад. Журналист хотел подойти к нему, но старик быстро отвернулся, выразив тем самым нежелание общаться с Пиаром.

Причин этому Пиар нашел две. Во-первых, старик не узнал его, как, наверное, не узнает от склероза свое отражение в зеркале каждое утро. Во-вторых, дед мог таким образом выразить презрение к тому, кто не имеет своего Места, неместному. А то, что Пиар неместный, понимал каждый вокруг – ведь человек с Местом в День Преодоления сидеть не будет. На это журналист мог ответить, что Место у него уже есть, но это того не стоило.

Пиар медленно побрел в сторону Набережной, с трудом протискиваясь сквозь поющую о преодолении божественного Платона толпу.

И когда он уже отошел от Указателя на значительное расстояние, пение сзади внезапно прекратилось, и тот же голос, запевший о Платоне, сообщил, что скоро каждая идея потеряет свое значение так же, как каждый из вас потеряет свое место. Говорилось еще что-то о приобретении, таким образом, независимости еще на год, правда, с утерей подлинности, которую правильнее было бы назвать преодолением...

Больше Пиар слов не различал и, по мере удаления от источника звука, он все более сочувствовал этим людям, у которых подобное мероприятие проводится раз в год. Хотя это и не так часто, но теперь Пиару раз в десятилетие казался более привлекательным периодом.

Людей так же становилось все меньше, и теперь можно было идти не петляя и никого не задевая.

Журналист смотрел на окружающих танцующих, прыгающих и приседающих, и никак не мог понять, почему каждый из них выбрал себе такое место, а не как он – неспешную, будничную, но праздную прогулку? Скорее всего, подумал журналист, все дело в традиции, с одной стороны, и в оглядке на других, с другой. По традиции выбирают так каждый год. И выбирает большинство. Потому все и прыгают с такими серьезными лицами.

И настроение журналиста заметно улучшалось по мере того, как он, глядя на других, все более убеждался в правильности своего Места. Ведь он ничего иного бы и не делал, не заставь его Комитет определиться. Пожалуй, посидел бы чуть дольше – и все. Значит, он выбрал свое Место.

Навстречу ему подошел какой-то парень и заговорщицки спросил:

– У вас какое Место?

Голос у него был мальчишеский. Наверное, ему не более двадцати лет – отметил про себя Пиар, и произнес с довольной миной:

– Вниз до Набережной, потом в ресторан «Летописи». А что?

Юноша показательно вздохнул и жалобно произнес:

– А у меня – только ходить поперек улицы туда-сюда.

– Сожалею, – искренне ответил Пиар.

– А вы не могли бы обменять мне свое Место? Я бы доплатил.

Пиар менять свое Место на чужое не собирался; его вообще возмутила возможность потерять свое Место, предоставив его какому-то юнцу. Но он все же поинтересовался:

– Сколько доплатишь?

Парень замялся и вынул из-за пазухи пакет, в который что-то было завернуто.

– Вот! – гордо произнес он, – Книга живой классики ясного стиля. Сам глупый Непом и его «Несуществующие враги». Соглашайтесь, глупее чтения не найдете все равно.

– Спасибо, – сконфузился Пиар, – но я уже слышан.

Юноша явно обиделся – опустил голову и побрел по своему маршруту поперек.

Ши предупреждал Пиара, что дети считают Непома глупцом, но журналист не ожидал такого откровенного выражения этого признания. От этого он еще больше стал сомневаться в том, что этот юноша когда-нибудь признает авторитет Непома и достойно оценит роль последнего в истории.

Неожиданно, слева, он увидел Гегена. Журналиста охватили противоречивые эмоции, но он инстинктивно сделал шаг в его сторону. Главное помнить, что он меня не предал, – убеждал себя журналист, направляясь к старику, с кем-то разговаривающим. Геген стоял лицом к Пиару, а его собеседник – спиной.

– Здравствуйте! – закричал Пиар еще шагов за пять.

– Здравствуйте, Пиар, – без особого энтузиазма отозвался Геген. – Как вам праздник?

– Ничего хорошего, – с наигранным недовольством отозвался Пиар. – Вот Место дали.

– Да? – искренне удивился Геген. – И какое же?

Пиар рассказал свой маршрут. Старик недовольно выслушал и тихо произнес:

– А что же вы в Абгрюнд не захотели зайти? – в его голосе звучали нотки ревности.

Пиар не нашелся, что ответить. Говорить Гегену, что тот с ним подло поступил – не хотелось, ведь Пиар до конца не знает тонкостей случившегося в Театре. С другой стороны, вопрос Гегена звучал как вызов, обличающий Пиара в каком-то предательстве. Потому журналист зацепился за другое и ответил Гегену:

– А что же это вы разговариваете, ведь Бодены должны сегодня молчать?

Спутник на этих словах впервые обернулся, и каково же было удивление Пиара, когда оказалось, что это В.! В. удивленно посмотрел на Гегена, затем на Пиара.

– Меня сегодня приняли в Вербергены, – с гордостью ответил старик.

– Опять? – вырвалось у журналиста.

Геген в ответ промолчал, да и Пиар осекся, поскольку, несмотря на правдивость, он не хотел напрямую вступать в такое противостояние со стариком. В. тоже молчал, ожидая, видимо, когда Пиар уйдет, и он сможет возобновить прерванную беседу.

– Знаете, о чем мы говорим? – спросил Геген неожиданно; в его голосе не было ни капли злости или обиды. Вероятно, он привык за свою жизнь к такому отношению со стороны других.

– Нет. Откуда мне это знать? – с облегчением произнес Пиар, которого радовало то, что Геген хотя бы сделал вид, что не обиделся.

– Мы говорим о вас. Впервые за всю историю существования Абгрюнда, Прибывший получил свое Место наравне со всеми. Это историческое событие.

Геген замолчал, но Пиар ничего не ответил. Говорить о Прибывшем он не мог, поскольку сам им, собственно, и являлся. Он предпочел слушать.

– А знаете, благодаря кому? – спросил Геген, чего Пиар от него не ожидал.

– Кому же? – поинтересовался он. Ему интересно было бы узнать имя своего благодетеля.

– Благодаря мне, вашему покорному слуге. Я вас не отдал на заклятие Вербергенам... – начал старик.

– ...зато предали в руки Боденов, – прервал его журналист; В. удивленно посмотрел на Гегена, затем на Пиара.

– Не совсем так, – несколько растерянно ответил Геген, – не совсем так. Скорее, я вас просто спас. Ведь и Боденов вы, в итоге, не остались. Вы даже Абгрюнда в своем Месте не заявили.

– Но, – оживился Пиар, – значит, от Вербергенов меня спасли вы, а от Боденов я спасся сам? Значит, в моем спасении есть немного и моей заслуги?

Журналист явно язвил, но Геген все принимал за чистую монету. Старик лишь с грустью в голосе произнес:

– Вы просто не знаете той опасности, которой вы избежали. Будь иначе, ваш тон был бы иным. Теперь вам нужно возвращаться на маршрут вашего Места, иначе вас за нарушение схватит Комитет и мне опять придется вас спасать.

Прежде чем уйти, Пиар посмотрел на Гегена, поскольку, возможно, видел старика последний раз – и вновь пошел по Проспекту. Сзади же послышалось предостережение Гегена:

– Пиар, прошу вас, не слушайте Александра! У него абсурдные идеи!

Пиар, не оборачиваясь, кивнул – и исчез в толпе. Далее он брел, погруженный в услышанное от старика. Ему было интересно лишь одно: чего же он лишился, потеряв традиционный статус Прибывшего на День Преодоления?

Геген говорил, что ничего хорошего от этого ожидать не приходилось. И это высказывание имело бы цену, если бы журналист верил Гегену. Но сам Геген теперь не был положительным. Сейчас у Пиара есть свое Место на Празднике; пожалуй, лучшее из всех других мест, но, может То было бы еще лучше? Ведь изначально То и предназначалось именно ему! По крайней мере, он смог бы узнать что-то новое, а теперь он вынужден брести по пройденному им однажды маршруту, не в силах свернуть с него, не получив за это наказания.

Когда Пиар вышел на Набережную, он уже невзлюбил свой маршрут, казавшийся ему до этого чем-то свободным и естественным. Он даже жалел о том, что не обменялся с этим мальчишкой – сейчас хотя бы знал классику ясного этого города; лучше любое чужое, чем плохое свое.

Хотя, сожалеть надо было о более раннем: о том времени, когда он, в первый вечер, вместо того, чтобы сразу выйти на улицу, свернул в ресторан. Оставалось тешить себя тем, что не бывает в К. случайностей.

В итоге, надо думать о том, что есть. Геген сказал, что свершилось историческое событие. Пиар теперь мог не без гордости думать, что он напрямую к этому событию причастен. Теперь, наверное, и его имя войдет в историю, и ее учебники, которые будут читать дети; они будут считать Пиара глупцом для того, чтобы по мере взросления за ним признать гениальность.

Историческое самосознание этих людей, – думал Пиар, глядя по сторонам Набережной (где, кстати, людей было гораздо меньше), их сознание будет меняться. Через год они уже не будут ожидать от Прибывшего чего-то особенного, они дадут ему Место, как и себе, и заставят его ходить по маршруту.

Невыносимо было думать, что он лишал этих людей чего-то чудесного, того, во что все они еще три дня назад верили. Пиар улыбнулся, представив, как Прибывшие будущего будут ненавидеть этого журналиста, лишившего их блага общей любви. Но во всем виноват Геген, успокаивал себя Пиар, он сам же сейчас этим хвалился.

Река сегодня, несмотря на жару, не привлекала; вода уже не казалась спасительной; блики солнца на ней не умиляли взор своею игрою, но, наоборот, до боли резали глаза. Журналист решил, что он выполнил половину своего задания – и теперь можно идти обратно, к «Летописи Рима».

Тут он увидел бегущего сквозь толпу человека. Тот стремительно приближался к журналисту; одной рукой он прижимал к груди большую сумку, а другой вынимал оттуда какие-то листы и разбрасывал их вокруг. Благодаря ветру, листы эти в основном падали в реку; на те же, что плавно опускались на землю, окружающие особого внимания не обращали. Человек же не обращал на это никакого внимания, он был сосредоточен только на пути вперед и на том, чтобы не толкать стоящих по Местам.

Интересно, у него есть Место? – только и успел подумать Пиар, как человек пронесся мимо, бросив чуть ли не в лицо журналисту охапку листов. Журналист машинально схватил один из них и прочитал написанное на нем:

Уважаемые граждане!

Сегодня мы с вами должны ответить на вопрос о нашем будущем сами. Пора менять порядок, иначе он заведет нас в темноту современных социальных тупиков. Уже сегодня фактически отмечен институт Прибывшего. А что же будут завтра?

Мы выступаем за изменение Вертикального Абгрюнда на Горизонтальный. Если этого не сделаем мы с вами, то этого не сделает никто. Вертикаль не позволяет за одну жизнь достичь высоты. Мы хотим ее просить наземь!

Тех, кто не поддерживает нас, мы переселим вниз после победы, а она непременно будет! Люди, одумайтесь!

*Оргкомитет
Горизонтального
Абгрюнда.*

Пиар с первых же строк вспомнил о шепоте революционеров сбоку от ячейки Александра. Журналист особо не удивился тому, что свое обещание с листовками революционеры выполнили; поражало другое: они использовали статус Пиара для своих целей и пропаганды. А ведь тогда, ночью, об этом даже речи не шло!

Журналист скомкал листовку и собрался ее уже выкинуть, как внезапно передумал и засунул ее в карман брюк. В конце концов, это – единственное, что дало ему его Место за исключением нелегких дум.

Проходя мимо того места, где он встретил Гегена и В., Пиар обратил внимание на какую-то нехарактерную пустоту; там было мало людей, в то время как везде кругом они создавали впечатление муравейника.

Он поднимался по Проспекту к гостинице. Солнце давно уже перевалило за половину маршрута своего небесного Места. Людей на улице было еще больше, или же, это только казалось из-за того, что все они двигались еще быстрее и витиеватее. По мере продвижения идти становилось сложнее из-за кишящих людей; тут же Пиар заметил того самого мальчишку, ходившего поперек улицы. Только тот уже чуть ли не бегал на прямых ногах слева направо и обратно. Журналисту даже пришлось подождать, пока парень освободит дорогу. Тот, кстати, Пиара не заметил.

Приближаясь к Указателю, журналист услышал, как уже другой голос из ниоткуда рассказывал движущимся людям, что Идеи уже не умещаются в своих небесах, подобно тому как каждому из присутствующих требуется еще больше места для свободы быстрого движения. И совсем скоро Идеи прорвут кокон мыслей, в которых эти Идеи находятся, и вырвутся в мир, где обретут свою свободу ценой оригинальности, которой они, собственно, никогда и не обладали.

Пиар прошел мимо с идеей того, что они даже из свободы делают шоу, а потому не остается подлинной свободы вообще. Он прошел мимо, не задерживаясь. Сейчас он старался вовсе ни о чем не думать, он старался запомнить город таким, какой тот есть – таким движущимся, многочелюдным, странным. Подобное бездумие достаточно быстро привело его к дверям гостиницы.

Журналист зашел внутрь, вовсе не испытывая какого-либо голода, с единственным желанием поскорее изжить свое Место и стать свободным – таким, каким он был изначально. Пусть даже путем потери оригинальности.

В холле он тут же натолкнулся на коротышку, услужливо кивающего гостю:

–Здравствуйте, Пиар! Мы вас уже заждались.

Журналист этому очень удивился – ведь несколько часов назад этот коротышка чуть ли не гнал Пиара взашей. Но все само собою разрешилось, когда коротышка продолжил говорить:

– Вы один из немногих, чьим Местом сегодня является гостиница, и вы – единственный, кто собирается у нас не просто побыть, но и пообедать. Остальные же здесь просто находятся, – слово «находятся» он произнес особо. – Правда, для обеда время уже позднее, но, тем не менее...

Он радушным жестом указал Пиару на ресторан, приглашая тем самым журналиста пройти вовнутрь.

Пиар воспользовался разговорчивостью коротышки и спросил, когда будет завтрашний поезд. На это коротышка ответил, что поезд будет как обычно – в девять утра. Тут же владелец «Летописи Рима» поинтересовался:

– Вы завтра уже уезжаете?

В его голосе действительно слышался интерес. Пиар кивнул и пробормотал, что непременно уезжает и непременно завтра.

В ресторане было человек десять, все они вновь сидели молча и поодиночке, кроме двоих, сидевших вместе, но также молчащих, как и остальные.

Пиар занял свой утренний столик, и коротышка сам принял его заказ. Последний тут же был им и исполнен. Пиар нехотя приступил к еде, держа в голове мысль, что это – его последнее пребывание здесь. Журналист пытался выдать из себя какую-нибудь ностальгию, но это у него никак не выходило; в голове вертелись лишь какие-то мысли, смысла которых он понять не мог, ибо внимание его тоже где-то затерялось.

Это, однако, не помешало ему быстро управиться с едой, благо, заказал он себе немного. Он позвал коротышку, неподвижно стоявшего вес время возле стойки и, достав кошелек, спросил стоимость обеда. Коротышка горделиво ответил, что Место бесплатно, и, наоборот, он, как владелец заведения, должен быть благодарен Пиару за то, что тот единственный из всего города посетил его. Хотя, тут же отметил он, деньги он платить Пиару за это посещение все же не должен. Пиар поблагодарил коротышку за обеденный ужин и тут же успокоил его, сообщив, что денег он бы все равно не взял.

Он пошел к выходу, коротышка увязался за ним, торопливо объясняя на ходу, что он уполномочен заявить Пиару о прекращении времени Места и поблагодарить его от имени Комитета По Ступеням за гражданское законопослушание.

Пиар с благодарностью и смущением принял благодарность и попрощался. Оказавшись на улице, он пошел в сторону дома Ши. По дороге он с удивлением и радостью обнаружил, что люди вокруг перестали бесцельно топтаться, и теперь просто гуляли – совсем как тогда, в первый вечер.

Ши был уже дома, и, едва открыв дверь, поздравил новоявленного писателя с первым Днем Преодоления на своем Месте.

– Вы, – заявил он, – преодолели сегодня на своем Месте то, что каждый гражданин обязан преодолеть на своем. Тем самым, вы стали сегодня, в первый день своего писательства, еще и полноценным гражданином города.

Пиар устало ответил, что это все хорошо, но завтра он все равно отсюда уедет, а с собою ни своего писательского признания, ни местного гражданства взять нельзя; разве только, останется Вердикт на память.

Ши смущенно замолчал, затем ответил, что гражданство и писательство, конечно, с собою не возьмешь, но зато всегда можно вернуться обратно, в этот город. Затем он резко сменил тему и спросил, хочет ли гость есть. Журналист отрицательно покачал головой, на что Ши обрадовано ответил, что есть он сегодня не приготовил, поскольку у него сейчас в гостях самый лучший математик города. Они беседуют в библиотеке, а потому Пиар естественным образом приглашается туда.

– Видите ли, – объяснил Ши, – у меня на сегодня выпало с ним одно Место. Вы, наверное, не знаете, но эта одновременность (или, точнее, одностность) – весьма редкая вещь. Тем более, если учесть, что я – историк, а он – математик.

Они прошли в библиотеку; за столом сидел грузный мужчина. Лицо его украшали огромные усы. При появлении Пиара, он с трудом поднялся со стула и протянул журналисту руку.

– Здравствуйте! Меня зовут Квант, – произнес он хриловатым, но мягким голосом.

Пиару этот человек понравился; Квант казался добрым и дружелюбным.

– Пиар, писатель, – представился Пиар, даже не задумавшись. Если этот город увидел в нем писателя и даже документально это подтвердил, то пусть так оно и будет.

– Да, да, я уже знаю. Мне Ши рассказал о вашей работе. К тому же, – он обернулся к столу, – вы оставили здесь свой Вердикт, я его прочел.

Говорил Квант просто и прямо; чувствовалось, что он просто от природы не умеет лицемерить.

– Я сейчас поведал Пиару о нашем общем Месте, – сообщил Кванту Ши, – а теперь я расскажу ему, если вы не возражаете, о ваших заслугах. Видите ли, Пиар, Квант работает в области теории вероятности. Его последним крупным открытием стало отрицание классического подхода. Если же быть точнее, он пересмотрел теорию вероятности и сделал вывод, который революционен по своей значимости для последующих исследований в этой области. Он открыл, что всякая вероятность, в конечном итоге и после приведения ее в удобочитаемую и понимаемую формулу, сводится к следующему: либо да, либо нет...

– Да, – с воодушевлением подхватил Квант, – не существует на самом деле процентного выражения вероятности. Более того, даже числа нужны только на предварительном этапе. В итоге же – и Ши совершенно правильно меня понял – либо да, либо нет.

Квант замолчал и посмотрел на Пиара с таким ожиданием подтверждения своей правильности, с такой надеждой, что Пиар не мог не ответить с таким же энтузиазмом:

– Да, это здорово! Ничего подобного я ранее не слышал!

Он тут не солгал, поскольку действительно ни разу не слышал подобного истолкования теории вероятности от математика. Более того, если по меркам мира за пределами К., эта теория Кванта была неверной (а это было очевидно даже Пиару), то, тем не менее, журналисту по-человечески она приглянулась. Но даже и в ином случае он ответил бы точно так же, поскольку никогда бы не сказал такому человеку, как Квант, что тот неправ.

– Но и это еще не все, – сказал Ши, – В последнее время Квант работал над основной геометрической проблемой, состоящей в том, что нельзя построить треугольник, у которого больше одного прямого угла. Но и с этим Квант справился!

Вот это уже интересно, – подумал Пиар, – Неужели они действительно смогли что-то сделать из невозможного там, куда он завтра возвращается?

– Покажите Пиару свой чертеж, – обратился к Кванту Ши.

Но Квант как-то смутился и в смущении ответил:

– Нет, не стоит. Я еще не доработал его.

– Полноте, Квант! – подбадривал его Ши, – вам нечего смущаться! Это же гениально! По мне, вы вообще ученый мирового масштаба!

Квант вообще смутился, и было видно, что ему действительно неловко воспринимать похвалу. Пиар отметил, что ему очень мало доводилось встречать в жизни таких хороших людей.

Но тут в комнату вошел дядя Ши, который сообщил, что кто-то пришел. Ши вышел из комнаты, еще раз с укоризной посмотрев на Кванта (что, очевидно, означало, что тот просто должен показать чертеж), и, через мгновение, появился вновь, заявив, что пришли не к нему, но к Пиару.

Пиар с удивлением пробормотал, что даже не знает, кто это может быть, и, извинившись перед смущенным Квантом, вышел из библиотеки.

В прихожей стоял Александр. Завидев Пиара, он расплылся в радостной улыбке:

– Хорошо, что вы здесь, – взволнованно проговорил он, – у меня к вам срочное дело.

– Если оно такое срочное, то почему вы медлите уже два дня? – строго спросил Пиар, хотя он тоже был рад встрече; тут же на ум пришло предостережение Гегена.

Парень нисколько не смутился и ответил, что вчера это дело еще не было срочным, сегодня оно уже срочное, и срочнеет час за часом, а завтра вообще может перестать быть актуальным.

– Хорошо, – подвинулся журналист подобной классификации одного дела, – У вас сейчас есть время?

– Даже более того! – довольно ответил Александр.

– Тогда пойдемте в библиотеку, а затем поведаете мне о своем деле.

Александр молча кивнул, и они прошли в библиотеку.

15. Обще(ни)е в (от)бытии

За это время Квант и Ши вновь завели разговор, включаться в который Пиар не желал. Тем не менее, ему пришлось представить Ши и Кванту Александра как своего друга.

– Ваш друг тоже писатель? – спросил Ши, на что Александр отрицательно покачал головой.

– Нет, – зачем-то ответил Пиар. Вообще, он себя чувствовал несколько растерянным, отчего ему было неловко перед присутствующими.

– Хорошо, – взял инициативу в свои руки Ши, – я не буду рассказывать вашему другу о Кванте так подробно. Сообщу ему лишь, что это – величайший математик нашего города.

Александр без особого интереса взглянул на Кванта, но все же не без огонька восхищения в глазах.

– Сейчас Квант продемонстрирует нам свой прямоугольный треугольник с тремя прямыми углами, – сказал Ши и ожидающе поглядел Кванту прямо в глаза.

Математик покраснел, запыхтел и бережно достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги. Тем же аккуратным жестом он развернул его и показал Пиару с Александром.

На листе был изображен правильный квадрат. Да, да, обычный квадрат с четырьмя прямыми углами и столькими же равными сторонами. Пиар был готов голову отдать на отсечение за то, что ничего треугольного на этом чертеже изображено не было.

– Я его еще не доработал, но форма эта, – с трудом проговорил Квант

– А, по-моему, это просто квадрат, – с сомнением в голосе тихо проговорил Александр, но Пиар толкнул его в бок так, чтобы Квант этого не заметил.

– Нет, это прямоугольный треугольник с тремя равными углами, – тоном, не терпящим возражений, произнес историк.

Пиар посмотрел на Александра; уверенности в своей правоте у юноши теперь было куда меньше, но парень все же спросил:

– А как же четвертый угол? Ведь у треугольника углов, по-моему, три, – голос выдавал не недоверие, но живой интерес.

– Молодой человек, – строго произнес Ши, косясь на отчаявшегося Кванта, по-прежнему держащего листок с квадратом перед ними, – Вы, я вижу, мало разбираетесь в геометрии?

– Совсем не разбираюсь, – сразу же согласился Александр.

– Это сразу видно, – продолжил Ши так, будто и не ожидал услышать чего-то иного. – Отсюда следует два вывода. Во-первых, вам не достает элементарной базы знаний хотя бы для того, чтобы понять, что прямоугольный треугольник с тремя равными и прямыми углами будет выглядеть именно так – и никак иначе.

– Не хватает, – согласно покорился Александр и понуро опустил взгляд себе под ноги.

– И, во-вторых, – в тех же тонах продолжал Ши, – знай вы геометрию, вы бы признали гениальность нашего друга, – он кивнул на Кванта, – и никогда бы не стали спорить.

Ши горделиво замолчал; Александр же, вздохнув, поднял глаза на чертеж Кванта и тихо сказал:

– Я с вами вовсе не в силах спорить. Но тогда объясните мне: в чем отличие этого треугольно-квадрата или квадратного треугольника от обычного квадрата?

Квант уже совсем взволновался; его рука, державшая лист с чертежом, мелко дрожала. Ши взялся объяснить Александру ответ на его вопрос:

– Это все очевидно, молодой человек. Квадрат – это фигура, где четыре угла (он вытянул перед Александром свою худощавую руку с четырьмя растопыренными пальцами), а треугольник – это фигура, где три угла (он загнул указательный палец). Это, я надеюсь, ясно?

– Ясно, – выдохнул Александр. Было видно, что объяснение давалось ему с трудом, но теперь он, наконец-то, все понял.

Квант свернул лист и вновь осторожно водрузил его на место. Ши победоносно устоял на Александра, сложив руки крестом на груди.

Пиар наблюдал всю эту сцену молча, но не потому, что ему нечего было сказать. Как раз, наоборот, он мог бы заткнуть за пояс и Ши, и Кванта – геометрию он знал мало, но и этого знания хватило бы на то, чтобы спасти и поддержать Александра. Но Пиар молчал, поскольку он теперь со всей отчетливостью понял этот город и нерв этой культуры. В самом деле, треугольник и квадрат – это только слова, не имеющие к реальному треугольнику и реальному квадрату никакого отношения. Просто в мире принято называть треугольник треугольником, а квадрат квадратом.

Но совсем иное, когда называемое квадратом Там, называют треугольником здесь, зная при этом что это не так. Квант действительно показал треугольник – и Пиар его увидел. Не известно, видел ли там треугольник сам Ши, но Пиар видел!

И тут же нашлось предложение, которым Пиар смог бы охарактеризовать весь город К. и Абрюдон в особенности: это не то место, где мыслят неправильно, но это место, где правильно мыслят иначе. За подобное право борются в его мире, пробивают стены непонимания, сами раскалываются об эти стены. Всю жизнь с рождения приходится доказывать, что этот квадрат – треугольник и умирать, так ничего и не доказав им. А здесь созданы все условия для того, чтобы так думать и так делать. Более того, так не делать здесь является преступлением.

– Пиар, как считаете вы? – спросил осторожно Квант.

– Точно так же, – растерянно ответил журналист, – Квант, вы чертовски правы! Вы действительно гений! – восторженно проговорил Пиар, все более воодушевляясь правотой своего озарения.

Александр удивленно посмотрел на Пиара и спросил:

– А разве вы знаете геометрию?

– При чем здесь геометрия! – спохватился Пиар. – Я достаточно знаю жизнь, чтобы увидеть, что Квант прав безо всякой геометрии!

Александр согласно кивнул, будто бы он схватил ход мысли Пиара; Ши благодарно посмотрел на журналиста и заметил, что Пиар умнее и догадливее, чем можно было бы подумать вначале, глядя на него.

Квант, получив подтверждение от писателя, спохватился и извиняющимся голосом сообщил, что ему пора идти – сегодня у него важное выступление в кафе в другом конце города.

Ши на миг задумался, затем суетливо забегал по комнате, приговаривая, что он, наверное, пойдет с Квантом. Затем он строго посмотрел на Пиара и Александра:

– И вы, молодые люди, могли бы взять с меня пример и пойти вместе с нами. Я сомневаюсь, что вы сможете провести время полезнее, нежели в обществе ученых мужей.

Говорил он почему-то больше Александру. Потому парень просительно посмотрел на журналиста, передавая ему тем самым право ответить. Пиар любезно отказался, поведая, что Ши, конечно же, прав, но у них, к сожалению, есть свои незначительные дела, которые менее важны, но не терпят отлагательства даже в силу этой незначительности.

– Как хотите. Это, в конце концов, ваше дело, – смягчился Ши, – а я пойду. Вернусь я сегодня поздно ночью, так что меня не ждите. Если вы захотите есть, – обратил он к Пиару, – приготовьте что-нибудь сами. Или обратитесь к моему дяде. Хоть он немного странен, но все он же отличный повар, у него это не отнять. Впрочем, кулинария у нас в крови.

С этими словами они с Квантом покинули библиотеку, закрыв за собою дверь. Квант даже не попрощался, но, видимо, от рассеянности. Мысли о том, что он сознательно пренебрег прощанием, ни Пиар, ни Александр допустить даже не могли.

Оставшись без присутствия столь строгого взгляда Ши, Александр расслабился и пересел за стол, на то место, где сидел Квант. Журналист же с удовольствием расположился на диване и впросительно посмотрел на Александра:

– Я вас слушаю.

Александр смутился, откашлялся, посмотрел на книги, сделав вид, что они его интересуют.

Даже, если они его интересовали, теперь бы проявлять этот интерес было, по меньшей мере, неактуально. Затем парень повернулся к журналисту:

– Скажите сначала: какое Место вы сегодня получили?

Было видно, что он взволнован. Пиар, посчитав этот вопрос увертюрой к теме дела Александра, рассказал свой маршрут.

Александр внимательно все выслушал, а затем театральным жестом схватился обеими руками за голову:

– Что делается с нашим городом! Пиар, вы Прибывший, а получили Место как последний... – он замолчал, подыскивая слово, но, не найдя этого слова, продолжил, – даже у Гегена не было Места.

Пиару не хотелось говорить о Гегене, особенно с Александром. Во-первых, он до конца так и не разобрался: кто же Геген для парня. Во-вторых, он хорошо помнил предостережение Гегена насчет абсурдности замыслов Александра. А потому сейчас было бы просто нехорошо говорить о старике.

– А какое Место было у тебя? – спросил Пиар, посчитав естественным перейти на «ты». Александр этого будто не заметил и ответил:

– У меня сегодня не было Места.

– А разве так можно? – удивился журналист.

– Нет, конечно, – развел руками Александр, – но у меня не было выбора. Из-за моего дела я должен был выкроить себе один свободный денек. Я же не виноват, что этим днем оказался День Преодоления. К тому же, – по его лицу пробежала хитрая ухмылка, – мне нужно было поговорить со многими людьми. Ничего нет проще, чем говорить с тем, кто на своем Месте, в то время как ты вовсе без Места.

Александр замолчал. Он то ли упивался своей находчивостью и везением, то ли просто не решался говорить дальше. Пиар уже минут пять назад подметил, что парень явно увиливает от того дела, по которому сам же и пришел. Журналист вновь попросил его высказать дело. Но Александр, будто не расслышав просьбы Пиара, продолжил свою линию разговора:

– Я со всеми встретился, с кем хотел. Я виделся даже с теми, с кем видеться не хотел бы никогда. Хорошо, что они были скованы Местом... Но это, впрочем, еще более актуализирует мое Дело. А знаете, почему я должен был встретиться со всеми этими людьми именно сегодня?

– Нет, – вздохнул Пиар.

– Хорошо! – радостно воскликнул Александр. – А знаете, почему я прогулял Праздник, почему я нарушил законы Дня Преодоления, почему я не получил места?

– Очевидно, все по тому же, – вновь устало вздохнул Пиар. – Нет, не знаю. Почему?

Александр явно был обрадован.

– Значит, вы ничего не знаете? Последний вопрос: вы видели сегодня Гегена?

Пиара стала раздражать эта манера Александра играть в вопросы и ответы. Он ответил:

– Последний ответ: да, видел.

Тут парень внезапно посерьезнел и осунулся. Он вновь посмотрел на книги, затем – на Пиара, но тут же опустил глаза:

– Он вам все рассказал?

Пиар все более раздражался:

– Нет, он мне ничего не сказал, кроме того, чтобы я тебя не слушал, поскольку у тебя бредовые и абсурдные идеи. Теперь же я вижу, – Пиар почти перешел на крик, – теперь я вижу, что у тебя действительно бредовая манера вести разговор. Или ты сейчас же говоришь о своем деле, или я считаю, что оно меня не касается и занимаюсь другими делами.

Александр облегченно вздохнул и с улыбкой произнес:

– Это хорошо, что он вам ничего не рассказал.

Увидев, что Пиар направился к книжному полкам, Александр вскочил со стула:

– Моя просьба заключается в следующем. Я прошу вас, чтобы вы взяли меня завтра с собою туда, куда вы едете.

Пиар опустился на диван и задумался. Он сразу же вспомнил о желании Александра путешествовать.

– Там, куда я еду, необитаемых мест нет, – произнес он упавшим голосом.

– Это неважно. Я тут прочел – и вы оказались совершенно правы – в мире почти нет таких мест, – Александр был убежден в том, что он говорит.

– Зачем вам это надо? – Пиар вновь перешел на «вы», сам того не замечая.

– Пиар, возьмите меня с собою! – взмолился Александр. – Я не знаю, честно не знаю, зачем мне это. Но если вы требуете объяснения, хоть какого объяснения, то я даю вам его: там, куда вы едете, все иначе. Я не знаю – лучше или хуже, но иначе. Я это понял тогда, когда увидел вас впервые, в Абрюнде, в нижнем ярусе Гегена. Я хочу это Иначе увидеть.

– Объяснение, действительно, хоть какое, – усмехнулся Пиар и посмотрел на Александра. Тот неожиданно посерьезнел и произнес:

– В этом – моя судьба. Заберите меня отсюда. Я ничего не умею, но я быстро учусь. Вот увижу-те. В конце концов, – Александр вновь оживился, – если я вам буду мешать, то вы упакуете меня в посылку и вышлите в Абрюнд на имя Гегена.

Пиар рассмеялся:

– А почему Геген так не желает твоего отъезда?

Александр задумался. Он стал расхаживать по комнате, подыскивая ответ. Наконец, он нашел его возле полки с книгами, не претендующими на мысли, но мысли все же содержащими:

– Гегену здесь хорошо. Ведь он приехал оттуда, из вашего мира. Ему здесь показалось лучше, чем там. И я не могу с ним спорить, ведь он утверждает, что на личном опыте убедился в правоте своего мнения. Я рад бы ему поверить, но хотелось бы узнать все наяву. Я хочу, может быть, стать таким же умным, как Геген.

Пиар с ужасом подумал, что ему бы этого хотелось меньше всего. Скорее, наоборот, Александр будет таким как Геген, если останется здесь. Надо его взять только для того, чтобы он не стал похож на Гегена. Миру станет только лучше, если одним Гегеном будет меньше – в этом журналист был абсолютно уверен. Сейчас ему предоставлялся случай что-то реально изменить в этом странном мире, изменить сознательно. И терять этого шанса Пиар не хотел.

– Ну так что? – с надеждой спросил Александр.

– Я беру тебя с собой, – вздохнул журналист и от волнения встал с дивана.

От восторга Александр, конечно же, не прыгал. Он просто подбежал к журналисту и с сыновней благодарностью обнял его. Пиар в смущении высвободился от объятий парня, и подошел к окну. Там было темно, как в Театре.

– Интересно, сколько сейчас времени? – задумчиво спросил Пиар.

– Какая разница? – радостно воскликнул Александр. Он беспрестанно ходил по комнате, осмещая ее своим счастьем.

Пиару было приятно смотреть на этого счастливого человека. Пусть он с ним еще наберется хлопот – а это очевидно, – но теперь это было неважно.

– Такое, что нам предстоит долгая дорога, а потому надо хорошо выспаться, – с улыбкой ответил Пиар.

– Что вы! – вскричал Александр. – Какое выспаться?! Я уже наспался здесь на всю жизнь! Я вообще теперь спать не буду! – он на миг задумался. – По крайней мере, сегодня точно, – он стал спокойнее, – а почему вы уезжаете именно завтра?

Пиара этот вопрос обескуражил, и он ответил другим вопросом:

– Я не могу здесь долго задерживаться. К тому же, разве ты только сейчас не торопился уехать? Неужели ты еще хочешь здесь оставаться?

Александр испуганно остановился – до этого он ходил по комнате, – и вскричал:

– Нет, ни минуты более! Я имею в виду, почему вы не уехали раньше? Сегодня? Вчера? Или вы хотели остаться здесь на праздник?

Пиар подивился неосведомленности парня и объяснил ему, что поезда не ходили все эти дни и начнут ходить только с завтрашнего утра.

– Кто вам это сказал? – спросил Александр, улыбаясь.

– Служащий в гостинице. У него еще брат в баре работает. Ты его видел.

Александр задумался, а затем хлопнул себя ладонью по лбу:

– Конечно же! Дочь Гегена за ним замужем. Это Валентин.

Пиар ошарашено опустился на диван:

– У Гегена есть дочь?

– Конечно! Валентин, – Александр приставил к носу ладонь, изображая огромный нос В., – женился на ней три года назад. С тех пор они со стариком друзья.

– Подумать только, – произнес Пиар растерянно, – а я ничего об этом не знаю!

Александр странно посмотрел на журналиста:

– Значит, Валентин вам сказал, что поезда не ходят? Как вы думаете, зачем ему это было надо?

– Да, – ответил Пиар, – а что, это неправда?

– Конечно, нет! С тех пор как вы приехали, и как у меня появился шанс уехать отсюда, я каждое утро ходил на вокзал и любовался поездами. Я говорил себе: вот так однажды и я уеду на таком же поезде отсюда... Вместе с вами, конечно. Без вас я бы никуда от Гегена не делся. А вас он, кажется, боится... Так вот, и вчера, и сегодня я ходил к поезду.

Пиар все неожиданно понял. Встреть он сейчас Гегена, он бы отлупил его этой настоящей Вербергенской тростью по его настоящему Боденскому телу. Но Александру этих подробностей осенения Пиара знать было необязательно.

Журналист поднялся с дивана и вновь подошел к окну. Там также было ничего не видно, там было ничего...

– Хорошо, если ты завтра со мною едешь, – строго сказал Пиар, пытаясь воспроизвести в голосе нотки тона Ши, – то сейчас же отправляйся спать.

– Слушаюсь! – по-военному строго отчеканил Александр, но тут же в нерешительности почесал затылок. – Где же я спать буду? В Абгрюнд нельзя... Впрочем, ладно.

Пиар несколько растерянно слушал Александра, он думал о Гегене. Но все же он незаинтересованно и весьма отстранено спросил:

– Тебе негде спать?

– Да нет, не беспокойтесь, – оживился Александр, – я найду где, – и он направился к двери.

Пиар также рассеянно спросил его:

– Значит, все нормально?

– Конечно! Все лучше, чем нормально! Мир просто блестит! – выпалил на прощание Александр и ушел.

Странно, мы с ним даже не договорились насчет завтрашнего дня, подумал Пиар, но тут же махнул рукой. Если этот парень так хочет уехать, то он наверняка найдет Пиара сам.

Журналист задумчиво прошел в библиотеку. Возле книг стоял дядя Ши, в руках он держал какую-то толстую книгу. Увидев входящего журналиста, он испуганно чертыхнулся и исчез из библиотеки, прихватив книгу с собой.

Пиар переоделся, выключил свет и лег на диван.

Сомнений не оставалось никаких. В. изначально был в сговоре с Гегеном. Именно потому им надо было оставить Пиара в городе на то время, за которое Геген успеет снова вступить в партию Боденов, вернуться к Вербергенам. Впрочем, последнее оставалось для Пиара полной загадкой. А то, что после Дня Преодоления – это чтобы наверняка. Однако журналиста не столько волновало, что его использовали, сколько то, что он лишил этих людей Прибывшего. Лучше бы убежать пешком на день раньше, лучше бы город остался совсем без Прибывшего, чем с таким Прибывшим. Правильно сказал Александр, не Прибывший, а последний...

Хлопнула входная дверь, вернулся Ши.

Почему такие как Геген всегда побеждают? Да, лучше забрать Александра, чтобы Гегены хоть раз проиграли.

В комнату вошел Ши. Он осторожно подошел к книгам и вышел. Скорее всего, он отобрал книгу у своего дяди и вернул ее теперь на место, – подумал Пиар, засыпая.

* * *

Пиару ничего не снилось. Впервые за свое пребывание в К. он, как показалось ему, выпался. И это даже несмотря на то, что его рано разбудил Ши, а вставать не хотелось. Но, тем не менее, едва придя в себя, журналист вскочил с дивана и протер глаза. Историк сообщил ему, что он уже приготовил завтрак. Пиар спросил, сколько сейчас времени, на что Ши заявил, что сейчас полвосьмого и через полтора часа поезд уедет. И, в зависимости от степени растерянности Пиара, сам Пиар либо уедет с ним вместе, либо без него. Журналист стал одеваться, Ши сказал, что ждет его на кухне.

Победить Гегена, победить Гегена! – проговаривал про себя Пиар эти два слова, одевшись, умывшись и выйдя на кухню.

Там за столом сидели Ши, его дядя и Нонейм. Последний вскочил из-за стола:

– Здравствуйте, Пиар! Дядя мне вчера вечером сказал, что вы уезжаете сегодня. Я пришел попрощаться с вами.

– Проводить в последний путь, – неожиданно сказал дядя Ши и мрачно рассмеялся.

Журналист со сна не оценил этой шутки. Он поблагодарил Нонейма за признательность и сел завтракать.

Пока он поглощал кофе и омлет, присутствующие молча пялились на него. В иное время Пиар бы разозлился, но теперь ему было некогда. Он быстро покончил с завтраком, поблагодарил Ши и пошел в комнату за сумкой.

Когда он вернулся в прихожую, все трое стояли уже здесь; причем, дядя Ши пытался проникнуть в библиотеку. Ши вбежал за ним и вывел дядю тогда, когда Пиар уже обулся.

– Пиар, вы чуть не забыли свой Вердикт, – сказал историк, протягивая Пиару лист Вердикта.

– Точно! – спохватился журналист, запихивая Вердикт в свою спортивную сумку. Он уже выходил, когда Нонейм сказал, что Геген передает Пиару привет и наилучшие пожелания в дорогу. Журналист поспешно ответил Гегену заочное «спасибо» через Нонейма, поблагодарил его и особенно Ши за то, что они так помогли ему здесь устроиться – и вышел на улицу.

Тут же его поджидал Александр с каким-то свертком в руках.

– Где твои вещи? – поинтересовался Пиар после довольно сухого утреннего приветствия.

– У меня нечто поважнее вещей, – загадочно сообщил Александр, помахивая свертком.

Журналист на это только пожал плечами. Они дошли до гостиницы и поймали такси.

– До вокзала, – бросил Пиар водителю.

Когда они высадились на вокзале, вокзальные часы показывали половину девятого.

Александр с видом знатока повел Пиара к кассам, где они приобрели два билета (платил Пиар). Журналист рассеянно сунул билеты в карман, и они пошли на платформу, где уже пыхтел серый поезд.

Найдя нужный вагон, они остановились – Пиар вспоминал, куда он засунул билеты. Билеты тут же нашлись в боковом левом кармане пиджака, а вместе с ними – белый запечатанный конверт.

Когда они заходили в вагон и искали свое купе, Пиар вспомнил, что получил этот конверт тогда, когда они бежали вечером из «Летописи Рима» вместе с Гегеном. Тут же вспомнился жест того мальчика-китайца, расцененный Пиаром как просьба скрыть от старика получение послания.

У них было двухместное купе. Едва очутившись внутри, Александр восторженно воскликнул:

– Как здесь здорово! Я ни разу в жизни не был внутри поезда. Правда, я заглядывал через окна снаружи, но здесь, внутри, все по-другому.

Пиар согласно кивнул, уселся, распечатал конверт и достал из него лист бумаги, исписанный от руки мелким почерком:

Пиар!

Если вы читаете это послание, значит, вы уезжаете из нашего города. Вполне возможно, уезжаете с этим несносным мальчишкой. Что ж, пусть он наберется ума.

Мне хочется сообщить вам одну тайну, которой не знает никто, кроме меня. Это касается Боденов.

Вы знаете, что Вербергены верят в то, что все, что есть вокруг – ненастоящее. В этом они преодолели Платона. Бодены же считают, что все вокруг настоящее, они в это верят.

Но я могу теперь уже сказать, что настоящего Боденов нет так же, как есть ненастоящее Вербергенов. Мы, Бодены, верим в настоящее, которого нет.

Если вы это поймете, то вам станет ясно: почему я за всю жизнь так и не выбрал чего-то одного.

Берегите Александра.

Геген.

Ниже стояла подпись старика, выполненная в виде крестика.

Значит, мальчик-китаец показывал на Гегена как на посылающего письмо, – первое, что пришло Пиару в голову после прочтения.

Его просто вывело из себя то, что, увозя Александра, он считал себя обхитрившим Гегена, а на деле старик это давно предусмотрел. Черт, этот Геген выиграл! Всегда эти Гегены побеждают!

Поезд тронулся, Пиар посмотрел в окно.

– Что, что-то важное? – спросил Александр, имея в виду письмо. Сам он заворожено глядел в окно.

– Нет, ерунда какая-то, – сказал Пиар, убирая письмо в карман. – Что там у тебя? – спросил он, указывая на сверток.

Александр отстранился от окна и довольно произнес:

– Как я и обещал, я не спал сегодня ночью. И вот результат, – сказал он, разворачивая пакет.

Там лежала трость Гегена.

– Ты украл ее?! – Пиар был поражен.

– Да! – гордо ответил парень и вновь уставился в окно.

Пиару это понравилось. Трость – вот чего не мог предусмотреть даже вездесущий Геген. Ну и пусть сам Геген не верит ни Вербергенам, ни Боденам... Благодаря этой трости, он добился принятия в Бодены. В Абгрюнде может так быть, что, по пропаже трости, Гегена выгонят опять.

Пиар с улыбкой посмотрел на Александра:

– Молодец.

Журналист взял в руки трость. Она была намного тяжелее, чем это казалось со стороны.

Поезд уже набрал скорость, и вид за окном перемещался теперь намного быстрее. Город уже остался позади.

Александр с тоскою посмотрел в окно и неожиданно спросил:

– Пиар, мы ведь вместе вернемся в Абгрюнд?

– А это зависит от того, что решит по этому поводу Геген, – задумчиво сказал Пиар.

Александр с недоумением посмотрел на него:

– А при чем тут Геген? Ведь Геген – не Бог. Вы-то – писатель, вы не должны так думать!

– Кто знает, Гегены сильнее Бога, – все еще не отрываясь от своих мыслей, произнес Пиар, поворачивая в руках трость.

Затем он опомнился и посмотрел на Александра. На лице журналиста отражалась стальная уверенность:

– Конечно. Мы вернемся в Абгрюнд.

Июнь – октябрь, 2001

Владимир АЛЕЙНИКОВ

* * *

Покуда я сам не узнаю, куда
Уходит за памятью время,
Ночная звезда и морская вода
Со мной – но не вместе со всеми.

Покуда я сам не изведу здесь,
Откуда берутся истоки,
Я вынесу бремя и выпрямлюсь весь
Внезапно, как свет на востоке.

Покуда я сам не открою ларцы,
Где свитки седые хранятся,
Пора не пройдёт, где волчицы сосцы
Не млеко, а кровью струятся.

Волчица степная, лихая пора,
Закатная, грозная эра!
Кого это тянет уйти со двора
Какая-то, право, химера?

Кого это ветром прибило к окну,
Засыпало солью и пылью,
Обвеяло пеплом у века в плену,
Чтоб завтра призвать к изобилью?

Кого это выдуло вихрем из нор,
Изрезало бритвами споров?
И чей это пот проступает из пор,
И чей это скалится норов?

Не всё ли равно мне? – я сам по себе –
И я не участник хаоса –
И вовсе не тень проскользнёт по судьбе,
Но листьев круженье с откоса.

Я буду разматывать этот клубок,
Покуда не вырастет следом,

Владимир АЛЕЙНИКОВ – поэт, писатель, переводчик, художник. Родился в 1946 году в Перми. С 1964 года живёт в Москве. Окончил отделение истории и теории искусства истфака МГУ. Участник и летописец содружества СМОГ. Стихи в отечестве начали печататься в период перестройки. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Огонёк», «Волга», «Континент» и др. Автор двенадцати книг стихов, шестнадцати книг прозы. Член союза писателей Москвы. Член ПЕН-Клуба. Лауреат премии Андрея Белого. Живёт в Москве и в Коктебеле.

Чутьём и наитьем высок и глубок,
Тот мир, что лишь вестникам ведом.

* * *

Природа выживет – и нам
Поможет выжить – я-то знаю,
Какая сила в ней земная,
И яви равная, и снам,
Какой в ней свет небесный есть,
Неугасимый и могучий,
Какой замес кипит в ней жгучий,
Каких речей восторг и честь.

Мгновений рой клубится в ней –
То перепалка, то копилка, –
Снимает боль она с затылка
Ладонью влажною своей –
И дни мои она продлит
За то, что верю ей не всуе,
За то, что глас подспудный чую,
Который с искренностью слит.

* * *

То роем пчёл, то птичьим говорком,
Наречьем свишущим, щебечущим, щемящим,
На веки вечные прощаясь, точно ком
Застыл в гортани, – паводком звенящим,
Шумящим выводком, незримым локотком,
Ещё мелькающим и тающим в лазури,
Чтоб все, кто всё-таки владеют языком,
Лоскутья домыслов кроили по фигуре,
Чтоб тот, кто с кем-нибудь хоть чуточку знаком,
Хотя бы изредка здоровался когда-то,
Привык довольствоваться даже пустяком,
Вниманья требуя предвзято,
Приходит осень – всё-таки при ней,
Неумолимой и печальной,
И жесты сдержанней, и тон куда скромней,
Чем там, в наивности поры первоначальной,
В невинных опытах, ненайденных словах,
Ещё желающих принять иные формы,
Чем им положено, – а нынче дело швах,
А там обрушатся и непогодь, и штормы
На эту почву с глиной пополам,
С хрустящей россыпью по кромке самоцветной,
А там, как водится, такой пойдёт бедлам,
Что дом насупится с досадой безответной
На эту плещущую всем, что под рукой,

Куда попало, только бы попала,
Погоду, бредящую влагой день-деньской,
Бубнящую, что за ночь накропала,
В накрапе каверзном оконного стекла,
Что вряд ли выдержит всю мощь её крутую,
Всю горечь тайную, что кровью истекла,
Всю помощь странную, что всё же не впустую,
Как ни крути, но всё-таки дана
Как бы порукою за то, что завтра будет,
Приходит осень – то-то и она
Живёт, как Бог положит и рассудит.

* * *

Пространства укор и упрямства урок,
Азы злополучные яви,
Которой разруха, наверно, не впрок, –
И спорить мы, видимо, вправе.

И вновь на Восток потянулись мосты,
В степях зазвенели оковы –
Но древние реки давно не чисты,
Моря до сих пор нездоровы.

И негде, пожалуй, коней напоить
Безумцам, что жаждут упорно
Громаду страны на куски раскроить
И распрей раскаливать горны.

Отрава и травля, разъевшие кровь,
Солей отложения густые,
Наветы и страхи, не вхожие в новь,
При нас – да и мы не святые.

И мы в этой гуще всеобщей росли.
В клетях этих жили и норах,
И спали вполглаза мы – так, чтоб вдали
Малейший почувствовать шорох.

Мы ткани единой частицы, увы,
Мы груды песчаной крупичицы –
И рыбу эпохи нам есть с головы
Непросто, – и где причаститься

К желанному свету? – и долго ли ждать
Спасительной сени покрова,
Небесной защиты? – и где благодать,
И с верою – Божие Слово?

И снова – на юг, в киммерийскую тишь,
Где дышится глубже, вольнее,
Где пристальной, может, сквозь годы глядишь
И чувствуешь время вернее.

* * *

И свет звезды в теснине междуречья,
Где вывихи эпохи да увечья
Сквозь узорочье памяти прошли,
В ушко игольное втянулись нитью плотной,
Прихватывая следом дух болотный,
То рядом различаешь, то вдали.

Чей будешь ты? – да тот, кто годы прожил,
Кто помыслы рассеянные множил,
Сомненьями да вымыслами сыт
Настолько, что куда теперь скитаться! –
Ах, только бы с покоем не расстаться,
А воля пусть о прошлом голосит.

Утешит ли всё то, что оживляло
Слова твои – и в горе прославляло
То радость мирозданья, то любовь, –
Твоё неизъяснимое, родное,
Привыкшее держаться стороною,
Таившееся, влившееся в кровь?

Не время ли, как в детстве, оглядеться,
Озябнув – отдышаться, обогреться,
Привыкнув – научиться отвекать
От бремени обыденного, – чтобы
Прожить и впредь вне зависти и злобы? –
Попробуй-ка такого поискать!

* * *

Каждой твари – пара в подлунном мире
На ковчеге том, где стол, и ложе, –
Не своими ль в доску, себя транжирия,
На чужом пиру мы стареем всё же?

По ранжиру каждый, пожалуй, может,
Переключке вняв, у стены застынуть, –
Но какая, друже, обида гложет,
Если кто-то хочет ряды покинуть!

Нет покоя, брат, и в помине даже –
Из неволи мы, из тоски да боли,

Запоздали мы, – потому-то, враже,
Ты рассыплешь вдосталь хрустящей соли.

То ли дело свет, что в себе хранили,
То ли дело дух, что несли с собою, –
Хоронили всех – а потом ценили,
Укоряли всех, кто в ладах с судьбою.

У эпохи было лицо рябое,
По приказу шла от неё зараза –
Но куда бы нас ни вели гурьбою,
У неё на всех не хватало сглаза.

Слово раб изгнал я из всех законов,
Что в пути своём на ветрах воспринял –
И знавал я столько ночей бессонных,
Что покров над всем, что живёт, раскинул.

Слово царь я тем на земле прославил,
Что на царство, может быть, венчан речью –
Потому-то всё, что воспел, оставил
На степной окраине, – там, за Сечью.

Не касайся, враже, того, что свято, –
Исцеляйся, друже, всем тем, что скрыто
В стороне от смут, у черты заката,
Где от кривды есть у тебя защита.

* * *

Мне видеть непогодь с годами всё трудней –
Пусть ночь куражилась над всеми понемногу,
Сулила хлопоты и дальнюю дорогу,
Но что-то было в ней, что зрения верней.

И вот окрестности с утра заволокло
Слоёной дымкою – и там, за окоёмом,
Открылось прошлое разомкнутым проёмом –
И солнце красное совсем в него ушло.

Настолько чувственность в природе велика,
Что нет ни радостней, пожалуй, ни грустнее –
Чужие, вроде бы, но столького роднее,
Лишь отрешённое растают облака.

Деваться некуда – и некого простить
За то, что, странствуя, к истокам не вернулся,
Не вынес тяжести, на зов не обернулся,
Не выбрал времени, чтоб друга навестить.

Рассказы

Легче легкого пуха

Милая, милая женщина скрывала от будущего мужа свою небольшую вполне невинную болезнь. Ей казалось постыдным и обременительным это знание, лишь только оно стало бы чужим. Ей было до противности себя стыдно, когда она думала, что ее узнают со стороны маленького ущерба. И тянула время до последнего, когда, как представлялось, не открыться уже было нельзя: в ней начнется тогда преступление. Хотя, повторим, там и открывать-то, по сути, было нечего – один преувеличенный женский стыд, который тут же бы и перестал быть стыдом и огорчительной манией от одного ласкового недоумения близкого человека, – да в чем, любимая моя, здесь беда-то? и не вижу я здесь никакой беды! – от единственного движения все понимающей нежности.

Но нежность мужа была туповата и недальновидна. Вскоре после свадьбы она сказала ему о своем почти несуществующем ущербе, улучив очень близкую минуту. Легче легкого пуха был тот ущерб ее на всех весах, на всех тончайших весах, какие бы только ни сыскались в этом мире, а может, и в том. Милая, милая женщина, зачем же она так беззащитно умудрилась это сказать, муж не заметил бы никакого изъяна жизнь напролет. И если бы то не было выговорено, ничего того и не было вовсе, ущерб забылся бы, сам собою стерся и потерял всякое значение и величину в ее глазах, перестал быть тихим, но неотступным сокрушением ее щепетильного стыда.

«Что же ты раньше не сказала об этом?» – скривился муж, не сумев скрыть некоторого тянущего брюзгой недовольства. «А вдруг бы ты раздумал на мне жениться, – глупо ответила она, но быстро, точным любящим чувством, поправилась, точь-в-точь попадая в себя: – Я тебя очень люблю и боюсь потерять от каждой пустяковой мелочи... Во всякой мелочи боюсь тебя потерять...» Муж кивнул, прощая, польщенный тем высоким чувством, до которого он вознесен. Вечно болезненное мужское самолюбие насытилось на тот миг сполна, как хищничек.

Эта невинная болезнь (видит Бог, в ней больше поименования болезни, чем хворобной сути!), сначала воспринятая мужем как трогательная ее слабость, как беззащитность, от которой хотелось оберегать что было сил, – это предварительное умолчание совершенно крохотной болезни, как будто разрастаясь со временем (и во времени) в предумышленности, изменило свой эмоциональный цвет и неожиданно обратилось в первое предательство, с неприязнью и скрытым страхом угаданное им в ней как начаток катастрофы, с которой не будет уже никакого сладу: она примет подлый характер цепной реакции.

Его удивило это мелкое недоброе чувство в себе, так некстати разместившееся в душе, ведь жена никогда не вызывала в нем мелких ощущений. Самое досадное, что это чувство – было. Отчетливо произнеслось на языке, прежде не внятном. Тупо и точно исподлобья посматривало изнутри него на него, нагло наличествуя. Оно было похоже на незнакомого человека на незнакомой дороге, от которого страшно просто потому, что ты его встретил. От того мерзко сказавшегося чувства теперь не отречься, оно неизбежно проступает сквозь ткань жизни и тяжелит светлую минуту, сколько ни убеждай себя в том, что это вроде бы и не ты сам почувствовал, а кто-то дру-

гой – за тебя, невпопад, наугад тебя оподляя, ибо ты сам так не мог, поскольку намного выше такого дрянного чувствешки и ему уж точно ты не чета.

Милая, милая женщина была нежна и естественна, ее неустанное радушие так легко умело затмить все плохое, любую скверную оступочку жизни, и сделать неприятность кроткой улыбкой, чуточку всегда виновной и беззащитной. Но в ее улыбке улавливалась им теперь помелькивающая и как бы подмигивающая не по-хорошему истайна фальшь, и такую улыбку защищать или беречь уже не хотелось. А может, ничего и не произошло, может, это скучные, сами себя неумело развлекающие призраки буден вносят смуту, дабы увеселить скудное свое однообразие, и плодят иных призраков, которые от нудности повторений становятся злее прежних родителей и которым только-то и заботы, чтоб быть недобрым смущеньем ума.

С ее улыбкой что-то случилось. Что-то непоправимое – с доньшка дальнего женских глаз бьет непреклонной студеной тайной... вот уж и нелюбимый стильный ключ; он был мнительным человеком. И это теперь, конечно, не ее безмятежно дарящаяся улыбка, нет, это подобие света на лице принадлежит той лживо проступающей изнутри ее женщине, но не его жене, не его чем-то раскраденной жене, отстраняющейся все дальше, в те чуждоприимные области, где ускользнет уже любой человек.

Предательство, которое из ничего, на пустом месте она невзначай сотворила, стало смутно длиться в их жизни, – расплывающееся темное пятно, пожирающее невозвратимую чистоту, – покуда не прибавляясь новыми обманами, исхищеньями, не вторгаясь в иные предательства, бывшие, однако, уже настороже: достаточно какого-то вертлявого пустяка, просто неверного дрогоновья души, чтобы они посыпались лавинообразно. Ни он, ни она не догадывались, по какому краю они ходят, – один шаткий шаг, и может рассыпаться в прах вся их долгая жизнь.

А она не знала, как объяснить ему свой прошлый замкнувший ее сознание стыд, который был причиной глупого молчания, достаточно длительного для того, чтобы оно превратилось в умысел и по прошествии лет стало выглядеть враждебным и даже зловещим, точно прятало в себе месть. Она не знала, как реабилитировать свой прошлый, не поддающийся никаким словам стыд, как снять его смуглившее их года заклятье, и тоже, вместе с мужем, переметнувшись от себя на его сторону, стала считать себя предателишкой, жалкой, ничтожной, ни на что не годной предателишкой, непростительно обманувшей самого близкого по свету человека.

Легче легкого пуха ущерб ее (он давно улетучился) мрачно тяжелил их жизнь, пропитанную стойким привкусом горечи, и клонил ее книзу, в темную и суровую заводь неизвестности, пробуя ее, их все-таки ладно сросшуюся вопреки всему жизнь, уже на разрыв, на возможность какой-то неведомой смерти.

Милая, милая женщина очень больно чувствовала это исподволь становившееся чудовищным, откуда-то изнутри тесняще наступавшее на них разрушение, виною которого она неизменно считала себя, но катастрофически не знала, как быть, какими святыми силами и самоотреченьями отстоять мужа у чуждости.

Для возобновления родства она попыталась однажды отравиться, но Бог слишком хорошо знал чудесную ее душу и наотрез отказался упустить ее в вечную тень, и ее отстояли у смерти.

Минули годы (обаяние этой фразы не соответствует действительности). Итак, минули годы, и время их пошло на уклон; ближе к внукам все попере забывалось забвением самой жизни, любящей больше утрачивать, чем хранить. То предательство затерялось где-то в почти неуглядимом уже и не узнаваемом прошлом, затерялось, как мимолетность, на которую не стоило тратить ни крохи внимания, ни капельки сердца, а они, скромные участники собственной разделенной на двоих судьбы, принялись помаленьку стареть (неуклюжие от тесноватой им еще старости, как от не слишком обычных и по торопливой мерке сшитых одежд), становясь счастливее только от одной буднично бегущей рядом с ними мысли, что они вместе. Просто вместе. И будут вместе всегда, сколь возможно этого «всегда» добиться от человеческой жизни. Никакая великая раздорная беда их не разлучит, она лишь стиснет ближе, вгонит жизни плотнее одна в другую, делая неразличимыми по отдельности, не значащими на особицу, а маленькую – и самую опасную

– беду они изжили, покинули ее дотлевать в молодости, бояться им больше абсолютно нечего: их близость стала, по всей видимости, огромней смерти. И, вероятно, намного умнее ее.

Сильнее, чем тогда, в юности, заплутавшей теперь невесте где, они один другого никогда уже не предавали. Не умели предать даже так: она – мнимым своим ущербом, он – неприятием ее нечаянной, оступившейся тайны, заблудившейся в собственных странных потемках. И к старости они окончательно не понимали, что же такое предательство, настолько научились обходиться без него, давным-давно выкинутого из их обихода, как ветхая рухлядь, настолько беззлобно им жилось вдвоем и с похожими на них внуками – ведь очень часто похожесть проступает через поколение: дед – вылитый внук, бабушка – копия внучки (старики словно устремляются на поиски своего детства, наскучавшись однообразной и ни на что не похожей старостью, спохватившись о пропаже, про которую забывали за прочей текучей жизнью), но нередко и как-нибудь по-другому, разброс желаний у природы велик. Отраженной от внуков похожестью они так сильно выглядели на одно лицо, что и обнаруживались одним, но лишь по чистой случайности разделенным на двоих людей человеком. Эта крохотная, почти мнимая разделенность им ничуть не мешала, она попросту не замечалась, как мигновение глаз.

Им было под восемьдесят, когда их жизнь начала казаться им уж легче самого легкого пуха. Не нашлось бы нигде никаких весов, которые теперь уловили бы ее исчезнувшую тяжесть, отлучившуюся из мира сего до того момента, когда они оба почти украдкой выскользнут из земного мгновения в потаенную дверь и когда по ним кто-то вздохнет и заплачет вспомнившей их слезой, вдруг их объявшей.

Жарынь

Мучительную вечность шествующий лист каштана, вкрадчивой ощупью вживлявшийся в облюбываемые им укромки знойного, уж бессознательного воздуха, шлепается на столик летнего кафе с жестяным, мгновенно мертвящим звуком – и всюду округ наступает маленькая смерть.

Так звучала бы природно пощечина, если б пощечины водились в природе.

Этот листопад явно болен, он свел дерево с ума. Коричневая кутерьма, которую затеял каштан, упрекает июль, так безоглядно разлетевшийся жить. Что-то случилось с деревом прежде времени. Ирина замедленно, точно это происходит в иной жизни, где нет нервных минут, где некому быть торопливым (но отчего ж в том затаженном медлени столь отчетливо, столь узнаваемо проступает беспамятность – этакая совершенно реальная, почти осязаемая человеческая бесчеловечность?), – Ирина и здешне и вместе с тем как бы вполне из своего отсутствия берет каким-то мимотекущим жестом рубчатый взгорбленный лист, это отродье непоправимо былого каштана, этот бедный лохмоток бедного дерева, этот обрывочек, эту неудавшуюся цитату заранее сгубленного листопада, – лист, просто пагубный лист, пронизанный смиреннейшим тлением, дремотной нестрашною пагубой, слегка щемящей, слегка перебравшей утрат. Ирина с безвидным, сосредоточенным не на листке, а на собственных мыслях, вниманием как-то призрачно разглядывает его истязюще прекрасную грустную старость, поворачивая непроницаемую для прикосновений, почти уж и не растительную жестянку так и сяк (хаос мыслей судорогой пробегает по россыпи несвязных движений), чтобы убедиться не то в ее тленном совершенстве, не то в своих усомнившихся, нетвердых измышлях, тоже как будто подернутых тленьем; затем в тягучей задумчивости, ощутило сводящей к исчезновению всякое живое время и чувство, растирает неропущий лист меж пальцами, соря очевидным прахом, – лист, испечаленный лист, который хотелось назвать за первое предвесье склонной к сердцу осени как-нибудь особенно и возвышенно, как-нибудь личным именем – но чудесные, но взволнованные названия меркнут, еще не явившись, они где-то, видимо, умерли: Олег уж давно не возвышен, Олег вконец обестолковел от дурманных путаных чувств, лишь жалость Ирины иногда, спохватившись виновно, дотягивалась

жалкой тщетой до него, но она была так редка и изменчива, жалость, что он уже почти никогда не бывал самим собой.

Женские вспльхивые пальцы в бездумной инерционности низачем и ниотчего начавшегося движения разминают в подсознательном темпе грусти этот случайный урон, этот каштановый островок прелести, еще не понимая, что они совершают, – и уничтожают, частицу за частицей ничтожат очутившуюся на столике древесную потерю. Ириныны пальцы судорожно помышляют отдельно от мыслей и желаний Ирины и еще не принадлежат ей осмысленно, сама она сейчас совершает что-то другое, не уничтожение. Где-то там, в смутной и разбродной цельности своего отрешенного, до стылой грусти уединенного, особенно загадочного теперь существа, словно Ирина резко сменила в себе человека и сместила бывшую женщину. Нечто совершенно уже не доступное Олегу, ужающе от него отстраненное и отныне во многие годы неприкосновенное медленно сотворяет она сейчас там, в темных глубинных нетях себя. С гиблым холодком отчаянья он понимает, что до того, чем истинно занята Ирина, ему ни за что, никогда больше не проникнуть, ни под покровом любовей, ни лазейками отречений. До Ирины отныне ему не добраться. («Никогда» разит с холодным бесстрашьем слова-убийцы. «Никогда» убивает донельзя метко – в самую пустоту. В самую болезненную и неуничтожимую пустоту, в ее мучительную сердцевину.) Ему не суметь прикоснуться к ее одиночеству – доверчивому и нежному зверенышу, так хорошо умевшему ластиться и прощать.

Когда лист машинально истрачен, растерзанный снующей в пальцах грустью, забвеньем и смутной, незрячей виной, когда он низложен в теперь уж безвозвратное небытие, Ирина, словно ощутив прощальный зов этого небытия, выходит из оцепенения и с растерянными, как бы вмиг испуганным сожалением – да что же я, глупая, наделала?! – смотрит ошеломленно на желто-коричневое крошево, на убийственную эту пыльцу, порожденную помимо нее, усеявшую столик печальной мнимостью праха, и не может взять в толк, она ли причина прежалкого разора, вознесшего, однако, почти бесстрашную, ровно населившую воздух печаль до степеней прогорклого отчаянья, а если она, то зачем так бессмысленно попользовалась даровым совершенством и движениями неумных, сбежавших от памяти пальцев испортила данную милость каштана, исковеркала еще минуту назад служившую им преданно и наивно красоту. Судорога сожаления в ее лице, будто она опрометчиво совершила непростительный поступок, и виновность, в мелькнувшем испуге обращенная к Олегу, виновность, родственная просьбе о прощении, и новая боязнь оттого, что он не сможет простить ее за совершенную в гибели павшего до сроков листа гибель чего-то гораздо большего, относящегося уже и не к невзрачной утрате той первой частицы осени, а принадлежащего в равной мере им обоим, двуедино проросшего в них – того неразъемно общего, что Ирина тоже как будто извела в пропащий тлен отрешившимися от помыслов ее и желаний, не повинующимися сознанию пальцами – чуждыми пальцами чужого человека, который так просто воспользовался Ириной, чтобы ею не быть.

Руки всего-то навсего исполнили волю застарелых, передержанных тайн.

Раскрошив единственный лист, Ирина словно выказала случайно, что уничтожила все. И узрела сполна крошечность своего утраченного уничтоженья, только когда возвратиться из той крошечности стало уже невозможно: этот мрак начинал поглощать.

Листьяные крошки, напоминающие мизерных, тяготящих пыльцу легонько перемещает по пластиковой пустынке стола ветер с опаляющим дыханием, обнимающий нудную кожу, но безотрадный, облегчения не приносящий, расточающий свои объятья впустую. У этого берущегося ниоткуда, выбегающего внезапно из воздуха ветра, горстью порывчиков спешно брошенного тут и там, – чему-то досталось с лихвою, а что-то осталось ни с чем, – у этого пустынного клочковатого ветра свои здесь каштановые сугробы, своя крохотная, как бы ручная, всегда послушно влекущаяся поэмка: он сумасбродно затеял средь лета причудливые, петлистые игры в зиму, точно наскучавшись быть знойным и безмятежным, утомившись чувствовать себя нескончаемым вяньем летних погод.

Олег и Ирина сидят друг против друга под изнуренным тентом уличного кафе на центральном проспекте, пьют затяжной – длиннее реальных минут – нестынувший кофе, он курчавится смуглым и весьма рассудительным дымком, неспешными спиральками уходящим в прозрачность лета, едва исторгнется за пределы чашек, и неустанные струйки праха сквозят меж ними, устремляются, вдруг сговорившись всем единством, то в один – уже смываемый зноем – край стола, то возвращаются с беззвучным ропотом вспять, накрепко заблудившись в собственном разрушении. Пугающе медлительный, затяженный маятник праха, подвластный прихоти сумбурных ветров, сбивчиво колеблется, отсчитывая какое-то призрачное, заблудившееся время – время то ли забвения, то ли некоего еще недосягнувшего яви прощания, то ли чего-то иного, что несоизмеримо даже с забвением или прощанием, но не обрело пока своего имени среди толпищ земных имен.

Олег и Ирина как зачарованные, – творящаяся перед ними тайна делает их цепенелыми, тратя собою их жизни, – смотрят на этот сквозящий маятник праха и не умеют понять, что же пророчит он им, только знают безотчетно, что совершается что-то очень страшное и еще ни на чуть не проясненное для них обоих. Весь ужас витает покуда где-то втуне. Перед ними словно разверзается фантомными фрагментами картина их внутренних, туго сжатых страхов, но она пока не страшна, а обольстительна видом разрушения, с коим невинно забавляются эти взбалмошные, холеричного склада порывчики-ветры, выстраивая прах по собственному диковатому усмотрению, порой даже намекающему на улыбку. Осы – грустные, понуро хозяйственные, чуточку уже изнуренные предвестники угасающего лета – кружат над объятами молчанием людьми назойливо, тупо, подзревая здесь удачливую добычу или какую-то неуклонимую свою заботу, и пробуют осторожно и почти деликатно, словно бы выставив перед собою незримые блюдечки, черную кофейную слякоть, нароченную на поверхность стола, и вновь и вновь, заметно разочарованные пробой, выются возле пронизанной закоснелым молчанием парочки с безмозглым упорством машинальных существ, не давая мужчине и женщине смотреть спокойно и прямо, отвлекая их на досадливые отмахивания – на невольные отрицанья самих себя, ведь прогоняющий жест мало-помалу обращается в суть этих двоих, все внешние существованья изгнавших, до отчаянной жажды пустоты стать чем угодно, любым подвернувшимся жестом, – лишь редкие и неправдоподобно явленные глоточки кофе отделяют их, хрупчайше спасают, образуя живное облачко чуда, от безусловного, от обвального небытия. Если бы не эта необходимость прихлебывать изредка кофе, они бы давно уж, наверно, были мертвы.

Молчание вот-вот обретет консистенцию твердости. Его можно будет потрогать, нащупать немотные выступы, ямки. Как странно шероховато оно, как необъяснимо скользяще! Архитектоника молчания пленительна и изящна. Ничто не устроено так изумительно небывало – одновременно выпукло и пропаще. Ярко чувствуемое ничто – яро бесчувственное. Животворно лишь оттого, что необыкновенно мертвяще.

Олег видит этот вплавленный в зной бесформенный полдень сквозь отчаяние, как сквозь толщу глухонемой воды. Звуки блаженно утонувшего в лете (не в Лете ль?) города не спешат к нему в прямой яви, а скрадываются косной жарынной толщей, и потому они до невероятья измедленны, отдаленны и как бы искривлены вслед струям зыблющегося внежизненно марева. Они влекутся наверняка из нездешнего, легко пребывшего в упорхновении мира, – едва прикоснувшись к этому совсем потерявшему сознание полдню, звуки обратно отпрядают в свою излюбленную нездешность, в свою расплывчатую сторонку, где они еле слышно пошевеливаются и бредово бормочут. Но откуда же эта длительная и чуть тревожная тягучесть? Отчего неизбежно чувство громоздко и сверхтаинственно влекущегося в водной среде звука? Они отчетливо земного происхождения. Обманулись ли мы в средах или в собственных чувствах? – Но все, самые простые, вопросы выглядят в сумраке летнего ума неразрешимыми теперь уж навечно. В смуте сознания плодится лишь новая смута – и царит вокруг себя все толкущая бестолковость.

И царит бестолковость, звенящим раскаленным ликованием насылаемая всюду, обращаясь в душное недоуменье этого сникшего мира. Та всеместная, та вездесущая обезмысленность не-

обычайно приятна, ведь она отвечает бескрайней лени, нежным ядом растворенной в бухающей пыльным набатом крови.

Размыто краснеет сквозь лиственный лик обворожительного ясеня готический шпиль консерватории, из окон, распахнутых в липкий космос дня, тянется гибкий и сильный женский голос, особенно грациозно печальный на переливах, извлекающий из сокровенных своих отдаленностей уже заразительную, призывную тоску, лучше которой, мнится Олегу, ничего не бывает на свете, в которую хочется погружаться бесконечно, всецело. Голос, играющий с сокровением в прятки, все повторяет несколько гибких упругих фраз, сносимый неким прочнейшим недосаженением в изначалье, терпеливо вникает в совершенство, научаясь его эфемерному и пугливому существу, и словно бы стремится как можно глубже проникнуть, осознать себя, но где-то в неуловимой глубине срывается, не достигнув, пресекаясь одергивающей разочарованностью, и вот уж опять раскраснело летит, набираясь случайной надежды, в поисках неизъясной своей, но прекрасной частицы. Повтор успокаивает, внушает чувство, что есть еще устойчивое, на что можно опереться растерянным духом, и все еще будет, обязательно будет приютным и незыблемым в том, в чем не желает зыблится душа, немочная сейчас, отвратительно пленная. Олег тяжело и прерывисто вздыхает – словно поднимается по щербатым, из-под ног уходящим ступеням.

Вымороченный – не нынешнего дня, да и не мира сего – шорох тягучих шагов об асфальт, точно шаги следуют из невероятного в невероятное. Из одной кажимости призрачно, подслеповато переключиваются в другую. Смутный гул шляющейся химеры. Этот шорох напоминает, однако, о незначительной, будней жизни, которая, в силу невозможности возврата к их общему былому, к утраченному преждему былому, представляется совершенно недоступной, навсегда потерянной в будущем лике своем, а потому и заманчивой в своей необладаемости, в своей несбыточности быденных пустяков и заурядностей – и завистливо хочется распрокинуться в эту самую простейшую, сорноватую буднями жизнь, раствориться в ней дочиста, но вот беда: Олег, завидуя обыкновению дней, будто напрочь забыл, как к нему возвратиться и прикоснуться. Где-то он упустил дорожку, ведущую к бесхитростной простоте обыкновений. Будни, какими без меры наполнены дни большинства людей, представляются ему теперь самым непостижимым и сложным, самым восхитительным из всего, что может быть на свете. Опыт их дления и одоления невероятен. Способ их расточенья безвозвратно утрачен. К ним даже мысленно не подступиться. Ах, просто пожить бы ситцево один ситцевый скромный денечек... Жить бы как все, как все и как все, да и вся недолга, – но именно это в высшей степени неосилимо и тупиково. Это абсолютно неосуществимо, потому что тут как тут какой-то непрекаемый, сильнее самого человека запрет, который мгновенно вышвыривает его с проторенных, натривиаленных путей и утыкает с размаху, точно яростно возвращая беглеца восвоися, в глухую непочатую неизвестность, в дикий край, в дивный край очень грустных и себя не помнящих тайн, с коими надобно разбираться зачем-то до скрупулезной тошноты. И опять ты престранный жилец. Ты опять очутился в пропажах.

Олег уныло – это граничит уже с затравленностью – не знает, как быть этими днями, этими всякими, расхожими, массовидными днями, тотчас выходящими в тираж, едва они кончатся, днями, не осязаемыми для проживания, невесомыми, днями простецкого общего пользования, которые есть в преизбытке у всех. И кажется, до небытия гораздо ближе и внятнее, значительно проще, чем до любой незамысловатой собственной привычки, до обыкновенного чувства, до ярчайшей, бессмертной былой живинки, до всякого прежнего самим собою льющегося, не требующего хитрых усилий дня. Ирина сделала эти дни невозвратимыми и убитыми, даже вернуться стало некуда, трупы и трупы дней, напластованья потерь... Прошлое заразило своим исчезновением и настоящее, этот летний день также болен былым, у него мерцательная аритмия, он вот-вот смежит веки. Что можно увидеть по ту сторону смежившего веки летнего дня?

Тягучий, длинно оседающий в сознании шорох подошв (кажется, и пыль оседает в сознании, отягощая его неживым, мучительно косным) следует из невероятного в невероятное, жизнь скользит – это чувствуется с обостренной горечью – ужасно мимо, не прикасаясь к Олегу, ничуть им не полнясь, – скользит себе в летнем бесчувствии, в знойном околении сознания, не желая

притронуться даже к его неприкаанной горечи, которую будущим дням не излечить: в них не будет лекарства, в них не будет такого простого лекарства – Ирины. Ясного такого лекарства на все случаи жизни.

Его болезнь именуется – отверженность.

Отверженность – сквозь прожитые вместе одиннадцать лет. Сквозь состоявшийся час назад развод, из которого отвержение хлынуло уж неостановимо, словно горлом кровь. Ее теперь не остановить никогда.

Саратовский полдень неповторимо чудесного саратовского лета. Нежное время вокруг – благоденственное. Благоденствующее. Это божественное время, излитое на размякший от жары, пропыленный город, перешедший в странное состояние духа, граничащее со смятением. Город наполовину улетучился, наполовину – стал неузнаваем, он ушел куда-то в свою глубину, откуда до осени его не извлечь, не вызвать для праздного любопытства. Но еще остались тысячи и тысячи его ликом, по которым город кое-как все же можно за давнего знакольца признать и обратно тихонько присвоить, сотни тысяч крохотных его лиц, причудливо, непостижимо связуемых в уже нестерпимую в столь обильном избытке красоту, она старается в себе растворить, сделать ввек исчезновенным, – одновременно вознесет и запропастит, наделит какой-то благою смертью, от которой так легко и всесветно захочется жить. Еще немного – и отравишься ею, и отправишься ею в неведомом странствии, погибнешь ею сладкой погибелью, достаточно лишь вобрать, потеряв осторожность, излишек грациозно летящего к горизонту, легко улетающего городского простора. Он возьмет тебя с дальним собою... О, какое это большое искусство – уметь среди нашего лета беречься – и вовремя, и мгновенно смежить дремные веки, чтоб успеть уцелеть, не поддавшись соблазну рассеянья! Эта летняя необъятность, эта июльская невозможность быть ничем вполне, не досягая и малой частицы множественно разбухшей зеленой сути, неизменно отвергаясь и как бы презираясь ею за скудость твою, – именно это делает тебя таким пустозначащим, таким приисчезнувшим и несовершенным, что вдруг пропадешь – и не сразу заметишь. А может, уже и не вспомнишь, что некогда был... Как быстро пред лицом июльского полдня жалкими и потерянными стать человеческим глазам – вот они и ничьи... Боже, нестерпимо палящий, с ума низводящий, Боже исчезающий, на какое же невыносимо ликующее, невыносимо испытующее лето обрекаешь этот безмерно любимый, нежно продолженный в нашей крови город, уже пылко тронутый югом, смелым и точным югом?! Какое стоит, лениво сочась сквозь сады и предместья, беспечно-счастливое зеленое время, объемлющее отовсюду! Какое несчастье – не быть в эти дни в этом городе! Не быть этим городом – сколь жалкая участь... Как страшно не быть где-то в иных местах, кажется, насквозь безымянных, сколько бы им ни было имени, не быть, этим городом света покинутым, отверженным! Что ты хочешь с нами сделать, буйный, зеленопомешанный бог волжского лета, что нам поделать с тобой? Нам, чудом уцелевшим в твоём чудом длящемся чуде, потерявшем всякий предел. Риск немалый – предаться желтому богу окрестно зияющих медленных гор...

Как пылко хотелось Олегу всегдашнего лета, безмерно ясного, неумемного лета, бескрайнего что в чувствах твоих, что в солнечной каждой былинке, теперь навсегда замкнувшегося лета, которое отстранилось так больно, закутавшись в зябкое уединенье, и непроницаемо смолкло в тлетворной печали, которую не избыть, не скрыть ни за какими поворотами жизни. В былой полнотности ему уже не быть никогда, потому что с потерей Ирины лето видоизменило свою суть и стало чем-то другим, нежели лето, очень сильно не похожее на себя. Оно утратило редкостный дар быть всегдашним. Его трогательный и безмятежный характер переменялся вчистую, обретя свою бедственную, жестокую противоположность. Лето теперь выглядит кошунством, лето теперь – отвращение себя самого, – бессвязные развалины зелени, растерянной, потрясенной, не ожидавшей измены, неряшливые груды сепрой неги и нежности, рассыпанные кругом в пыль и прах. Крах размоковки охватил это лето, цепкая судорога разрушенья устремила везд, и отовсюду – зеленый оскал, мученическая руина природных улыбок.

Но вычтем мертвое виденье Олега – чтобы спасти наше лето. Чтобы лето Саратова осталось в живых.

Вопреки случившемуся измертвлению чувств, моментально пронесемся и сквозь изумленные лики лета, ближайšie деревья по-прежнему нежатся в ими намысленной впрок безмятежности, беспечно обмахиваясь и полощась разомлелой листвой в небесной мерклой голубизне, выжаренной до неузнаваемости ее в качестве прошлых небес. Солнечный избыток отрадно томит их, превращает деревья в разморенные, окутанные дремной гипнотизирующей ленью существа, что лиственной своей еле внятной речью, ошалелой от жары, безвольно, но от этого не менее соблазнительно заывают быть такими же как и они, – лишенными всякой воли хоть что-либо слегка изъяснить, ничего, блаженно ничего не вождедующими по сей несносной жарыни, малость потерянными оттого, что они утратили извечную бодрость, извечно молодящийся ветвистый свой дух и вынуждены стать лишь наглядностью собственной слабости да бессвязным лепетом личной листвы. (Деревья очень похожи на женщин – томных, имеющих блаженные длинные грации, которые пока томятся впустую, зная втайне, что хорошенькое время для них придет обязательно, оно где-то их уже ждет.) В поникших, чуть ли не до личностного краха изнемогших кронах сквозит однообразная утомленная мысль, не умеющая ничем завершиться, не знающая, как же ей прекратиться, чтобы просто побыть для приятности окрестною пустотой, и эта успокаивающе бесконечная древесная мысль осеняет вдруг ясной и прочной надеждой – надеждой некоей вечно хранимой в мире непоколебимой устойчивости, некоего незыблемого постоянства, что когда-нибудь дивным просверком чуда все равно обретутся и оберегут. Кажется, тысячи мелькающих душ рассеяны в кронах, медленно их превращение в шевеленье мрелой листвы. Тысячи чьих-то сорвавшихся в неприкаянность душ, совершивших бесчисленные побеги, осуществивших пропажи. Иначе отчего же так людны эти деревья? Отчего столь много в них узнаваемо человеческого? Как много зренья, слуха и людных прикосновений в каждом пустившемся в доверчивые взгляды древе! Сколь обильно среди их молчаливых ветвей нежно думающего о нас размышленья! Насколько же лучше, чище помышляют они о нас, чем мы способны мыслью взглянуть на них... Дремные полдневные деревья июля лениво просматривают свои химеричные сны, сами незаметно становясь сновиденьем химер, – и то, что Олег принимает за вид деревьев, наверное, не более чем их распаленное мерещенье самим себе, невнятно теряющееся в переутомленной зыби бредущего наугад проспекта, точно в подобии призрачных сумерек. Боже летних и солнечных сил, зачем ты воздвиг великую и обманную пустошь жарыни?!

Вот и дома в обморочном состоянии. Они в таком ошеломлении, в таком тяжко ими переносимом оцениении солнечного изнеможения, какого не может им позволить даже аутичный их монолит, – он все-таки иногда разрешает домам вскрикнуть в пространство пару-другую высотных каких-нибудь слов. Теперь в них ни звука, ни шевелинки, лишь удивленный собственной случайностью сквознячок пробредет спрехвала и позевывая по бледным немочным комнатам, одолеваемым дикой мигренью, да шевельнет смутным плечом снулую штору, одуревшую стоять поперек дня день напролет, которой невдомек даже очнуться и на простое мгновение сказаться живой. А как бы иной раз этого хотелось! Дома вплюснуты и в умерщвленную свою тишину, и в наружную пустынную вымершего вдаль пространства, им, судя по всему, до нестерпимости хотелось бы обороть эту особенно бессмысленную сейчас никчемность собственной громоздкости и грандиозности, пустоту низложенной жарой величественной массивности и спасть, скрасться внутрь себя самих, вобраться до той почти неуглядимой малости, что и есть суть всякого дома, уже неуменьшаемая более сущность жилища – бедная и непревзойденная. Эти в горячечных грезах заточенные дома удерживаются лишь крохотным чудом, чтобы не впасть в благостно затягивающую грезу исчезновения окончательно, бесповоротно, чтобы не поддаться соблазну утратить тяготящую их глыбковато наружность, – и отринуть всю массивно набрякшую, аутичную плоть громождений и форм, внушающих величие торопкое, бегловатое. Это очень явственное сопротивление исчезновениям стоит домам огромных усилий, каменная натуга проступает на их обезличенных солнцем фасадах еще более страдательно и упорно, чем в простые нежаркие дни.

Пахнет кондитерской, диким порченым солнцем, давними временами, неразличимыми воспоминаньями, кофе пышно вспухает и опадает, прилежно руководимый служителем, мужчиной

одуловатой, неопределенной, как будто заведомо раскраденной внешности, с какой-то под стать ему бесформенной, нудно округлой мыслью в лице, – мысль столь кругла, что в ней не остается места ни для чего, кроме ничтожности. Кажется, мысль лишь незадавшееся продолжение смутности этого человека. Он то подсыпает в жаровне истомленный песок к бокам хлестко блестящих кофейных емкостей, утопляя их в помрачающий жар почти целиком, то, по мере восстания кофе, поднимающегося каштановой шапочкой разгневанной пены, освобождая емкость от избытка тепла, держа ее на весу, покуда не утихомирится тамошняя пучинка, не сойдет на нет нравный гнев. Это виденье чрезмерно. Оно уже не в силах вписаться в многодневную пытку свирепой жары. И потому так просто отпадает в нереальность, отказываясь представлять то, чему и без того масса пылких галлюцинаторных свидетельств. Такого избытка, такого палящего перебора бедной картине мира не потянуть – явь может хватить удар... Тело Олега неприятно набухает, тело набито суматошными обрывчатými виденьями, которые его вот-вот разнесут на бесчувственные частицы. Видения распирают изнутри, точно требуя немедленно выпустить их, чтобы с чем-то вовне срочно и крепко совпасть, наконец-то объединиться. Тело похоже на пульсирующую вхолостую галлюцинацию, крепко-накрепко запертую в своем пестро кричащем фантомном бедламе, – эта галлюцинация, кажется, сходит вторично с ума, вывернувшись наизнанку или пойдя по спирали своим обезумленным лабиринтом. Как некуда деться из душной, мучительно тесной, бередящими миражами набитой клетки собственного тела! Никуда не сбежать из беспорядочного лепета задурившего вволю сознания, не избавиться от спертой умственной духотищи, которая охватывает всякую более-менее мысль покровом какого ни попадая бреда, откуда-то забредшего наобум. Тут и кровь не помощница, кровь – беглянка неважная, она больно, досадливо стучит бессильем в висках, вроде бы убегая, делая вид, что куда-то стремится унести и уносит тебя, да так ничего-то и не избежав, никуда не унеся...

Скорее всего не теперь, а из прошлого, очень давнишне шелестит умиротворенная листва, несомненно бывшая. Слабый шепот былого, ветхий шепот минувший шелестит непрестанно, разыскивая покой и тишь в душе, обращаясь лишь к безмятежности в ней, но уже ничего не умеет найти, почти ничего. Так таинственно-грустно, волшебю мерцает, на глазах погибая, вольным порывом сквозит просветленно явно отмеченная прикосновением Бога тень листовая. Мгновенно гибнущей и мгновенно тут же возникающей тайной, как-то очень пронзительно она пробегает зыбчайше по этому давно уж необитаемому, отрешившемуся ото всего островку – Иринуному лицу, искажая его до помраченья любимые черты, обращая Ирину в жестокую, очень несправедливую незнакомость, течет неистекаемо по упорно молчащим недвижным рукам, с вызовом безмолвия охватившим в стылой цепкости чашку с уже потухшим и тоже как будто упрочившим свое молчание кофе. И Олега не покидает бедственное чувство – Ирина все отверженнее, все прочнее становится безмолвием, законченным безмолвием, отныне она – только вечная его немота, тихая боль невыговоренных, под спудом оставшихся тлеть слов. Никакие слова Олега ей не нужны, недосягнувенье – вот что они, одно лишь жалкое и постыдное недосягнувенье. Слова за непреодолимой чертой этого надежно ограждающего ее безмолвия, за смутной чертой этого потворствующего ей, для нее лишь летящего лета, – она и его сумела прибрать к своим рукам, последней лишив драгоценности... Древесная тень мерно зыблется по столу, скрадывает тонким бегучим покровом асфальт, ее присутствие на лице ошутимо, как осенняя паутина, от тени шекотно – и коже как будто немножко смешно, она втайне смеется. Эта прозрачнозримая тень, испещрившая все вокруг, – даже воздух зыбко ею напитан, пронизан пестрящим движеньем, чутким чудом тончайших смещений, – вдруг сметается негодующим всплеском ветра с облюбованных мест, беспорядочно грудится, заживо сдирая слой тротуара, наспех созданный из беглости хрупкой, впадает в смуту и ропот, в разор и неукротимость, в нетревожное помешательство – конец света местного значения, – чтобы вскоре же уловить новые лики мира, по-прежнему населенного ангелами листвы, щедрой россыпью случайностей составленного наугад, но неизменно прекрасно.

В этом мгновенно сменяемом, куда-то суматошно гонимом мире темных превращений, в мире перенаселившей день лиственной прозрачности, в мире, сбежавшем без сожаления и от-

лядок из мира сущего, легкой, но непостижимой игрой перелицевавшем все привычное в иное и непохожее, – здесь звук шагов мимолетных, шаркающих по обленившейся в жаре и разлюбившей шаги дороге, смутные плывучие голоса да и сами вроде бы уже избегнувшие всякой плоти прохождение кажутся доносящимися откуда-то из далекого далека, из невозможного запределья – туда не проникнуть обычным путем, туда – только заново родиться или умереть. Только жалкий и недостоверный отзвук человеческого, страшно давно где-то затерявшегося, отзвук, изгнанный уже отовсюду, кроме бредовых фантомов этого испепеленного дня, – все здесь сделалось мнимо человеческим, мимолюдным. Только, может быть, десятки лет назад, но не теперь, никак уж не теперь миновавшие этот проспект люди. Только шествуют неисчислимой ордой раздобревшие исчезновения, кропотливо подражая земным пустяковым шагам да бесхитростной ежедневности, самозванно прикинувшись настоящим. Почему бы и нет? – время их, место их. Их и власть.

Олег чувствует, как, поддавшись пропащему влиянию этого тотально исчезновенного дня, ускользает от него Ирина. Безмолвие вконец истончает ее, развоплощает, она вгибается, она изгибается в пространство, в то чуточку еще живое пространство, какое недавно было ею самой. Ее облик теперь проступает словно бы внутрь этого сквозного объема, отвратившись от внешности и все страннее бледнея, теряясь, все заметнее избегая зримости. Исчезновение споро завладевает ею, отбирает ее себе; она, вероятно, наилучшее из того, что исчезновению по нраву. Ирина полнится отсутствием стремительно, неостановимо, освобождаясь от тяготящей зримости как от неволи, как от постылой и тяжелой повинности, Олегу не воспрепятствовать уже столь неподвижному, столь вероломному ее уходу никакими силами удержания, никаким самоотречением не сохранить Ирину средь уцелевших, никакими Не, Не... Такого ухода от нее он не ожидал, любой другой он попробовал бы как-нибудь сделать несостоявшимся, но не этот – пред таким покиданием он оказался бессильным и никаким. Густо скопившиеся, душевные отрицания плотно теснят Олега, и касания их уже не отвратны, а приятно влекущи, словно мягкое небытие замерзающего в смерти человека.

Он пустовидно всматривается в неимоверно пустой стул, на котором всего-то несколько минут назад еще была Ирина и где теперь лишь еле внятная, устрашающе унылая лужица исчезновения. Ирины нет. Ее нет абсолютно полно. Ни частицей, ни какой-нибудь оплошной крохой не выдает себя ее присутствие, только что бывшее. Ирина опустела бесследно, на месте ее мистично колеблющаяся тень всесущей листвы, женщина вобрана и истрачена тенью осенней сполна, хотя осени нет и в помине. Осень выслала из будущего своих похитителей, чтобы женщину эту отнять и запропасть. Опечаленные струйки каштанового праха, заблудившись в пластиковом пространстве, заблудившись во всем, в чем только можно плутать, прошныривают по свербящей, тоскливо зияющей в чувствах, точно домашняя пропасть, столешнице, ведомые наугад прихотью взбалмошных, себе на уме дуновений, – вдруг зачем-то становится ясно, что тлен не имеет никакой внятной цели, в нем лишь крохотно дотлевают покорное, сколь сбывшееся, столь и сгнувшееся желание – быть смиренно тленом, все ближе подвигаясь к небытию, уютнейшему из всех пребываний. К небытию – абсолютному пребыванию. Оса замочила крылышки в кофейной слякоти, на солнечном островке стола деловито сушит их, заметно осердившись на свою оплошность. Но она, погрузившись в естественное течение заботы, ничуть не торопит событий, стараясь предстать перед летучим будущим всецело готовой, оправданной во всех предыдущих действиях. Терпеливо, чутким чувством словно бы оглядываясь по сторонам, она обследует подсыхающими крылышками капризный воздух, которому угодить очень трудно, – случайно нет ли уже возможности улететь?

Спустя несколько секунд, необходимых Олегу, чтобы осмыслить что-то совершенно ничемное и уже беспамятное, его стул также опустевает, образовав совсем не болезненную ранку в пространстве. Его тоже нет вдруг нигде. Он сметен, аннигилирован Ирининым разрастающимся исчезновением. Лишь два ранее утвердившихся в воздухе, прижившихся тут взгляда скрещиваются ровно посередине разделяющего их расстояния, и смотрят они, лишенные поддержки глаз, неотрывно, но пусто, без всякого чувства – как что-то сцепившееся неживое. Они просто ярко

зияют. Взгляды еще немного побудут здесь, пока не улетит в мрак своих насекомых забот проветрившаяся мизеральная оса, что грузноватым, слегка от нее отвыкшим полетом переменит мгновенья на иные события. Только оса делает присутствие этих взглядов реальным и немного живым, только она что-то еще спасает, втянувшись в собственное спасенье, как бы заражая им по случайности все вокруг.

Вскоре июльский день, овеванный слабым присутствием некогда бывших людей, становится как будто по прошествии многих лет, хотя не минуло и самой краткой минуты. Лишь по-прежнему курчавятся славным кофейным дымком две ничейные чашки. Безмятежно предаваясь собственному существованию, они стоят и стоят себе на столе, как ни в чем не бывало, не затронутые ожиданием, словно ввек не имели к людям никакого касательства.

Женщина-пустота

Это женщина пустоты.

Пустота ее беспримесная, идеальна, как беспримесен и идеален бывает модельный сапог.

И среди особей прочнейшей и непошибаемой нулевизны она выделялась отменно. По прихоти самовлюбленных и вечно чего-то весомейшего алчущих желаний, коим никак не хотелось оставаться просто скромными намеками натуры, а требовалось броского показного влияния, женщина старалась непременно во всем быть первой, нимало не замечая, что стремится быть первой по пустоте, – ею та женская человечина вооружена, как опасным оружием, стреляющим непредсказуемо, по неизвестным причинам, и оно точнехонько поразит бедную цель, поскольку от всесущности пронизания пустоты, от тотально ее крохоборного действия не ускользнуть ничему: мы бессильны оказаться чем-либо, если на нас ополчатся отсутствие или исчезновение собственными только с виду неказистыми вроде б персонами.

Скоро, видимо, придется вводить статью за незаконное хранение пустоты.

У Крохалева (он знал эту женщину с не совсем благовидной изнанки жены) вся совместная с нею жизнь – сплошь свидетельство против этого преступления, беззаботно хранимого женщиной, что являла собой слегка завуалированную косметикой ловушку, в которой быстро гинул всякий трепетный, вольно дышащий смысл. Нежному, ранимому в ней бывать неприятно и как-то безместно. Нежному, ранимому в ней дико. Поэтому все нежное и ранимое давно избежало ее и вспоминает о ней с содроганием, как о крупном промахе или неудаче. Ее хламоватое, мельтешащее, как безумие, личностное пространство битком набито чем ни попадя, но все – каким-то неразлично аморфным, убийственно однообразно похожим на одно и то же, в свою очередь не имеющее никакого изначального лика. И как бы подернуто все грязноватым, давно издержанным, передержанным, несмотря на то что женщина любит все только новенькое, чтоб с иголочки, не устает всю жизнь гоняться за новеньким и передовым – это главное занятие ее всюду рышущей суматошно судьбы, прямо убилась совсем она на новеньком, сбилась с буйных, дурнопомешанных ног, крепко и дотошно носящих женщину по бытовому свету.

Такое не может не быть смертью. Оно ею, конечно, и является, ответственно не отказывается смертью быть, хотя женщина и полагает, что она по-передовому жива, насытившись современностью до отвала, а то и до поросычьего визга. Что-то медузно студенистое есть во всем том, что делает эта женщина, пусть она всего-навсего присматривается к ценнику в магазине или пихает в рот ушлую вермишель, которая – даже она, несъедоба! – отчего-то этой женщине сопротивляется, ей не благоволит активно. Мерзкая масса скончавшегося и нежившего, эта бесконечная тупиковая масса тяжелеет в ней и угрюмее как-то помимо кукольно красивого и невинного лица с косным намеком неживой, совершенно безъязыкой угрозы. Косная масса свершившегося, сбывшегося Ничего. Вот-вот эта страшно не страшная, мило улыбающаяся смерть, которая не устает рассыпать приятности и комплименты, липкой лапкой дотянется до

тебя из бьющего стылостью хваткого озера небытия, которое в этой женщине расположено. Хвать – и тебя уже нету, пусть ты стоишь и улыбаешься ей в ответ, соря комплиментом на комплимент. Не стоит обольщаться – ты мертв в общении с нею. Покуда ты с ней говоришь, тебя среди живых не найти.

Есть ли в ней то, с чем возможно таинственно сочтаться, – липкая кровь, хотя бы отдаленно напоминающая человеческую, не стылую, не рыбьих тинных свойств? О, как не сыскать в ней нашей крови! В изящных ее сосудах, из которых заблаговременно убран холестерин, толчется какая-то уклончивая тлетворная жидкость, отказывающаяся быть правдивым и свежим порывом, бессильная восстать до высокого мига.

Бескровная кровь. И без крова.

Падшее чудо сомнамбулично бродит по жилам.

Светик К. не светит. Свет давно ее разлюбил. Свет ее избегает, панически уничтожаясь.

Когда смотришь в ее глаза, поражает отсутствие ее глаз. Хотя все, казалось бы, на месте и что-то глядит из ее лица.

Когда она говорит, речь усеяна зиянием слов.

Если Светик К. начинает что-то по обыкновению зевотно делать – в цепенелой и какой-то невамделишной задумчивости, словно пользуясь чужим отстраненным усилием, машинально прибранным к случаю, – такое впечатление, будто уничтожается само попавшее в дурную перделку, вдруг ужаснувшееся дело, а взамен одырявленный мир полнится невыносимой тягостностью исчезновения. Жутковато видеть череду исчезновений в довольно изящном исполнении Светика К. То потрясение не всякому выдержать.

Эта женщина не чувствует, как на ней муха сидит.

И ее овевающие призрачностью и сладостно дурманящей жутью прикосновения не имеют свойства живого. Смутный, постоянно ускользающий камень, словно отпрядывающий все дальше и глуше в небытие, тупо тяготит вместо прикосновения, которого в чутком виде у нее не бывает. Она не знает живых объятий.

Как эта поляя женщина ужасно никого не утешит, как опасно никого не спасет!

Гений убийственных несовпадений, гений отсутствия во всяком присутствии.

Она лишь сгусток исчезновений, которым не позволено быть в жизни, которым вообще не позволено быть исчезновеньями, – и они воровато стали ею, прикинувшись телом и головой.

– На сколько же она отдалена от тех областей, где обитают наши спасения?

– На скопище безнадежных вселенных.

Женщина, насыщающая вдосталь лишь взволнованным малость отсутствием. Лишь ничейностью – той, какой ничеен океан или космос. Женщина-пустошь, прикинувшаяся пространством, зряшно отнявшая у него полноценное место. Светик К. способна оберечь лишь свою бессущностную пустоту, да и для этого нет надобности прикладывать особые усилия: пустота хранит себя сама, ей нечего остерегаться, отсутствие не нуждается в защите, потому что нечего защищать. Ничто угрюмо вглядывается в собственное ничто и видит свое величественное ничто, и ему хорошо оттого, что ему никак.

Как же ей, может показаться, плохо в себе, как отвратно быть пусто-собой и своим ничем не обеспеченным именем. Как же, может статься, одиноко от своего безличного нечеловечья, от фатальной невозможности объять собственную пустоту и как-то укротить ее, укротить. Да ничего же подобного! Ничто не обнаруживает ее боль и ее одиночество. С болью и одиночеством у нее все в порядке – их нет как нет, потому что нечему у нее болеть и нечему в ней – сквозь отсутствие грусти – одиночествовать. Между тем, Светик К. на редкость самодостаточна – личным вакуумом, своим вышколенным, безупречным небытием, что затаилось в ней уже не-тишиной, недруговенным сгустком никогда не бывавшего живым космоса. Собственным небытием она полна до отказа, и если уж чем она и может поделиться без меры, так это им, бескрайним.

Одиночество ее из разряда тех мух, что садятся на ее ухоженную, великолепно сотворенную кожу нечувствуемо.

Скоро вся эта странно прекрасная кожа будет усеяна точками невеселых мушиных испражнений.

Осталось ждать каких-нибудь годика три небольших пустоты.

Крохалев зачем-то ждет. Он парализован ее небытием. К собственной жизни, где-то запропавшей, ему выбираться уже неохота, противно. А ведь до нее, казалось бы, рукой подать. Вот-вот ухватишься, обретешься. Но едва он предпринимает самую робкую, пустячную даже попытку, в силу тут же вступает призрачно сторожащее его проворное и очень зоркое исчезновение, мгновенно порожаемое Светиком К., хотя ее давно уже нет с ним рядом, давным-давно, вполне возможно, целую жизнь. Но исчезновения ее по-прежнему в прежней силе и обладают завидной живучестью. Они всегда настороже и стремительно действуют сквозь сколь угодно огромные расстояния. Крохалеву их избежать никогда еще не удавалось. Хоть бы разок эти исчезновения послабление дали. Не дают. Так и стоят над душой, ужасно глазастые.

Строптивая карьера

Некто Петя Редя, деятель и довольно мощное общественное лицо, исподтишка подумывал о завершении карьеры, да только не знал, чем бы этак ловко закончить, чем бы просверкнуть на публичном небосклоне, чтобы видимость продолжения блистательной карьеры была неотразимой. До болезненности, до самозабвения любил он быть на виду, а творческие желанья – эти неуправляемые внутренние сволочи – иссякли вчистую и не позывали ничего свеженько сотворять, став в нем, точно в издевку, сплошь изжеванным общим местом, каким-то бездыханным стойбищем дурацких привычек. Он подумает вроде творчески, с высоким напряженьем аж забившего ножками духа, а мысль выверотится вовне вдруг такой отпетой банальщиной, что хоть святых выноси из всех помещений. Он уж и болтать вслух стал поменьше, но не помогло. Он-то промолчит, а его взгляд возьмет да и брякнет ни с того ни с сего что-то ультразаурядное вплоть до бестолочи. А то какая-нибудь мимика, нисколько не сообразуясь с владельцем, гнусно заведет в такую психическую дребедень, что и не опишешь никаким порядочным словом, – все слова тотчас прикидываются решительно не словами, дабы чего лишнего не вышло в столь отъявленном виде, так что на слова уж и не подумаешь, что это в самом деле слова, словно их тут отродясь и не бывало. Иль улыбнется до того плоско, бесцветно, что размеров лобасто-прельстительной головы уже не видать, все перепало пошлейшим образом в унылую запредельную плоскость, будто и не водилось никогда на свете ни крупных, затейливо устроенных ушей, ни мясистого, приличной выпелки носа, ни вообще этого в целом породистого бодрого калганчика, в котором ведь иногда что-то же да пребывало, причем весьма бурноватое, закипающее с малого даже огня, от случайно заронившейся порой искры.

Можно было бы, натурально, кончить какой-нибудь сильной, броской смертью, отхлеставшей бы общественность по анемичным и глупым щекам, но Петя Редя любил жить цветуще даже обыкновенным растительным дленьем, не уступив бы ни крохи дражайшей бренности какому-нибудь прожорливому личному произведению, ушло и довольно-таки подло поджидающему от тебя самосожженья, и жил ради мелкого удовольствия собственной еще не испорченной шкуры, хотя сумел неплохо утвердить гжучий миф, будто дороже художественных блужданий среди вечно мятущегося духа для него ничего нет и быть никоим случаем не может – все другое будет прямой погибелью. Кусок, дескать, в горло не лезет, ежели не свежит голову дерзновенная, за живое цепнувшая мысль!

Смерть выглядела совершенно невообразимой, заполошной ценой, которую следовало бы заплатить за благополучное дотеканье судьбы до окончательной и уж посмертной счастливости. Это же олигархически безумная плата! Ищите другого дурака, мысленно показал он всем, кого только мог достать грубоватыми лапами мысли, здоровенную, щедрейшую фигу, умозрительно

затмившую на какое-то время даже его фигуру, геометрические возможности которой были отнюдь не малы, а кое-кого и ужасали величиём органики, доводя нервы до пепла.

Оставался какой-нибудь смертный подлог. Но чем подменить вырчившую бы его смерть, чтобы обман не бросался явно в глаза, уму было непостижимо, и сколько ни бился Петя Редя над этой неразрешимостью якобы творческого выживания, ничего толкового не получалось, не сочеталось: то нужно было, чтобы он был знаменит и всенепременно мертв в одно и то же время, то широкая слава получалась, но жизни почти ничего не получалось, так, какой-то объёдок, свиначий затрапезный хвостик, но ни в коем разе не жизнь, а то и вообще выходило что-то типа пинка под зад – и прощай, будь ты хоть ни жив, ни мертв, мертвецки славен или живно исчезающ.

Все шло так же печально, как мы и описываем, не отступая от нутряной правды печали ни на шаг, уважая и правду в целом, и субстанцию печали в частности, пока, наконец, от широкоохватных терзаний, тягостно опутавших Редина дни и всякие его внутренние безобразия, проблемка не разрешилась самопроизвольно, не пришла сама ему на помощь, устав от него чего-то ждать, пребывать в его нерешительности: он резко умер от обширного инфаркта, чего уж вот никак от себя не ожидал, так как это было чистой подлостью по отношению к персоне, не растратившей мощный запас устремлений и еще хотевшей всласть попыхтеть на этом свете. Внезапно он сделался неживой – и тогда все сразу пошло естественно хорошим ходом вещей и немедленно обнаружилось свои точные и прилежные места, как Петя Редя и мечтал желаньями изначально: все точь-в-точь сбилось по его распротяжавшейся не на жизнь, а на смерть мечте, правда, теперь тоже вынужденной перекочевать в царство теней, вслед за прижимисто хранящим ее трупом, не отвыкшим еще быть до утра жадным.

Много говорили о безвременной кончине, мыслили и даже отчасти порывались установить сопоставимый с Рединой славой надгробный болван, но дело с памятником как-то само собою заглохло, словно ободренное вниманием место земли, то ли не выкроили ни из чего приличествующих средств, то ли память изредела стремительнее, чем можно было что-то успеть сделать, а может, вмешалась тут обычная небрежность людская, которая чаще всего и является причиной причин, серой владычицей недеяний.

Над его простой (чуть не сказалось: простоволосой) могилкой, обнесенной грустно ржавеющей незамысловатой оградой, вскоре возник, как бы откуда-то перебежав и заместив недостачу всего людского, по-детски еще нескладный и щуплый ясень – и ясно, зачарованно, очень чисто засмотрелся в небо круглым зеленым оком. От небесной высоты его ветвящийся взгляд был неотрывен на все времена, на все непогоды, на которые столь исправно щедро облюбванное ясенем среднерусское небо. И, по всей очевидности, самое мудрое, достойное, чего добился этот праховый человек в отринутой жизни, было – ясень, только преданно здесь стоящий, чего-то неведомое сторожащий ясень, из году в год все пристальнее и зачарованнее вглядывающийся в бесконечный для любопытства голубой над миром провал.

Строптивая карьера, освободившись от дрянной нагрузки человека, вершила свое дело превосходно, как нельзя более точно. Ясеньевый интерес к области небес все нарастал, будучи пропавшим было интересом того, кто уже дотлевал и из последних сил вбирал в себя оседавшую поверх могилы бедную, страшно бедную здесь землю.

Невстреча

В уютной для времяпрепровожденья сутолке, в сооруженном из пустяковых звуков строе-ннице презентации их знакомят, рекомендуя, естественно, с наилучшей стороны: не исключена возможность полезных партнерств. Они с терпеливой и важной вежливостью соблюдают церемониал предъявления личностей и даже присматриваются друг к другу острым глазком, точно бы

первыми, свежими взглядами, – чтобы ненароком не повлечь ситуацию в неловкость. На какое-то – словно выкрашенное в яркую страсть – мгновение пристальность неподдельного, заждавшегося интереса мелькает в их привспыхнувших взглядах, впрочем, тут же и потухших, закрывшихся изнутри на всю прочность застарелого отстранения. Но пока отчуждение не нахлынуло сполна, они все же успевают мило и почти искренно улыбнуться один одному (чудом проскользнув в неммыслимо узкую щель последнего в их жизни прощания, которое наотрез отвергнет все будущие попытки сближенья, которое отменит само их будущее), обозначив как бы приятный рубеж знакомства, на который им обоим выйти одно удовольствие: элегантность повстречала элегантность и полюбовалась красиво оформленными противостоящими чувствами.

Через некоторое время выясняется, что они бывшие муж и жена, вынужденные быть вторично знакомы из приличия перед знакомящими их. Кому, скажите на милость, нужны муторные и теперь пустелье подробности закрывшегося для них навсегда совместного прошлого, кому важно то, чем и какой важностью они некогда были один для другого, если это, как упорно казалось и той и тому, утратило всякую важность даже для них самих? Да и место было крайне неподходящим для несиюминутных чувств, не говоря уж о давным-давно отмерших, дотла излюбившихся эмоциях, от которых остались одни призрачные следы, да и то их не враз обнаружишь. Презентация легонечко гремела, как глубоко подавленное восстание. Лишь кое-где отдельные сорные чувства, впадая в недопустимость, были немножко крикливы и бесшабашно своевольны, отчего, естественно, тут же шли вразрез с допустимой красотой, но все в целом вращалось в пределах нормы. Никакой публичной неопрятности чувств нигде не замечалось, ведь тусовка – замечательный полицейский.

Побродив у неизвестных столиков, бывший муж вскоре говорит смущенному устроителю вторичного знакомства:

- Нет, эта женщина, похоже, не была моей женой...
- Ну привет! А как же двое твоих детей от нее?
- Дети мои, но они от совершенно другой женщины.

И, как-то отсутствующе помолчав, сквозь слабо улыбкушуюся печаль сказал еще:

- Та женщина была совсем-совсем другая... С нынешней знакомой у нее нет ничего общего.

Ни единой капли. С таким лицом женщину я никогда не встречал. Да: никогда...

Немного погодя, оставшись за рюмкой вдруг сделавшегося тесным и непослушным одиночества, он с неболящей почти катастрофой вспомнил, с каким счастливым пропаданием, на каком страшном и мучительном пределе потерь любил когда-то – в упраздненных теперь, но все же неистребимых краях юности – это безвозвратно изменившееся в другого человека лицо, и ему до былой нестерпимости, до сухого рыдания жалко стало эту вторую, нынешнюю женщину-незнакомку и немного себя, имевшего к ней слабое и приблизительное отношение.

Время стремительно начало клониться к позднему часу, словно внутри поломавшись.

Всем пора было куда-никуда расходиться.

И, не считая сильно перебравших, все конечно же разошлись. Кто медленнее, а кто быстрее. В зависимости от того, как кого ждали – лживо или не очень.

Только мужчина, о котором мы ведем речь (которого растерянно ведем речью), – только ему неизменно казалось, что он никуда не ушел, хотя он давно уже убрался отсюда, чтобы вволю побродить неизвестно где и о ком.

Дом первых мгновений

Едва осязаемое дыхание вещей полнит странно на себя не похожие комнаты, погруженные в мягкую дрему. Форточки закрыты, вещи изрядно здесь надышали, и дыхание это чисто, свежо. Пахнет их таинственной, чуть скорбною сутью. Неповторимый, завораживающий аромат, обещающий много-много взволнованного будущего, чудесную роскошь возможностей.

Они вот всегда так надышат в твое отсутствие.

Они легонько надышат твое отсутствие.

Всегда так просто они без тебя обживутся, что малость обидно за собственный тут излишек, который простодушные вещи невзначай изъявили, вовсе и не помышляя никого обижать. Здравствуйте-здравствуйте, милые неумехи!

Веселые битвы смыслов тотчас вспорхнут в немного стариковатом воздухе (он заметно стал более возрастным), хотя явно же, явно здесь ничто побеждать не влечется, отвергая затеи побед и начатки вражды, словно крайнюю неуместность, как невозможную глупость, которую этот дом изгоняет тихими гневными иль терпеливой мольбой.

Тишина замерла в необозримо растянувшемся мгновении, сообщнически приставив палец к губам, чуть слышно предупреждающим: тс-с!

Тишина замирает как бы вглубь этого несдвигимого, потерявшего свои края мгновения, но это первоначальное «тс-с!», когда она, тревожно вскинувшись, пристально узнавала человека, продолжает наполнять давно уже прошептавший воздух, еще не пришедший в себя от изумления пред посторонним вторжением.

Мгновения искажают мнимые свои величины: так долго, так трудно – точно издали припоминая – дом не желает признавать твоего возвращения, что становишься чужим себе еще больше, чем был до того, как сюда вошел. Но это только первое время, нужно лишь превозмочь несколько странных ничейных мгновений, вставших меж тобой и твоим утратившим узнавание домом, вот уже и смутившимся от своей оплошки... Но смотри, посмотри же, как самозабвенно кидаются к тебе в залежалое сердце все отхмурившиеся вещи, вся замелькавшая улыбками утварь, очень строгая при других обстоятельствах! Слышишь ли возгласы страшно молчаливой вещной души? Объяты вещей в нетерпенье разъяты, распахнутые в нетерпенье. Сколь бережны и дарящи эти беглые прикосновенья, сколь преданны эти ясные ликованья, приемлющие тебя, каким бы ты ни был, даже если находишься неисправимо во вражеских отношеньях с собой.

Сейчас в их нежности ты пропадешь безвозвратно.

Сейчас из всех заждавшихся ожиданий навстречу хлынут повеселевшие страсти, рассказы безмолвья, уставшие быть одиноко, немотно.

Дом хлынет в тебя – и своим переполнит. Тут только и гляди, как бы хоть немножко остаться собой. Считай, повезло, если вдруг уцелеешь, сумев воспользоваться небольшой отчужденностью, принесенной с собой, невероятным образом отстригив щедро раскрадывающие объятья, пронизавшие воздух, весь человечно настроенный здесь воздух.

Мыслящая вода

Люди на восемьдесят, что ли, процентов состоят из воды.

Жидковат человек!

Но вода, выходит, умеет мыслить.

Во всяком случае, есть восемьдесят процентов думающей воды, принявшей участие в человеке.

Приятно. И как-то гордо за воду. За те успехи, которых она добилась, даже не будучи связанной с рынком или рекламой. Всего добилась сама, причем помимо коммерции, которая единственно, словно тайная благодетельница, дает прямую дорогу к вознесению и чуть повыше самого вознесения. Вода должна бы внушать непререкаемый авторитет. Напрасно мы иногда так уж снисходительно: дескать, без цвета, без запаха и т. п. малые прелести – и подразумеваем что-то крайне среднее, безликое, лишенное и намека на потаенный дар. А все ложная гордыня наша, норовящая увидеть посредственность во всем, кроме нас самих, пресловутых венцов, порядком намозоливших глаза всему окружающему миру.

Между тем, есть вполне обоснованные подозрения, указывающие на то, что, наоборот, вода видит посредственность в нас, но глубоко об этом умалчивает, будучи существом неболтливым и предельно сдержанным, к тому же и воспитанным блестяще – в лучших традициях солнца и светлых пространств.

Вряд ли так сильно уж ошибемся, если будем утверждать: сестра нам по разуму во Вселенной – вода, а не кто-то еще, сплошь и рядом прикидывающиеся инопланетянами и прочим сбродом инакомыслия. Вот кто она на самом-то деле, в беспощадно ясно и трезво увиденной реальности, хоть мы, переполняясь самонадеянностью, зачастую думаем о ней пренебрежительное и уничтожающе мелкое, в силу нашей неискоренимой потребности все принижать и делать ничтожным в собственных глазах, кажущихся лично нам величественными, но это лишь морок зрения и прах откровенный ума, ввергнутого в неутомимо глушую приватную фата-моргану.

Она нам – сестра, беспорно сестра. Все недвусмысленно указывает на это, только разуй хорошо поволоченные слепящей дремотой глаза. Все подтверждает это – сделай босым и разум свой – беспрекословными аргументами, пусть они и являются безмолвными и бессмысленными аргументами косной материи, умеющей рассуждать о себе лишь неясными знаками, полными не бездной смыслов, а бездной истолкований.

Если учесть, что среди людей не так-то и много сколь-нибудь думающих, а также то, что сыренькое в человеке занимает преимущественное место, неизбежно получается: вода мыслит даже больше твердого или летучего состава людей, значительно больше, так сказать, их сухого остатка. Отсюда вполне естественно может вытекать логичный водяной вывод: мыслительная масса воды плотнее, чем плотность разума населения, а это, попирая нашу гордую себялюбивую волю, подталкивает к неутешительным умозаключениям, что не в очень-то лестном свете выставляют гонщика того самого венца творенья и прочего венца, от которого весь окружающий мир сделался нервозен и смертельно устал, еле-еле не подыхает.

Кто сомневается в непревзойденных умственных способностях воды, пусть хоть однажды в целях развлечения обнаружит себя на бережке самой малой, неприязательной речки и попробует выдержать, переглядеть тот чистого смысла неистончаемый взгляд, плавно и светло текущий божественной чередой, полной прозрачных намеков и иносказаний. Гиблое дело! – никому не удастся силой своей тщетно упирающейся мысли одолеть таинственно-прекрасно раскинувшийся под солнцем взгляд воды, переменчивой в этих влажно мерцающих мыслях каждую божью секунду, так что медвежковато неповоротливому, любящему брести вразвалочку уму, развлекшемуся на бережковом припеке, вряд ли угнаться за ее мгновенных причуд и свойств логическими извивами, и вы будете вынуждены бессильно опустить свои напрасные веки, признав сокрушительное интеллектуальное поражение. Вы речкою будете посрамлены непременно, уж как пить дать. Мы должны признать это во всей вопиющей правоте обрушившегося на нас вывода (вместе с бережком рухнул – не выдержал тяжести нашего любопытства?), несмотря на то, что в авторе могут заподозрить агента водного влияния, какую-нибудь пятую ручьистую колонну, уже подмочившую тылы населения.

С чувством огромной, едва ль не вселенской растерянности, преследующим нас неотвязно, обязаны констатировать поневоле: все чаще – тому масса множасьих язвящих примеров – вода сказывается разумнее человека, и ее следует, дабы не дразнить обидчивую всегда неизвестность, незамедлительно объявить высшим разумом, отдать ей по заслугам должное, оставив людей на почетном втором месте. Это самоумаление пусть не внушает никому досаду и унижение, второе место – тоже место, и весьма приличное место, даже есть пока чем гордиться, ведь взяли мы серебро, а эволюция продолжается, она не превратилась в мертвую точку, еще посмотрим, кто будет первым в ближайший миллиончик лет!

Промедление смерти подобно, так как издревле опытная, изощренная влага может упредить и размыслить за нас более толково, с тем чтобы найти нам незавидное утилитарное применение в целях собственных низменных нужд. Будьте бдительны, не оставляйте без подозрительного присмотра ни единой струйки, ни распоследней капли, будь она прирученного происхождения или

дико прикидывающейся под грустное и сутулое существо дождя! Ко всему сколь-нибудь влажно-му или мокренькому мы просто обязаны исполниться, как бы в качестве острагеающего противовеса, твердейшими оттолковенными чувствами. Твердь сомнений, без усталости прозревающих водные козни, – вот наша единственная площадка спасения, необоримая цитадель.

Нужно соблюдать предельную осторожность даже просто с намеком на сырость, даже с былыми следами воды, с заглохшими озерами и старицами, с маревом, взволновавшим торжественно гибнущий горизонт, и мреньем росистых рассветных чувств, не говоря уж о разжиженьи мозгов (безобидная с виду тихоня-водичка – оккупантка из вездесущих!), – иначе недалеко то грубое, безобразных ухмылок время, когда изобретательная влага с восторгом и не скрываемым упоением поработит растерянное вдрызг человечество, и от хваленного мирового сообщества останутся рожки да ножки. И скажут волнисто о нас: вот вы, голубчики, и приплыли!

Нельзя бесконечно злить ее и дразнить. Нельзя легкомысленно испытывать терпение чересчур умной, интеллектуально утонченной воды, в противном случае нам придется расхлебывать беды, не сопоставимые по своим глобальным масштабам даже с океаном, сверхмощно задумавшимся над пространством и над немыслимостью небес. Те беды займут обширью премного больше самой Земли, если мы забудем думать своей головой, от самозабвенья превращающейся тотчас же в слякоть. А жижеватые головы нам ни к чему, коли мы хотим множить в будущее неповрежденные и не очень-то водянистые поколения.

Человек и вода, будьте взаимно вежливы! Проникнитесь же обоюдной любовью и непотворением. Уймите шальные претензии, пригасите на малую яркость амбиции. С чистым сердцем отдайте друг другу спорные территории. Возможно, лишь тогда хрупкое равновесие этих двух ранимых стихий просуществует достаточно много веков, и человек со временем возьмет что-то от воды, а вода умудренно возьмет что-то от человека, и разовьется некоторое среднее меж ними двуединое существо, терпимое и к этому суровому обитанию в мире, битком набитом всяческими неприемлемостями, и к жалким остаткам вод и людей, осмелившимся бытовать кое-где в бесприемно чистом виде.

Как ни склонна вера вечно к исчезновению, но хочется неистощимо верить в то, что светлое божество воды когда-нибудь все равно спасет нас и мы не останемся одиноки и запустелы.

Неразговор

Не повредив ни мгновения, от ветви отпрянул исшедший срок свой лист сентября и, вполне сознавая, что он шествует уже по тому свету, направился посетить землю походкой валкой и ныркой, как у заштормленного до крови человека.

– А зачем он пустился, множа взвихрения и зигзаги, неспешно бродить по ставшему враз нездешним воздуху? – как ощутимо сильно, как наотрез не спросит никто. Как крепко, прикрываясь прочнейшим отсутствием, будет стыть в небытии этот заведомо выдворенный из всех разговоров вопрос!

Никогда не спросит никто, остерегаясь диких пустяков и мелкости суждений, страшась того, что этот вопрос изъявит сентиментальную пустоту, такое большое место, оказывается, занявшей в спросившем. К тому же, такой мелочи, как бродящий в воздухе лист, легко миновать ум – громоздкое и неповоротливое существо, чудовище, которое пожирает самое себя. Разум сквозит через осень бесплодно, праздно влекомый сквозною далью, в которой ищет не мудрость, а окончание, исчезновенье. И свой успокоенный сон.

Эта тема мертва. Напрасно ждать такого вопроса от кого-то, тихомолком ускользнувшего из повседневности. Ускользнувших не видно. Повседневность бьет в глаза спящим напором. Неукротимый вал дней, забывших себя и потерявших свои истинные имена, плотно застит глаза, делая их мало зрячими. И уже уставший быть вне людей, сникший и грустный вопрос, жухлый,

как летящий себе и летящий лист, безгласно вместится в проникнутом лиственной смертью воздухе набрякшей пустотой ничьих слов. Слов нет и не будет, но их упорная, въедливая и обширная пустота наличествует несомненно. Щемит невысказанным. Огромно не высказанным смыслом, пропавшим в нигде. Тяжелит каким-то сквозным сожалением о том, что могло бы вольно сказаться, да пребыло в исчезновение, так и не сумев превозмочь его цепкие, оказалось, пределы, выйти из притяженья химер, изжив призрака за призраком.

Опавшие произнесенными слова, излетевшие, неуклюже вихляясь и занемев, от разоренной вершины дерева до предельно молчаливой земли и далее в никуда, в никуда печальной, прощальной походкой отсентябрившегося листа, виновной походкой, в которой угадывалась кроткая обреченность всего сущего и какая-то не зависящая от этого мира бессмысленность. Но повсюду, так далеко повсюду окрест, изо всех самых несчастных и заброшенных уголков земли, сквозило присутствие иного, неизъяснимого света. Веяло уже легким бессмертием. Со временем от него в груди становилось все тесней и теснее, словно бессмертие было лишь простой невозможностью здешнего дыхания. В силу странных причин осени надобно в этом году закончиться побыстрее, мне так и не успеть ни с кем поговорить. Медленные слова слишком медлят, не успевают за течением дней, они сносятся в тихие мраки обочин, где прикинулись с найденным вдруг облегчением палой листвою.

Баллада о вечной помывке

Еще царящая повсюду середина восьмидесятых, старик, в приятствии разговаривающий сам с собой ветхим шепотом, непроторная баня средь дряхлеющей тихо и полной славного мира пятницы, уж повернувшей заметно на выходные.

– Кабы мы не были нахальны, и Волга была бы чистой, – говорит он однажды, что-то еще, совсем сорное (а может, вполне потустороннее), бубня вперемешку с той фразой, как бы тягуче думая над самим собой, – так думала бы река, глядя на себя с высокого берега, – неспешно отворяя в себя какую-то заклею, опрочневшую от долгого неоткрывания дверь, с небывалым трудом поддающуюся, и с опасливым любопытством заглядывая в открывающееся мгlistое и нематежное пространство: что там? кто там? неужто уже и не я?

В том прямо из тайны распахиваемомся и поначалу пугающем пространстве он, видимо, узнавал что-то давно и отратно знакомое и стерпевшееся с ним, притершееся к нему до последних забубринок чрезмерно разношенной уж души. Старик хорошо улыбался этой встрече (будто где-то на самом захудалом доньшке себя вдруг обнаруживал старого своего знакомца – может быть, даже себя молодого), изрядно замедляясь в движениях, ведь на добрую толику времени он был теперь в другом, сильно отдаленном временем месте и не мог с одинаковой быстротой существовать здесь и там, поскольку время невозможно было тратить без того, чтобы оно мгновенно, едва к нему прикоснешься, не убавлялось либо здесь, либо там. Участие в прошлом оттягивало целые секунды из настоящего, длительные секунды, и тогда он измедлялся ровно на столько, на сколько его действия и жидкие, проредевшие слова оживлялись в былом.. Мощное прошлое столь непререкаемо его отбирало, что в этой тихой пятнице не было времени ничего толком сделать, он даже пожить сейчас не успевал, ведь надо было быть в прошлом, оказываться прошлым, и если ты не хочешь совсем упустить эту беглянку – жизнь, надобно пристальной жить хотя бы в одном конце существования. С прошлым легче съякшаться по причине привычности, поэтому там он и старался почаще бывать, да и приютиться в тех краях как-никак проще: прошлое всегда – дом, обжитый или разоренный, но дом. Все-таки дом. Ведь и личные руины могут обнаружить в тебе жилище, которое что-то уберезет.

Он проговорил – точно развеял – ту простецкую фразу в рассеянной, как бы убредшей куда-то задумчивости, потом, несколько еще поразмыслив, через парочку примерно лет сказал, едва

успев меж тем пристроить сопротивляющуюся, всецело упрямую ногу, желавшую быть единственно только прошлым, в ловко избегающую штанину:

– Что, немогота, отбегалась, не хочешь места знать?! Э-хе-хо... Скоро совсем ляжешь костью на Жареном Бугре. Придет и тебе укорот, к хренам собачьим, мать твою мать.

Он миролюбиво, как отдельному от жизни существу, сказал это на свою неповинующуюся ногу и как не принадлежащую себе собственность похлопал снисходительно длинную мертвяную тощобу, непослушание которой можно было укротить только крепким словом и ничем иначе, словно эта его вконец изможденная, съеденная временем часть, почти утратившая годность, могла подчиняться лишь влиянию беды, – ее всегда, пусть иногда и игриво, таит всякое крепкое слово: оно дальше отодвинуто от буден в неизвестность, чем обыденные поношенные слова, уяснившие прочное место, оно соприкасается с незнакомой опасностью, веющей из внечеловечья, а также из старых, уже обезлюженных бед.

Почти превратившийся в сплошную кость страшно замедленный старик, бывший нерасторопнее самой недвижимой нынешней недвижности, прособирался, кряхтя и сурово наборматывая призраки слов, еще целых три года, то рубаха липла мокрым жгутом к спине, не желала никуда расправляться, – ни тебе смиренно застыть в прошлом, ни тебе, слегка пошатнув мгновение, тихохонько прошнырнуть в сбывшееся настоящее, наконец-то стать рубахой, вполне и вполне надетой на старика, расправленной по его телу и по краешку удачных мгновений. Он без малого полтора года юлил плечами, тщетно пытаясь полюбовно поладить со строптивой одежкой, пошедшей – вкривь по спине – наперекор самому времени и воспротивившейся на столь долгий срок, что он с нескрываемой охотой стал безвременьем. То вялотекущий носок отчаянно отрекался облечь ступню и занять свое настоящее приличествующее место (масса насильственных мер неважнецки продвигала поминутно гаснущее и стынущее дело), то требовался многомесячный роздых после какого-нибудь особо упорствовавшего в одолении усилия, то еще чего-то в старике сильно, до непреодолимых тупиков, препятствовало этому в одиночку растущему времени, – а в нем не было уже ничего, что бы не сопротивлялось времени, не оказывалось существенной помехой ему; ничего не было для течения часов препятственней этого полураспавшегося человека, так что он только к середине девяностых успел сказать, пока мешкотно одевался и оделся, еще не успев как следует перевести загнанный дух:

– Придешь вот сюда скоро и ни одного уж знакомого старика не увидишь, на хер.

На этих словах он стал как никогда медлен, словно в том месте, где очутились теперь не встречающиеся старики, надобно так много жизни и времени, что они целиком, до малейших признаков изымаются отсюда, из настоящего, и жизнь, время здесь замирают вчистую, полные своего отсутствия. Лишь их неисчислимые многоликие призраки явственно реют тогда повсюду в смутившейся, в оплошавшей реальности, множа сбивчивости и преткновения, чудные оклики невесть кого и откуда – и небывалости, небывалости...

Вдруг столько светлой горечи скапливается в последнем слове только что застывшей в воздухе фразы, в тяжеловатом ее осадке, что оно, отказавшись быть собственным смыслом и став чем-то еще, более нежным и проникновенным, чем могла позволить ему его грубоватая земная природа, – это сущее, бритвенное слово (в 80-е годы слово было еще острым; потом как-то привязало – может, засомневалось отчего-то в себе), преобразившись грустной немочью старика, внезапно сверкает, точно старая драгоценность, и выглядит как печальное сокровище, которое отчего-то никому не нужно, которое все оставили за ненадобностью им обладать. Вероятно, оно потеряло былую цену, в новом ничего из сокровищ себе не нашло и обречено пронзительно пустовать.

Все ошутимее это слово становится покинувшим, исшедшим. И даже забравшим и эту простую реальность – она так сильно изменилась в лице, что ее не сразу узнать в виде предбанника публичной бани, еще совсем недавно бывшего здесь. Кажется, теперь-то уж навсегда старик отбыл в свое прошлое, которое, вполне возможно, стало настолько чужим и ничейным, что его трудно признать в качестве давнего знакомца. Не ошибиться бы прибытием, не ведающим, куда же следует прибывать...

– Вот так-то оно... – наконец договаривает помолодевший от бани, промытый до косточек старик уже на излете девяностых и спокойно, даже не шелохнувшись, умирает себе вне всякого лишнего проявления, без остатка и навсегда предавшись прошлому, что давным-давно подбывало перебраться к нему насовсем, но у него не хватало духу разом все бросить – и разом прийти. Отныне их будет много: он, прошлое, давненько не встречающиеся старики – и давненько не встречающийся он сам... Там медлить можно сколько душевке угодно; возможно, там все состоит сплошь из чистого медленья, из этого чудного, совершенного, из этого божественно точного медленья. Там, на обратной стороне жизни, уютно согреваемой обратным солнцем, склоняющимся к незакату.

Надежно и как-то необыкновенно стойко опершись о бетонную – вдруг цинично казенную – спинку, он сидит на публичной предбанной скамейке, кажется, вполне живо, неукротимо живо, пользуясь, коли выпала, краткой передышкой, вкушая, коли достался, кроткий покой. В смерти он как будто долго еще спит, пока его не начинают обеспокоенно окликать и тормошить, но во время понимают, что окликают и тормозят его бедную, безотрывно задумавшуюся над чем-то своим смерть, которая вряд ли отзовется на какое-либо из существующих имен.

Он умирает так неотсутствующе, так спокойно, бесшумно (в небытие очень естественно проделывая несуетное достоинство своей тихой жизни и за гранью мыслимого и возможного все же храня каким-то невероятным усилием верность огромной своей, несвергаемой жизненной Тишине), что даже не прерывает ничей разговор, не отвлекает на себя ни крохи стороннего внимания, точно подавая смертью пример деликатности. И – весь вопрошенье, застывающее в неколебимую суровость вопрошенье – еще некоторое странное время сидит, словно в чистилище, в банном межвременье, как бы потерянно размышляя, куда же ему податься, в какую сторону жизни, в какую сторону смерти, ведь это теперь так важно. И если бы он был жив, то наверное был бы сейчас очень доволен тем, что так хорошо подгадал умереть, приурочив удачно помывку как раз к чистоте последнего покоя: водные хлопоты отпадают, осталось лишь самое необходимое, насущное, чем уже невозможно оскорбить эту обидчивую всегда смерть.

Его пока укладывают немножко полежать – отдохнуть; он страшно устал от собственной кончины; он еще недоумевает на случившуюся в нем остановку, созерцая ее бессильно, изумленно, не узнавая в ней ни одной перемены, какие были знакомы по жизни. Охотно смирившись с чужой волей, он волготно лежит на волглой бетонной скамейке. Чистейшая седина с головы вдруг разошлась по всему его обезмолвленному телу, преполнив внешний остаток старика своим благородством, – он теперь неограниченно светел, легок, свободен, как почти нереальный тополиный пух, которому радостно бросается навстречу любое странствие, к которому запросто, свойски льнет самая причудливая невероятность. И ничто в старике не встревожится понапрасну, ничто уже не воспрепятствует времени, абсолютно все в покойном теперь согласно ему, податливо и соразмерно, – ему, равнодушно просквознувшему через еще одну жизнь времени, которое, сверхчеловечно поняв, что больше ничего не мешает (этот раскраденный возрастом божий одувачик все же был крепковатым препятствием), разом ухает в пушистую, заиндевелую середину февраля, в неизвестного происхождения год, в чуть слышно прохаживающийся за окном замедленный едва не до сновидений, гипнозом тишины замороженный снег.

Он-то своим полным волшебью и таинства медленьем опять попридержит рьяное время, склонит его быть чуть согласнее природе наших медленных душ, старающихся непременно обратить все в покой, во временную легкую смерть, что от малейшего волнения вновь расшевелится в жизнь.

Только на снег теперь вся надежда – чтобы время беспрепятственно не унеслось, не ведая и оглядки, куда-то в жутковато далекое и безликое будущее, оставив нас, банный народ, наедине со стариком, все еще не справившимся никак со своими дряхлыми немощами, кои он пытается одеть в человеческий вид. Это его кропотливое действие столь бесконечно долго, столь затянута и ворожаща его будничная магия, что мнится, будто за этим занятием, не быв никогда молодым и иным, он проводит всю жизнь – загороженной медленьем, ей так и не суметь ког-

да-нибудь кончиться, завершиться. Та всеущая пятница помелькивает, громоздится в каждом скользщем мимо дне и непрестанно зреет блеклой вечностью, бедной вечностью, которой, по всей видимости, негде больше укрыться, кроме того перенасыщенного обыденностью дня, растянувшегося на всю жизнь, да кроме простежкой, терпимой к любым посторонним вторжениям, словно распахнутой вечно настезь стариковой жизни, давным-давно заплутавшей в потемках судьбы и страны.

И падает, почти подсознательно падает снег, отважно становясь земным. Пожалуй, он многое прояснит по эту сторону жизни. Он множество заблуждений скроет собой. Ведь – снег. Умопомрачительно чистый же снег.

Неумираемый

А ведь жизнь-то вся сгинула на выживание.

Ему всю жизнь пришлось то и знай умирать: это двадцатый век, это Россия, шутки тут плохи. То и дело запинался о смерть и где правдами, где неправдами выгаскивал себя из нее (кто б остался тянуть за него эту чрезмерную лямку дней и угрюмых забот?), если все же не удержался и в смертушку обронился. Он настолько стерпелся с повседневным ее существованием и буднично с нею сжился, что бросил обращать на нее внимание, изредка воспринимая ее одним пустопорожним равнодушием, – эка невидаль, смерть... И она, отринутая всякой страстью, сделалась отсутствующей и неуловимой. Смерть точно утерала свой лик, по какому можно было бы безошибочно признать ее – и встретить или прогнать, в зависимости от ее поведения. Смерть затерялась где-то, будучи чересчур пустоватой для его постоянно в чем-то нуждающихся глаз, нередко и голодавших.

А ведь смерть-то вся истрачена на жизнь.

Ему нечем стало даже умереть, когда подоспел крайний срок, вопрошающий с него неминуемой кончины. Но он не мог смертью ответить. Не сумел. Ответить было нечем. Он пережил своих ровесников и годы, которые бы еще можно считать живыми. Лютый мрак и нелепость вымерших времен окружали его, но он все равно не был мертв, разучился уже быть таковым, теплился себе да теплился помаленьку. Втянулся тлеть смиренными днями. Привычно привык. Ведь привыкать для него было самым привычным из всех дел. Да еще терпеть. Без этих двух вечных провожатаев, привычки да терпения, ты – никуда. Потому что без них ты – ничто.

Теперь его земное влаченье похоже на то время, когда он еще не родился, на тьму до-рождения, и забрать его сможет из этого мира, вероятно, только какое-то новое рождение, еще один беспмятный переход изо тьмы во тьму. Не смерти уж изъять его отсюда, это очевидно. Не ей теперь распорядиться им, им воспользоваться.

Из тьмы до-сущей – в тьму после-сущую. Но где его разбудешь, это новое, всему бытию не известное рождение? Что оно такое из себя представляет? Об этом ужасающе сильно было неведомо. Сильнее всех промолчавших сквозь десятилетия, так и оставшихся не початыми слов. Сильнее жизни и смерти – одинаково хрупких и ранимых сущностей.

А где же была вечно вычеркиваемая из бытия, вечно затерянная его жизнь? Перебродин Пал Палыч не знал этого всей глубиной блеклого своего, донельзя выцветшего сокровения и только как-то длился и длился помимо себя, влекомый безвестной и беспрекословной силою непрекращения, чем-то неопределенным в себе склонял день за днем на свою жалкую безответную сторону, чем-то их истрачивал до последних крупниц, непреднамеренно втянувшись в это покое бессмертия, как в бездорожье. Бессмертие было ни горячо, ни холодно, а так, что-то еле-еле тепленькое. Наподобие простокваши, оставленной к ужину на предвечернем столе, для пользы пищевого тракта.

Мгновенный бог

С неоспоримой лукавинкой скользнув из чьего-то окна, солнечный зайчик весенне щекочет щеку (враз улыбнулась вся кожа), обдавая случайной радостью света, которого с наплывом весны стало обильно, до смутительного томленья, до невыносимости души оставаться прежней, всегдашней, – щемящей беглой душою зазывно и грустно-тревожно сквозит отовсюду, куда ни взгляни ликованьем, куда ни коснись изумленьем, моментально, как в прах, рассеявшись в зренье, в развешанное повсеместно твое зренье, а может, поглотившись этим странноприимным апрельским пейзажем, обольстившим даже исчезновенье твое.

Пропадает солнечный зайчик чуть погодя, недвижно и вдумчиво пожив на лице, медленным различая того человека, которого с нетерпением ищет, а затем провалившись в огромность-пустынную, в конспективно изложенную маревом окрестную бездну, не найдя во мне того, кто был ему жарко нужен. Кинулся он, глупый, совсем щенячий, догнать то, что за жизнь не сумела догнать жизнь моя. Бог тебе в помощь, продолговатый свет.

Солнечный бегунок, откуда-то из жилого массива самозванно явившись, прикасается ко мне тесным световым тельцем, просветляет, бережно и трепетко притрагивается к усталой крови: как ты поживаешь, спрашивает, зимняя кровь? Глупый, глупый! У меня все хорошо. Разве можно не поживать, когда идешь по весне?

Солнечный зайчик, длиннотельый, стремительно обшаривающий разморенные нежно пространства, мгновенно улавливающий свои незримые, не успевшие даже отшатнуться цели, – это он упруго и очень живо пульсирует на щеке сколь угодно далеко отстраненным девчоночьим смехом, чуть бедовым, искрящимся озорством и от весны чуть шальным, смехом, на секунды мелькнувшим где-то в дальнем высотном окне, смехом, сбежавшим смущенно за шторы... Что он, беглый, сторожкий, ищет во мне? Что он, предельно непостоянный, может во мне отыскать? Какого света ему от меня надо? – Но он режется уже где-то в иных, не связуемых со мною пространствах, до ответа ль ему, мгновенному богу?

А может, и впрямь навещал меня Бог? Но зачем Ему запустенье, пролегающее среди людей?

Роман с жизнью

Вечно она серо-буро-малиновая, эта хваленая жизнь.

И упорхнувшая какая-то. Вечно ее нет, когда позарез нужна.

Такая некая жизнь.

Ты, вроде, до невыносимости живуч, в каждом движении ослепительно яркая – она, гляди, еле теплится; ты, в свою очередь, вдруг отчего-то еле теплишься – она себе где-то резво порхает, нектати собирая нектары фантазий, вместо того чтобы вдыхать в тебя неотлучно свежие силы, – прямая ее, между прочим, обязанность.

Но нет, ничего подобного от нее не дождешься, только каверзы, только подвохи да сумасбродных излишеств капризы, точно она развращена немислимо роскошным детством, что не соответствует действительности, так как не графы.

Вот за что, спросить бы ее с пристрастьем, моя жизнь перестала чтить меня и взяла за дурное обыкновение от меня отрекаться? Ничего плохого я ей отродясь не делал. Только и делал все существование – старался холить ее да лелеять, чтоб ни в чем она себе отказу не знала. Только ласково и на цыпочках, то ей трепетно поднесешь да это, лишь не кривила б ненасытные свои губки. Слова грубого от меня век не слыхала, ни по матушке никогда, ни еще как-нибудь черствосердечно и мужиковато, с этим – ни-ни. Вот и дотрепетался. Взлелеял себе на шею. Хорошенькие для склона дней мне вытанцевались дела – она ведь уж на мне паразитирует наглядно и вертит мною как хочет, как взбалмошности ее заблагорассудится.

Как задобрить ее и подластиться к ней, чтоб вернуть ее былое расположение? Да чтоб подхалимажем при этом особенно-то не пахло, а то она на подхалимаж моментально кривит ненасытные свои губки и тут же, загорживаясь огромными вздохами и другим подручным физиологическим материалом, томно отвергается и отвергает, тут же ее вроде никогда и не было, а я – место пусто, я вместо пуста, хотя все на одних нервах да нервах, впрочем, заболтался на целый год наперед...

А куплю-ка я некую неотразимых достоинств и прелестей розу и бутылку некоего неотразимых вкусов вина да застану ее появлением и улыбкой врасплох, – то-то будет ей не отвертеться, хоть бы и сквозь позовотку, но встречай слабожеланного гостя: ну проходи, тихомолком обронит, раз уж пришел, надевай вот чьи-то тут тапки, по полу тянет студеным... Где был, пропадал, что за весть принес? – спросит скучно и кисленько, выпуская тайком туго сжимаемый в челюстях скучный сон в обманный кулак, деликатно соприкосновенный с ненасытными губками специально для вранья позовотки. Ну да бог с ней, с позовоткой, с нею как-нибудь образуется и без нас, она дело всегда благополучное и сбывающееся. Не все же зевать на целых полстраницы. Тронемся лучше по сюжету (если, конечно, он обнаружится) дальше, предоставив уважаемым зевотам и прочей дремной братье разбираться с собою самим, выстраивая сонную иерархию путем жесткого междусобойчика.

Мы сядем на парящем окрестно блаженном балконе с естественно чудным видом на море и, объятые реминисцентной безмятежностью вечернего и морского, вдруг разговоримся – точно прорвет былое – обо всем, обо всем, как давно не встречавшиеся друзья, сладко теперь развенчавшие длинные свои забытья. Обо всем, чем были некогда вместе, чего двуедино касались, что было в канувшую навеки, далекую и сомнительную даже для веры эпоху нашим нераздельным общим, целительно цельным, бесценным, а теперь, ну а теперь, в бледненькое и вымученное это теперь – лишь скорбная рознь друг дружку дичающих воспоминаний. Отчего же и когда мы с тобой разошлись, милая, странная жизнь?

Начав отчего-то смехом, не кончить бы очень закономерно плачем. Есть большая опасность во внутренней силе трагедий, особенно пущенных на самотек. Ну да и ладно – пускай выводит нас самодвижущая сила какой-нибудь тягловой трагедии куда заблаговолится ей самой вести, тем более что в данном совершенно гиблом месте рассказа больше и выводить-то нечему, автор пал давно ожидаемой жертвой собственных амбициозных проектов и, главным образом, благодаря теории смерти автора, распространенной среди авторского поголовья. Хоть в сапожники (они не мертвеют) ниспадай для переквалификации, чем мы сейчас и заняты неотложно – исключительно для соответствия чистой совести, тревожно позывающей откуда-то из запропащенья быть ею, единственно ею, дескать, попробуйте только мною не быть, увидите тогда, что с вами будет! Е-хо-хо, и тут исподтишка бродят диктаты, оторвавшиеся, что ли, как тромбы, от тоталитарных диктатов убрешей мимо страны...

Итак...

Стало быть, итак!

А что, собственно говоря, итак, с какой это стати итак, зачем уж сразу так-то – итак? Да кто ж его знает! Может, ведь просто что-то и померещилось. Этак слегка, краем бреда залетного. Для затравки более огромных и полновесных галлюцинаций. Вот спросить бы кого со сверлящим глазами пристрастием, да что же тут ясного, несумасшедшего спросишь, когда от ненастья вопросов в мозгах бесконечно темно? Всяк неизбежно блуждает в том слове, никто за «итак» не ответчик. Никто ему не указ. Отсюда и беда: оно безобязанно, вопиюще хищновато гуляет само по себе, лишь взбреднется ему просладительная диковатая воля. Боже ж мой, сколько прирожденной наглости и одновременно растерянности в этом чуть ли не безликом словце! И откуда оно только взялось, на свет вылупилось – этаким лексический гражданин абсолютно негражданской внешности, то и дело вроде бы пропадающей, точно она является лишь серым прикрытием умышленно стертой личности из спецслужб?!

А не покорить ли нам его и мнимые его вершины как-нибудь нашей природной азийскою хитростью да смекалистой лестью, вдосталь понахвтанной у мимотекущей жизни в разные периоды ее разявного существования? – вперится в тебя, как ненормальная, взором стоячим, недвижимым и мечтает, мечтает, того и гляди всего тебя до дыр измечтав.

Итак, приступаем вплотную к итак. В кои-то веки. А то что-то ни у кого до него руки все никак не доходят. А у нас вот наконец-то дошли, таки сумели, теперь от нашей практически истощной дотошности ему вряд ли легко отбояриться. Пора с ним всерьез разобраться, надолго, не то лишних дел оно наворочает и мир позаоставит, как брошенной, выжившей из ума мебелью, ненужными смыслами, безднами. Оно вам это надо? Вот то-то и оно!

Итак, заклиная тебя, азийски говоря, многоуважаемый и досточтимый итак, ради всего святого, что еще как-то бытует кой-где, ради всего святого, так хрупко мерцающего в жизни и в наших полупропащих и дрянцеватых башках, ради всего изумительным чудом теплящегося, чуть тлеющего святого, милый итак, двинься же себе потихоньку дальше и дальше, давая место и прочим словам (косвенным этак шажком, этак так ненароком, вроде ты и не ушел никуда и уходить никуда не собираешься, и мы тебя вовсе бы вроде не гоним, а ты в охотку топчешься с ножки на ножку, фантазии в воздух-разиношку лепеча), стронься из своего беззаботно потерявшего смысл тупика хоть каким-нибудь попусением, хоть бы мертвеньким каким случайнейшим шевеленьем из разряда нездешних, стронься же наконец, пока по-хорошему просим, милоч, пядь за пядью изымая у сурового и безжалостного нарратива всё иные места, заколдованные области плача, к примеру, что давно и по праву уж мыслим в своих, не будь истуканом, бесплодным упрямым, у которого одно лишь дурное стоянье в уме, причем в основном – что совсем и не красит – фаллических свойств. (Или ты, Ради Всего Святого, коль обуяла нас такая недвижность и образовался здесь немислимый ступор по человеконенавистнической воле итак, помоги разобраться с возникшим затмением и любезно окажи нам возможность сориентироваться на заведших в глухую безвестность текстовых местностях. Впрысни в нас, дорогое Ради Всего Святого, хоть бы призрак движенья, хоть бы видимость немотствующего какого-нибудь шевеленья.)

Но не слышит ни шиша этот донельзя бесчувственный, практически дохлый болван итак. Чу ему! Чу! Нет, бесполезно, даже не пошелохнется ничу... Все попытки прямого контакта напрасны, зря только тратиться прикосновеньем, воистину как о стенку горохом. Иль прикинулся, от греха подальше, невменяемым, а то и полумертвым этот хитро.опый му.ак? Даже вот точек порядочных не хватает, чтобы скрыть все отвратные чувства к нему! Все точки мгновенно становятся непорядочными при соприкосновении с ним. Скурвливаются, что ли? Издали не разглядеть. А куда ты, собственно, сбежал, в какие такие издали, спугнутый черствым мраком итак? Ну-ка вернись обратно! Не пристало автору бегать от собственного, пусть и предательского текста, от собственных, пусть и отрекшихся от него слов, будь они ему даже откровенно враждебны, а для всех остальных – противозаконны, так что лучше дело иметь с представителями воровского мира, а не с ними, поворовывающими незримость и всякого рода отсутствия.

О! Черт бы побрал тебя совсем, преткновенный ты, гадкий ты и хитроумный итак, остановивший все дело в начатке и неразберихе! Ни дна тебе, ни покрывки, ни светлого покоя на том – очень ясном – свете. Вот и попиши с тобой, оловянно глядящим, стремглавную прозу. Ничего пугного с тобой не попишешь, кроме справки о доходах, которой легко состоять из одних пустых преткновений...

Далее в заблудившейся рукописи слов без зазренья совести следует мучительно бесконечный и отменнейше нудный, практически голубой роман с брюзгливым этим господином Итак, а может, с романтическим героем якобы нездешнего имени, но на деле-то, на деле и без прикрас – с чертовым этим обрывком, оборвышем речи, краше в гроб кладут. Слава богу, внятно и твердо вымарано какой-то вовремя случившейся поблизости умной рукой. Какой ужас был бы на этом вот самом месте, если бы не она, добросклонно размыслившая все здесь похерить рука!

Итак, простите великодушно, это разлетевшийся на пустом месте рассеянный автор весьма неудачного склада натуры опять со всего маху, безбожно пыля, левой, особенно странной ногою задел, зацепился-таки о бедный сюжет, им же самим неосмотрительно поразбросанный где ни попало. Все у него, маятных дел мастера, вечно валяется откровеннейшим образом под ногами (а в руках, как всегда, лишь пустеет одна пустота), причем самое ценное как раз и валяется самым любовным и прочным валяньем (тут орудует какая-то непостижимых наклонностей закономерность), явив всему черепномозговому миру неясны страдания лежалых корч и пере-лежалых уж мук, закатив долу своеобычные дивные очи, припыленные запустеньем и как бы подернутые отходняком. Никакого ж проходу для вольного шлянья желаний, для приличных прогулок вообще, даже зону труда не умеет нормально обставить, хренов дизайнер! А туда же! Тоже нам, менеджер, ответственный в текстах за работу с персоналом! Лидер в сегменте! Увы, небезосновательно брошенное в наш огород прим. беглых читателей, поголовно ошеломленных нагло всученным им запустеньем, вместо того чтобы здесь и сейчас лакомиться за кровные за свои приятно преподнесенным к их ожиданиям славно прожаренным текстом, столь же (автора прим., алаверды) неуследимо беглым, несмотря на писачьи духовки, как и они, беглые, беглые наши, невозможно неувимые, а чаще всего и небывалые. Стыдись же, беглый читатель, быть беглым, всячески избегай бегства в себе, ведь ты живешь в своей стране, и твой город – это бесповоротно твой город, а твоя деревня – это безвылазно твоя деревня! И особенно-то не рыпайся... Сделаем Саратов столицей Поволжья даже разуму вопреки! Тю-тю-тю! Эк тебя занесло... Стоп, дорогая машина стремленья. Стоп, мнимопруший трактор сей прозы. Или что там несется, сея панику в небесах и народах? Что за притча! – мельканье, мельканье... Дикобраз ты, пылинки или тающий в отдалении человек? Да кто ж тебя знает, что ты есть, о безвестное странновиденье...

Что-то мы, будучи жертвами рвения, сильно зарпортовались, чересчур скоростным, превышающим разум мышленьем вылетев со всех возможных интеллектуальных шоссе, как бы это того... не прибыть бы прямехонько в жертвы сюжетных аварий, не пребывать бы ненароком в пребывших, да и две жертвы (вот уж и третья!) в одном будничном предложении нам совсем ни к чему; нечего тут сорить легкими, невыстраданными трупами, к тому же разных и наверняка отдаленных друг от друга убийств, столько жмуриков среди теснотищи и буквьяной толчеи мне, естественно, не потянуть. – А кстати, на какой марке автомобиля изволит проветриваться автор вдали от трудов? – На пьяной козе в основном. – Ну и второе, не менее важное, пока свободю горим: обожает ли автор являть себя в бейсболке? – Боюсь, разочарую. Здесь вы получите только всесторонне отрицательный ответ, а именно: голова наша, к неуголимой печали моей, радикально иной формы, нежели те, которым любят охотно вверяться бейсболки и которые, в свою очередь, в порыве ответной благодарности охотно вверяются им. Из предметов головы предпочитаем свободный, чуть глуповатый ветер, знатно свистящий в голых ушах. А те любят природны лобзанья. А те любят свое прозябанье, от него они нервно чутки. Вот и рады. Чего же еще?.. В повисшем криво молчанье, в потерянной тишине очень слышно, как напряженно стучается и назревает обратное алаверды. А если включить визуальный ряд, то – багровеет, стреляет глазами, сучит ручкою-ножкой гневливо. И вот разрешилось от скудного бремени безглаголья: – Ну и дурак же, прости Господи, нам попался в писатели! Это просто до неприличия суматошный и выпренний автор! Гнать в шею такого – несказанное удовольствие, одна милога. Вот такое, значит, напоследок заместо горячей благодарности прим. чит., брошенное уж и ни в какой огород, а прямо в открытый, в растерзанный преньями воздух, что случайно как раз и являлся здесь разлитой нашей душой. То бишь прямо ж в разверстую душу нагрянули грубо, вызвав массовые раны и казни души... А все отчего? – спросить бы слегка по-хорошему. Хмуровато ответило, как с бодуна: – А оттого! Потому что! От бессилья дальнейших наречий. В сомненье вербальной судьбы, которую с автором данным, но больше искомым сделать продвинутой проблематично. Ну, прощай, что ли, менеджер хренов. Вряд ли нам когда доведется

свидаться. Ты нас крепко достал. – Не зарекайтесь, мучительные вы ребята! Мир ужаснейше тесен. Я к вам травой прорасту. Над окошком месяц – тоже буду я. Под окошком осень – опять я, собственной незримой и потусторонней персоной. Вот вам и «не свидимся!» Здрасьте-пожалуйста как раз и полуйтиса.

Что-то, похоже, гибло навернулось в рассказе, и довольно увесисто ж сверзилось! Иначе откуда вдруг взяться страшенному грохоту, вою; я один так кричать не умею. Следует срочно разобраться с самозванным повышенным шумом, с этим беспризорным роптаньем мутных словес, сильно удручающих наш порядочный от природы и во всем остальном рассказ, склоняющих его к позорному увяданию. Дальнейшее дленье рассказа приостанавливаем вплоть до выяснения причин засюжетных стенаний – не пыточная ли камера там по внезапности обрадовалась? кого из отсутствующих в рассказе героев волокут на дыбу?; текст временно прекращает свое существование, ибо так хорошие дела не делаются. Все, так сказать, ушли. Кто на фронт, кто на базу, кто в неизвестном направлении, кто вообще в никуда, ну а мы, ясное дело, – жадно зыркнуть острым глазком, что там столь соблазнительно дает многий звук, по неким приметам – нездешний, а коль повезет, то и небывалый. Все ж таки страшно любопытно бывает, когда что-то там отдельно от тебя шебуршится и прозрачными знаками манит. А вдруг да какая-нибудь дикая, никем еще не прирученная тайна, которая в лоне цивилизации не обитала, скромных рамок приличий не знала и никогда не бывала предметами обсуждений? Это ж какие невообразимо длинные возможности могут открыться! И премией глобальной заметно тут дело запахло. Похоже, ни от каких премий теперь не отвертеться, не переждать их нападки ни в каких катакомбных укрытьях. По сему случаю непромедлительно объявляем техническую паузу, надо собраться духом перед неминуемой премиальной угрозой. Извещаем, что в связи с словесной поломкой того-то и того-то здесь некоторое время ничего не ждите. Довольствуйтесь коммунальным светом и газом и тем, что сантехник не пьян. Поотсутствуйте себе на здоровье! Добрых вам на этом месте и удачных пропаж!

Техническая пауза. Во все протяжении которой автор, тщетно наострив глазок на дикую тайну, позорно упущенную мировым сообществом, занимается вовсе не тем делом, какого мы от него ждали и ради которого затеял он столь прельстивший его техперерыв, а именно: скорчивши весь из себя бесперебойного менеджера неотразимых практических свойств, он, между тем, одиозно, с ворчаньем прегнусым старпера выясняет убийственно мелочные отношения с возроптавшим сюжетом (вот дались же ему эти нудные пренья!), обвиняя его и вздорный сюжетный характер едва ль не во всех смертных грехах. То и дело длинно, до неопишемости склоно несутся стенанья и пени: дескать, не нанимались мы сносить покорно... – и т. д.; что ль подданные мы его?! нет, мы люди широкой свободы! бесправные вассалы здесь не пройдут, мы не рабы, рабы – немь!.. – и т. п. вольноотпущенный, а вполне возможно, и вольнонаемный бредок. Скажите на милость, чем это может кончиться? Понятное дело, кончается все как всегда, совсем-совсем не по-менеджерски, а, напротив, весьма и весьма, то есть, смело минуя всякую этику стильных и тонких партнерств, как раз самым натуральным образом по матушке нашей по родименькой и заканчивается, что также иногда неплохо скрепляет партнерства, хоть и сближеньями странными, во всяком случае, жалким радио их не объять, не проникнуть – они склоняются несколько вбок от общепринятого горизонта ума.

Просим горячего, даже пылкого – чтобы с прочным запасом достойной жары и кипящих эмоций – прощения у господ торопливых читателей (батюшки светы! откуда они опять взялись-то?) за происходящие на текстовой территории массовые волнения и беспорядки, которые, и пьяной моей выездной козе понятно, учинили своевременно не учтенные доверчивым автором темные и наверняка дурно пахнущие силы, вознамерившиеся быть вредоносно в сторонке от столбовой дороги сюжета (мы с ними как-нибудь на досуге еще разберемся пристрастно и представим глубинный отчет разбирательств и укрощений, в качестве моральной компенсации за неумышленно нанесенный вашим бесценным вниманьям урон); неторопливых же, а порой и гаснущих прямо на глазах господ читателей поощрим в ближайшем будущем (было б только кого к финальной

развязке поощрить, а за нами не заржавеет – всеми силами поощренья кинемся на до конца целевых) отменно свежими, редкостными, сполна экзотичными медленьями непосредственно с берегов океанов, с невыносимо престижных курортов. Можете считать, оболакивающие сладостной ленью и негой саги вам уже обеспечены; оставайтесь с нами.

Совершенно помимо наших желаний возникла путем наглого самопровозглашения рыскавшая доселе втуне рекламная пауза, которую, естественно, никто не ждал, но о существовании которой все с содроганием помнили всей подкоркой и даже мозгом спинным, точно она превратилась уже в древний какой-нибудь архетип и будоражила самонадеянным действием своим из подсознания. Рекламная пауза. На протяжении которой мелькает все, насквозь вам известное, чтоб не померещилось вам вдруг чего-нибудь мало.

Итак... Которое черт бы побрал со всеми итакowymi его потрохами, немножко бы смилостившись, что ли, на самый последний последок... Но как же – дождешься милости от чертей, держи карман шире! Не для того они замысливались на свет, чтобы давать поддержку, помощи расточать, так и норовит всякий захудалый самый чертяка в любое слово впахнуть чертово это итак, безудержно мертвое и никакое, всякий ад от него отвернется брезгливо!

Увы, сообщаем со всем прискорбием, на какое мы только способны (а его в недостатке, не беспокойтесь, хватит каждому, перебоев и недовесу, уверяю вас, тут не случится): перед нами распахнут рассказец во всей неприглядной своей наготе, столь отвратной, отталкивающе нахальной, что даже ничуть и не сексуальной, – об этом и речи не может здесь быть, хоть и жаль: на секс обычно исправно клюют, без подкормки и даже без зрелищного сдобного червяка. Прошлое его смутно, настоящее неопределенно, будущее – темно и сумбурно и заведомо уж покрыто тревожно клубящимся мраком. С таким рассказом в разведку конечно же никто не пойдет, дураков не найдешь. Если только в пивной рядом воблы погрызть, извергая поешдшую ключьями душу. М-да, м-да... Ну и на всякий пожарный еще раз: м-да. Бог ведь троицу любит. Тут, по всей вероятности, никакой итак дуболомный уже не поможет, впрочем, он здесь и так не валялся, хоть этот-то фрукт, слава Богу, куда-то вдруг задевался. Устыдился, наверно, своих откровенно бесстыжих, непрестанно голых мельканий. Стало быть, последнюю совесть не пропил, не потерял и надежда на него все-таки есть, еще теплится, а это много уж значит, очень много, гораздо больше вышеозначенного.

Но вот – что это?! как это?! где это мы расчудесненько так очутились?! О, смотрите, посмотрите ж скорей и до бесконечности верьте своим на сей раз не врущим глазам: да ведь это свет в конце тоннеля, если не вообще какой-нибудь более возвышенный и более ясный свет, если не вообще неизъяснимого сияния именно свет! Точно-точно, этот свет ниоткуда, происхождение его неизвестно, пусть он и кажется прелестно хлынувшим с мгновенно улыбнувшихся отовсюду небес – головокружительно (простите, подло вкралась ехидная опечатка, читай: головокружительно) падает, временами перенимая повадку милых снегов, пронизывается прямо в разверстую, но неутолимую душу, конечно же очистившуюся безотлагательно прямо на наших очистившихся для хороших видений глазах. Вот и довольно подловатый в недалеком прошлом в ослиной своей несдвжимости рассказец, конформистски поддавшись общему световому влиянию, поневоле принимает правильное выражение скверной доселе физиономьи, до недавнего неудоваримой для самого скромного и непритязательного зренья. А теперь она совсем даже ничего, мордашечка текстова, приемлемо привлекательна, не хлыщевата и даже рыщет в безбрежных глазах кой-какой умишко живой, что совсем неплохо и обнадеживает на две-три надежды вперед. Но про остальные части его вербального организма все же распространяться не будем, дабы в скабрзном отношении не вышло чего исключительно пышного. Ну, кажется, все теперь тронулось без помех к превосходным последствиям. Наконец-то мы располагаем в достатке всем необходимым (редкое явление, небывалый случай!), чтобы иметь блистательный финал. Но есть закавыка: как бы своей умеренно рышущей каверзной личностью малость чего-нибудь не изгадить. Тут из мелочей могут возникнуть по-дурному большие проблемы. Благодаря дорогой этой личности по пути

к концовке не насобирать бы, как собаке репьев, ненужных и левых обуз, что очень и очень возможно, а это гнетет уже будущей скорбью. Что ж, примем и этот вариант развития событий, способный обернуться ударом судьбы, с невозмутимым достоинством: каждый автор имеет тот финал, который он заслужил.

Итак, распространяемся дальше про наши в былом любовные, а ныне весьма прохладные и неровные, в основном нервные отношения с жизнью, конечно же, так называемой, поскольку мы наружно и внутренне состоим с ней в фиктивном браке, что далеко не новость и вряд ли послужит кому дальнейшим поводом к чтению. Н-да, знать бы, где она зарыта, влекущая собака нарратива, где скитается ныне легкомысленный батюшка-драйв: а как бы это вроде этак нечаянно, мимоходом увлечь маховым валом личного беспорядочного движения и случившегося отчего-то под напором наших ветров читателя, который до поры до времени и не подозревает своей драгоценной наивностью, в какой переломке он оказался, голубчик. Крутые тут разборки, брателло! О них разразимся всем сердцем, матерым кровавым насосом, что крови гоняет по кругу – туда и сюда, чтоб жилося желудку и печени нашим в спокойствии чинном и здравье. Стихи, между прочим. Добрый кус анатомической поэмы. Облезлый нарратив, чертова эта душа, мгновенно повился благоуханной лирикой. 2-й вариант: Облезлый, давно выживший из ума нарратив, коротавший пустой век в одиночестве, внезапно покрылся стихом, точно смертной испариной. Недолго было ему уж и гикнуться. 3-й вариант: Облезлый и желчный нарратив, чертова опять же душа, от зависти перед высоким полетом слова бессильно заскрежетал всеми имеющимися в нем скрытыми скрежетами; звук, подобный стенам зубовны, пронесся над вздрогнувшим и засуетившимся в спасении миром. Тыфу ты, черт! Прекратить, сказал внутренний голос, немедленно прекратить, пока я не надавал тебе по ручонкам твоим шаловливым! Что ты ляпаешь тут, идиот, беззастенчивым бредом?! И что это за дрянь – те стенам зубовны? Как мне тут не ответить хоть чем-то? Виновен, исправлюсь, лепечу возбужденно, смешавшись. Руки прячу за спину. Вдруг да ударит и правда? С него станется, знаю. Самодур самодуром, хер херыч...

М-да, н-да, гм-гм и прочее, вопиюще растерянное. Боюсь, в гибловатом сем месте мы истратили все запасы наших недоумений. Теперь осталось только доумевать, что не совсем уж и последнее дело, как события показывают.

Сколько вариантами не распылится, только черта душа неизменна, опорой служит охотно и внятно. Черт единственный бродит в константах! Признак это дурной. Лучше продолжим-ка скорей, от греха подальше и во избежание ненужных потерь, распространяться о жизни и вообще, о нас с нею, голубчиках скромных на парящем окрестно балконе, как и обещали опрометчиво не далее как несколько страниц тому назад. Иначе что-то жутко безвозвратное обещает случиться прямо посреди сего заковыристого и спотыкливого рассказа, конечно, и нас накрыв своей бедою, – именно ту беззащитную область, коей мы постоянно разбросаны в тексте.

Итак, чтобы не плодить грядущих разборок и погашая ужасно накопившуюся задолженность перед читательской массой, все более недовольно и непредсказуемо надавливающей сзади, доставая иной раз и по шее, – мы начинаем от греха подальше проворнонее распространяться. Скоро, возможно, нас и вовсе уж не узнать, не нагнать в нашем приватном рассеянии. Вы потрогайте нас, пока не поздно. Поосзайте чуть-чуть, что это такое. Мы пока что немного реальны. Но через минуту возможно все с точностью до наоборот.....

И вот что мы увидели в нашем расширенном до невероятья и наверняка измененном сознании, получивши в употребление несколько иные глаза:

Сидят, голубчики записные, на крыльце окрестно балконе слегка встревоженные и восторженные, по временам – никакие. В дленье забывшийся и потерявшийся вечер – он затерялся не среди одноликих собратьев своих вечеров, он теряется смутно в этих сидящих напротив друг друга двоих. Глухая пора листопада, листья мечутся, улиц не признавая. Вдали яснееется смолкшее море – кажется, оно столько не уставало за вечность, сколько за один сегодняшний день. Тишина

– та, что будто бы требует от души уж невыслышимых жертв и свершений. Тишина. И огромность молчанья. В дверь опять постучал Пастернак. Не пускают. Им давно не до него. Делают вид: дома нет никого. Делают вид: дом пустует, пустует, в нем давно никто не живет. Делают вид: дома нет, и возможно, никогда не бывало. Делают вид. Все больше и больше – один только вид. Дама куксится, комкает вздорные губки, поминутно бросая взгляд на часы, что вот-вот мертвой хваткой прикончат запястье, уже закричавшее немо, ужасно, последним отчаяньем. Мужчина заметно рассеян. Он элегичен, далекая улыбка – потерянная, не этого часа и дня – бродит в уголках его губ. Здесь сгущается в смутку нервичность, обычно заканчивающаяся чем-то взрывным. Мужчина внезапно начинает что-то горячо говорить, точно опомнившись вдруг всей своей цепеневшей судьбой. Сбивчивые, чересчур взволнованные слова неуклюже падают в тишину, в приподнесенную тишину осеннего вечера и никого не удивляют. Они не умеют уже никого удивить, к чьему-то великому сожалению, которое все-таки ощутимо. Потерявшие участь слова попирают слишком заметно эту долго готовившуюся к себе тишину. Эти слова вопреки ей и ей не нужны. Поэтому они кажутся выдуманными словами, которых в реальности этого вечера нет и, наверное, никогда не будет

.....

Далее приводим какой-то остаток рассказа, по всей видимости, совершенно иного, чем тот, что существовал в качестве рассказа вначале. Ведь надо же рассказы чем-то заканчивать, так как без концов рассказы не бывают, это уродство, а не словесность. Не принято, чтобы финалы блистали своим отсутствием.

Какой-то остаток, невесть откуда и взявшийся:

Сопровождая страшно запоздалой в нас и уже никуда-никуда не приложимой нежностью, кроме этого отдаленного горизонта, целый странный, целый причудливый вечер мы будем глядеть, как уклоняется тревожно в закат утратившее блеск и молодость солнце. И мы увидим, как у него, у смятенного и бывшего светила, ничегошеньки-то не выходит. Ничего-то ему не светит с закатом, словно солнце за пагубный день разучилось быть собственно солнцем. И пока великодушным попусением мы не поможем ему превратиться в закат, ночь никогда не наступит. Ей не осмелиться стать ночью помимо наших желаний. Но хватит ли нас на рождение ночи? Хватит ли нас хоть на одну еще ночь?

По осуществлении трудоемкого процесса заката жизнь моя, воспользовавшись тем, что я чрезмерно пропаще отвлекся взглядом на отманившее душу море, почти неприметно, почти незначай вновь ускользнет от меня – по надобам заблудшим своим и заглохшим. И оставит в ночь меня одного, кромешно единственным, и вызревшие глаза ночи будут пристальны и неотрывны – в жуть, в мою жуть.

Неужто она меня бросит и куда-то уйдет насовсем – туда, где быть мне никак невозможно? Ну куда ты пойдешь, моя легкомысленная, непутевая?! Кому ты еще нужна, за исключением меня? Ах ты, дама со вздорными губками! Вот же какой оказалась, губки неопределенно покомкав!

Как ее приручить, чтоб не покидала меня – сколько бы ни покидал я себя, грустной волей влекомый из логова лика? Отупеешь ведь быть визави со своею невзрачной, однообразной судьбой, все твердящей, долдонящей одно и то же.

Но ей не жаль меня, она исчезает, тихо и немного виновно прикрыв беззаботную дверь, не успевшую оказаться даже к чему-либо причастной – только ойкнула, бормотнула.

Дуновение хлипкого ее существа так скоротечно, что комнаты не успевают опомниться и подивиться. Да жизнь ли вообще тут просквознула? Или что-то незначущее, пустое?

Непроницаемо замкнувшаяся ночь, равная полному мраку, наступает сразу вслед за легким стуком прикрывшейся, удивленной размолвкой двери. Сколько-то тает ничейных мгновений – и этот звук ухода кажется уже потусторонним, случившимся за порогом смерти неизвестно зачем.

По сю сторону вставшего в кожу – вряд ли живого – мира только знается тупо, как аккуратно, бережно предала эта дверь своим кратким лишь шепотным вскриком, своим почти что безмолви-

ем. Не клацнул замок, и спиралевидный сквозняк не метнулся сквозь сумраки меркнущих комнат, оборвавшись насмерть с балкона. Стремительно слепнувшее сознание того, кто остался, сливается с чем-то до омерзенья пустым, что очевидно уже не он, не он, живущий вдруг далеко-далеко, так далеко, что возможно – нигде. Он подумал: Вернусь ли? Узнаю ли возвратившегося? Он явно успел это подумать. Единственно это.

Евгений СИЛЬМАН

* * *

по дороге домой
я спутал птиц и детей
когда они
клевали
в маленьком парке

когда они
мне казалось
весна и опять весна и я путал
детей и их – взрослых –
и ещё других взрослых
когда они
 не сегодня
я перепутал себя
а они говорили
словно друг другу
мне

10 ИЮЛЯ

из прошедшего
длительного справа и слева
равнодалёкие
весна и осень
одним голосом шепчущие
на замершем между
выжженном языке
лета

* * *

Вот длинный список месяцев сквозь сон
растраченных, убыточных, растущих:
июлей, выжигающих газон,
тьмы январей, упрятанных под тучи.

Евгений СИЛЬМАН родился в 1969 году в Туле. Учился в Московском институте стали и сплавов. Живет в Иерусалиме, работает геодезистом. Публиковался в сетевых журналах «TextOnly» и «Новая Литература».

Вот длинный список, чья судьба – пов-
тор
имён и мест неумолимо тех же,
как будто сон пошёл наперекор.

И вышел вон.
И вышел явь, как прежде.

Вот длинный список. Но – не для тебя.
Он с каждым годом
станет уже,
уже.
А птицы опадают с октября
и вылетают из листа наружу.

Уже декабрь

(не-)
возможное этого года
закончилось завтра

остались тогда утешеньем –
всегда повтореньем былого –
новые перекрёстки

и буридановы ноги
опять бессильны избрать
лучшее направление
к смерти

Пятое время года

лето среди зимы –
с зимой в сердце

рвётся тонкая оболочка
туман
выползает толчками

грызущие пуповину собаки
горячие ромбы света
жёсткие пятна холода
мои мысли
твой голос
всё перемешано

как будто:
зима – с летом в сердце

как будто:
я вынашиваю своё несуществование

как будто:
время
идёт во все стороны

и
никуда
не приходит

Никита САФОНОВ

снег

все произошло так быстро как жизнь
оставляет царапины на старом плаще
копала огороды великанам которые
говорили ей что-то в духе
эй быстрее и у нас ужин стынет
а потом мы приходили и она разворачивала пакетик
и мы вместе внюхивались в белый азербайджанский снег
так что потом падали навзничь и говорили только
о горе Манна как божественная манна на столе манна и я
тогда еще помню умирал в тринадцатый раз
как бедная собака дворняжка сквозило в правый бок и я
садился в глухой деревне у калитки и плакал
белыми слезами горной росы кокаина вершин

и теперь в магазинах я боюсь прикоснуться
к сфере в которой стоит домик посреди снеговой степи
потому что боюсь что откроется шрам на лопатке и я снова
буду желтеть
как первые листья

дерево

дерево выросло аркой что если я скажу что
ветра не было и она сидела на пластмассовом стуле
вокруг торговали вонючей мебелью из соседних районов
дешевыми вещами выстиранными запахами крахмальных простыней
а у нее и сигарет не было одни мокрые ноги
толстый урод громко говорил о чем то
о чем вчера ей говорили дома и в школе
и пока был слышен общий фоновый голос можно было
впериться как дебил в коров которых проводили по площади
отвечаю будь ты там
ты бы протянул ей если не руку то треть пачки мальборо точно

и тут пошел дождь
дождь который показывают в фильмах дождь
который сажают в клетку и везут в африку умирающим под

Родился в городе Омске в 1989 году, с 2006 года – студент Санкт-Петербургского горного института. В 2006–2007 гг. резидент поэтического клуба «Болт» в СПб. Участник поэтического фестиваля «Петербургские мосты» (2007, СПб), летнего слэма в Петербурге (2007, СПб) и Майского фестиваля новых поэтов (2008, СПб). С февраля 2008 года организатор и участник арт-проекта ГЛАЗС (слепа́я поэзия). Стихи публиковались на сайте «Полутона» и в журнале «Транзит-Урал».

которым розы тоже падают вот почему
если кто-то сходит с небес
то обязательно дождем из роз
получается это небо там где колени

и она вставала на них наверное молилась своему небу
если бы я там был отвечаю я бы встал тоже и заснул
и так я и проспал пока не услышал как со своего стула
она зовет меня как будто мы знакомы

я подошел мы покурили и разошлись
дождь закончился через 4 дня с утра пахло травой

стекло

Timofeu Usikovu

ялтинские сны
лежу на синем широком ковре
и мириады звезд спускаются под окном
тяну третью из пачки
сотни лисиц
огненных и ярко отрисованных
спускаются по белой горе
к подножию фильтра

Тима становится героем моих философских снов, которых
честно говоря не так много
вот ты просишь меня выстрелить в тебя, но
не убить
и, спустившись по эскалатору, я заряжаю макаров
тихо стреляю в толпу, молясь попасть в последнее – самое нижнее – ребро
и убегаю от нарастающего переполоха
но потом другой кадр – зимний пустой сквер
и разговор о тяжелом детстве и школьных годах
«я хочу чтобы хоть кто-то говорил что ...
– имя писателя я не запомнил –
не годился мне в подметки – так ты сказал
а еще пуля пуля попала в пустоту, как я и ожидал»

спускается последняя лисица,
я начинаю ощущать надвигающуюся из-за поворота реальность
выдыхаю кармический ветер – 8 миллиграмм
смолы, поделенных в среднем на 20 вдохов
сквозит с пола, пролетает муха
кажется тоже лечу слева направо и обязательно
по горизонтали
попадая в пустоту, рассекая ее непослушным телом
спящего сознания
как камень – голову в темноте, или гребень волны – бог

осадок

слезая с иголки, день опускается в стог раньше
дерево не шелохнется только по корню
пройдет отголосок вибрации от летящего зерна
по коре пробегают тени твоих спокойных мышц
в лагерьях чистят площадки включают свет
а почтальон приносит тебе тарелку супа и перевод

это – темная местность, как ни пытайся
так же долго размахивается нога, так же медленно
трутся в подвалах ночные мячи
(шары как в цирке делающие снег)
и повешенная птица дергается на ветке
за старые бумажные мятые крылья хозяин
поднимает ее наверх

чай остывает, я – висящий в чужом гамаке
напоминаю себе ледяные желудки северных куриц, в которых
были завернуты мышинные письма, а теперь
зима
такие же долгие звонки на которые я не отвечаю
потому что это мы – придумали спать под листьями на берегу
с тех пор как холодает

на остановке мнется человек с лицом местного гида
потому что они обычно оказываются либо без сигарет
либо невидимыми
я угощаю и говорю, показав налево и чуть выше
что это не мое
когда-нибудь мы поедем туда все вместе, да

и потом уже через несколько ночей
я открыл глаза и видел перед собой тебя
с ладонями полными пшеницы и пахнущими степью
и за окном не было ни времени, ни почтового ящика, ни мотоцикла
а ты говорила мне что я такой серьезный и похож на дрозда
летящего в дождь
и я просыпался, чтобы собрать вещи

и бросался головой вперед в октябрьский сонный ночной осадок

Кирданец

когда прошел сон было слышно
как до сих пор поет черная женщина с полу-мужским именем
что-то о солнце и азии
и под светом огней и платформы говорили про Кирданец
какая-то темная станица, можно сразу проводить параллели
с донецком и кирдыком

я еще вспоминал какие могут там быть знакомые
но так получилось – приходил сон
и, выходя, я бросил окурочек в темноту степи

на главной площади, она же была единственная, растянулся лагерь
и я просыпался в очередной раз в твоих объятиях, полупустой, мокрый от дождя
падающего на успокоенный Кирдонец
слышно еще разговоры и аккордеон
ясно, что седой старик с темной кожей, обгоревшей от ветра и соли
повторяя одни и те же движения, пальцами левой руки
выстукивает секунды для больной головы

и я понимал, что поэт – чужой, что никто
не ждет
дороги на юг, они сами
и я смотрел в круговую трубу ночи, которой не существовало нигде
кроме как простыни
небо
земля
дождь
и цветущее широкое древо космоса
точно как ноты с разными интонациями и частотами
шумным табором летящие из него куда-то, где ты еще спишь
а поезд стоит и вздыхает, поверженный тормозным путем
и машинист
включает одесскую песню начала прошлого века
потом садится на траву, пробивающуюся между шпал
и превращается вместе со всем составом в сигарету
приподнятую к носу, на краю кровати – потому что где-то поют

ДЖО

дом – каждая улица, по которой бежит пыль
прикуривай, я отвечаю
или вижу бронзового тебя на сырой траве
не узнав твоего имени, смотря на это время суток
с закрытыми глазами
ложится рядом кленовый лист
все идет, постоянно
шатаюсь снаружи, как в невесомости
сколько бы дхармовости в этом не оставалось
мы плетем живые изгороди, вплетаем в них живой сок
ты – существо,
настолько, что легко представить все остальное неживым,
падает притянутый к земле район
ты бежишь
за тобой складывается зима
то есть выбранное случайно время года, обернутое в салфетку
сломанного текущего момента
амнезия утра

дерганая сутра
это – пустыня, и как любая другая
изображает память именно так, главный поставщик
ее крупниц
в песочные часы
или представь
как все твои родные или знакомые лизут марки
одновременно забывая твой адрес
я говорю -ты-в трубку таксофона на трассе
и слышу молчание в дальневосточную ночь
неоновый дятел виснет на светофоре, я раздвигаю пальцы
сквозь которые видно твои стерео-облака
белые полосы
света
идет град
пошевелить в кровати
ногой – единственная мера вещей
дом каждой улицы шорох степеней
блюз страны, континентальный бессознательный звук
желтеет трава под тобой, желтеет
лицо проходящего пса
красная волна
времени

синяя собака

ты различишь только тяжесть дверей, только сложность вдоха
морского воздуха
и синяя собака откроет тебе дверь,
(со скрипом кровати, на которой ты засыпаешь)
точнее ворота в старую часть города, с криками чаек и волн
босой наступаешь на шишку и вскрикиваешь
в темноте
обернувшись, тебе не заметить, сколько прошло минут, потому что осень
ранними августовскими листьями накрывает сторожевых
псов и кошек
тени деревьев качаются как старики на углу
уютной, пахнувшей шашлыками и куревом, окраинной забегаловки
и крепости, уходящей за велосипедистом кирпичной стеной
здесь ты растешь вверх, запускаешь руки
в землю
и прыгаешь, и видишь оба края этой земли
несколько минут ты удерживаешь ту высоту, и чувствуешь рядом
в руках, тяжесть времени
и дерганые звуки пьяного караоке
зависающего на одной ноте; слышен стон
скользящего по пустыне трака, аккуратно описывающего на своем просторе
ровный круг, заглушающего мотор
в такую ночь я смотрю за окном бегают дворняги, и их голоса
отзываются в пасмурном горизонте, рассеиваются, мимо проезжает машина скорой

выезжаю в ночь, захватив зажигалку
и фонарь, чтобы искать тебя
в разрушенной части города, шатаюсь босиком по узкой улице
различая только шорох в кустах и ветер из полужакрытых губ
и – давай сюда, если есть что выпить –
опасливо скажет мне синяя собака и откроет дверь

Даниил БЕНДИЦКИЙ

Шорох плоти

Рассказ

Мокрые камни, полшестого утра, в февральскую субботу, искрятся лимонными мазками от редких фонарей.

Он приехал на автобусе из Берлина и сразу же увидел камни – опустил по привычке голову, хотя это от усталости: всю ночь ежился на кресле – не выспался, а ведь автобус должен был приехать на час позже.

Минуту назад спросил у каштаноусого водителя, как пройти к вокзалу; водитель обогнул что-то в воздухе рукой.

Он вяло подошёл к горящей персиком карте Брюсселя: белые линии – улицы, оранжевые прямоугольники – здания, малахитовые квадраты – парки, голубая полоска – канал. Ищет Brüsselles-Nord, вокзал. – На любой уличной карте города должно быть обозначение что-то вроде «Вы стоите здесь». – Вот красный кружок. Внутри – пара белых линий и оранжевый прямоугольник. Brüsselles-Nord, чёрными буквами.

«Тут, значит».

По широкой лестнице поднялся на большую площадку, дальше – бирюзовый свет за стеклянной стеной. «Это что – вход?.. Ни души. – Вокзал наверняка закрыт. – Как же хочется в туалет... Может здесь?.. Никто не увидит?.. А вдруг тут полиция? Что им скажешь? Только начнёшь, а сзади – «Стоять!» Ведь они только этого и ждут. Заломают, поведут в отделение...»

За стеклом показался тёмный человек, приближается – двери автоматически открываются – качающийся мужик подходит к колонне, метрах в десяти от меня, расстёгивает ширинку – звука не слышу – секунд через двадцать застёгивается, идёт назад – двери опять открываются. «Значит вход здесь!» – Приблизился. Приторный запах мочи ударил в нос – почти российский – наверняка все сюда в туалет и ходят. «А что я-то торможу?»

Помещение вокзала скудное – бледные стены, редкие людишки, закрытые магазинчики. (Такая рань!) Бродит устало по зданию. «Сдать бы спортивную сумку в камеру хранения – так тяжело – давит плечо, натирает бедро...» Впрочем, ему нужно на другой вокзал – Midi – сегодня вечером он едет на Север Франции. На Midi и сдаст.

Туалет, перед ним – мусор в совке, швабра валяется. Дёрнул ручку двери – закрыто. «Ну и где же? Здесь, что ли? Не могу терпеть».

Повернул назад – на улицу. Когда входил, он, оказывается, не заметил спящих бомжей – в пёстрых и пахнущих тряпках. В тени спят. Тут же, у выхода. Сфотографировать. Включил камеру в кармане – бжиинк – объектив выехал. «А вспышка?.. Да ладно, вдруг до драки дойдёт?» – «Тебя бы так ничтожного да неимущего щёлкали на память», – это Отец всех тайком фотографировал, а когда его замечали – уходил от греха подальше. Молча. – В Дрездене, в наше последнее путешествие, нищий-шарманщик закрыл ладошкой лицо, когда увидел Отца с фотоаппаратом. Отец сказал тогда: «О-о, я его понимаю».

Даниил БЕНДИЦКИЙ родился в 1985 году в Нижнем Новгороде. В 2000 эмигрировал в Германию, в г. Росток. В 2006 поступил на архитектурный факультет в Берлинский Университет Искусств. Публикации: «Среда поэта», «День и Ночь», «Еврейская газета» (Берлин), «Междугородная еврейская газета» (Москва), «Сетевая словесность», «Топос». Подборка стихов в антологии «Четвёртое измерение: Русские поэты в Германии» (СПб.: Алетей, 2008).

Он вышел на площадку, приблизился к стене – «Никто не видит?» – на бежевом цементе посыпана фиолетово-голубая щебёнка. – Оставил на ней огромный мокрый след, на полу блестит чёрная лужица.

Перед отъездом мне говорили: «Ну, там знаю брюссельскую капусту, НАТО...» – а я всегда ассоциировал Бельгию с Брейгелем. – Ещё в дошкольном возрасте я знал его картины. – Мы сидели с Отцом на кровати и разглядывали толстый альбом. – Домики, люди – каждый занят своим делом, мелочи...

За несколько дней до отъезда я читал путеводитель по Брюсселю с цветными фотографиями и характерным поверхностным текстом. Я составил план – кроме музеев, соборов и проч. – кладбище Лаэкен. На одном из кладбищенских надгробий копия Роденовского «Мыслителя» – на фотографии бледно-зелёный голый мужчина придерживает подбородок правой рукой, тело укутывает местная листва. Дальше: «здесь все надгробья – скульптуры».

И первым делом, в эту рань, иду на кладбище.

Он шёл в дремоте, в темноте, а вдалеке горел персиковый прямоугольник – карта Брюсселя, и так – каждые триста-четыре метра. – «Неужели эта геометрия хранит городскую тайну?..» И всё время он находил красный кружок, сверял со своим путеводителем, что уже прошёл, вычислял расстояние до кладбища.

Он вышел в индустриальный район: слева – канал, справа – фабричные домики, краны. Под ногами мусорная грязь – пакеты, бутылки. Слипаются глаза от недосыпания.

Я лежал в калюхе. Отец читал мне что-то ритмичное вслух. В его руках – небольшая книга, обёрнутая в кальку. С того времени только помню: «...заводов симметричных», – может гул заводов симметричных, может жужжание. Отец делал ударение на двух последних слогах «ич-ных» – удлинял «и». – Я не знал, что такое симметрия. – Спросил у Отца. – Он, как обычно, что-то промямлил, однако я попытался себе представить: симметрия – это то, что тянется вдаль, а потом... соприкасается, повторяется... нет, не так...

Спортивная сумка сползает с плеча, бьётся о колено. Я еле иду...

В Германии, лет 10 спустя, я вновь услышал эти слова. – И спросил: «Кто это написал?» – «Эмиль Верхарн», – тогда я узнал первого бельгийского поэта.

Похоже только сейчас, несмотря на то, что у меня в гимназии был пять часов в неделю усиленный курс математики – только сейчас я понимаю, что такое симметрия, симметрия заводов – хотя кажется, что это фабрика.

«А что я вообще понимаю-то? Мог ли Верхарн говорить о бельгийских заводах, или нет, о брюссельских, которые сжимают меня со стороны?..»

Вдалеке залаяла собака на привязи – он услышал шелест цепи. Дальше тупик, впереди – ограждения, машины. – «И куда теперь?..»

«Нет, нужно идти к вокзалу Midi, бессмысленно искать кладбище с такой тяжестью. Сдам сумку – пойду гулять...»

Грузовик перед магазином. Щетинистые арабы таскают ящики с овощами, разговаривают между собой по-французски.

Возле площади спрашиваю первого одинокого прохожего, где вокзал Midi. Очкастый бельгиец по-английски не говорит. Ткнул ему пальцем в путеводительскую карту: «Где вокзал?» – бельгиец крутит её, всё ближе к фонарям клонится, начинает по-французски метлой чесать – быстро, подробно, жестикулирует – «пройти прямо, потом налево». Показывает карту метро: лучше доехать, всего-то несколько станций. – «Да куда мне, я хочу пешком».

Тут же рядом – вывеска на баре: «Vermeerisch». – Вермееровский. «Мог ли он знать, что его имя будет сверкать над «тошнливкой»?.. А вдруг там его работы? – Висят на стенах, а многие и не обращают на них внимания?»

Два года назад мы были в Париже. В последние часы Отец захотел найти излюбленный ресторан художников. Кажется, он назывался «Куполье» – «там работы Шагала». Стояли перед входом, смотрели на парижских типажей, а на стенах висели картины в белом паспарту. «И это – Шагал?..»

Отец мечтал выпить чашечку кофе во французском кафе: «Сам Бог велел в Париже-то!» – это с Отцовской экономностью! Долго колебались: входить или нет – вероятно, по советской прибитости – зачем входить просто так? (Ведь мы только посмотреть хотели.) Не понимали мы, что можно зайти без умысла.

Мы так и не вошли...

На перекрёстке сонный бож тарахтит клетчатой тележкой. – Лицо у него раздутое, с бородой – похоже на Гомеровское. Спрашиваю: «Где вокзал Midi?» Бож отвечает по-фламандски, вперемешку с английским, – «Иди вперёд, не ошибёшься, увидишь «грос гбилде»» – я влез с немецким: «гроссес гебойде?» – «Ja!» «Так, большое здание – стало быть, посмотреть невозможно».

Мои расспросы превращаются в фобию – постоянно спрашиваю одно и тот же – надо пере-страховаться – а вдруг я не найду, правильно ли иду, правильно ли сказали? – Отец: «Это – топографический идиотизм».

Отец спрашивал прохожих так: «Сорри... вэа из... эээ...» – и тут пункт назначения он не мог выговорить. – Отец сбивался, начинал заново – произносил медленно – по слогам, а прохожий с улыбочкой мотал головой – в упор не понимал. – Я повторял нашу цель чётче – прохожий понимал, объяснял, как пройти, и мы шли в указанное направление. – Сколько раз Отцу приходилось бежать по немецким учреждениям, сколько раз ему нужно было постоянно повторять одно и тоже – а его не понимали. «...И не понимают меня, хоть ты тресни!»

Отец привык – всегда говорил о своих повторениях в шутку – скорее, над немцами – глупые, мол, что не понимают, да заставляют ещё к тому же повторять.

«Каково должно быть страдание – говоришь, а никто тебя не понимает?»

Как и у Brüsselles-Nord´а площадь перед Midi воняет мочой.

Вокзал – это непременно моча.

Внутренности вокзала – огромные. Он с трудом нашёл камеру хранения. – Автоматические железные ящички. На шести языках – французском, фламандском, голландском, немецком, английском, испанском – всё расписано «по шажкам», в последовательности. Для дурака. Он выбрал немецкий. – «Положите сумку – заплатите деньги – закройте дверцу».

Сумка в шкафчике, закинул монетки, закрыл ящик – вылезает бумажка со штрих-кодом; когда забираешь вещи – нужно прислонить бумажку к дисплею – считывается штрих-код – дверца открывается.

«Как это поймут наши люди?»

Отец бы не понял! «Как всовывать-то? Какие деньги?.. Чего такое? Ну и как... вообще?» Покрытел бы минуту и пошёл бы в город с сумкой, так и не разобравшись. Тащил бы её, ему было бы тяжело, но он не жалел бы – он сэкономил.

Сумка у меня небольшая. Самый маленький ящик стоит 2, 60. Смотрю в кошелёк – а монет-то и нет! Нужно менять купюры. Зашёл в продуктовый магазинчик – цены: 56 центов, 93... – Бельгийский идиотизм! – Продумал математическую комбинацию – сложил несколько безделушных продуктов – так, чтобы со сдачи 2, 60 монетами получилось.

Сдал сумку.

Когда Отец помогал мне решать математические задачи, а я не понимал, то он всегда тревожился: «Что ты так долго думаешь?» Когда же Отец объяснял в приподнятом настроении, то он всегда спрашивал для закрепления: «Ну, как скажешь – так и будет». – А я не знал, что сказать. Мне после этого «Как скажешь – так и будет» всё время казалось, что любой ответ правильный.

– Я говорил Отцу решение, но оно почти всегда было неправильным. Отец не отчаивался: «Нет... ты смотри...» – объяснял заново.

Каким-то образом он чувствовал связь арифметических формул с жизнью (может, вычитал?): «с помощью дифференциального исчисления можно вычислить экстремумы функции – её высшие и низшие точки. Их точное значение. Задача людей – найти границу. Где граница человеческих возможностей? Как в истории – бывает взлёт (волнисто взмахивал рукой), бывает падение (опускал руку вниз). Это по законам диалектики. Математика может всё это рассчитать – человек не может, но всю жизнь пытается». Я представлял себе Германию – на вершине Отцовской руки – Бетховен, Гёте; там, где Отец гладит низину – фашизм.

«И неужели это были пики страны, в которой живу? – Неужели выше, ниже ничего не будет? – И ведь можем же мы узнать новые экстремумы, переживём ли их – миром ли, смертью?.. А если я их не узнаю?..»

Он останавливался у витрин. – Туристическое агентство: за витриной – золотой сундук с арабской резьбой; магазин мебели и тут же – персидские ковры, протёртые до ниток.

Его взгляд останавливался на многом. «Да и как тут пропустишь такое!» Иногда он забывал, куда шёл, с какой целью, к кому... – и это мимо достопримечательностей: наспех проскочил главную площадь – по периметру тянутся дома с изящными окнами, колонами, скульптурами. Пробежал мимо лежащей женщины, которая блестит золотыми разводами на ногах, груди, голове – туристы глядят это тело, чтобы вернуться в Брюссель ещё раз. Он нашёл писающего мальчика за узорчатой решёткой. – Рядом испано-язычная молодёжь. По смыслу и эмоциям понимаю: «Ах, какой он милый! Ах, какой он хороший!»

Так говорят девушки. Парни только улыбаются.

Мне было десять лет, когда Отец уже не жил с нами.

Мама объяснила это так: «Папа поживёт пока в другом месте». Я подумал – он просто переехал на некоторое время. – В центр города, в бывшую квартиру бабушки Берты. Сначала Отец приходил ко мне часто – что-то рассказывал, помогал по математике, физике.

Мама избегала с ним любых контактов, если они вдруг встречались, то всякий разговор заканчивался скандалом. – Мама огрызнулась, говорила грубо.

Отец приходил всё реже и реже.

Опять спрашиваю дорогу у прохожих. Я перестал верить немецкому путеводителю, да и тёмно-зелёные указатели говорят неправду – заводят не туда. Позвонил Гале в Лилль. Сказал в который раз, что мой поезд отходит в шесть.

Только-только приехали в Париж. Гид: «Встретимся на этом месте через три часа». Отец записывает улицу на клочке бумаги (почему? – ведь никогда этого не делал!) – высмотрел на синей табличке слово «Огпано».

Мы гуляли по холмистому Монпарнасу, возле белоснежного Сакре-Кёр с огромными вытянутыми куполами. Сонные художники тыкали картонки с листами – «Хотите быстрый портрет?» – «Сколько стоило?..»

Три часа гуляли.

Спустились в назначенное место. А на синей табличке – другая улица. Отец занервничал – «А туда ли мы пришли?!» – «Да здесь же! – Вот те же дома, рядом магазин, вот тот же метромост, те же балкончики...» – Я запомнил. – «Нет, не то!» – «Да ты не то записал!» Отец спрашивает у прохожего, где Огпано (повторяет несколько раз) – и ужас! – Огпано в двух километрах! – «Прямо, потом налево, прямо...»

Отец бежал в ту сторону, куда указали. Я спешил за ним, умолял вернуться, доказывал что-то. – Мы поворачивали назад. Отец ещё раз переспрашивал: «Огпано?» – мы опять бежали вперёд. Мимо неспешной арабской жизни – восточных продуктов в ящиках, смуглых женщин в платках, пузатых щетинистых мужиков.

Вспомнил о телефоне гида – позвонил ему; сказал, что мы потерялись. – Объяснили дорогу. И это оказалось там, где мы были в самом начале. – Бежать назад.

Отец уже плёлся за мной. Кричал мне вдогонку: «И всё равно я был прав!» Красные щёки у него.

Мы прибежали – «Где ты увидел Огпапо? Нет тут ничего!», долго извинялся перед гидом, а за моей спиной хрипло гудело: «И всё равно я был прав!» – Не мог Отец сдаться, не мог признать своих ошибок – до конца был уверен в своей правоте. «Это как же надо человека довести?»

Он шёл и смотрел вниз. На ноги. – Хотя это вряд ли от усталости, невыспанности – скорее от задумчивости.

«Что бы мне сейчас сказал Отец? Именно на этой улице? Говорил бы вообще?..»

Мы проходили мимо парижского ювелирного магазина. Я смотрел на улицу. Отец вспомнил «Ожерелье» Мопассана. – «Ты не знаешь Мопассана?.. Мальчик, да у тебя колоссальные проблемы». – Женщина одолжила у подруги ожерелье. Возвращаясь с бала, потеряла его. – Работала потом всю жизнь на нескольких работах, чтобы вернуть. Уже в конце жизни, дряхлой, на Елисейских полях, она встречает свою подругу – и оказывается: ожерелье было из обыкновенных стекляшек.

Мы гуляли на Елисейских полях, и я представил себе, что эта женщина где-то рядом – я её вижу. Вон там – дряхлая идёт.

В Гамбурге мы стояли возле огромной карты города. Отец искал место, где работал Ганс Касторп. Он тыкал на местность возле Эльбы – «тут где-то Касторповское бюро», говорил о сигарах «Мария Манчини» – тогда я не понимал всего этого и смотрел на двигающийся палец Отца из вежливости.

Он поднимался по широкой лестнице. Сквозь пухленькие колонны разрезаются позеленевшие скульптуры.

Дальше, на площади – оживление. – Прут шумные иностранцы.

В одном из монументальных зданий – художественный музей. По размерам – чуть ли не Лувр. По значимости – средний.

И сразу же – какой-то холод.

Наш вход в музей всегда начинался с вымаливания. – Отец просил у работников музея скидку на билет. В его руке потрёпанная голубая бумажка – удостоверение безработного. Отец смущенно на кассе: «Сорри... ай эм... арбайтслог аус Дойчланд». – Кассирша мотает головой, с трудом вспоминает забытые английские выражения что-то вроде «я не понимаю» или «что Вы хотите?» – Отец в заиканиях объясняет, что вход должен быть для него бесплатным, ну или хотя бы со скидкой.

По привычке я в стороне – стыжусь. Ведь Отец как нищий просит милости. – Даже в музее показывает свою убогость.

После нескольких минут вымаливания Отца пропускают бесплатно.

«Слушай, ты не знаешь, как сказать по-английски: «Я безработный из Германии?»» – «У меня все слова повывлетали». – Отец добавляет к тому же, что это всё от немецкого: «английский вытиснулся», а иногда: «Это всё вы довели!»

Как и в Лувре, дежурная в гардеробе со мной даже не здоровается. Отдаю куртку с рюкзаком – получаю театральный номерок.

Я вошёл медленно, будто поджидал отстающего Отца. Говорит мне: «Подожди».

Экспозиция в хронологической последовательности: с 13-го века и – до современности.

Тянутся бесконечные библейские сюжеты. – Страдающие лица, сложенные руки, и непременно – Христос во весь рост – плывёт ввысь. – Туда.

Как и у всех средневековых художников, у фламандцев было примитивное представление о человеке. – Головы огромные, туловища маленькие, ручки тоже. – Это не люди, а уроды.

Единственное, что гениально в этих картинах – это слёзы. – Насколько они просты и глубоки! – Бледно-серый мазок подводился белым полукругом снизу, а рядом (на бледно-сером) ставилась белая точка (блик). И всё!

Здесь стараюсь на останавливаться. Тут многое повторяется, а ведь глаз ждёт нового.

В амстердамском Рейксмузееме мы дошли до «Ночного дозора» Рембрандта. Отец подготовил меня строчкой Евгения Рейна «Вас разбудят приклады «Ночного дозора»». Отец долго искал еврея на коленях, у Рейна было так: «А семит на коленях? Это Блюмкин злосчастный!». Еврея мы так и не нашли. Думаю, Рейн его просто придумал. На коленях там светящаяся девочка.

Небольшой зал. Бордовые стены. Брейгель.

«Вот оно – моё детство!» – те репродукции превратились в реальные картины.

Мы сидели с Отцом на кровати, листали альбом Брейгеля. Запомнился «Вавилонская башня» – бледно-песочная, где-то недостроенная, с расплывающейся в облаках верхушкой. Я разглядывал рабочих, домики. – И видел какое-то действие, хотя сам сюжет особо не понимал. Отец: «Люди хотели построить башню выше неба. А Бог взял, да и дал каждому человеку разный язык, чтобы у них ничего не вышло. Один просит камень, а другой подаёт молоток».

Я смотрел тогда на картину – и действительно! – все друг друга не понимают.

«Вавилонской башни» в Брюсселе не оказалось. Как и многого другого.

Спустился на этаж ниже – к современному искусству. Глаз искал разнообразия, и он его нашёл. Запомнился бельгийский экспрессионизм – пятнистый, яркий и рычащий. Остальное – дурь.

И здесь был Отец. «Где он остановился? Во что вглядывался?» – Он стоял на расстоянии двух-трёх метров от картины, правая рука на бедре, левой стягивал в пучок рыжую бороду. Тому ржавому цвету никогда не было суждено превратиться в благородный старческий цвет – в сплошное белое.

Отец закидывал голову назад, потом куда-то в бок, щурился, тихонько насвистывал. И так – секунд на пять. «О чём он тогда думал? Что видел?»

«Ты смотри!..»

А сколько не сказал.

В Лувре Отцу кинули пальто. Работник гардероба смотрел на нас презрительно – Отец: «как на вошь». Мы оказались в который раз ошеломленными от парижской грубости. – Привыкли к наигранной немецкой вежливости?

Мне и здесь кидают куртку. Вышел на улицу. Позади меня осталось неземное.

И сразу же – свежесть.

Почти напротив музея – крупнейший парк. Стволы деревьев салатово-изумрудные, под ногами лиственная охра, вдалеке белые лавочки.

Давно хотел отдохнуть. Ни на секунду не останавливался. Сажусь. Открываю рюкзак, лезу во внутренний карман. «Так, паспорт на месте». В рюкзаке – конфетки, шоколадки – в поездках ничего другого есть не могу. Жую и смотрю на карту. «Теперь куда?»

Я не заметил в парке скульптур. Они смешались с людьми и деревьями.

После Лувра мы пошли в Люксембургский сад. Гуляющая толпа бродила на фоне мраморных женщин. – Отец искал Марию Стюарт. Мы нашли её в сизых складках и с приподнятым воротником.

«А нет у неё воробья на голове!»

В Люксембургском саду сидел Бродский, на той же лавочке, что и мы. А потом он написал «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», там была строка: «...безмолвно, с воробьём на голове». Отец подумал, что у неё действительно на голове каменный воробей и, кажется, расстроился.

Стали свистеть из разных сторон. – Гуляющая толпа внезапно двинулась на выход. Минут через пять в саду вообще никого не стало. Как по приказу. Пустота. И только мраморные женщины. Несколько человек в тёмно-синей форме подошли к нам и грубо сказали, что сад закрывается – нам нужно уйти. «Зачем закрывать? – может, чтобы здесь не было ночью бомжей?»

Мы ушли.

Мужик в белой куртке с противоположной аллеи оборачивается. Встал и смотрит на меня. А я на него – кто кого пересмотрит. Секунд десять. – «Только не бояться, не показывать страх. Уж не сборище ли здесь какой-нибудь шпаны? Вдруг нападут? Здесь, в центре города!.. Зарежут в парке... Полиция не придет. А если придет, что им скажешь? На фламандском... Да кто их вообще вызовет?»

Я ухожу.

Он шёл на кладбище Лаекен – мимо кирх, вылезавших за крышами, мимо биржи, похожей на парижскую Grand Opera, мимо театра с красными транспарантами к 300-летию Моцарта...

«Сколько осталось до поезда?» – Достая сотовый телефон. «Два часа...»

Я не увижу парка Эгмонта, где вечером подсвечиваются скульптуры. (Фотографии путеводителя.) Я не увижу замок 15-го века, который на уличной карте обозначен весьма условно... «Замок! В центре города! А что было в 15-ом веке в России?» – Перед глазами российская грязь. Глухомань. «И как понять бы «им» – пашешь в поле, а через пару тыщенок каменный замок?»

Около пышной витрины сидят бомжи. Машинально поворачиваю голову в их сторону и слышу – русский язык! – матные слова. Один бомж кричит на другого. Территории делят.

«И ведь ещё не хотел уезжать. – Сомневался, нужно ли».

В России Отец работал в научном центре – денег ему почти не платили, а если платили, то ничтожно мало. Подрабатывал в газетёнке, сторожем деревянных дверей в церкви. Ходил в драном тулупе, ел только картошку в мундире, которая постоянно припекалась к кастрюльному дну. Если я у него просил денег, то он мне нехотя протягивал бледно-зелёную бумажку – десятирублёвку.

Эмигрировали в Германию. Тут он размечтался, что найдёт работу. Отсылал бумаги, звонил по фирмам, копался, его, кажется, приглашали на собеседования. Ещё говорил: «А вот если передед в другой город?..»

Нас поселили на Балтийском море. В бывшей Восточной Германии. На каждых выходных мы гуляли с Отцом по пляжу. Там лежало наше корявое брёвнышко – мы приходили, и оно было на том же месте.

В первые месяцы мы там часто бывали, а потом мне надоело. Я хотел сидеть дома. Отец угваривал: «Может, прогуляемся?» а я отпирался: «Да ну...» И он ездил один. – На полдня. Возвращался очень поздно. Потом показывал мне в атласе, что прошёл – проводил указательным пальцем по побережью Балтийского моря тонюсенькую полосу. – 15 километров туда, 15 километров обратно.

Где бы мы с ним ни были – мы проходили столько же. – Рано просыпались – шли в город, а приходили под ночь.

Отец уезжал, а я сидел дома и часто думал: «А если он не придёт?» Вот он плывёт, и вдруг тонет – вижу взмах его правой руки, его створевшее тело алого цвета, слышу его кашель – дикий, раздражающий – и бесконечное море, гроза, сизое небо...

Или на него нападут – потребуют денег, Отец пойдёт вперёд, без слов, а на него налетят сзади, ударят чем-нибудь тяжёлым по голове. Забьют до смерти.

А завтра я пойду в школу, не увижу Отца утром, днём, вечером. Я не буду знать, где он остался, я всё узнаю потом. От полиции, друзей, родственников...

И я засыпал с этой мыслью, не дождавись Отца. – Утром я видел его спящего, уткнувшегося в стенку, со сползшим на пол одеялом.

Он опять шел по индустриальному району: уже справа – канал, фабричные домики, краны. Под ногами шуршит медовая листва с редким мусором.

Четыре года назад по всей Европе проходили гигантские демонстрации (по какому поводу?) – в Брюссель съехались сотни тысяч глоток. Отец познакомился с группой немецких социалистов и уехал. – А я остался дома из-за школы.

Вдалеке – церковь. – Завешена строительными лесами.

«Кажется где-то я её видел...» У Отца была такая фотография. – Церковь оливкового цвета; справа – дома – бледно-голубые, лимонные; тут же широкая дорога, по ней гоняют машины с красными фарами. «Отец фотографировал с этого места! Он стоял именно здесь! Вот кажется его следы... Я стою на них...»

Фотографировал.

Ближе.

Слева от церкви – кладбище Лаекен. Решётчатый забор. Дёргаю ворота – закрыто! Рядом белая табличка – «кладбище работает с 10 до 16 часов». И для него ещё отдельное время! Смотрю на часы – ровно 17!

Я хотел узнать, как умерших благодарят надгробьями – шёл сюда через весь город. И теперь! – Ничего не увижу!

Смотрю на вытянутую церковь, на убегающий ввысь шпиль – и хруст в шее.

Ещё издали она мне показалась игрушечной, сложенной из кубиков. А ближе – выделанной. Отец возле Нотердама: «Папа Римский даже не знает, что на фасаде готической церкви бывают химеры».

Захожу в церковь. На входе – коробка для пожертвований, столик с молитвенниками, дальше, до алтаря – деревянные лавки.

Начинается служба. В белых стенах гремит христианское пение.

Отец бы этого не выдержал. Постоял бы, а потом вылетел. «Как это пошло...»

«Истина – в реальной жизни, а не в устоявшихся традициях. (Может, реальная жизнь – это нищета, упадок?) Да кто мне скажет, как жить? С какой стати я должен кого-то слушать?»

Мне долго казалось, что все проблемы он сваливал на Бога – за то, что жизнь не удалась, что ничего достойного из него не вышло. – «Церковь говорит одно, а получается наоборот». (...) «Меня обманули верующие», – это о Маме.

Только потом я понял, что Отец ненавидел людей. Ненавидел их отношения, жизнь... «Я – людофоб», – кричал он.

Когда-то это произошло. – То ли ему упомянули о возрасте, то ли о знании языка, то ли ещё что-то и – Отец сломался: «Меня уже нет». Безработный. Никому не нужный. С 45-и лет. «Все – суки!»

Отец был болен. Жутко болен. Эта болезнь развивалась до конца.

Он вышел из церкви.

Поздно ещё что-то смотреть. Времени у меня немного. Нужно идти к Midi – скоро поезд. Сегодня вечером я на Севере Франции.

Здесь неподалеку – стадион Эйзель. В 85-ом году, спустя несколько недель после моего рождения, на этом стадионе фанаты «Ливерпуля» бросились на фанатов «Ювентуса». – В давке погибло более ста человек. – Вот так: приехать, чтобы поболеть за команду и умереть, спрессовавшись друг с другом...

Приехать и умереть.

У окна палаты висели репродукции пёстрых ландшафтов Августа Маке. Я приезжал к Отцу и видел, как он молча смотрит в белую пустоту – на голую стену. Я что-то рассказывал, а он не слушал.

В нём было безразличие.

Я что-то привозил, но мне говорили, что всё это не нужно.

И я приехал в последний раз.

На кровати лежало спокойное тело, тянущиеся куда-то вдаль. Куда оно было направлено? – Как в картинах Средневековья – мёртвый Христос всегда тянулся ввысь. – И у Отца было что-то похожее.

Женщина в белом сказала, что я могу забрать все Отцовские вещи.

«Что я говорю? Он же ещё жив! ЖИВ! Он там, откуда я уехал. Ведь перед отъездом он мне молча протянул морковь, сыр, булочки... Чтобы я ел в дороге. С сожалением смотрел, что я уезжаю в Брюссель.

Психбольница, смерть! – Молчи! Молчи!»

По деревянному мостику он переходил через канал. Вода усыпана бордово-оранжевыми мазками. Расплавленный диск порезан синим полосками. – Отец фотографировал тысячу закатов, но такого не видел. «А может, нет? Может, такие закаты бывают здесь – в Брюсселе? И тогда, несколько лет назад, когда я с ним не поехал, он его тоже видел?.. Здесь, на этом мостике...»

Всё те же порезы неба, те же цвета пламени.

И теперь это вижу я.

Я опустил по привычке голову.

Отец сказал бы мне сейчас: «Почему ты смотришь на землю? Смотри наверх!»

30.08.2006 г.

Михаил ОКУНЬ

На пятую годовщину отъезда в Германию

Какие белые дома,
Какая тихая погода...
А мне припомнилась зима
Две тысячи второго года.

Я вышел в парк. Под треск петард
Пунш разливали с поварёшки,
Надсаживался некий бард,
И стыли местные блядёшки.

И всё же, этакой херне
Я улыбался умиленно –
Мол, праздничек подарен мне
Администрацией районной.

А нынче – хоть сойди с ума...
И где, ответьте Бога ради,
С тем пойлом чан, и та зима,
И бард, и парковые бляди?..

* * *

«Может, уехать, как сделал Набоков? –
Здесь не отмыться от мнимых грехов...»
Так я когда-то выспрашивал Блока.
Блок отмолчался, но встрял Гумилёв.

* * *

Где городишко из теста,
Жизни мучнистой пора?
Где тот пиит неизвестный,
Вирши кричавший с утра
У заведенья пивного,
Мелочь сжимая в горсти,
И рисковавший за слово
Кружкой в лоб огрести?..

Михаил ОКУНЬ родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор сборников стихов: «Обращение к дереву» (Л., 1988), «Негромкое тепло» (М., 1990), «Интернат» (СПб., 1993), «Ночной ларёк» (СПб., 1998), «Слова на ветер» (СПб., 2002), «Чужеродное тело» (Гельзенкирхен, 2007), книга рассказов «Татуировка. Ананас» (СПб., 1993), «Ураган Фомич» (Гельзенкирхен, 2008), а также публикаций в журналах, альманахах, коллективных сборниках. С 2002 года живет в Германии.

Солянка

У станции Обухово
В забегаловке под вывеской
«ЧП Холодца М.П.»
Рыжий парнюга спросил:
«Сегодня понедельник или суббота?»
И, убедившись, что суббота, сказал:
«Я в восторге от местной солянки!»

Друг дорогой!
Я другой такой страны не знаю,
Где такие вопросы
И такие солянки.

Мытнинская улица

В баке отыскав гнилую воблу,
Выгрызая на ходу икру,
Дряхлая тащИтся проблядь –
Грезить, в коммунальную дыру.

Гусеница

Гусеница вдаль ползет,
Грузно меряет пространство.
Волоски кругом торчат
У нее на жирной спинке.

Вся желта и зелена
Плачет горькими слезами:
Напилась вчера пьяна,
В бабочку не превратилась...

Сыну

Острые птицы в фарфоровой плошке
Чутко сидят, как в гнезде.
Сделано, маленький, всё понарошку, –
Всё, как везде.

Скоро предъявятся важные люди,
Строго заявят права.
Только ведь птицы –
Не то, чем на блюде
Оборотятся сердитые люди,
Блюда коснувшись едва.

Сергей БОРОВИКОВ

Как я коллег Слаповским рассмешил

Однажды на заседании редколлегии журнала «Волга» при обсуждении новых рассказов Алексея Слаповского, тогда начинающего, автора одной лишь опубликованной повести «Искренний художник», рассказов скорее всего неважных, можно даже сказать, в чем-то дурацких, я оказался в подавляющем унижительном меньшинстве: то есть в полном одиночестве – все, кроме меня, были против публикации.

Но о дурацкости. Пушкинское «глуповата» о неперменном свойстве поэзии есть необходимая черта прозы. У некоторых писателей, как, например, И. А. Гончарова или Ал. Н. Толстого, она составляла одну из особо привлекательных черт. В «Обыкновенной истории» дворник, услышав, как молодой барин рыдает на темной лестнице, зовет на помощь жена Марфу и начинает поиски оброненных барином денег: из-за чего, мол, еще можно так рыдать! У Ал. Толстого пожилой генерал, идя коридором для серьезного объяснения с женою, ведёт пальцем по рисунку на обоях, у Толстого же перед драматической сценой гибели генерала Корнилова адъютант его «бросил окурочку в глупую курицу, непонятно как не попавшую в суп» и т.п. Русская литература полна как бы не несущих на себе смысловых нагрузок деталей, но создающих при этом, словно на картинах малых голландцев, широкую панораму живой быденной жизни.

Возможно и даже точно, что «глуповатость» не есть первоочередная задача «большой» литературы, но сейчас вот беда: освободившись от больших страстей, кипения идей, предвосхищений и пророчеств классики, современная русская проза взамен предложила много словесного штукарства и крайне мало действия, житейского наполнения, веселья и грусти, словом, всего, что способно увлечь читателя, а также и развлечь.

«...они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью, которой всегда отличались все писания Толстого». Слова Бунина о «пустяках» Ал. Н. Толстого я готов переадресовать молодому Слаповскому.

Чего-чего, а непринужденности, и свободы в нашей прозе последнего десятилетия было так мало, что впору задохнуться от крепкого запаха трудового пота: расчётливость сквозит даже и в самом эпатажном жесте. В словах Бунина крайне важны и слова «все» и «всегда» о сочинениях Толстого. Он-то прекрасно знал, сколько тот насочинял всякого разного, но: «Вчера и сегодня всё время читал первый том рассказов Алёшки Толстого. Талантлив и в них, но часто городит чепуху, как пьяный» (запись в «Дневнике» Бунина 29.VII. 41).

И до Толстого Алексея были, конечно, писатели безмятежного воображения, прежде всего, конечно, Чехов. Хрестоматийный пример – «Чернильница? – Хотите завтра будет рассказ «Чернильница?» невольно пришёл мне на ум, когда раздражённый новым изданием книги Слаповского его саратовский завистливый коллега, тяжело выжимающий из себя по строке в неделю, трясся от негодования на легкость писаний «Лешки». Минуло немало лет, и с приобретением «серьезности» Слаповский, увы, во многом утратил пленительную молодую бесшабашность радости самого малого в жизни. Очень жаль, что слишком негромко прозвучали повести Николая Якушева, опубликованные в «Волге» и частично собранные в сборнике «Место, где пляшут и поют» (М. Время, 2002), с его особым даром обращать реальность, чаще всего безобразную, российской

жизни, в неизбежно-непринужденную Россию: «а посреди мостовой лежала оторванная собачья голова. «У нас оторвут, – со странной гордостью подумал Попугаев. – У нас это дело кому хошь оторвут!»

Итак, при обсуждении в 1999 году коротких рассказов Алексея Ивановича, я нечто подобное и декларировал товарищам, да еще и к слову упомянул Чехова.

Боже, как смеялись коллеги! Не так зло, как искренне и от души: Лёшка Слаповский и – Антон Павлович?!

Этот смех объединил даже антиподов – зав. отделом публикаций, человека молодого, «продвинутого», обладавшего удивительной способностью улавливать моды, находить контакты с самыми модными авторами, и его недруга – зам. гл. редактора, бывшего обкомовского работника, неременной фразой которого было: «нам бы типа Лев Николаевича или Фёдор Михайловича романчик заполучить...»

Смущено похихикивал в сухой кулачок даже пожилой интеллигентнейший и сдержаннейший ленинградец, зав. отделом публицистики.

Позже зав. отделом публикаций скажет кому-то, а мне передадут: «В «Волге» Слаповский, как салом смазанный, проходит!» А зам. главного, изгнанный общим собранием из редакции и ставший со временем деятелем местного патриотического СП, будет в компании единомышленников рассказывать про Слаповского и Боровикова, за масонско-заокеанские подачки разлагающих национальную культуру.

Смеялась и ответсекретарь, с годами вдруг решившая с мужем из патриотического СП, что не могу я, со своими «русифобскими» воззрениями, быть по крови русским.

А в тех двух рассказах «Лешки» Слаповского в номере восьмом 1990 года, как ни странно, уже были все родовые признаки писателя Слаповского.

Тираж номера был 80000 экз.

P.S.

Написал я это, и подумал: а что, если нам начать всякое-разное вспоминать из многолетней истории «Волги»? И вовсе не только штатным сотрудникам, но и авторам журнала, и несостоявшимся авторам, и обиженным, и даже чиновникам, причастным к выпуску «Волги», буде таковые найдутся, а?

Разговоры с Андреем Пермяковым

Андрей ПЕРМЯКОВ – Леонид КОСТЮКОВ

– Леонид, в составленной Вами антологии современной российской поэзии Пермь представлена шестью авторами: Юрий Беликов, Юрий Власенко, Дмитрий Долматов, Владислав Дрожжицких, Антон Колобянин и Алексей Решетов. С точки зрения пермяка, могу сказать, что на момент составления книги – 2003-2005 гг. – попадание было почти идеальным, ну разве что не хватает Паши Чечёткина, но к нему мы вернёмся чуть позже. Вы составляли антологию сами или обращались для отбора авторов к местным литераторам?

– Антологию я составлял самостоятельно. Базу авторов собирал всю свою жизнь. Из пермских авторов о Дмитрие Долматове и Юрии Власенко я узнал ещё в конце восьмидесятых годов через Нину Горланову. Стихи Долматова я мог видеть и в «Детях Стронция», или мог прислать Беликов. Тут много вариантов.

С антологией случилась редкая удача, прежде всего – редкая удача для меня. Я занимаюсь этим от души и для души. Ну, просто мне нравится читать стихи и прозу, написанные в последние годы. Вот такая тяга. Кого-то, может быть, тянет на классику, на XVIII-XIX века, а мне более интересно то, что происходит сейчас, актуальная, назовём её так, литература. Поэтому когда мне сказали, что можно сделать такую антологию, более того, антологию, не очень связанную временными рамками, для меня это была удача. Я последние 20 лет что-то находил, тащил себе в дом, как сорока тащит ложки. Очень часто я даже не был знаком с авторами лично. Просто знал, что вот в таком-то месте, может, очень неинтересном с точки зрения эстета из московского центра, вышли вот такие стихи или вот такой вот рассказ. Я имею отношение к толстым журналам, к премии Дебют, к фонду Филатова, был в жюри премии «Тенёта», в жюри ещё нескольких премий и получается, что через меня проходит огромный поток. Кроме того, я шесть лет учился в Литературном институте, учился на сценарных курсах.

Получается так, что кого не вспомни, из людей на 5 лет старше или на 10-20 лет моложе, я наверняка как-то с ним соприкасался – лично или через то, что он пишет. Для меня всегда главным было то, что именно человек пишет. Я избегал сближаться с человеком пишущим, не прочитав его текстов. Потому что у нас есть такие литературные дружбы с червоточиной, когда человек, которого ты ценишь во всех отношениях – и как человека, и как автора, «сватает» тебе кого-то, ты говоришь ему, что это очень плохо, а он, оказывается, уже не может отказать, они друзья, у них всё идёт уже по другому ведомству. Дружба литератора с литератором – это опасное дело, если

Леонид КОСТЮКОВ – прозаик, поэт, критик, культуртрегер. Родился в 1959 году. Окончил механико-математический факультет МГУ и Литературный институт (семинар Анатолия Кима). Преподавал в школе литературу и математику. Публиковал статьи, эссе, стихи, прозу в периодике («Дружба народов», «Соло», «Авторник», «Арион», «Еженедельный журнал», «Независимая газета», «Неделя», «Пушкин», «Русский телеграф» и пр.). Был куратором литературных вечеров в Ахматовском культурном центре, участвовал в качестве постоянного ведущего в работе Эссе-клуба. Представлял в Москве журнал «Постскриптум» вплоть до его закрытия в 1999 г. Куратор и руководитель ряда литературных проектов в Москве и за её пределами. В 2003-05 гг. составил антологию современной поэзии, куда вошёл и ряд пермских авторов.

это не литературная дружба. Литературная дружба – это искренний интерес к тому, что человек пишет, а дружба литераторов – один из источников «косяков» в нашем процессе. Талантливый тащит бездарного и так далее.

– А как Вы нашли Алексея Решетова? Просто это очень значимое имя для нашего региона. И для Перми, и для Екатеринбурга.

– На Алексея Решетова я вышел через журнал «Знамя». Мне там дали три его книги, чтобы я их отрецензировал. И я высказал своё мнение относительно феномена, того, что называется «региональным классиком». Вот смотрите: пишет в столице некий гений, например, Блок. Блок понимает, что он пишет здесь не один, что тут же есть Иннокентий Анненский, что есть Гумилёв, есть Ахматова, есть Георгий Иванов, есть Ходасевич. Поэтому он, Блок, видит свой участок, видит свой манёвр, свой сектор, где он хозяин, он – Блок. И при этом он не должен быть немножко Мандельштамом, немножко Ходасевичем и так далее. А вот феномен регионального классика в том, что он там один и поэтому он в каком-то смысле должен охватить всю сферу.

– Но одновременно с Решетовым в Перми работали уважаемые им Виктор Болотов, Радкевич. То есть он всё-таки не совсем один был.

– Да, всегда есть люди, к кому ты хорошо относишься и кого ценишь. Более того: у всех бывают сомнения, писать или не писать, хотя ты вроде и не знаешь другого своего предназначения, потому что ты видишь какого-то абсолютного с твоей точки зрения гения, который застит тебе свет, который сделал настолько то, о чём ты мечтал, что ты переживаешь в какой-то момент кризис мечтания и пока не найдёшь чего-то, о чём можно мечтать, ты уже и не пишешь.

Для меня таким человеком был Макс Фриш. И я с удивлением прочитал в его воспоминаниях, что вся его юность прошла под знаком того, что был какой-то его одноклассник, по его понятиям гораздо более одарённый и он всегда был в его тени. Но это его личный взгляд. Для нас-то существует Макс Фриш. Вот так же обстоит дело с региональными классиками.

– Пермь, повторюсь, представлена в антологии практически оптимально. А из других регионов, из различных литературных центров, отзывы были такими же или кто-то остался недоволен?

– С Пермью, хотя я там никогда и не был, у меня есть хороший контакт через Нину Викторовну Горланову. С Екатеринбургом вообще очень плотные связи. Такие места, как Екатеринбург, всё время поставляют своих авторов в Москву и тут контакты постоянные, дня не проходит, чтобы не встретить бывшего свердловчанина. Вот сегодня с Вашей подачи встретил Олега Дозморова, вчера Дашу Симонову, и так практически каждый день. Есть Курицын, Славникова, другие люди, и они всё время несут мне какую-то информацию о Екатеринбурге, и я в курсе того, что там делается. Картина получается несмещённая.

Но в этой антологии есть разделы, которые сделаны в этом смысле непрофессионально. Я имею в виду национальных авторов в переводах на русский язык. Здесь уже был момент разового отбора. То есть приносят, допустим, чемодан стихов бурятских авторов, а я на свой вкус отбираю одно из десяти. То есть я не в теме национальных литератур и здесь могу опереться только на первоначальный, очень грубый отбор тех, кто его делал. А делали его местные союзы писателей, поскольку этот проект шёл по официальным каналам, по заказу Министерства культуры и Министерства печати, сейчас это Федеральные агентства, фонд Филатова тоже участвовал, журнал «Дружба Народов»... Поэтому в отношении национальных литератур я был вынужден доверять писательским организациям.

Но вообще антология полностью моя, полностью вкусовая.

– В послесловии к антологии Вы пишете, что её, наверное, прочтёт несколько сот человек в Москве и по несколько десятков в региональных центрах. А вот, например, отличный поэт из Воткинска, вошедший в эту антологию – Александр Корамыслов, просто не знает о её существовании. Сергей Шабунский, москвич и тоже один из авторов этой антологии, о факте её существования знает, но ни первого, ни второго тома не видел. А тираж не такой и маленький – 3 000. Что делать с проблемой распространения?

– Вопрос не ко мне, но я отвечаю на него довольно полно. Все мы, ну, скажем, я и несколько подобных мне людей, начинали с того, что просто писали что хотели. Мы видели своё предназначение в том, чтобы быть: кто поэтом, кто прозаиком, писать стихи и рассказы, вот это было нашим делом. Потом мы все потихоньку расширили свои функции. В этом есть здоровый момент: я уверен, что поэзия и проза не являются профессиями. Это не профессии, это самовыражение и так далее. Здоровый момент заключается в профессиональной реализации. То есть человек пишущий может зарабатывать деньги либо тем, что он пишет и, на мой взгляд, это плохо, либо, работая по совсем далёкой специальности: врач, химик, например, и это тоже не оптимальный вариант – идёт такое двоение жизни и кому-то оно нравится, кому-то нет. Мне – нет. И для меня оказалось очень естественным зарабатывать деньги чем-то околολитературным: преподаванием литературы, редакторской деятельностью, критикой, работой в газете и так далее. Получается, что все мы навешиваем на себя ещё одну функцию, потом ещё одну, потом ещё и навешивать на себя ещё и вопросы книгораспространительства я не готов.

Хотя у меня в жизни был эпизод, когда я это на себя взял. Как-то так вышло, что у меня сложились особые отношения с Новосибирском. Я вёл там занятия на местном журфаке. Пять раз я ездил в Новосибирск за казённый счёт, а один раз за собственный. И в тот раз я повёз с собой книги и диски: свои и как-то связанные с собой, в том числе эту антологию. И на одной только прибыли от книг и дисков я оправдал билеты. А билет туда-обратно стоит больше девяти тысяч. Я продал там довольно много антологий, то есть в Новосибирске их гораздо больше, чем десять. Но это всё-таки не моё дело. Эта двухтомная антология – часть пятитомника, изданного фондом Филатова, туда входят также проза и фольклор. У фонда Филатова очень хорошие связи с регионами и функции распространения, рассылки, организации презентаций мог бы взять на себя фонд.

И всё-таки я брал в издательстве очень много антологий и их распространял. Я продал этих антологий больше, чем магазин «ПирОГИ на Никольской», наверное. Но, конечно, в основном, в Москве.

– Следующий вопрос в очень большой степени будет продолжением того, на который Вы только что ответили. Евгений Степанов неоднократно заявлял, что итоговой целью всех его проектов, ну, может быть, промежуточным итогом, должно стать издание десятитомной антологии русской поэзии. Ясно, что тираж у такой антологии будет ещё меньше, чем у составленной Вами. На Ваш взгляд, такой проект нужен или лучше издать антологию меньшего объёма, с меньшим охватом, но с более серьёзным тиражом? Допустим, один том, но с тиражом 10 000 экземпляров?

– Дело в том, что после этой я составил ещё одну антологию современной поэзии. Это проект на диске, у меня этот диск есть. Мне кажется, что такие антологии лучше всего делать как медиапроекты и выпускать на дисках. Там, на диске, у меня более ста авторов в основном разделе и около двадцати – в ознакомительном. Ознакомительный раздел назван так, потому что всё-таки неловко было делить авторов по принципу, что вот эти лучше, чем вот те. В этом разделе есть возможность выйти в режим комментария и более подробно ознакомиться с авторами. Я думаю, что будущее антологий именно за такими сетевыми проектами. В идеале должен быть сайт с очень хорошим контентом, с очень хорошими медиаторами и с довольно широкими вкусами. Такой особый космос, где уже можно будет выделять разделы на вкус того или иного

автора и должны быть удобные способы ориентации в этом космосе. Это должен быть нарастающий проект, потому что поймать мгновение очень трудно. Можно составить антологию в 2009 году и она, на мой взгляд, уловит самое интересное, но в 2010 появятся новые авторы и они туда не попадут.

– *Существует мнение, что проблемы сегодняшней литературной критики от того, что все критики сами пишут стихи, но есть подход, озвученный, например, Александром Ерёмченко, что человек, сам пишущий стихи и пишущий хорошо, всегда будет больше понимать в стихах другого. Кто прав на Ваш взгляд?*

– Об этом писал Довлатов, об этом писал Бунин, об этом писали очень многие. Для литератора гораздо важнее мнение его собрата по цеху, чем критика. Я не очень понимаю позицию «просто» критика – человек, который сам не может писать, а людям советует. Здесь очень важно то, на каких образцах ты учился и что стало для тебя образцом критики. Для меня образцы литературной критики и литературной эссеистики, что, конечно, очень близкие понятия, но не одно и то же, это Георгий Адамович, Георгий Иванов, Николай Гумилёв, в каком-то отношении Бунин, в каком-то отношении Чуковский, этот ряд можно продолжать долго, но это всё пишущие люди. Я не знаю ни одного чистого критика, который высказал бы что-то существенное. Здесь может возникнуть вопрос, допустим, так ли значителен Адамович как поэт? Мне очень нравятся стихи Адамовича, и после этого я воспринимаю его как критика. А вот если кто-то как поэт покажется мне ничтожным, я буду с огромным недоверием относиться к его критике.

То, что автор пишет сам, стихи и проза, которые стоят за ним, это золотой запас, а критическое высказывание это что-то вроде нарисованных денег. Вот в августовском номере «Детей Ра» я прочитал дневниковые записи Евгения Степанова. Степанов очень обаятельный человек, у нас с ним хорошие отношения, но то, что он там пишет – это дикие вещи. То, что стихи Арутюнова выше стихов Гандлевского, это карикатурное высказывание. Степанов находится в невесомом мире и пытается устроить законы этого мира по каким-то другим законам: по законам бытовой порядочности, или не знаю по каким ещё. А литературный мир живёт по литературным законам. Вот Степанов с детской наивностью приводит высказывание Дмитрия Кузьмина о том, что сам Степанов и его издания находятся на грани того, с чем можно вступать в дискуссию. Степанова это смешит. По поводу высказываний в этом номере «Детей Ра» я скажу ровно то, что говорит Кузьмин. Литературный мир, к сожалению, существует не по демократическим законам, он существует по законам авторитарным. Формула Мандельштама «Кроме всего прочего есть ещё и просто ерунда» является для нас базовой. Есть нечто, что нельзя пускать под прожектор критики, потому что это настолько плохо, что это не поддаётся критике. Есть некоторые высказывания, с которыми нелепо спорить, надо просто идти мимо. И Степанов делает именно такое высказывание. И не в первый раз.

– *Но, с другой стороны, пермские авторы, отобранные им для регионального номера «Детей Ра», и попавшие в Вашу антологию в очень большой степени совпадают. Как такое может быть при настолько принципиальной разнице в подходах?*

– Я, повторюсь, исходил из текстов. Из чего исходит Степанов, я не знаю. Возможно, он исходит тоже из текстов, но не знаю, по каким канонам, если по этим канонам Арутюнов оказывается выше Гандлевского!

Скорее всего, Евгений Степанов как человек порядочный тоже исходит из текстов, он не печатает тех, кто с ним вась-вась. Но подход к текстам совершенно другой. Он, насколько я понял, исходит из стиховой состоятельности. Чтобы была соблюдена некоторая форма. Да, он печатает довольно много верлибров, но особенно это относится к силлабо-тонике. Если мы возьмём город губернский, там хорошо пишут ямбом и хореем, может быть, несколько десятков человек. И здесь литератор, хорошо разбирающийся в стиховой структуре, выйдет в итоге на ограниченный

список авторов. В провинции это может работать, а в Москве, где ямбом и хореем хорошо владеют несколько тысяч человек, это сработать не может! Тут можно выбирать, кто более виртуозно и ювелирно владеет хорейми и ямбами, тогда от русской поэзии XIX века останутся Минаев и Курочкин, или можно выбирать по принципу поэзии, тогда останутся Пушкин и Лермонтов.

Вот высказывание о том, что Арутюнов выше Гандлевского, заставляет меня считать, что Степанов отобрал бы как раз Минаева и Курочкина. С точки зрения стиховой оснастки и Пушкин, и Некрасов и Тютчев слабее: они все трое рифмовали «себя-тебя». С точки зрения Евгения Степанова – это стиховой сбой. Я читал, что он пишет о рифме у Гандлевского, и это напоминает ахиною.

– Однако Степанов неоднократно писал о том, что для него существует проза, написанная в рифму, это именно то, что Вы называете «качественной стиховой оснасткой» и действительно поэзия, то, что нельзя пересказать прозой: Айги, Хлебников. Вы же, напротив, в послесловии к двухтомнику говорили, что в поэзии будет всё больше прозы и в том числе качественной прозы. Нет ли здесь противоречия с тем, что получается в этом интервью?

– Нет. Я говорил не это. Я говорил, что проза – один из живительных источников, которым питается поэзия. Поэзия питалась музыкой, поэзия питалась живописью, поэзия питалась кино, поэзия, в том числе, питается и прозой. То есть это один из возможных источников. Поэзия не может питаться поэзией и уж, по крайней мере, она не может питаться только поэзией, как не может существо пожирать самого себя.

Степанов же одновременно говорит о том, что такое поэзия, не переводимая прозой, и о том, что Арутюнов выше Гандлевского. А это в современной поэзии фигуры с разных этажей разных зданий. Это несопоставимо. Теперь достаточно сказать: «Евгений Степанов – это тот, кто считает Арутюнова выше Гандлевского» – и всё будет ясно очень многим людям и очень во многих контекстах.

– Возвращаясь собственно к поэзии, на Ваш взгляд, возможно появление твёрдой формы, специфической для русской поэзии? Скажем, более серьёзной твёрдой формы, чем стародавняя частушка и сравнительно новая танкетка? Насколько вообще перспективен путь формы?

– Я не очень понимаю, что такое «путь формы». Сейчас поясню свою мысль. Допустим, в 1835 г. некий поэт находит оптимальную форму для воплощения своей идеи: 5 строф по 5 строк. Через 60 лет, другой поэт, живущий в другую эпоху и пишущий совсем о другом, находит для оформления своей идеи ту же самую форму. И что? Это как две машины, движущиеся на разных шоссе, с совсем разными целями. Поэтому такое словосочетание, как «путь формы», в моей модели литературного бытия не осмысленно. Что такое путь человека, я понимаю, а что такое путь формы – нет. Поэтому я для себя переформулирую Ваш вопрос: «Может ли такое быть, что те или иные поэты на каком-то этапе своего развития будут обращаться к твёрдым формальным устройствам»? То есть когда начинаешь читать первые три строки и примерно понимаешь, как это устроено до конца. Здесь это возможно, почему бы нет? Есть русский сонет, английский сонет, александрийский сонет. Есть более привычные для нас формы, были какие-то твёрдые формы у Сологуба.

Если автор хочет, чтобы читатель не был озабочен проблемой формы и, войдя в стихотворение, примерно понимал, как оно устроено до конца, а интересовало бы его абсолютно иное, то, конечно, возможно обращение к твёрдой форме. И, поскольку это будет формой, созданной русским автором, постольку это будет специфической русской твёрдой формой. Почему бы нет?

– Фактически, все влияния на современную поэзию, на поэзию 90-х годов и на последнее десятилетие, вышли из семидесятых – начала восьмидесятых. Причём сменялись они последовательно:

сначала наиболее заметным было воздействие метаметафористов, затем концептуальной школы, в последние годы очевидно что сильнее всех на пишущих действует группа «Московское время»: Гандлевский, Цветков, Кенжеев. На Ваш взгляд, можно ожидать ещё каких-то новых влияний из того времени или оно уже в этом плане выбрано полностью?

– На мой взгляд, осталась невыбранной и переработанной мелодическая мощь советской песни. Даже у Бориса Рыжего. Если бы этого влияния было больше, это было бы интереснее. Далее, недостаточным было влияние Ерёменко. Я даже не знаю, на кого Ерёменко в достаточной степени повлиял. И, конечно, недостаточно чувствуется влияние Всеволода Некрасова, Нины Искренко – это если говорить непосредственно о тех временах. Но для меня более важно, что изменяется пантеон. Он влияет на поэтов того или иного времени гораздо сильнее, чем непосредственные предшественники. Допустим, Пастернак, Цветаева, Маяковский двадцать лет назад занимали очень мощные позиции в отношении влияния. Теперь они отходят на второй план. Георгий Иванов двадцать лет назад не был известен, а сейчас это первый поэт. Абсолютно очевидны его влияния на Дениса Новикова, на Рыжего, на Олега Дозморова, на Меламеда – безусловно.

У нас идёт вечная полемика с Гандлевским: Ходасевич или Георгий Иванов? Ну, вот Ходасевич, Иванов, Мандельштам – те, кто сейчас действительно составляют пантеон. А вот Бродский двадцать лет назад был очень масштабной фигурой, но сейчас его масштаб опадает, а масштаб Окуджавы растёт.

– Но есть ещё ряд относительно новых авторов, где невозможно уловить список влияний предшественников. Александр Петрушкин, например.

– О стихах Петрушкина у меня абсолютно свежее впечатление, я буквально вчера впервые прочитал в «Знамени» его большую подборку и подборка мне не понравилась. Я раньше видел какие-то его высказывания в Интернете, он мне показался очень живым человеком, но подборка впечатления не произвела. Эти стихи всё время находятся в пространстве возможного. Там очень большая материя стиха, но ни в одном месте я не заметил выхода в пространство невозможного. Это важный момент, это не словоблудие. Это стихи, созданные умом и талантом. То, что поэт может писать, он может и не писать. Он должен писать, только то, что не может. Петрушкин на данный момент пишет то, что может.

– А вообще, то, как в антологии было представлено поколение, родившееся в семидесятых – Амелин, Барскова, Дозморов, Делаланд, Рыжий, Шабуцкий и другие – оказалось, на Ваш взгляд, удачей или нет?

– Это оказалось неудачей по одной только причине. В антологию не вошёл Андрей Гришаев, на мой взгляд, сильнейший автор этого поколения. Я тогда просто не знал его стихов. А в целом очень хороший совет тогда мне дал Гандлевский. Поскольку антология не была ограничена рамками возраста, он посоветовал мне печатать больше старых поэтов. С молодыми и так все несутся. В этой антологии нет Дины Гатиной, Анны Русс, Марианны Гейде и вообще очень многих.

Но, участвуя и как ридер, и как эксперт в премии Дебют, я всё больше и больше сомневаюсь в существовании самого феномена молодой поэзии. Сейчас молодого поэта замечают в 20 лет, в 22 от него ждут книжки, в 23 – второй книжки. Человек не успевает созреть. Ему бы медленней формироваться. От него тащат стихи быстрее, чем он может их писать. Вся эта молодая поэзия – это скорее поэзия кураторов, поэзия того, чего они хотят. Они сами определяют сорт растения, сеют и получают всходы. Есть очень хорошая фраза в романе «Двадцать лет спустя»: «Ваше раскаяние слишком свежо, чтобы мы в него поверили». Так вот, поэзия двадцатилетнего парня слишком свежа, чтобы мы в неё поверили. Надо подождать несколько лет и увидеть: вот это всё отвердело или так и осталось на уровне брожения. Я к этим молодым авторитетам отношусь очень настроенно, причём не априорно, а на основании многолетнего общения.

Всё равно, если оценивать эту двадцатилетнюю поэзию по гамбургскому счёту, она выгорает на 95%. Выгорает в том плане, что вот эти стихи хороши для восемнадцати лет, но я ведь не должен знать, что ему восемнадцать лет! А тогда после Мандельштама и после Заболоцкого – это слабое стихотворение. Или допустим, стихотворение очень хорошо, но оно выражает инфантильный жизненный опыт. А откуда у него в 18 лет будет неинфантильный опыт? Я и говорю, что для 18 лет стихотворение очень хорошо.

– А вот смотрите: впервые за двадцать, если не более, лет появился такой феномен поэзии двадцатилетних для двадцатилетних. Я имею в виду Интернет-блоги и вечера Веры Полозковой, Алины Кудряшевой. Там ведь очень большая аудитория: тысячи читателей в Сети и сотни слушателей, ну, в основном, конечно, слушательниц, на вечерах. Как Вам это явление?

– Это можно оценивать в социокультурном аспекте. И в этом аспекте это, безусловно, хорошо. Лучше, если девочка-восьмиклассница сидит в Интернете и читает блоги, чем она будет пить или колоться. Но я не специалист-социолог. Что касается литературы, то с этой точки зрения я могу дать оценку: это явление не имеет отношения к литературе. То же самое: я могу, например, сказать, что, по моему личному мнению, как обывателя, книжки Марининой полезны, а книжки Дарьи Донцовой вредны, но это не оценка с точки зрения литературы. Как литератор я остаюсь к этому явлению равнодушным.

Вот, допустим, какой-то мальчик катается на мопеде, пьёт пиво, читает в Интернете этих девочек. Всё это для меня явления одного порядка. В какой-то момент мальчик садится читать Мандельштама. С этого момента начинается моё отношение к этому мальчику.

– Есть такая группа авторов, точнее даже не группа, а отдельные авторы, на мой взгляд, очень талантливые: Андрей Нитченко, Анна Павловская, я бы упомянул здесь же Павла Чечёткина, это всё те поэты, кто пишет очень глубокие стихи, оставаясь при этом в рамках традиционной поэтики. На Ваш взгляд, насколько перспективен такой путь?

– На мой взгляд, то, что на данный момент делает Чечёткин, это немного неперспективно. Хотя я не очень хорошо знаю его поэзию, но мне всё время кажется, что человек работает не на пределе своих возможностей. А игра в нашем деле – это то, что называется эпикриз. Игра мне не интересна, я человек скучный, старшего поколения, от меня это очень далеко.

Аня Павловская и Нитченко – это явления другого масштаба. Нитченко, на мой взгляд, является в поэзии фигурой революционной. Что значит, что он традиционен? Ну да, большей частью он работает в силлаботонике. Вот и всё, что связывает его с традицией. То, как он работает с темой, ритмом, сюжетом стиха – это очень свежо, очень по-новому.

У Ани Павловской тоже есть очень хорошие стихи. Я ещё раз скажу, что для меня традиционность и экспериментаторство – это не рабочая шкала. Каждый раз, когда мы имеем дело с очень хорошим стихотворением, мы не можем сказать, является оно традиционным или экспериментаторским. Традиционно или экспериментаторски писал Ходасевич? Одним он кажется безумным новатором, другим – архаиком. Так что нет, это не рабочая шкала.

– Как Вы относитесь к идее, высказывавшейся, в частности, Виталием Кальпиди, о «культурном сепаратизме»? То есть о том, что региональный автор, дабы добиться успеха, не должен стремиться в Москву или Петербург, а должна существовать возможность продвижения на местах, включая журналы, издательскую политику и прочие атрибуты литературного процесса?

– Сложный вопрос. Для этого надо родиться на Урале, жить на Урале, но меня как москвича, патриота Москвы, абсолютно устраивает культурная ситуация в Москве. Ситуация в другом городе, в том же Челябинске, казалась бы выжженной землёй.

Возможно, что если бы Вы не упомянули Кальпиди, ответ был бы другим, но Кальпиди представляется мне в каком-то смысле мошенником. Стихи Кальпиди мне совершенно не нравятся. Это очень технические, очень хорошо защищённые конструкции, в них очень много пищи для филолога, огромное количество влияний, наслоений, но там нет главного, чем живёт поэзия: там нет энергетики и самостоятельности. Я видел очень много его стихов и это не обочина его творчества, а магистраль. И это антипоэзия. Всё, что он делает в отношении проектов, все его мультикультурные дела, мне кажется элементами одного проекта. И с этой точки зрения его позиция ясна, потому что этот проект, повторю, мошеннический проект, проходит в Челябинске и не проходит в Москве. Кальпиди в Москве, в присутствии Айзенберга и Гандлевского просто бы сгорел. Он может существовать только там, где он является непререкаемым авторитетом, где он может убедить людей, что писать надо вот так. В Москве это у него не выйдет.

– Явление гибели поэтов в провинции, уже в этом веке – начиная от Романа Тягунова и Бориса Рыжего и, допустим, до Сергея Казнова, умершего в Саранске, есть нечто неизбежное, имманентное поэзии, или с этим можно что-то поделать?

– Я бы сказал так: у слова «поэт» есть как минимум два значения – это человек, который пишет стихи и человек, который ведёт образ жизни поэта. Человек часто ведёт этот образ жизни сознательно, по-актёрски. В этом смысле показательна фигура Шпаликова. Я общался с его бывшей женой, и она говорила, что более искусственного человека не было. Каждый его жест был искусственным. И дело тут не в поэзии, а в лирике. Вот явление лирики, оно очень тесно связано с эгоизмом, эгоцентризмом, самовлюблённостью, оно очень тесно связано с детским желанием разобрать машинку и увидеть то, что внутри. И это явление губительно. Поэт гибнет или напрямую по собственной вине, или на почве алкоголизма, пьянства, наркотиков и так далее.

С другой стороны, человек может понять, что его стихи важнее, чем он. Я уж не буду говорить азбучные вещи, что его семья, его родина важнее, чем он. Человек понимает, что он должен жить и писать свои стихи. Вот тут мы видим фигуру Георгия Иванова, Ходасевича, Гандлевского, Льва Лосева, фигуру, может быть, немолодого человека, в очках, фигуру человека, который, узнав, что у него, например, болезнь сердца, потратит время и силы, чтобы ещё много лет писать свои великолепные стихи. То есть это совсем иной подход. Средний срок жизни поэта-эмигранта первой волны составлял 80 лет. Средний срок, подчеркну. Там были люди, издавшие свои первые книги в возрасте под сто лет.

То есть существует фигура поэта, как носителя образа жизни, и фигура поэта как автора. Поэт как автор мне милее. Поэтому никакой неизбежности в ранней гибели нет.

Андрей Пермяков – Евгений Степанов

– Вы только что издали номер литературно-художественного журнала «Дети Ра», посвящённый пермской поэзии. Как давно в рамках журнала действует проект «На карте генеральной» и как много регионов, городов и, возможно, стран было представлено в нём?

Евгений СТЕПАНОВ – московский поэт, прозаик, филолог, издатель, генеральный директор крупного медиа-издательского холдинга «Вест-Консалтинг», куда входят литературные журналы «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер», «Другие», Интернет-издание «Персона PLUS» и газета «Литературные известия» (первый номер выйдет в сентябре). Кандидат филологических наук (защитил диссертацию в МГУ им. М. В. Ломоносова). Постоянный автор журналов «Знамя», «Крещатик», газеты «Экслибрис НГ». Он опубликовал около двадцати книг стихов и прозы в России и США, три научные монографии. Переведен на английский, румынский, венгерский и многие другие иностранные языки. За издательскую деятельность Евгений Степанов стал лауреатом Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка (2002) и международного фестиваля FEED BACK (Румыния, 2008).

– Рубрика «На карте генеральной» в журнале существует с первого номера, то есть с самого начала. Каждый номер (журнал выходит с 2004 года раз в месяц) посвящен одному городу (региону). Наша основная задача – печатать авторов из различных регионов России и русских диаспор за рубежом. Этому принципу и следуем. Вышли номера, посвященные Саратову, Тамбову, Самаре, Екатеринбург, Новосибирску, Иркутску, Санкт-Петербургу, Москве, Удмуртии, русскоязычным литературным диаспорам Киева, Днепрпетровска, Харькова, Хельсинки, Берлина, Нью-Йорка, Азербайджана, Болгарии, Ирландии и т.д. Вот дошла очередь и до Перми. Номер составил поэт и публицист, мой старинный товарищ Юрий Беликов.

– *Вы хорошо знакомы с пермскими и региональными авторами, были членом жюри на фестивале «А-либум» в Перми. На Ваш взгляд, существует единая уральская школа поэзии? В том смысле, в каком этот термин возник в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов? Или екатеринбургские, пермские и челябинские поэты относятся к разным школам?*

– На мой взгляд, уральская школа поэзии существует, но правильней говорить о том, что есть разные и талантливые авторы. Не так давно я прочитал в журнале «Новое литературное обозрение» интервью известного итальянского слависта Маурицио Массимо с Оскаром Рабиным. Оскар Рабин – это знаменитый парижский художник, входивший в свое время лианозовскую школу. Так вот он сказал, что никакой лианозовской школы не существовало. Были талантливые люди, дружившие между собой, а школы не было, хотя о ней и написаны целые тома. Я тоже думаю, что надо говорить о каждом авторе отдельно. Например, в Екатеринбурге живёт замечательный автор Андрей Санников. Мы напечатали его в «Детях Ра», напечатаем и в «Футурум Арте», и в «Зинзивере». К какой школе его можно отнести? К уральской? К школе метафористов? Это абсолютно самостоятельный поэт, который, безусловно, наследует определённой традиции. К какой школе отнести Юрия Беликова или Владислава Дрожащих из Перми? Я не знаю. Но я знаю точно, что это авторы, которые являются цветом русской литературы.

Я понимаю, что термины «пермская школа», «уральская школа», ласкают слух местных жителей, но полагаю, что со временем всё произойдёт так, как произошло с известными течениями начала прошлого века. Никто же сейчас не говорит: «Футурист Велимир Хлебников» или «имажинист Сергей Есенин». Говорят: «поэт Велимир Хлебников, поэт Сергей Есенин». Со временем всё выкристаллизуется, и каждый на шахматной доске литературного пространства займёт своё место.

Но при этом можно и нужно констатировать, что в целом в Уральском регионе живёт небывалое количество талантливых поэтов, которых Россия знает плохо.

– *То есть наши поэты не слишком известны? А в целом насколько заметна, или, скажем, насколько была заметна до этого номера «Детей Ра» литературная Пермь на карте России?*

– К сожалению, она не слишком заметна, если не считать нескольких авторов, которые не только широко печатаются, но и стали, по сути, классиками. В первую очередь, я имею в виду Нину Горланову и Алексея Иванова. Это прозаики, хотя мы печатали и стихи Нины Викторовны. Но в целом поэтическая Пермь, увы, известна мало. К сожалению, в стране не создано механизмов для популяризации поэзии регионов. Этим занимаются несколько энтузиастов, абсолютно своекоштно. Кстати, журнал «Дети Ра» – частный, и ни одной копейки на него от государства я не получил.

– *К сожалению, и на Интернет-портале «Новая литературная карта России» Пермь представлена очень скромно. Помимо тех двух авторов, которых Вы только что упомянули, есть информация об Антоне Колобянине и фестивале, проходившем весной под патронатом Фонда Сергея Филатова. Это все.*

– Вот видите. На «Литкарте» информация, на мой взгляд, весьма тенденциозная. Мы, издатели, культуртрегеры должны быть ангажированы только собственной совестью и интересами литературного сообщества. В ситуации с «Литкартой» всё, как видим, несколько по-другому. А ведь это проект, существующий на грант, т.е. на казенные деньги.

Если издатель показывает литературный процесс узконаправленно, это говорит о масштабе его кругозора, в первую очередь. Если, например, я не буду печатать каких-то талантливых авторов из бывшей группы «Вавилон», то это не им минус, а мне. Это будет означать, что я необъективно представляю литературный процесс. К сожалению, этого не понимают и многие кураторы, и многие редакторы толстых журналов. У них есть шанс стать подвижниками от литературы, а они от этого шанса почему-то отказываются.

Однако не будем слишком строги к «Новой литературной карте». Они много делают и хорошего. И, надеюсь, сделают еще больше. Это еще очень молодой проект.

– Раз мы коснулись вопроса кураторства, поговорим о поэтических фестивалях. На Ваш взгляд, функция региональных фестивалей состоит в том, чтобы дать возможность местной литературной общественности познакомиться с творчеством известных авторов, с журналами, и за счёт этого стимулировать творческий потенциал, или наоборот: представлять редакторам, деятелям литературного процесса локальных авторов, неизвестных в столицах?

– Я думаю, важно и то, и другое. Вообще, вопрос о фестивалях на сегодняшний день ключевой. Литературный процесс в России, по-моему, пробуксовывает, сделав ошибочную ставку на литературные вечера («зрелища»), а не на создание и выпуск новых журналов – «хлеба» литераторов. На смену поколению «дворников и сторожей» пришло не менее несчастное поколение фестивалей. Из догутенберговской эпохи мы разом перепрыгнули – в постгутенберговскую. Это нездоровый перегиб. Да и фестивали у нас, на мой взгляд, проводятся неправильно.

– То есть?

– Фестиваль – это, в идеале, многоступенчатое мероприятие, где само выступление автора со сцены – всего лишь этап, и, может быть, не главный. Главное происходит до и после фестиваля. Обязательно нужно, чтобы по его итогам был издан альманах. В альманахе должны быть представлены все – подчёркиваю, все! – участники фестиваля.

Я вот только что вернулся с фестиваля поэтов, который проходил в Будапеште (президент – замечательный поэт и переводчик, мой друг Арон Гаал). Я только туда приехал – уже был готов сборник со стихами всех участников. И на языке оригинала, и в переводе на английский!

Я думаю, со временем мы тоже научимся работать. Слава Богу, что есть энтузиасты, которые вообще хоть что-то делают.

– С этой точки зрения, пермский «А-либитум», по-моему, можно считать удачным. В журналах были напечатаны стихи Петрушкина, Ивкина, Грантса, Домрачевой, готовится ещё несколько публикаций – не буду имён называть, чтоб не сглазить. В общем-то, и эта подборка в «Детях Ра», хотя и была задумана Юрием Беликовым раньше, отчасти связана с фестивалем. Альманаха же просто и быть не могло – при всём бюджете фестиваля в тысячу евро.

– Фестиваль «А-либитум» мне в целом понравился. Я думаю, он будет развиваться. А в большинстве своём российские фестивали в информационном плане уходят в пустоту. Как сказал один умный человек: «Если вечером событие не показали в сводке новостей, то этого события не было». Президент фестиваля должен думать о популяризации участников, а не свои личные вопросы решать, что, увы, происходит частенько.

– Тогда собственно о поэзии. Неоднократно в своих статьях, интервью, публикациях Вы говорили, что большинство поэтов – Велимира Хлебникова, Геннадия Айги от, скажем так, поэтического большинства. С другой стороны, известный критик и эссеист Леонид Костюков говорит о прорастании внутри поэзии прозы. Причём не просто «прозы в стихах», а хорошей прозы в хороших стихах. На Ваш взгляд: то, что Вы называете «прозой в рифму», это этапы, ступеньки в едином процессе или разные жанры?

– Я думаю, что поэзия настолько разнообразна, настолько имеет разные разветвления, что нельзя всё сводить в один жанр. Те стихи, которые, условно говоря, можно пересказать прозой, конечно, имеют свое очарование. Более того, я их с удовольствием читаю. Да, это действительно другой жанр, но в каждом жанре есть свои точки притяжения.

Мне интересен и Геннадий Айги, которого прозой никак не перескажешь, и Александр Кушнер, и Геннадий Калашников, вполне, казалось бы, традиционный поэт и многие-многие другие. Но сравнивать поэтов, на мой взгляд, можно только в тех формах и рамках, которые они сами себе создают. Например, у нас сейчас до неприличия раздута группа «Московское время». Я это говорю, между прочим, как один из первых публикаторов Бахыта Кенжеева. В конце восьмидесятых – начале девяностых я на печатной машинке месяцами набирал стихи Бахыта и печатал их в самых различных московских изданиях, составил ему книжечку в библиотеке журнала «Клуб». Хороший ли он поэт? Да, конечно, хороший. Но есть десятки, подчеркиваю, десятки авторов, работающих в традиционной силлабо-тонической системе не менее (а, может быть, и более) качественно. Тот же екатеринбуржец Санников, пермяки Дрожащих и Беликова, обнинец Прокошин, киевлянин Кабанов, костромич Бугров, москвич Арутюнов, Юдин из Бельгии, Прашкевич из Новосибирска и многие-многие другие. Но их не печатают ни «Знамя», ни «Новый мир» в тех масштабах, как Кенжеева и Гандлевского. А некоторых вообще в этих ключевых изданиях не печатают, как, например, Санникова, Дрожащих, Прокошина, Юдина...

Уверю Вас, как только два журнала – «Новый Мир» и «Знамя» – перестанут активно публиковать Кенжеева и Гандлевского и станут в тех же объёмах публиковать, условно говоря, Санникова, литературная общественность повернётся в его сторону. Механизмы популярности в литературном процессе весьма просты. И от самих поэтов (замечу, что и к Бахыту Кенжееву, и к Сергею Гандлевскому я отношусь с неизменной симпатией!) зависит очень немного. «Звезды» делаются. Это надо понимать.

– В этих условиях, когда всё поделено по лигам, по видам, такие вещи, как премии, конкурсы, семинар в Липках вообще нужны?

– Они, безусловно, нужны, и Сергей Александрович Филатов, чей фонд поддерживает семинар в Липках, член попечительского совета нашего журнала, делает большое дело. Жаль только, что его журнал «Пролог» известен, прежде всего, как Интернет-издание. Я предлагал Сергею Александровичу сделать ежемесячный «Пролог» на бумаге. Но где же взять деньги?

– Как Вы лично относитесь к критике?

– Разумеется, положительно. Но, к сожалению, некоторые критики сейчас не используют никаких аргументов. А иной раз сразу и не поймешь, что читаешь – статью или надписи на заборе. Виктор Топоров в предисловии к питерскому сборнику «Формация» назвал покойного хорошего поэта Владимира Уфлянда фуфлом! В №7 за 2008 год журнала «Сибирские огни» Владимир Титов творчество авторов «Детей Ра», замечательных русских поэтов из Парижа Николая Бокова и

Кристины Зейтунян-Белоус по непонятным причинам назвал мерзостью. Именно так – мерзостью. Аргументов не привел. К такой критике я отношусь плохо.

– Как на нее реагируете?

– Стараюсь не реагировать, а делать свое дело. Однако иногда я отвечаю – на прямые оскорбления. На журнал «Сибирские огни», если они не извинятся, обязательно подам в суд. Я уже сообщил об этом решении и главному редактору Владимиру Берязеву, и секретарю Союза писателей России Валерию Казакову.

– А насколько важно присутствие журнала в Журнальном Зале?

– Очень важно! И сам проект замечательный. «Журнальный зал» в настоящий момент оказывает огромное влияние на литературную погоду. В этом медиа-гиганте, как Вы, Андрей, конечно, знаете, объединены многие толстые журналы, печатающие (в том числе) и стихи – «Арион», «Новый мир», «Крещатик», «Октябрь», «Дружба народов», «Сибирские огни», «НЛО», «Иностранная литература», «Дети Ра», «Волга», «Зеркало» и другие.

«ЖЗ» – масштабное электронное хранилище отечественной литературы, репрезентативно представляющее тенденции русской изящной словесности, в том числе и в поэзии. Включив в свои ряды, например, такие частные издания, как «Крещатик» и «Дети Ра», «ЖЗ» открыл дополнительные возможности для легитимизации целого ряда непризнанных «толстожурнальным» мэйнстримом поэтов. «ЖЗ» сократил очереди на публикации, фактически оздоровив литературный процесс – теперь поэтам не надо ждать много лет новой публикации, ведь число изданий, входящих в престижный портал, увеличилось.

«ЖЗ» мог бы стать, на мой взгляд, и еще более успешным – грандиозным! – проектом, если бы пошел на дальнейшее расширение своих сплоченных рядов. К сожалению, до сих пор в «ЖЗ» не входят *лучшие*, на мой взгляд, журналы поэзии (пусть и не толстые) – «Акт. Литературный самиздат» (редакторы Тамара Буковская и Валерий Мишин) и выходящий двадцать (!) лет «Журнал поэтов» (редакторы Константин Кедров и Елена Кацюба). Не приглашены в «ЖЗ» и такие, безусловно, значимые издания, как «Москва», «Юность», «TextOnly», «Воздух», «Литературная учеба», «Словолов», «Орфей», «Рец», «Василиск», «Меценат и мир», и многие другие.

Журналов, ориентированных исключительно на поэзию, в «ЖЗ» сейчас только три – «Арион», «Интерпоэзия» и «Дети Ра». Это на всю страну, на весь русскоязычный мир! Конечно же, этого недостаточно.

– Да, «Журнальный Зал» – важный проект, но, по-моему, не только он обеспечивает успех в литературе. Есть, например, такой феномен, как Александр Ерёменко. Если не ошибаюсь, он представлен в этом проекте тремя публикациями, причём последняя из них в «Урале» за 2007 год, по сути, ретроспективная. Тем не менее, по влиянию на современную литературу он – одна из самых заметных фигур. То есть, возможна популярность вне этого проекта?

– Конечно, возможна! У прозаика Юрия Полякова в ЖЗ нет ни одной публикации! У Евтушенко – две! А это писатели, как бы мы к ним не относились, с мировыми именами! Что касается Александра Еременко, популярность его действительно велика, вокруг его имени созданы целые мифологемы. По-моему, его уход из литпроцесса – одна из самых удачных стратегий пиара. Тех, кто шибко много печатается, у нас не жалуют. Вообще, успешных людей в России терпеть не могут.

Есть такая легенда. Однажды к Сергею Владимировичу Михалкову пришёл талантливый автор и начал жаловаться, что вот он такой молодой, красивый, одаренный, здоровый, а его никто не любит. Критики долбают, ругают все, кому не лень. Сергей Владимирович ему говорит: «Всё очень просто. Стань больным, бедным, бездарным. Все сразу полюбят». У нас обожают состра-

дать, любят людей, которых не печатают, все это есть. Важно не забывать другое: никакой пиар не поможет, если ты бездарен. Очень плохо, когда у поэта интересна только биография. Человек может пройти тюрьмы, психушки, лагеря, но читаешь его стихи, а стихов нет. И другое плохо, когда биографии нет. А у Ерёмченко очень удачное совпадение в этом плане, хотя, скажу честно, далеко не все его стихи мне по душе. И плюс у этой группы – Парщиков, Ерёмченко, Жданов – был гениальный PR-менеджер: Константин Кедров. Он же придумал название «метаметафористы». Сыграл ту же роль, что Брайан Эпштайн для Битлз.

– Евгений Викторович, Вы один из немногих современных поэтов и издателей, кто признаёт художественную ценность за стихами Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, других авторов рок-рольного поколения. По сути, в 70-90 годы поэзией для двадцатилетних были они. Фактически, у нас выросло два поколения людей, у кого в молодости других поэтов-ровесников не было. Теперь ситуация изменилась. Вечера Алины Кудряшевой, Веры Полозковой собирают сотни молодых слушателей, в основном слушательниц, конечно. Как Вы относитесь к этому явлению?

– С пониманием. Я полагаю, что девяносто пять процентов нынешних российских поэтов работают и пишут исключительно для своей среды. Потребителем поэзии стал поэт. А с читателем профессиональные авторы говорить не хотят. Метаметафорический язык поймут 10-20 избранных, да и то в основном сделают вид, что поняли. Отсюда феномен Асадова. Для многих поколений Асадов был ключевым поэтом – опять-таки для определённого возраста, для подростков. Почему? Да потому что с подростками никто не говорит на понятном языке. А вот Асадов говорил. А потом появились эти милые девушки с новым поэтическим языком, но особенно оригинальным, но доступным тинейджерам. В этом, по-моему, секрет их популярности.

Главное, чтобы они несли доброе начало, а не разрушительное. Если тебя слушают массы людей, ты обязан, извините, за высокопарный стиль, нести свет.

– Как Вы относитесь к термину «актуальная поэзия»? Это название, приватизированное определённой группой, или что-то более широкое?

– Термин этот дурацкий. Я готов понимать под актуальной поэзией поэзию, напечатанную в моем любимом питерском журнале «Акт». Просто по названию. А в остальном это абсолютно искусственный термин. Хорошая поэзия всегда актуальна, потому что она выше времени.

– В девяностые годы, в первой половине двухтысячных в провинции появилось и умерло очень много талантливейших поэтов. Кто-то, как Борис Рыжий, или, в меньшей степени Роман Тягунов, успели стать знаменитыми, большинство же при жизни не имели ни одного сборника или серьёзной публикации, например, Сергей Казнов из Саранска, пермяки Арсений Бессонов, Дмитрий Долматов, многие другие авторы. Что можно сделать с этой ситуацией?

– Здесь два момента. Во-первых, нужно сделать так, чтобы не прооргали других, ныне живущих талантов. И не только из регионов. Не забывайте, что гениальные поэты Леонид Губанов и Георгий Оболдуев при жизни напечатали по одному взрослому стихотворению. Губанов – москвич, Оболдуев жил в Голицине, под Москвой.

На мой взгляд, ситуацию изменить можно. Для начала нужно дополнительно включить в «Журнальный Зал» достойные издания, которые себя хорошо зарекомендовали, которые работают много лет и где печатают поэтов. Надо чтобы поэты почувствовали, что они нужны обществу. А почувствуют они это только тогда, когда увидят свои тексты опубликованными. Читать стихи со сцены, конечно, важно, однако нужны публикации. На сегодняшний день опубликоваться в изданиях, входящих в сообщество «Журнальный Зал», несмотря на некоторое улучшение ситуации, все-таки достаточно сложно. Понимаете, «Знамя» или «Новый Мир» в номере печатают по пять

поэтов. Естественно, что в этих редакциях километровые очереди. Сейчас мне звонил Евгений В. Харитоновъ, интереснейший авангардный поэт. У него выходит подборка в «Новом мире». Эта подборка лежала там два года. По меркам «Нового мира» это еще не худший вариант. «Арион» или «Воздух» выходят раз в квартал. У них тоже очереди. Человек годами будет ждать публикации, перестанет писать, станет пить водку. Просто от безысходности. Как раньше говорили, от запрета на профессию.

– Но вы-то печатаете в «Детях Ра» по двадцать поэтов!

– Да, мы в каждом номере печатаем по 20 авторов. Это только в «Детях Ра». А есть ещё «Зинзивер», «Футурум Арт», другие проекты. Но этого все равно недостаточно.

Во-вторых, надо печатать тех, кого уже нет. Мы стараемся печатать многих поэтов, уже ушедших в мир иной. Сделали подборку Аркадия Кутилова, Николая Бурашникова из Перми, сейчас опубликуем стихи Валентина Ярыгина, Евгения Золотаревского, Михаила Крепса и многих других. Всё, что зависит от нас, мы делаем. Хотя силы наши не бесконечны и никакой государственной дотации мы, повторю, не получаем.

– Евгений Викторович, понятно, что на сегодняшний день Ваш самый масштабный проект – это «Дети Ра». А какой самый любимый, ну, скажем так, самый важный с точки зрения вечности, что ли?

– «Футурум Арт». Этому журналу восемь лет, я отдал ему очень много сил и любви. Это не только журнал, это и крупный Интернет-портал, где мы собираем всех интересных (опубликованных в разных изданиях) авторов. В конечном итоге, целью является издание десяти томной антологии русской поэзии, такого поэтического книгохранилища. Материал накоплен огромный, но разобраться в этом материале сложно. Докторскую диссертацию можно написать.

– А я слышал, Вы уже пишете докторскую о современной поэзии?

– Да, пишу. Но очень-очень медленно. Сейчас важнее – **напечатать** всех достойных поэтов!

Ксения ГОЛУБОВИЧ,

главный редактор издательства «Логос»

«Традиция трэвелого нова в России...»

Дорогие друзья!

Я хочу рассказать вам о нашей книжной серии, о нашем «дичке», о целом европейском жанре, который мы прививаем на российской почве в надежде на то, что потом он даст своеобразные и как всегда неожиданные плоды. Культура современного мира строится вокруг путешествий. Трэвелог – это способность. Трэвелогои – это талантливые глаза и уши, это осведомленность и любопытство, возвращающие читателю целый мир там, где он видел только «первый слой».

Новое столетие в культуре, возможно, будет связано с развитием трех составляющих. Музей как место нашего культурного воображения, Туризм и Литература. Трэвелог в этом отношении лежит на пересечении всех трех элементов: он раскрывает страны для воображения людей, которые не только не останутся на месте, но потом смогут совершить свое путешествие в поисках чудесного, удивительного, необычного, редкого. Традиция трэвелого нова в России. Сначала мы должны прочесть и понять формат этого жанра, а затем – совершать и писать свои путешествия. Наши коллеги из Европейских изданий ждут российского трэвелого. Мы должны научиться открывать страну для путешественников и путешествовать сами.

В нашей серии издаются сейчас лучшие авторы, которые смогли совершить путешествия столь разные и столь непохожие и написать книги столь необычные, что многие из них уже давно стали классикой этого нового «малого» жанра.

Сегодня я напишу вам о двух из них – и об их книгах, что вышли у нас в прошлом и начале этого года. О Брюсе Чатвине и Вольфганге Бюшере.

У Чатвина есть многое, чему поучиться. Например, умению раскрыть «гиблое» место, «дыру» на карте – и сделать его местом паломничества, туризма и дорогостоящих земельных закупок. Как он это сделал в своей первой книге «В Патагонии», после которой вся Патагония резко на него обиделась, а весь мир стал путешествовать в Патагонию. Победил мир – Патагония передумала.

«В Патагонии» – своеобразное путешествие в детство, за кусочком кожи бронтозавра, когда-то присланного дядей Чарли-Мореходом своей сестре, бабушке рассказчика. Кусочек был потерян, но где-то там, в далекой Патагонии, осталась пещера, в которой Чарли-Мореход когда-то отрыл останки древнего животного. Кроме того, по убеждению юного Чатвина и его друзей, расчисливших розу ветров, Патагония – единственное место, куда не дойдут несущие радиацию «атомные ветра». Иосиф Сталин почему-то очень напоминал школьникам страшного бронтозавра, отбрасывавшего тень на всю Европу. Древнего Зверя, всегда поджидающего человека, чтобы поглотить его. Во взрослом возрасте выяснилось, что бронтозавр был на самом деле милодоном – животным типа древнего верблюда, куда более безобидным, чем страшный зверь из детства. А Патагония все равно осталась притягательной. И Чатвин едет туда, чтобы найти прошлое, или вернуть время, и находит его. Латинская Америка – континент следов многочисленных европейских попыток, проектов, мечтаний, грез. Обрывки истории, иногда занимающие всю жизнь. Маленькая книжица, чьи короткие главы описывают и историю анархизма (завезенного из России

после событий 1905 г.), и историю колонизаций, и восстаний, и индейских ритуалов, и грабежей-налетов Санденса Кита и Буча Кэссеиди, и отдельные одинокие судьбы поселенцев. Лоскутное одеяло иллюзий, континент переселенцев, индейских племен и древних животных, столь древних, что, когда их кости были вывезены в Европу, они вызвали у публики такой шок, что навеки перевернули представление о мире и собственном происхождении у человека. Чарльз Дарвин. Именно в Патагонской пустыне, которую Чатвин описывает как совершенно отличную от знаменитых пустынь Аравии, он и собирал своих динозавров. Латинская Америка – отдаленный континент и одновременно самое сердце переменной Новой Европы. Патагония – самое крайнее место на карте, которое Данте Алигьери считал той самой горой Чистилища, к которой он вышел вместе с Вергилием, спустившись до нижних кругов Инферно. В случае Чатвина это, конечно, не земля мертвых, но место, которое, как материнская плата компьютера, хранит *следы* европейских проектов, амбиций, волн завоеваний, человеческих судеб. У этого места нет *истории*, ибо оно «древнее», чем история, оно точно некая гробница под открытым небом, *вечно сохраняет в себе останки*, или, точно старая пластинка вся в трещинках, оно проигрывает и проигрывает на себе *одновременно* все звуки былого. Странная кунсткамера, великая Книга Записи, Библиотека и Фонотека самой Европы – той, какой она сама себя не помнит. Последний образ Чатвина – звуки разбитого белого роля, раздающиеся с отплывающего домой парохода. Кусочек кожи милодона – или сама будущая книга – уже в кармане автора. Ибо автор нашел главное – он нашел самого себя. «В Патагонии» – стала мировым бестселлером, подарив западно-европейскому человечеству измененный на взгляд на целый континент.

Чатвин, точно исследователь-антрополог, собирает артефакты, складывает их к себе в записную книжку (знаменитый Молескин – теперь аккуратно вставляющий внутрь многообразных своих тетрадок листочек-уведомление о том, что продукцией их фирмы пользовались Ван Гог, Гоген и Брюс Чатвин). В его многочитавшем и многовидящем взгляде мир предстает как старый знакомый, как призрачный гость, которого теперь наконец видят воочию. На своих страницах Чатвин играет, пожалуй, с нашим самым главным чувством – чувством пустынности мира, который он населяет множеством ярких, калейдоскопических образов, точных поэтических метафор. «Его фразы – точно яйца Фаберже», – говорит один из критиков, пораженный грацией и одновременно бурной изобретательностью его коротких и ярких главок. «В Патагонии» – это почти поэма, его учителя Данте, Шекспир и Мандельштам. Чатвин – читатель Мандельштама, верный ученик «Путешествия в Армению», применивший множество чужих инструментов, позволяющих и поддерживать чувство детской тяги к неведомому миру, той тоски, что гонит в путь и лишает покоя, и одновременно сверчивать ее в поразительную искристость ярких образов. Книга Чатвина – поэма об огромной пустыне, потому что только пустыня позволяет полностью разгуляться мощи человеческого *духа*.

Пустыня вообще – сердце произведений Чатвина. С нею связан и лелеемый им миф о происхождении человека. Когда человек был «обезьяной», он жил в тропических лесах. И, наверное, был счастлив. Но пришло «ничто», пришла Большая пустыня, потеснившая леса, и человек должен был встать на две задние лапы и отправиться в путь. Он шел по пустыне, по ее тишине и учился слышать звук шагов в ее безмерном первобытном покое, ощущать ритм движения – он становился кочевником и одновременно изобретал язык: вешки своего пути. И пока он кочевал – по всей земле, не знавшей тогда границ, он был счастлив. «Беспокойство», тоска перелетных птиц, чей дом – весь мир, и чья судьба – записанный в подкорке маршрут – вот, что завораживает бывшего начальника отдела по «Импрессионизму» аукциона Собиз.

Совсем молодой человек Брюс Чатвин возглавил этот отдел – он отличался умением точно отличить подлинник, датировать произведение, определять его ценность, иными словами, умением *видеть*. Это умение привело к тому, что в конце концов он «ослеп». Было ли так на самом деле – сказать трудно. С определенного момента жизни Чатвин вообще не оставляет каких-то «твердых» сведений о себе. Много может оказаться просто мифом, рассказом, красивым «следом», по которому мы все же узнаем о присутствии в мире такой сущности – «Брюс Чатвин», как

по наскальному изображению. «Вам надо смотреть на горизонт», – посоветовал врач. Не имея ничего другого, как поездку, допустим, в Брайтон и сидения в шезлонге перед утыкающейся в далекое небо морской стихией, Чатвин принимает метафору букварю. Он уезжает за горизонт, он уезжает в Африку, где нет ничего, кроме пустыни и линии горизонта. И с этого момента, став корреспондентом «Санди Таймс», а потом и автором книг о странах удаленных и неизведанных, – он не покидает этой неподвижной линии путешествия. Он больше *не* возвращается из-за горизонта. Он путешественник и писатель, исследующий лишь мифологически укорененную в нас «непоседливость», наши «маршруты», записанные в нас как бы на подкорке и не подводящие нас в нашем устремлении «обойти землю» и пустыню Морскую и Земную.

Об этом и говорит вторая книга Чатвина, знаменитая не меньше, чем «В Патагонии» – «Тропы песен». Еще вплоть до 70-х годов нашего века аборигены Австралии считались самыми «отсталыми» людьми на планете. Еще в 19 веке френологи демонстрировали черепные коробки бушменов наряду с коробками неандертальцев и приматов, вылавливая ту самую недостающую ступень между человеком и обезьяной, что была утрачена наукой и одновременно составляет как бы главную загадку самого человека. Чатвин разглашает *правду этой сумрачной зоны*, которая оказывается на деле куда более человеческой, чем все достижения механической цивилизации. И бушмены, с которыми не церемонились, считая их овецекрадами, ненадежными работниками, способными в любой момент скинуть с себя цивилизованную одежду, то есть брюки, и отправиться в какой-то там Обход, эти бушмены, плохо переносящие алкоголь, хранят у себя старые истины, старые сказки земли, без которых нет человека – он без них *не производится*.

Когда-то не было людей. А были Великие предки. Они вышли из земли и пошли по ней – каждый своей Тропой. Великий Кенгуру, Великий Ящер, Великий Дикобраз. И пока они шли, с ними случались разные события, которые теперь имеют форму то ручья, то камней, то буша, и они пропевали свой путь – в песнях, пересекая континент от побережья до побережья, а потом... *ушли под землю*. «А я бегал-бегал-бегал и устал», – пел когда-то Даниил Хармс. Если идти со средней скоростью, то, напевая эту песню, так и будешь встречать по пути – то дерево, то ручей, то камни. И каждая строка этой песни, что тянется от побережья до побережья – участок земли, семейная собственность. Ты можешь обменять строку, дать ее в ренту, но не можешь продать ее. Песня, поэзия ложится в основу экономики и права аборигенов Австралии – она их «бесписьменная письменность», ритм их жизни и ритм самой земли. Ибо абориген живет на Тропе, он часть клана, члены которого, быть может, никогда и не видели друг друга – ведь они живут в удаленных строках. Но едва ты начнешь строку – каждый по ее отдельному ритму знает, что ты *из его «группы жизни»*, даже если вас разделяют километры. Мать, почувствовавшая биения «дитяти во чреве своем», бежит к старейшинам. И по признакам они определяют, на какой тропе родился ребенок. В одной семье могут жить дети, через которых проходят разные тропы. И потому в Австралии невозможно то, что является самой основой Европейской цивилизации. На этом континенте невозможно *замкнуть границу. Нельзя перерезать тропы*, и сказать – а вот здесь мы уже не ходим. И – о странная банальность, становящаяся вновь точным образом (прямо как любили авангардисты двадцатых) – в Австралии невозможно *изобретение колеса*. Ибо колесо, то есть *круг, и есть граница. Та самая граница*, о которой мы столь долго рассуждаем, которая создает нас самих, наши языки, наши племена, а потом и наши нации. И отсутствие которой, как и отсутствие колеса, столь долго служило главным доводом для того, чтобы считать австралийцев *совершенно примитивными*. Вплоть до безумного и разрушительного опыта Второй мировой войны. Войны, которая шла за землю, за территорию, за *границу*.

Так на этом новом «австралийском» жаргоне Чатвин пересказывает и пересматривает недавние (времен его детства) кровопролитные события. Аборигены тоже проливают кровь. Этот момент в ритуалах посвящения нередко служил добавочным доводом в пользу их примитивности. Но на деле, рассуждает Чатвин, дитя Второй мировой войны, они куда мудрее нас, они знают, что для того, чтобы держать землю, оставлять ее в своем владении – *нужно много крови*. В своих ритуалах, надрезая руку, они проливают ее один раз – раз и навсегда. И это все, что они готовы

пролить на землю и за землю. У аборигенов бывают стычки, но они, беднейшие люди на земле, никогда не ведут *войн*. Их Австралия – это и есть Земля, во всех своих подробностях она – Великое Творение Предков. Где человеку не нужно ничего менять, а только *сохранить*. Чувство хрупкости этого мира и заставляет их пускаться с песнями в обход, напоминая земле о ее красоте и величии. Весь этот огромный континент – полон стихов и мыслей людей, которых *выбрали* не быть народом, выбрали оставаться тем, кто они и есть: «не боги» и «не звери». Именно по этим тропам вместе со своим (что характерно, русским) другом и путешествует Чатвин. Они размечают священные места аборигенов, по которым НЕ должна пройти железная дорога, которую, наконец, правительство решило построить, протянув между побережьями. Ибо уже давно австралийцы живут в соседстве с совершенно иным типом цивилизации – цивилизацией, которая не может владеть землей *потому*, что она все время создает границы: заборы, ограды, стены. Цивилизацией, которая неумолчно *жаждет* всей земли, ибо жаждет преодолеть свои границы, выйти за них, а верее, *расширить* их. Цивилизация, которая, быть может, в своем утопическом проекте или памяти несет тайное, чудное воспоминание о времени, когда человек *действительно вышел*. В пустыню, и стал человеком перед которым лежал мир, ибо он был *на Тропе*. И он был *поэтом*, пешеходом, странником, обходившим землю. В каком-то смысле, все путешествия Чатвина, как и путешествия всех европейских мечтателей и странников до него – это путешествия в поисках остатков, проблесков, следов Земного Рая. Быть может, за этим и правда стоит интуиция Замысла Бога – Его мысли о каждой стране и всей земле, о каждом маленьком народе: не нашей мысли, а Его, некой превосходной, прекрасной, точной, трогательной, веселой мысли, которую мы только лишь учимся думать. Так в Притчах Соломоновых описывается Премудрость Божья, которая, смеясь и хлопая в ладоши от радости, строит чудесный дом. Тот самый, который и воспевают поэты. Трэвелог – это всегда «возвращение», к себе, к тому себе, который и есть *человек*.

Именно поэтому так ясны черты трэвелога. Это реальное путешествие, совершенное автором, и, однако, оно совершенно в виду какой-то важной внутренней причины, той, что направляет всю жизнь человека и залегает куда глубже поверхности внешних впечатлений и наблюдений. Подлинный трэвелог обладает иногда отчасти визионерской силой: отблеск совсем иной красоты ложится на посещаемую страну. Она становится произведением искусства, она становится книгой, которую человек несет и пишет внутри себя. Мы отбираем лучшие такие книги – они точно небольшие осколки волшебного зеркала мирового искусства, того, в которое человек хочет вернуться, как на свою первую родину. Трэвелог в каком-то смысле – это всегда возвращение. За самим собой, и за тем опытом *антропологически человеческого*, которое мы должны обнаружить в цивилизациях и культурах, замысел которых кажется столь отличным от нашего понимания. За фасадом каталогизированной в любом путеводителе культуры автор трэвелога читает ее *сказку* и ее историю.

Надо сказать, что это тем более удивительно, что большинство авторов того, что мы называем «трэвелогом» – это путешественники в мире времен Холодной Войны. В мире действительно разбитого зеркала, в мире после огромного кровопролития. То есть в мире, где было очевидно явно *безумие и зло*, некая абсурдность *мысли земли*, абсурдность и безумие самого *человека*. Особенно в его европейском варианте. Великий Зверь, как его называет Чатвин, Саблезубый тигр, Людоед, охотящийся на человека, враг всего человеческого *рода*. Авторы трэвелого, по сути, выходят из этой травмы распада культуры, травмы безумия, травмы зла, и их небольшие книги – это осколки возвращения *сквозь* зло, *сквозь* травму истории, к ее сказке. Мы считаем, что трэвелог в своих чистых чертах – выделяясь из литературы странствий и путешествий, принадлежит эпохе путешествий после Последней Великой Войны. Это книги 50-х, 60-х, 70-х годов – в зависимости от того, как и когда родился внутренний сюжет этого определенного вида путешествия.

Одно из путешествий в «зоне безумия» в поисках «сказки» совершил уже в 2000-х годах Вольфганг Бюшер, написавший свой первый бестселлер «Берлин–Москва, пешее путешествие». Происхождение этой книги, которую прочло уже более 200000 тыс. немцев разных возрастов и столько же французов, и «прочих шведов», уже окутано мифом. Когда пала Берлинская стена

– это символическое детище мирового разделения – пошли слухи о том, что в Германию, наконец, вернулись волки. Мол, видели их тут недалеко от Берлина, а раньше совсем пропали. Да потому, говорит народная немецкая мифология начала 21 века, что стена-то акkurat проходила по их старинным тропам, и перерезала их путь, и они, дойдя до нее, возвращались обратно, туда, к себе в Россию. А теперь тропа восстановилась и возобновилось кровообращение животной жизни, на окраине которой мы только и стоим, и все меняется. Беседуя со своим издателем Александром Фестом в кафе, Бюшер, сорокалетний начинающий автор, до сего времени перебивавшийся журнализмом, театром (где ставил на сцене переписку Рильке, Цветаевой и Пастернака) придумал путешествие. Однажды утром он закроет дверь своего дома, выйдет на лестничную клетку, потом вниз, и дальше и дальше, пока, наконец, не покинет пределов Берлина, пределов Германии, пределов Европы – и не окажется в Москве. Пройдя по единой тропе, совершив свой (в терминах Чатвина, которого Бюшер почитает как мало кто) Обход – прямо до места упокоения Предка, своего деда, погибшего под Москвой. Движение Бюшера – движение немецкой армии «Центр», движение в памяти мирового безумия, внутрь прежде закрытой территории, вытесненной из травматических воспоминаний многих людей, внутрь прошлого, по направлению к своей *первой* книге. Путешествие за грань ночи, в область беды и зла – «вас убьют» – говорят ему напуганные европейцы начала 2000. Действительно, вряд ли кто из русских решился в те годы совершить пешее путешествие с рюкзаком за спиной. В сущности, это отчасти путешествие-жертва, путешествие с риском для жизни, путешествие-«исцеление». То, что Бюшер видит по пути, постепенно перемещаясь из европейского пейзажа в славянский, страшно – не страну, а музей войны, простор, в каждом месте которого возвышаются статуи и разруха: в душах, на дорогах, на улицах. Бюшер, быть может, отчасти надеющийся увидеть Россию Цветаевой и Пастернака, посещает страну своего кошмара, где, быть может, убьют, а, быть может, помилуют. В отличие от обычного европейского путешественника, находящегося при своем автобусе и экскурсоводе, он находится только при своей панаме и рюкзаке. «Помни, фриц, ты на партизанской земле!» – сообщают ему братки-бандиты времен постсоветской Белоруссии.

Повествование Бюшера монотонно и, одновременно, ритмично, как ходьба внутри пейзажа. Он идет сквозь людей, природу, сквозь ливни и сушь. Кто-то заметил в разговоре – повествование Бюшера наполнено до краев лишь вплоть до момента подхода к столбику с надписью «Москва», недалеко от которого чем-то торгуют кавказцы. «Дошел!» – бросается, за их удивлению, какой-то бомжеватого вида мужчок к столбику. После этого, «в сердце вещей» (в Москве, Перелделкино и т. д.), повествование как бы смято, точно Бюшер и правда доходит до мест, до которых дошел его дед, дальше – он, точно зачарованный сказочный герой, ступить не может. И эта пелена и опасность всей страны, что лежит перед ними, как будто тоже атрибут странного, сновиденческого путешествия в страну мертвых, где обитают оборотни, странные персонажи, то ли помощники, то ли губители. И все же – эта книга не карикатура на русских. Она дышит какой-то щемящей тоской и любовью. Бюшер точно на тонкую нитку нанизывает моменты просветлений. Вот девушка из рабочего поселка (а о судьбе русской женщины Бюшер горюет не меньше Пастернака), податливо отвечающая на мужские приставания, на секунду вдруг обретает такую строгость и чистоту, о которой и мечтать нельзя – на миг Бюшер видит вместо нее живую икону, которая вскоре снова исчезнет: в этой девичьей душе нет сил держать такой лик, такую чистоту. И этот момент, как отблеск разума на лице помешанного, забирается им с собою как редкая найденная русская драгоценность. Такой «райский» момент есть у него почти в каждой встрече, хотя бы даже и в той жалости, какую испытывает Бюшер к невероятно для него, немца, странным полуобморочным персонажам постсоветского пространства. Идущий тропой волка (а о встрече с волком он и мечтает всю дорогу) Бюшер узнает, что страшная страна, разрушенная и спустя семьдесят лет после войны (не война – вы сами ее разрушили! – как кричит он на одной из своих страниц), *все же не полностью ушла в болото, она проходима, она позволяет человеку поставить перед собою цель и дойти до ее завершения, в ней есть проходимость добра*. Она пропускает путника сквозь себя, она раскрывает ему выход дальше, если он не отступит, и та кульминационная встреча Бюшера

и дорожного знака «Москва» на шоссе становится главной жемчужиной, главным свершением повествования, словно не по шоссе он шел все это время, а всходил на крутую гору. Сквозь зло он дошел до цели, до места памяти, до места прошлого, по какой-то одной ему уловимой тропе, расположенной по краю того монотонного пейзажа, частью которого он уже стал сам. Под который мимикрировал настолько, что многие проезжающие на своих «модельных машинах» русские спрашивают дорогу именно у него, как у местного аборигена. Ибо Бюшер и есть абориген, он остается внутри той страны, которую все спешат проехать мимо. Он становится частью этой земли, тех, кому некуда отсюда уехать. Он замечает, что смотрит «русскими» глазами на новенькие автобусы с интуристами, расположившиеся у заправок вдоль его уже родного, серого, как шкура волка, шоссе. Туристы, отделенные своей границей от всего окружающего, не совершают путешествия, в их сердце не лежит того сумеречного, человеческого опыта прохождения между небом и землей, между адом и раем, что стал центральным для Бюшера в России. Он, словно проходящий по сумеречной зоне памяти прошлого, настоящего, восстанавливает этот тайный русский путь, что начинается в Берлине, длится на Востоке и кончается вновь в квази-Западном городе, в Москве, превращая всю пройденную Россию в страницы книги, *его* книги – в центре которой безумным стуком отдается его собственное, совершенно обновившееся сердце. Идя путем европейских армий, за волком-проводником, Бюшер, как в сказке, восстанавливает в себе *путь человека. Это и есть паломничество-покаяние*, и искупление и освобождение для своей жизни. И не в последнюю очередь для жизни в литературе, которая и могла состояться у него всерьез только *после* путешествия в Россию.

Как видно на примере и Чатвина и Бюшера, настоящее путешествие, путешествие с внутренней книгой, ибо в нем содержится *смысл*, – оно должно родиться. В нем должна быть *причина, польза*, что-то такое, что глубоко задевает и тебя и других.

И, надо сказать, что элемент *паломничества*, паломничества одновременно и в область некоего «зла», и в область «вины», как и в область «красоты» и даже «возвышенного», «святого» – очень частый мотив путешествия. Он есть и у Чатвина, и, как мы видели у Бюшера, но на первый план он выходит все же у других авторов серии, тех, чье путешествие в другой мир, в мир за границами своего, родилось из тяжкого осознания проблемы, лежащей *внутри*, в самом сердце Европейского Дома. Как будто бы их путешествие *туда*, это попытка понять ту катастрофу, что произошла *здесь*. Они точно бы закручивают гайки, натягивают болты, жестко приводят в движение всю машину повествования, наводят резкость и четкость там, где только что сыяла поэзия.

Об этих авторах, замечательно шведском филологе Свене Линдквисте, и нобелевском лауреате сэре В.С. Найполе и их путешествиях, если вам будет интересно, я расскажу в следующий раз.

А вообще мы хотели бы, чтобы в ваших городах и регионах наши книги смогли попасть ко всем, кто чувствует стихию путешествия как стихию современности. Ко всем, кто пишет, кто думает, кто осмысляет мир, свое место в нем, и место своего края на общей карте, кто хочет увидеть действительность с новой точки зрения и исследовать скрытые в ней возможности для маневра. Нам нужны контакты, имена людей, с которыми можно было бы поговорить о распространении или популяризации серии у вас. Или любая информация, которую вы сочтете уместной. Вот такое мое зажигательное письмо.

К нему прилагаются ссылки на наш сайт, где еще можно посмотреть отрывки из текстов: www.paulsen.ru.

Доброго чтения.

Москва, 23 сентября, 2008

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Дыханье воды

Александр Петрушкин. Кыштым: избранные стихотворения 1999–2000. – серия «Эхолот» – Челябинск: Издательский дом Олега Сеницына, 2008.

Об «Избранном» принято писать, оглядываясь на предыдущие сборники и книжки, рассуждая о метатексте (равно как и об интертексте) и особенностях поэтики автора в различные периоды его творчества. Нормальная схема, но я ее, пожалуй, придерживаться здесь не буду, потому что...

Книга избранных стихотворений Александра Петрушкина только на первый взгляд кажется свободной для бытования читателя, после прочтения видишь, что это тщательно огороженная резервация, и внутренний пейзаж ее суров и малонаселен – преобладает степь, но не сухая, повсюду ощутимо дыханье воды. Да что там дыханье! Вода катает камушки-слова, заходит пеной, несет с собой всякий мусор – одним словом, стихия. В тоже время путь этой воды-речи жестко задан, и потому своей цели она достигает быстро, не тратясь попусту – в чем и заключается мастерство поэта. «...слитно пишется рцы плотно речёт вода...» – сказано точно, и по-моему, одна из лучших строк в русской поэзии на эту тему.

Зэка языка, если воспользоваться самоопределением Германа Лукомникова, Александр Петрушкин (не зря в Живом Журнале его дневник озаглавлен – «заключенный 06091972. Лагерь «Северная зона». Барак 74–66») не спешит вырваться на волю, хотя и думает только о ней, о чем постоянно проговаривается.

*...Переводи себя на тени
холодной кодлы в подворотне –
без воздуха и угрызений
смолы в неохлажденном горле.
Не в смысле всяких назиданий –
стю, как слог, без перевода*

*овеществленный, и на нары
стучится из меня свобода.*

Формально в его стихах все вертится вокруг невозможности возвращения, потому что везде тьма. Говорение, заговаривание, бормотание – так ведет себя человек в одиночестве, в страхе перед неведомым. И это при том, что друзей-адресатов у поэзии АП немало. И сам он, как скворец, готов с каждым беседовать на его языке. Что касается понимания...

Однажды приятель, слушая, как разговаривает мой сын, назвал его в шутку оракулом. И правда, в то время речь его была темна и полна каких-то неясных, но красивых смыслов, каждый из которых стоил, по крайней мере, продолжения, но так и был брошен на полдороги. В последнее время эффект поэтического для меня как раз и связан с такой речью, состоящей из мандельштамовских лепета и шепота. Не последнюю роль, конечно, играет в таком восприятии и фигура читающего стихи. Культуртрегер и поэт – две трудносочетаемые ипостаси, но у Петрушкина это получается, отсюда и легкий привкус апостольской нотки в его текстах, наиболее ощутимый в посланиях-письмах, которых у него достаточно. Кому эти письма? Из ближайшего – не будем тревожить тени великих – поэтического окружения можно назвать Яниса Грантса, Дмитрия Машарыгина и др., но в первую очередь прямых учителей – Андрея Санникова и Евгения Туренко, к последнему Александр питает что-то вроде ревности, как шаман к шаману. Как и у Туренко, логика образов АП настолько проста, что может показаться безыскусной – дескать, сам-речь, говори, блаженный, да не заговаривайся, – однако в лучших стихах стремление к диалогу на равных творит чудеса – это мы, читатели, спрашиваем у Петрушкина, а он нам отвечает, но нам и только нам понятными словами (чтобы снизить пафос, вспомню о «командирской за руке» у Пелевина).

И все-таки, о чем «шумит словарь на перекрестке» – в рамках этой книги вопрос неверный. Тысяча голосов, и внимать им одно-

временно нельзя, поэтому надо настроиться на канал, убрать помехи и слушать, но при этом не забывать, что и мы участвуем в разговоре, хотя бы стуча в ответ костяшками пальцев. Тогда за колючкой можно будет разглядеть небо, в которое смотрится темная, свинцовая (по определению автора) земля.

Сергей СЛЕПУХИН

Лунная неурядица

Давид Паташинский. Рассвет перед сном: Стихотворения. – М.: Водолей Publishers, 2008.

Поэт подобен часам. Ему сообщен его радиус, часовой и секундную стрелками поэт чертит свой круг. Часовая пружина – темперамент – приводит в движение механизм чувств. Но стихи поэта – это всего лишь циферблат, внешний показатель работы, совершающейся в душе автора. Пульсации темперамента подобны движению часового маятника. Ритмические и переменные, они точно показывают Время жизни поэта.

Не ищи на лице моем циферблат,
Лучше губы грустные на нем найди...

(Механические часы)

Что же на часах Давида Паташинского? Наивная, но, несомненно, мастерская, игра словом, отдельные колющие и меткие наблюдения, богатый колорит, роскошь речевого потока. Композиция его стихов разорвана на отдельные кусочки, на сценки, на неожиданные выдумки. Каждый фрагмент – скерцо, но все они слиты вместе, подчинены одному движению. Удивительная гармоничность! Паташинский – поэт с ярким воображением, вдохновенной захлебывающейся фантазией, необычайной культурной чуткостью. Музыкальный слух и виртуозное владение словом позволяют поэту подчинять грандиозной свободе своего замысла любые, на первый взгляд, казалось бы, незначительные мелочи повседневной жизни.

«Мир происходит медленно, по прямой...», «Волчата черные свернулись на груди / ночного леса...», Птицы «летят, кашляют, как собаки. Им некуда приземлиться»... В пустоте горит «голое сердце»... Паташинский умеет все перемешать и перепутать. Перепутать? Нет, выстроить в особом порядке, так поэт постигает новый смысл увиденного и пережитого. В его курьезах нет желания «удивить». Сквозь «нелепости» упрощенного и в то же время неясного, сбивчивого рисунка остро проглядывает большая наблюдательность автора. Это особый яркий психологический талант – в детской манере удивить мудростью зрелого человека.

Лавочкин сидит на себе, как на дереве,
седой хвост его рассыпался на ветру,

как тальк.

Из толпы механиков доносится песня

стерео,

что к утру превратится в пустой гештальт.

Ферма моих звуков, запах знакомой

коровы,

чарка пламенного молока в постель.

Скажи, базука, будет нам пол-второго,
или опять позовем гостей?

(Аэроплен)

Прочитанное стихотворение – главное в сборнике Давида. Аллюзия образа шагаловского нищего старика, летящего над Витебском, несомненна. Но, если образ пророка Илии с посохом и мешком в картине Марка Шагала – это живописная метафора известного еврейского выражения «он идет над городом», что символизирует неотвратимость изгнания, то «Аэроплен» Давида Паташинского, напротив, является признанием поэта в безмерной, неизжитой любви «к дорогой глуши голубого света», ощущением юности и незрелости собственной «небесной хворости». Это осознание, что избранный новый путь «безнадежно млечен, холоден, как вода»...

Давид Паташинский – поэт живописный. Он не считается с реальной окраской вещей, предпочитает свободу. Он видит цвета окружающего мира по-своему. Как и в детских рисунках, соотношение яркостей в стихах Паташинского служит только для того, чтобы

подчеркнуть различие внутри самого образа. При внимательном чтении книги вдруг замечаешь, что три основных цвета преобладают в его палитре: голубой, малиновый и лунный. Голубой – как цвет зимнего сибирского снега, малиновый – цвет душевных порывов и устремлений (интересно, что улочки на «русских» картинах Шагала тоже малинового цвета), а по «лунным лекалам», «лунным тальком» из «лунных сусеков» создается «лунная неурядица», основная тема сборника.

Мерцание полуночного сердца,
луна горит, как девочка, в ночи,
закрыв глаза, под лампою уселся,
теряя слов напрасные ключи,
домашние потемки страшно споры,
и на свету все помыслы черны,
и наши осмотровые споры
хранят зерно пустой величины.
(*Мерцание полуночного сердца...*)

Как рыбы, живущие на разных глубинах, или птицы, парящие на разных высотах, имеют различные глаза, так и поэты имеют разное видовое восприятие. Сама же по себе перспектива есть не что иное, как разворачивание вещей. Перед современным поэтом стоит задача определить и выразить перспективы колеблющихся предметов.

Итак, лунный свет заполняет пространство сборника «Рассвет перед сном», он течет из стихотворения в стихотворение, образуя лужицы и озерки. Непрерывное течение времени в лунной призме очерчивает формы реального и нереального в сознании поэта. Колеблемые образы отраженных в лунных озерах предметов создают эффект переламывающихся ритмов, подобно тому, как ломается ритм от отражения в воде. Автор часто «строит» стихотворение, как лодку: опущенная в лунную заводь, она подчиняется законам преломления. Слова идеальной шарообразной формы погружаются в воду, при погружении шар разламывается, возникает ощущение сдвига, это рождает ритм и движение, стихотворение начинает медленно плыть.

Свойства, которые порождает лунная призма в манере видеть, – ясность и отчетливость. Увиденные через лунную призму предметы

становятся миниатюрными, следовательно, воспринимаются как теплое, искреннее, детски чистое откровение. Искусственное изменение пропорций, например, способно надеть женщину в стихотворении Давида порхающей походкой, лишить ее постамента, превратить в бабочку или ангела, подчинить ритму лунного полета.

Существует поэзия светотени, это комнатные городские стихи. Есть поэзия, созданная из фотонов городского электрического света, выхватывающая из пространства вокзалы, фабрики, города. У Паташинского – поэзия лунных силуэтов, механические колебания времени в ней сопоставимы с гармоническими эмоциональными колебаниями. Есть впечатление, что свет создается самими образами, которые выхватывает сознание и чувствование: ни центра, ни границ мира в стихах автора не существует. Рожденный образами, свет передается дальше, на предметы, которые, в свою очередь, сами начинают его излучать. Лунный свет становится материей. Используемый Паташинским прием усиливает быстротечный, мгновенный характер изображаемого события, позволяет создавать перспективу, при которой образы и события ориентированы в случайном направлении и нередко имеют преобразованные формы. По аналогии с живописью этот прием можно было бы назвать эффектом «проходящей сцены». Читатель получает сильное впечатление от образов, возникающих из состояния небытия и, вероятно, возвращающихся в него.

Он совсем в себя вернется, никого не звав,
не ведав,
и малиновые губы спрячет шелковая лента.
Плюс луна, да минус солнце, касса,
полная билетов.
(*Янус*)

Вместо изображения статичного мира с традиционной неизменной композицией поэт показывает жизнь как процесс возникновения и исчезновения. Одна часть образа может быть видима, в то время как остальное спрятано в темноте, целое же присутствует только частично. Когда предметы фрагментарно спрятаны в темноте, то воображение дополняет их. Стихи

сборника как бы представляют разные фазы Луны: мы видим месяц, а не часть диска, но фрагмент не кажется незавершенным, так как мы знаем, что собой представляет сам диск.

Месяц, жестяная душа,
зачем ты качаешь половиновой головой.
<...>

Месяц, сверкающая тоска.
Гремучая ткань твоя рвет облака.
В темном зеркале оторопь старика.
Впадина морщинистого виска.
(*Месяц, жестяная душа...*)

Паташинский – синтетик, не аналитик, как большинство его коллег. Конечно, следы былой культуры в его искусстве не исчезли бесследно, но каждый отклик традиции, каждый готовый прием напористо вовлечен в новое качество. Не чуждый контактов с предшественниками и современниками, Давид Паташинский представляет собой новый тип художника, способного превращать в поэзию буквально все, что попадает в поле его внимания. Говоря о методе его письма, необходимо отметить пристальное внимание, с которым поэт относится к специфике избранного мотива. Стихи Давида способны мгновенно возникать по ритмическим и звуковым ассоциациям. Паташинский вращает корневую структуру слова и вытягивает через фонетику сублимированный архетип смысла.

Разумеется, конкретный, исходный материал автором «донельзя» переплавляется, но всегда сохраняет внутренние характеристики. Из кипы полуслучайных сырых наблюдений – трофеев взгляда – Паташинский энергично выжимает желанную суть, то очередное «не-что», которое и побуждает новое стихотворение к рождению.

Устойчивость статьи чужда темпераменту поэта. Напротив, все творчество предельного индивидуалиста и «безумца» Паташинского подтверждает его готовность к бегству от привычного. Куда? – В «лунную неурядицу», «аэроплен» нового поэтического мышления.

Роман АРБИТМАН

Право силы и сила права

Евгений Зубарев. 2012. Хроники смутного времени: Роман. – М.: АСТ; СПб: Астель-СПб, 2008.

Недалекое будущее. По всей России прокатывается волна грабежей и погромов. Обыватель трепещет. Армия и милиция, разоруженная властями – «с целью избежать провокаций», – бессильны против многотысячной армии мародеров. Те же, чувствуя безнаказанность, грабят, убивают и насилуют. Вся провинция уже подмята хищниками, которые движутся на Москву – точь-в-точь как нечисть из булгаковских «Роковых яиц». Последний рубеж обороны вот-вот будет прорван. И что же будет с Родиной и с нами?..

Роман журналиста и фантаста Евгения Зубарева вышел в свет сравнительно недавно. Хотя автор – не из числа «раскрученных», а книга его не обладает большими художественными достоинствами (хотя и не скатывается к безусловному трэшу), роман был замечен и критиками и, что существенно, обычными читателями. В чем секрет внимания к этой книге? Конечно же, сыграло роль перенесение времени действия романа в совсем близкое будущее (реалии – почти сегодняшние, а события – уже нет) и, разумеется, не могла не зацепить тема грядущей гражданской войны, более похожей на «бессмысленный и беспощадный бунт» всех против всех...

Мысль о том, что цивилизация – лишь фрак на обезьяне, до поры подавившей в себе инстинкты разрушения, издавна беспокоила писателей и философов. Даже оптимисты эпохи Просвещения вынуждены были стыдливо признавать известное обаяние варварства, которому порой так нелегко сопротивляться. Пофазное превращение окультуренных деток в толпу дикарей наиболее ярко запечатлел Уильям Голдинг в ныне классическом «Повелителе мух». Причем это был почти реалистический эксперимент на микросоциуме, ограниченный во времени и в пространстве. В свою очередь, писатели-фантасты, благодаря избранному им

жанру, получали для своих экспериментов куда более обширное поле. И спешили засеять его всевозможными драконьими зубами, любопытствуя, каковы же будут всходы.

«...Восемь миллионов жителей тут же принялись затаптывать друг друга насмерть на мостах и в туннелях. Выжившие рассеялись за городом – словно саранча, словно полчища чумных крыс. Они заражали воду. Распространяли брюшной тиф, дифтерит, венерические болезни. Кусали, рвали, убивали, грабили, насиловали. Питались дохлыми собаками и трупами детей... То же самое происходило в Чикаго, Детройте, Вашингтоне, Лондоне, Париже, Бомбее, Шанхае, Токио, Москве, Киеве и Сталинграде – в каждой столице, в каждом промышленном центре, на каждом железнодорожном узле, во всем мире. Цивилизация была разрушена без единого выстрела. Никак не могу понять: почему военные считают, что без бомб не обойтись?» Цитата из мрачной антиутопии Олдоса Хаксли «Обезьяна и сущность» (1948) демонстрирует вариант гуманитарной катастрофы без мировой войны и без сверхъестественных событий, вроде превращения людей в зомби. Социальная напряженность, экономическая нестабильность, какая-нибудь изнуряющая региональная «спецоперация», буйство стихий, паника – все это, по мнению наших авторов, годится в качестве первотолчка для «восстания масс» и последующего хаоса.

Ровно двадцать лет назад Александр Кабаков написал (и годом позже издал в перестроечном «Искусстве кино») прогремевшую на всю страну повесть «Невозвращенец» – о печальном грядущем, ожидающем страну с названием кратким СССР. По сценарию Кабакова, советскую державу подточил экономический коллапс, а обрушила военная диктатура. Генерал Панаев, взявши власть, не смог ее удержать, и из всех щелей посыпалась всякая мразь: вооруженные бандиты с убеждениями, отвязавшиеся борцы за социальную справедливость и просто громилы. Право силы победило силу права, началось дробление империи на княжества, процесс стал неуправляемым. Вплоть до августа 1991 года о грядущем хаосе и кровавых попытках его упорядочивания было написано довольно много книг – в жанре антиутопии отметились Э. Тополь, М. Веллер, В. Рыбаков

и другие социально озабоченные фантасты. Когда же воздвигся и рухнул ГКЧП и не оправдались наиболее пессимистические сценарии (югославского варианта, хоть и не без издержек, так или иначе удалось избежать), жанр романа-предупреждения о близком будущем скукожился и увял. И вот, похоже, он возвращается к читателю снова.

Всего за несколько месяцев до выхода зубаревского «2012» увидел свет роман Вадима Еловенко «Мы – силы» (СПб., «Крылов»), где смута, разруха и гражданская война на территории России тоже становилась основным двигателем сюжета. Хаосу и беспределу, правда, предшествовали природные катаклизмы: из-за внезапных вспышек на солнце резко усилилось таяние льдов на полюсах; уровень мирового океана поднялся разом на полтора метра. От Японии мало что осталось, а Россию (которая территориально и не сильно уменьшилась) захлестнула волна насилия. Кубань заполнена беженцами, Москву накрыло ураганом, Санкт-Петербург превратился в огромную лужу с торчащим шпилем Адмиралтейства. Электричества нет, связи нет, федеральная власть бессильна. Паника, разброд и шатания, бандиты и людоеды делят территории, а у нормальных людей – так мало шансов выжить и остаться людьми. Если бы Еловенко сосредоточился только на описании предстоящих ужасов, книга его едва ли бы заслуживала подробного разговора. К чести автора, он сосредоточивается не столько на негативе, сколько на попытках (да, поначалу тоже хаотических) вменяемых людей остановить энтропию и общими усилиями выкарабкаться из ужаса. Кроме нелюдей, есть и герои: метеоролог Рухлов, ставший спасателем, и старший лейтенант ВМФ Ханин, пытающийся наладить человеческую жизнь в нечеловеческих условиях.

В книге Зубарева стихийные бедствия как первотолчок отсутствуют, а о первопричине всероссийского хаоса сказано довольно скупо: похоже, автор сам не очень понимает, отчего люди превращаются в толпу. «Это был совершенно загадочный феномен массового помешательства миллионов доселе вроде бы нормальных людей, впадающих в какое-то революционное неистовство от одного вида представителей власти». Понятно, что власть

предержавшие предпочитают спасаться бегством, а образовавшиеся экологические ниши занимают герои. «Да что там обсуждать, как я буду защищать свой подъезд? Очень просто – буду стрелять во все, что движется. Кто-то знает другой способ?» Прочитанная сентенция принадлежит главному положительному персонажу книги «2012». Согласно сюжету, не оскудела еще Земля Русская и в состоянии родить новых Пожарских. Один из них, сотрудник охранной фирмы Антон (бывший студент, бывший солдат-срочник и, быть может, потомок того самого героя 1612 года), волею судеб вынесен в первые ряды борцов с беспределом.

Герой не хочет ждать милостей от власти и лично встает на защиту Родины. У него есть два друга-милиционера, несколько помповых ружей и горячее убеждение в том, что можно и нужно мочить ублюдков, не зачитывая им их гражданские права. «Вы готовы ждать, а я – нет, – объясняет Пожарский свою позицию психиатру Ароновичу (хорошему человеку, но мягкотелому либералу). – В этом между нами и разница. Вы ждете, когда вас ударят, чтобы не обидеть невинного, а я уже знаю, кто тот урод, поэтому стреляю первым». Развитие событий в книге доказывает правоту стороннику превентивной стрельбы. С оружием в руках Антон спасает беспризорных детей, брошенных взрослыми, и, благодаря телевидению, становится кумиром граждан; под его знамена встает все больше и больше людей. В финале именно движение Пожарского «Восточные медведи» (не путать этих гризли с медведями из «Единой России») спасает дряблую, выродившуюся, гламурную, но все-таки Москву от орд мародеров. Предводитель беспредельщиков Дмитрий Rogozin получает две пули в лоб прямо на Красной площади. Хэппи-энд.

Печальное осознание того факта, что в некоторых – бесспорно, критических – ситуациях толпа нуждается не в конституции, а в картечи, хоть в раз в жизни стучится даже в самую демократическую голову. Чаще всего подобные суждения находят отклик в сердцах граждан из стран с развитой демократией, где, чтобы засадить монстра на пожизненно, надо стереть не одну пару железных башмаков. В этих случаях, конечно, велик соблазн призвать Грязного Гарри с его магнумом 45 калибра и

решить проблему за несколько секунд – эффективно и без излишних церемоний.

Увы, в нашей стране демократия даже толком не переночевала, а автор уже сладострастно рисует новую чрезвычайку и реализует позитивную программу в духе хрестоматийного «Винтовка рождает власть». При этом автор – вовсе не противник разумного-доброего-вечного; он из тех жванецких интеллигентов, которые раньше мечтали приехать на рынок на танке, высунуться из люка и спросить у оборзевших спекулянтов: «Скока-скока?» Правда, раньше у них не было танка, а сейчас – есть. Да еще с боекомплектком.

Автор «2012», конечно, не считает, что винтовка и власть неразделимы навечно и что чрезвычайка должна стать нормой повседневной жизни. Мол, гуманизм должен немного подождать в шкафу – до тех пор, пока уберут трупы расстрелянных без суда. А там уж он снова воссияет. Однако не факт, что скоро его опять не запихнут в шкаф: пагуба простых решений в том и состоит, что к ним хочется прибегать снова, и снова, и снова... Ad infinitum.

Олег РОГОВ

Закрытая страница

Андрей Шарый. Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Не уверен, что сегодняшние дети играют в индейцев, но в семидесятые эта игра была очень распространена. Каждый уважающий себя мальчишка смотрел время от времени появившиеся на экране югославские и восточногерманские фильмы на эту тему. Это были весьма вольные экранизации, в основном, Карла Мая и Фенимора Купера, с четким делением героев на плохих и хороших, что, собственно, и требовалось для немудреных игр. Таковые представляли собой либо посильное в условиях детских площадок, сараев и гаражей воспроизведение увиденного, либо вариации на тему сюжета.

Заметьте, это были игры по фильмам, а не по книгам! В отличие от персонажей де-

тской классической литературы, для которых Монтигомо Ястребиный коготь воплощался в игровой реальности из впечатления, полученного только из «бумажных носителей», какой-нибудь Оцеола для нас был изначально явлен в зримом образе. В большинстве случаев облик главного героя совпадал с Гойко Митичем, и играли, соответственно, в него в роли индейца, чем в индейца абстрактного.

Работа Андрея Шарого продолжает правильную серию издательства «Новое литературное обозрение» «Кумиры нашего детства». В ней уже вышли книги «Знак 007: На секретной службе Ее Величества» и «Знак F: Фантомас в книгах и на экране».

Шарый подошел к теме основательно, сначала он пишет о жизни и книгах Карла Мая, а потом уже детально рассматривает веер экранизаций «по мотивам», которыми гэдээровская кинематография ответила американским вестернам. Ответ этот для нас, тогдашних кинозрителей, не был, что называется, симметричным, сравнивать было почти не с чем.

Авантюрная американская история освоения Нового Света, где индейцам редко отводилась положительная роль, была абсолютно идеологически неприемлема. Мы получали сказки иного рода – о смелых и свободных индейцах, с которыми дружат «Хорошие белые» и с которыми воюют «белые плохие». Исторический исход этой войны был предрешен, и во всех этих фильмах был неизбежный оттенок гибельного героизма, который всегда берет за душу, особенно тех зрителей, которые едва миновали десятилетний рубеж. Впрочем, на экране они оставались такими же вольными и свободными, что вселяло надежду на какое-то потустороннее, параллельное их существование вне предрешенного хода жестокой истории.

Книга представляет нам полный спектр немецких фильмов об индейцах, истории их создания и проката. Это обстоятельное и заворачивающее исследование, затрагивающее и общемировую «индейскую» кинопрактику, оно анализирует и паттерны восприятия данной продукции зрителями разных стран. Подробный рассказ о судьбах фильмов и актеров ценен тем, что немецкая индиана – это уже закрытая страница не только мирового кинематографа, но и ранних страниц биогра-

фий миллионов – без преувеличения – наших соотечественников. Мы росли на этом кино, и оно нас воспитывало, отвечало каким-то главным духовным и эмоциональным потребностям. О составе этого «волшебного напитка» и расскажет нам книга «Знак W».

Сергей ТРУНЕВ

«Жанр патографии живуч...»

Ирина Сироткина. Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века / Перевод с английского автора. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Публикуемые в библиотеке Нового литературного обозрения тексты всегда отличались качеством. Представленный в выпуске LXIX текст И. Сироткиной не является исключением и продолжает общую установку журнала на публикацию междисциплинарных исследований, создающих почву для российских гуманитариев и «сочувствующих». Для последних работа, видимо, будет представлять особый интерес, т.к. содержит огромное количество интересных и порой весьма забавных фактов.

По сути, это книга о становлении отечественной психиатрии, одним из способов легитимации которой являлось создание патографий, то есть текстов, в которых творчество того или иного писателя (в данном случае речь идет скорее о творческих людях в широком смысле) рассматривается через призму его реального или сфабрикованного психиатром заболевания. Понятие легитимации, на мой взгляд, является здесь ключевым, поскольку в культуре испокон существует два наиболее простых способа заявить о себе или о своем «проекте»: либо испровергнуть классика, либо присоединиться к его мнению. В первом случае мы объявляем классика душевнобольным, критикуем его творчество в целом или отдельные его фрагменты; во втором – мы объявляем его эталоном здоровья, пророком и охотно вписываем его цитаты в собственные, подлежащие легитимации, произведения. Это вполне совпадает с авторским выводом,

согласно которому конечная цель писателей патографий – «выйти за пределы своей специальности, принять участие в общественных дебатах, завоевать внимание читателей и успех у широкой аудитории и тем самым повысить престиж того проекта – медицинского, психологического, психоаналитического, - в котором они участвуют» (237). Если бы И. Сироткина отважилась представить конечной целью не престиж проекта, а желание закрепиться в среде элиты, т.е. как можно ближе к одной из многочисленных «кормушек», я бы согласился с ней еще охотнее. Впрочем, возможно, самореклама не играла в жизни интеллектуалов XIX века той значимой роли, какую она играет в настоящее время.

Чтобы развернуть перед читателем объемную картину становления психиатрии, И. Сироткиной пришлось наступить на горло уже изрядно надоевшей песне о социальном контроле (в том числе, покуситься на святой для социологов символический интеракционизм), текст которой гласит: медицинское знание в частности и наука в целом есть лишь формы власти, в рамках которых вырабатываются определенные «ярлыки», с позитивной или негативной окраской маркирующие определенную социальную группу. Ну и что? Это астроном не может назвать, например, Луну сумасшедшей (ни ему, ни ей от этого, ни холодно, ни горячо), а науки, имеющие своим объектом человека, всегда были до некоторой степени социально и/или политически ангажированными. Об этом было известно уже К. Марксу, которого сегодня почему-то мало цитируют; значительно позже об этом стало известно М. Фуко, ослиные уши которого буквально выпирают из большинства современных гуманитарных исследований. Другое дело, что при внимательном рассмотрении наука как источник инструментов социального контроля оказывается десятой спицей в колесе.

Жанр патографии живуч не потому, что благодаря ему одна социальная группа стигматизирует другую, но и не потому, что он «исходит из романтической концепции творчества – идеи о том, что творчество по своей иррациональности, спонтанности, стихийности сродни болезни» (233). Как уже было сказано, первой заинтересованной фигурой является автор патографии, который таким образом «пиарит»

самого себя и свой научный или псевдонаучный проект. Вторая фигура – творец, который своим поведением «пиарит» свой проект, вызывая к жизни био- или патографию. Третья фигура – читатель, который получает в свои руки текст, сочетающий в себе подлинность биографии и научную строгость медицинского трактата (иллюзия, разумеется). Рядовому читателю ничего не известно ни о М. Бахтине, ни о постмодернистской концепции смерти автора, так что единственно возможный для него способ прочтения литературного текста – это посильная герменевтика, встав на позиции которой, мы просто не можем воспринять произведение иначе, нежели прямое воплощение авторского замысла, в широком смысле – его жизни. Остальные фигуры глубоко вторичны, в чем я также вполне согласен с автором «Классиков».

То, с чем я не вполне согласен, и то, что мне кажется определенной исследовательской неудачей, может быть обозначено двумя понятиями: издержки метода и издержки структуры. Кажется, автор вполне осознанно избегает попыток сделать хоть какое-то обобщение. Но одно дело – опровергнуть ставшие уже классическими теории, а другое – продуцировать собственную если не теорию, так модель изучаемого явления. Я понимаю, что репрезентированная автором картина способна, ввиду ее очевидной сложности, уложиться в систему идеализированных теоретических представлений лишь отчасти. Но вне подобного обобщения сколь угодно интересный материал по прочтении оставляет ощущение недосказанности, как оставляют его любые позитивистски-нейтральные исследования.

Можно представить, что отсутствие обобщений явилось эффектом техники создания «Классиков», структура которых включает в себя несколько относительно самостоятельных сюжетов, материал которых отчасти пересекается, отчасти просто дублируется. Как если бы на руках у автора скопилось достаточное количество написанных в разное время статей, а постфактум сформулированные «введение» и «вместо заключения» позволили накрыть все содержание единой, качественно оформленной обложкой.

Кстати, об оформлении. Почему-то крайне неловко было обнаружить опечатку во вто-

ром предложении введения (если не считать названия и эпиграфа). Дальнейшее прочтение показало, что отмеченный прецедент не единственный. Встретилась и одна весьма досадная смысловая нестыковка, цитирую: «Чиж был не первым русским, отправившимся в Париж для выяснения психофизиологических эффектов наркотиков. Зигмунд Фрейд также интересовался физиологическими эффектами коки. Он приехал на стажировку к Шарко в октябре 1885 года, когда Чиж еще был за границей, – и они могли бы встретиться» (с. 36). Впрочем, коль скоро Россия – родина слонов, отчего бы ей не быть и родиной психоанализа?

Олег РОГОВ

Индикатор для общества

Фейт Вигзелл. Читая Фортуны: Гадательные книги в России (вторая половина XVIII–XX вв.). – М.: ОГИ, 2007.

Книга английской исследовательницы вышла в серии «Нация и культура / Новые исследования. Антропология», оригинальное издание выпущено в Кэмбридже в 1998 году.

Тема гадательных практик всегда была актуальна для читателей самого разного калибра. Кто-то довольствовался сонниками, кто-то совершенствовался в разнообразных колодах Таро. В советское время литература подобного рода не издавалась, но читатели находили лазейки либо в дореволюционной литературе, либо находили информацию в издаваемых книгах – про русские народные традиции. Особо следует отметить сверхпопулярный «И-Цзин» в классическом переводе Шуцкого, эта книга, разумеется, пользовалась успехом не только как исторический памятник, но и как практическое пособие.

В новое время на прилавки хлынул – как это всегда бывает с прорванной запрудой – мутный поток самой разной по качеству ли-

тературы по гаданиям. Что удивительно – этот рынок оказался ненасыщаемым. Книги по этой тематике издаются всё в большем количестве, издатели изощряются в поисках новых тем.

Тем интереснее сегодня взять в руки профессиональное исследование, к тому же не отягощенное отечественной авторской кармой, и проследить историю этого жанра, жанра особенного, поскольку любая прикладная литература прошлых веков неизбежно становится не только практическим руководством, но и феноменом собственно литературы.

С обзора типологии книг по гаданиям (в самом широком смысле) и начинает свою монографию автор. В книге рассматривается исторический аспект бытования гадательных практик в их исторически обусловленном перемещении из крестьянской в городскую среду и распространении – как для серьезных целей, так и для развлечения – в самых разных социальных слоях. Рассказ о выходивших книгах (какие чудесные названия! «Неложная ворожея», «Комнатный вещун и прорицатель», «Таинственная цыганка, предсказывающая судьбу женихам и невестам») дополняется анализом рынка попсовой эзотерики XVIII–XIX веков и общественным восприятием как подобных увлечений, так и собственно книжной продукции.

В книге описаны различные типы как «носителей» тайного знания, колдунов и гадалок, так и потребителей. Особое внимание уделено гендерному аспекту, – разумеется, в подавляющем большинстве гаданиями занимались женщины. В связи с этим автор анализирует место данного рода занятий в целостной картине повседневной жизни женщин в разные исторические периоды.

Обзор гадательных книг, рассказ об их производителях и потребителях позволяет читателю наблюдать, как менялась ситуация на протяжении веков. Довольно маргинальный, трэшевый, в сущности, объект – книги по гаданию – оказывается точным индикатором изменений в жизни общества.

Сергей ТРУНЕВ

Нескучная биография

Лев Гурский. Роман Арбитман: Биография второго президента России. – Волгоград: ПринТерра, 2009. – (Библиотека приключений замечательных людей).

Есть книги, по мере прочтения которых ощущаешь все возрастающее чувство неуверенности. Вроде бы, все по правилам: есть правдивая сюжетная линия, есть герой, идущий (плывущий, едущий и т.д.) по этой линии, как Одиссей, возвращающийся на Итаку. Цифры, даты, точки пересечения воображаемой линии героического пути с реальными событиями способны довести повествование до вершин правдоподобия. Наконец, если в тексте присутствуют фотографии, фрагменты биографий, газетные и журнальные материалы – значит, все *это* действительно имело или имеет место быть. Ну, ладно, биографии: они еще могут оказаться сфабрикованными в интересах различных политических группировок. Но, фото! Это же документ, который, как в паспорте, удостоверяет наличие в этом физическом мире определенного физического лица. А периодические печатные издания, как известно, вообще не лгут, это Вам не телевизионные какое-нибудь, не реалисти-шоу.

Вот и получается, что вторым президентом России был Роман Ильич Арбитман, уроженец Саратова и, по совместительству, человек великой судьбы. Во всяком случае то, что Роман Ильич родился и вырос в Саратове, не подлежит сомнению. Об этом говорят многие факты. Случилось так, что по счастливому стечению обстоятельств (теперь я знаю это) я сам учился в средней школе № 37, и прекрасно помню ее директора – Самуила Рувимовича – которого действительно за глаза называли «дядей Сэмом», и о котором в тексте Л. Гурского сказано много прекрасных слов, каких не придумаешь. Если бы я знал тогда, что нахожусь в школе, которую до меня окончил будущий президент РФ, я, честное слово, учился бы на одни пятерки, и меня не выперли бы во взрослую жизнь в аккурат после восьмого класса. А вообще, саратовские детство и отрочество Романа Ильича представлены в тексте Л. Гурского столь рельефно, что порой кажется, будто не Саратов это вовсе, а столица, на звание которой мы

даже в региональном масштабе давно уже не претендуем.

Обычно биография видного политического деятеля основывается на двух характеристиках персонажа: его *надёжности* (целостности) и *целеустремлённости*. Биографически представленная жизнь лидера есть неуклонное продвижение к поставленной ещё в детстве цели (служить народу, партии и т.п.). Провалы допускаются лишь в том случае, если политику выгодно предстать фигурой пострадавшей от господствующего режима. Душевная и телесная жизнь политика «бедны» в том смысле, что они подчинены одной задаче, одной цели. Судьба политического деятеля есть непрерывная цепь достижений, каждое из которых выводит его на новый уровень социальной иерархии. Это особенно заметно на материале предвыборных биографий, форма которых, будучи унаследована от эпохи Советского союза, остается в общем виде неизменной вплоть до настоящего времени. И читать их скучно...

Видимо, будучи историком по образованию, Л. Гурский собрал огромное количество фактов, благодаря чему стало возможным избежать указанного выше схематизма и представить жизнь Романа Ильича во всей ее, чрезмерной порой, полноте. Конечно, у меня сразу zakралось подозрение, что этот текст Л. Гурскому заказал сам Роман Ильич. Уж больно гладко все складывается, уж очень хорошо подогнаны один к другому многочисленные свидетельства и факты. Но, кто знает, возможно за псевдонимом «Роман Ильич Арбитман» скрывается сам Лев Гурский? Известно, что писатели отнюдь не лишены властных амбиций и их стремление «пасти народы» имеет тенденцию возрастать прямо пропорционально росту их читательской аудитории.

Так, или иначе, но читая текст «Биографии», ты, читатель, переживаешь перипетии героической судьбы так, как если бы все это реально произошло с тобой. Это переживание остается неизменным вплоть до начала «ельцинской» эпохи, но потом дает сбой, ибо память о происходивших тогда событиях еще свежа и фамилия «Арбитман» в ее анналах не зафиксирована. И если ты вплоть до окончания книги не ощущаешь, что все происходящее на ее страницах суть чистый вымысел, *авторская литературная мифология*, значит, ты попался.

Иван КОЗЛОВ

Нефть (режиссер Пол Томас Андерсон)

Социальный эпос превращается в эзотерическую притчу, ни на секунду не выходя из своих жанровых рамок.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть» снят по роману Эптона Синклера. Книги этого американского писателя неоднократно издавались у нас в советское время. Синклер – это такой облегченный и однолинейный Теодор Драйзер, не бог весть какая проза. Но, что любопытно, качество литературной основы отнюдь не является определяющим для будущего фильма. Скорее, наоборот, чем проще роман, тем больше свободы действий у режиссера. Тем паче, что Андерсон довольно вольно обошелся с текстом, выбросив многие сюжетные линии и редуцировав фабулу до тех пределов, в которых ему было интересно работать.

Кстати говоря, киношники назвали фильм «There will be blood» («Здесь будет кровь»), а наш прокат «вернул» книжный вариант. Это довольно знаковый момент, оказывается, в России вполне забойное название «всухую» проигрывает одному, но очень ёмкому слову. Скажи «нефть» – и в этом слого в начале XXI века уместятся и кровь, и деньги, и борьба, и всё-всё-всё.

Пол Томас Андерсон явно тяготеет к эпическому жанру, он доказал это уже своей «Магнолией», но там режиссер с удовольствием играл в безумно популярную в последнее время игру «пересечение параллельных» – рассказывал истории не знакомых между собой людей, чьи судьбы причудливо переплетаются и чьи поступки оказываются взаимозависимы.

«Нефть» более классична и старомодна. Здесь Андерсон играет в «большое кино», чуть дистанцированно, очень технично и не утомляя зрителей, хотя фильм идет без малого три часа. Вместо обличительного пафоса, свойственного романам Синклера, у Андерсона – медленное и неторопливое исследование двух феноменов

одержимости – предпринимательской и религиозной. Вычленена одна основная линия, вокруг которой и выстраивается фильм, нарастая, как мясо на кости – взаимоотношения главных героев, нефтяника Дэниэла Плейнбью и лидера протестантской общины Элая Сандена, их играют, соответственно, Дэниэл Дэй-Льюис и Пол Дано.

Эти актеры всё время кого-то напоминают, в их лицах мерцают смутно похожие на них коллеги по цеху и, разумеется, их роли. В типажах жесткого капиталиста и лицемерного негодяя нет-нет да проглянут Де Ниро во всех своих ипостасях и Ди Каприо. Это явно не случайно – режиссер как бы время от времени примеривает на своих героев маски для того, чтобы тут же их немедленно отбросить. Скажем, на секунду мелькнувший в облике Дэй Льюиса великий Де Ниро нужен для того, чтобы подчеркнуть, что в герое «Нефти» нет и капли человечности, которая присуща всем, даже самым безжалостным героям, которых сыграл Де Ниро.

Эти два кадавра, Плейнбью и Санден, учуяли друг друга, как два зомбака среди живых, но таких глупых и управляемых людей. И тот, и другой абсолютно пусты внутри, но вынуждены изображать одержимых, один – наживой, другой – религий с ее экстатическими радениями. Окружающие обманываются, но друг друга им обмануть невозможно. Оба «заточены» на единственность и подавление, но вот приходится им существовать вместе на одном клочке земли, который брызжет нефтью, и угрюмо играть в игру «кто кого?» поочередно затаптывая в грязь – в буквальном смысле – соперника.

Только к концу ленты, с дикой сценой убийства в финале, ты понимаешь, насколько это страшный фильм. И тебя не оставляет в покое жутковатый парадокс: чем более человек цельный, устремленный к воплощению в реальности главной своей идеи, идущий напролом – а нас ведь учили, что именно такие побеждают, – тем более он одномерный, и, как результат, мертвый уже при жизни. Оглядитесь вокруг, сколько таких трупов бродят рядом с вами?

Катынь
(режиссер *Анджей Вайда*)

Нас не любят. Нас очень не любят – и есть за что. Мы злимся и огрызаемся, потому что крыть нечем.

Этот фильм не будет идти в переполненных залах и не соберет большую кассу. Хорошо, что вышел на видео. Этот фильм появился у нас не потому, что он нужен зрителю, а потому, что было бы неудобно, если бы его не издали. Во-первых, Вайда, во-вторых, тема. Такой вынужденный жест.

Фильм появился совершенно не ко времени. У нас подъем патриотизма, с колен в очередной раз поднимаемся, а нам тычут в нос преступления советского режима, национальной трагедией поляков. Мы же совсем недавно выяснили, что либеральные публицисты в перестройку обманывали доверчивый народ, в очередной раз перекраивая историю; мы твердо уяснили, что тот, кто пытается очернить наше прошлое – русофоб и американский агент; мы только-только с облегчением убедились, что не в чем нам каяться перед Богом и миром за 70 с лишним лет сами знаете чего, как вдруг нам зачем-то показывают это кино. Причем, ничего от нас не требуя. Зачем, мы же ведь извинились, или вы не расслышали?

Вайда сплетает в фильме несколько сюжетных линий, некоторые проходят через весь фильм, некоторые возникают на несколько минут и быстро рвутся, как и жизни их персонажей. Не знаешь, что страшней – сцены убийства или то ежечасное предательство, в котором вынуждены жить персонажи фильма в послевоенное время. Такое впечатление, что обречены все – не только несчастные офицеры, их жены и дети, но и мы, зрители.

Поневоле задаешься вопросом – а сколько должно пройти времени, чтобы это перестало так доветь? Сто, двести лет? Пятьсот? Действительно ли время смывает кровь и тоску? Не у самого же сердца современных греков троянская война, не берedit ведь уже? Значит, и эта боль пройдет, как ни дико это сегодня звучит.

И снова я не о фильме, а о том, про что фильм. Впрочем, Вайда, наверное, и хотел бы такой реакции.

Наверное, жанр этого фильма можно определить как «военная драма». Так оно и есть, и этим всё сказано. А с ее уроками мы когда-нибудь разберемся.

Шультеc
(режиссер *Бахур Бакурадзе*)

Если вас обокрали, вы, наверняка, спали наяву. Может быть, пора проснуться?

Мировой кинематограф знает много фильмов о карманниках, но «Шультеc» – уникален. История вора по фамилии Шультеc могла быть снята тысячу различными способами, но Бакурадзе – это его первая полнометражная работа (и получившая главный приз «Кинотавра») – ведет рассказ со своей неповторимой интонацией.

Фильм снят словно потустороннее зрелище, герой – «посторонний», он живет в каком-то сне наяву, действует, как автомат, его контакты с миром минимальны и необязательны. Открыть холодильник, потрясти пустой пакет из-под молока, посмотреть со старухой-матерью телевизор, съездить к брату в военную часть. Внешне герой нормален, но перед нами натуральный «черный ящик», загадка которого так и не будет разгадана.

К середине фильма мы узнаем, что у героя проблемы с памятью и он фиксирует контакты в блокнотике, чтобы хоть как-то ориентироваться в реальности. Фильм закольцован, после сцены беседы с психиатром, когда Шультеc практически пересказывает финал ленты, мы не можем с уверенностью сказать, какова линейная последовательность событий и что происходит на самом деле – было ли это вещим предсказанием или мы имеем дело с какой-то параллельной реальностью.

Это очень «взрослое» кино, как бы беседующее сразу со многими лентами. Тут есть и Вендерс, и Бессон с Брессоном («Леон» и «Карманник»), есть реверанс в сторону зрительских ожиданий, когда герой связывается с малолетним коллегой-воришкой и попадает из-за него в крайне неприятную ситуацию.

«Шультеc» чем-то напоминает мне тексты постконцептуализма. Прущая из всех дыр между словами экзистенциальная энигма, наличие

не объясняемых деталей, отнюдь не рушащихся в область символов; привычный социальный бэкграунд, в силу самого присутствия в тексте становящийся хранилищем непроявленных смыслов; наблюдаемая, но не дешифруемая сигнальная система.

Мы всё чаще снимаем так называемое «европейское» кино, и это здорово, потому что наше «необщее выражение» при неких обусловленных константах значительно расширяет границы «возможного кино».

Замечу напоследок, что мне было интересно смотреть это кино и с чисто технической точки зрения – в смысле профессии главного героя. Меня ведь тоже несколько раз обворовывали. Самый памятный случай был несколько лет назад в московском Доме книги: вытащили из сумки три тысячи, спасибо, что паспорт оставили. Комизм ситуации заключался в том, что произошло это в те минуты, пока я листал взятые с полки книги по развитию внимательности.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Сергей Боровиков
Алексей Александров
Роман Арбитман
Алексей Голицын
Алексей Славовский
Сергей Слепухин
Олег Рогов

Формат 60x84 1/16, Усл. печ. л. 21,15
Уч.-изд. л. 20. Тираж 300 экз.
Подписано в печать ноября 2008 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.